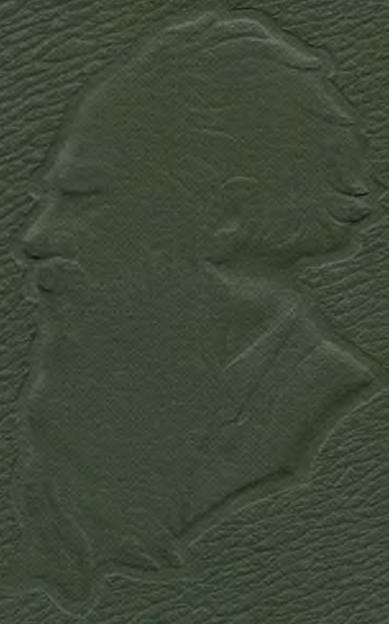


ЛЕВ ТОЛСТОЙ

12



**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»**

Л.Н.ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДВАДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

*Н. Н. АКОПОВОЙ, Н. К. ГУДЗИЯ,
Н. Н. ГУСЕВА, М. Б. ХРАПЧЕНКО*

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА 1964

Л.Н.ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1885 — 1902 гг.

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

МОСКВА 1964

Примечания
С. А. РОЗАНОВОЙ



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ХОЛСТОМЕР

История лошади

Посвящается памяти М. А. Стаховича¹

Глава I

Все выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, безжизненное становился серп месяца, звучнее — лес, люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фырканье, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржанье столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.

— Но-о! успеешь! проголодались! — сказал старый табунщик, отворяя скрипящие ворота. — Куда? — крикнул он, замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота.

Табунщик Нестер был одет в казакин, подпоясанный ремнем с набором, кнут у него был захлестнут через плечо, и хлеб в полотенце был за поясом. В руках он нес седло и уздечку.

Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика, они сделали вид, что

¹ Сюжет этот был задуман М. А. Стаховичем, автором «Ночного» и «Наездники», и передан автору А. А. Стаховичем (*Прим. Л. Н. Толстого.*)

им все равно, и неторопливо отошли от ворот, только одна старая караковая гривастая кобыла приложила ухо и быстро повернулась задом. При этом случае молодая кобылка, стоявшая сзади и до которой это вовсе не касалось, взвизгнула и поддала задом первой попавшейся лошади.

— Но-о! — еще громче и грознее закричал табунщик и направился в угол двора.

Из всех лошадей, находившихся на варке (их было около сотни), меньше всех нетерпения показывал пегий мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищурив глаза, лизавший дубовую соху сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом пегий мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал.

— Балуй! — опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и кладя на навоз подле него седло и залоснившийся потник.

Пегий мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тяжело, тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку.

— Что вздыхаешь? — сказал Нестер.

Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие, но его только выбрали за это дрянью и стали стягивать подпруги. При этом мерин надулся, но ему всунули палец в рот и ударили коленом в живот, так что он должен был выпустить дух. Несмотря на то, когда зубом подтягивали трок, он еще раз приложил уши и даже оглянулся. Хотя он знал, что это не поможет, он все-таки считал нужным выразить, что ему это неприятно и всегда будет показывать это. Когда он был оседлан, он отставил оплывшую правую ногу и стал жевать удила, тоже по каким-то особенным соображениям, потому что пора ему было знать, что в удилах не может быть никакого вкуса.

Нестер по короткому стремени влез на мерина, размотал кнут, выпростал из-под колена казакин, уселся на седле особенно, кучерской, охотничьей, табунщицкой

посадкой и дернул за поводья. Мерин поднял голову, изъясняя готовность идти, куда прикажут, но не тронулся с места. Он знал, что, прежде чем ехать, многие еще будут кричать, сидя на нем, приказывать другому табунщику Ваське и лошадям. Действительно, Нестер стал кричать: «Васька! а Васька! Маток выпустил, что ль? Куда ты, лешой! Но! Аль спишь. Отворяй, пушай наперед матки пройдут» — и т. д.

Ворота заскрипели, Васька, сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял у вереи и пропускал лошадей. Лошади одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить: молодые кобылки, стригуны, сосунчики и тяжелые матки, осторожно, по одной, в воротах пронося свои утробы. Молодые кобылки теснились иногда по двое, по трое, кладя друг другу головы через спины, и торопились ногами в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от табунщиков. Сосунчики бросались к ногам иногда чужих маток и звонко ржали, отзываясь на короткое гоготанье маток.

Молодая кобылка-шалунья, как только выбралась за ворота, загнула вниз и набок голову, внесла задом и взвизгнула; но все-таки не посмела забежать вперед серой старой, осыпанной гречкой Жулдыбы, которая тихим, тяжелым шагом, с боку на бок переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей.

За несколько минут столь оживленный полный варок печально опустел; грустно торчали столбы под пустыми навесами, и виднелась одна измятая, унавоженная солома. Как ни привычна была эта картина опустения пегому мерину, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трок, и, ковыляя своими погнутыми нерасходившимися ногами, побрел за табунном, унося на своей костлявой спине старого Нестера.

«Знаю теперь, как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой, — думал мерин. — Я рад этому, потому что рано поутру, с росой, мне приятен этот запах и напоминает много приятного; досадно только,

что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком; а мне больно с этой стороны. Впрочем, бог с ним, мне не в новости страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбриться ему одному, пока его никто не видит, пускай сидит боком», — рассуждал мерин и, осторожно ступая покوروبленными ногами, шел посередине дороги.

Глава II

Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Табун между тем уже медленно стал разбираться по не сбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, огибавшей его.

Сняв уздечку с пегого мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что мерин, в знак благодарности и удовольствия, закрыл глаза. «Любит, старый пес!» — проговорил Нестер. Мерин же нисколько не любил этого чесанья и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно, он помотал головой в знак согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамильярность может дать ложные о своем значении мысли пегому мерину, Нестер без всякого приготовления оттолкнул от себя голову мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил пряжкой узды мерина по сухой ноге и, ничего не говоря, пошел на бугорок к пню, около которого он сиживал обыкновенно.

Поступок этот хотя и огорчил пегого мерина, он не показал никакого вида и, медленно помахивая вылезшим хвостом и принохиваясь к чему-то и только для рассеянья пощипывая траву, пошел к реке. Не обращая никакого вниманья на то, что выделявали вокруг него обрадованные утром молодые кобылки, стригунки и сосунчики, и зная, что здоровее всего, особенно в его лета, прежде напиться хорошенько натошак, а потом уже есть, он выбрал где поотложнее и просторнее берег

и, моча копыты и щетку ног, всунул храп в воду и стал сосать воду сквозь свои прорванные губы, поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахивать своим жидким пегим хвостом с оголенной репицею.

Бурая кобылка, забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намотить ему воду перед носом. Но пегий уж напился и, как будто не замечая умысла бурой кобылки, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул голову и, отойдя в сторонку от молодежи, принялся есть. На различные манеры отставляя ноги и не топчя лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно три часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок на худых крутых ребрах, он установился ровно на всех четырех больных ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ноге, которая была слабее всех, и заснул.

Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода.

Мерин был роста большого — не менее двух аршин трех вершков. Мастью он был вороно-пегий. Таким он был, но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Пежина его составлялась из трех пятен: одно на голове с кривой, сбоку носа, лысиной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота; третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной когда-то черной губой тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее. Из-за отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опускались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Один клок еще длинный от челки висел сзади за ухом, откры-

тый лоб был углублен и шершав, на просторных салазках мешками висела кожа. На шее и голове жилы связались узлами, вздрагивавшими и дрожавшими при каждом прикосновении мухи. Выражение лица было строго-терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пегина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее; но стертые на ляжках, видимо давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и сзади была еще свежая опухшая и гноящаяся болячка; черная репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе, около хвоста, была заросшая белыми волосами в ладонь рана, вроде укуса, другая рана-рубец видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты от постоянного расстройства желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее, а знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь.

Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные мослаки, такие копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи, главное, такую кость голосы, глаз — большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, тонкую шкуру и волос. Действительно, было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы.

Как живая развалина, он стоял одиноко посередине росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фырканье, молодое ржанье, взвизгиванье рассыпавшегося табуна.

Солнце уже выбралось выше леса и ярко блесело на траве и извилах реки. Роса обсыхала и собиралась каплями, кое-где, около болотца и над лесом, как дымок, расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку рожь, и пахло свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипываньем из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался. Васька задремал, уткнув голову в траву, кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались понизу. Старые, пофыркивая, прокладывали по росе светлый следок и всё выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уж не ели, а только закусывали вкусными травками. Весь табун незаметно подвигался в одном направлении. И опять старая Жулдыба, степенно выступая впереди других, показывала возможность идти дальше. Молодая, в первый раз ожеребившаяся, вороная Мушка беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который, дрожа коленами, ковылял около ней. Караковая холостая Ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью, опустил голову так, что черная шелковистая челка закрывала ей лоб и глаза, играла с травой, — щипнет и бросит и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой щеткой. Один из старших сосунчиков, должно быть воображая себе какую-нибудь игру, уже двадцать шесть раз, подняв панашем коротенький кудрявый хвостик, обскакал кругом своей матки, которая спокойно щипала траву, успев уже привыкнуть к характеру своего сына, и только изредка косилась на него большим черным глазом. Один из самых маленьких сосунов, черный, головастый, с удивленно торчащей между ушами челкой и хвостиком, свернутым еще на ту сторону, на которую он был загнут в брюхе матери, уставив уши и тупые глаза, не двигаясь с места, пристально смотрел на сосуна, который скакал и пятился, неизвестно, завидуя или осуждая, зачем он

это делает. Которые сосут, подталкивая носом, которые, неизвестно почему, несмотря на зовы матерей, бегут маленькой, неловкой рысцой прямо в противоположную сторону, как будто отыскивая что-то, и потом, неизвестно для чего, останавливаются и ржут отчаянно-пронзительным голосом; которые лежат боком вповалку, которые учатся есть траву, которые чешутся задней ногой за ухом. Две еще жеребые кобылы ходят отдельно и, медленно передвигая ноги, все еще едят. Видно, что их положение уважаемо другими, и никто из молодежи не решается подходить и мешать. Ежели и вздумает какая-нибудь шалунья подойти близко к ним, то одного движенья уха и хвоста достаточно, чтобы показать им всю неприличность их поведения.

Стригунки, годовалые кобылки притворяются уж большими и степенными и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженные шейки, и, как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими венчиками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток-трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгиванье, ржанье, брыканье. Они сходятся, кладут головы друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, всхрапнув и подняв трубой хвост, полурьсью, полутропотою гордо и кокетливо пробегают перед товарками. Первой красавицей и затейщицей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие; куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалунья была в особенно игривом расположении в это утро. Веселый стих нашел на нее так, как он находит и на людей. Еще на водопое, подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и во все ноги понеслась в поле, так что Васька должен был скакать за ней и за другими, увязавшимися за ней. Потом, поев немного, она начала валяться, потом дразнить старух тем, что заходила вперед их, потом отбила одного сосунка и начала бегать за ним, как будто желая укусить его. Мать

испугалась и бросила есть, сосунчик кричал жалким голосом, но шалунья ничем даже не тронула его, а только поугала его и доставила зрелище товаркам, которые с сочувствием смотрели на ее проделки. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадке, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сохой. Она остановилась, гордо, несколько набок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражались в этом ржанье. В нем было и желанье, и обещанье любви, и грусть по ней.

Вон дергач, в густом тростнике, перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и кукушка и перепел поют любовь, и цветы по ветру пересылают свою душистую пыль друг другу.

«И я и молода, и хороша, и сильна, — говорило ржанье шалуньи, — а мне не дано было до сей поры испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видал меня».

И многозначщее ржанье грустно и молодо отозвалось низом и полем и издалека донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Мужик ударил ее лаптем, но чалая лошадка была очарована серебряным звуком далекого ржанья и заржала тоже. Мужик рассердился, дернул ее вожжами и ударил так лаптем по брюху, что она не успела закончить своего ржанья и пошла дальше. Но чалой лошадке стало сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржанья и сердитого голоса мужика.

Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла ошалеть так, что забыла свою должность, что бы было с ней, ежели бы она видела всю красавицу шалунью, как она, насторожив уши, растопырив ноздри, втягивая в себя воздух и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее.

Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатлениями. Когда голос чалого замолк, она насмешливо поржала еще и, опустив голову, стала копать ногой землю, а потом пошла будить и дразнить пегого мерина. Пегий мерин был всегдашним мучеником и

шутом этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен, но за что же мучали его молодые лошади?

Глава IV

Он был стар, они были молоды; он был худ, они были сыты; он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив?.. Казалось бы, что нет. Но по-лошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было все впереди, те, у которых от ненужного напряженья дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам пегий мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь; но он все-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувств оскорбленья, грусти и негодованья, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Причиной безжалостности лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждая из них вела свою родословную по отцу или по матери от знаменитого Сметанки, пегий же был неизвестно какого рода; пегий был пришлец, купленный три года тому назад за восемьдесят рублей ассигнациями на ярманке.

Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу пегого мерина и толкнула его. Он уж знал, что это такое, и, не открывая глаз, приложил уши и оскалился. Кобылка повернулась задом и сделала вид, что хочет ударить его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему уже не хотелось, и он начал есть. Снова шалунья, сопровождаемая своими подругами, подошла к мерину. Двухлетняя лысая кобылка, очень



глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно развеселившаяся, уже прямо грудью ударила мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул и с прытью, которую нельзя бы было ожидать от него, бросился за ней и укусил ее в ляжку. Лысенькая ударила всем задом и тяжело ударила старика по худым голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе пегий мерин в отношении лысой кобылки, и весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя, так что табунщик несколько раз унимал их и не мог понять, что с ними сделалось. Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него.

Бог знает о чем думал старик мерин, унося на своей спине старика Нестера. С горечью ли думал он о неотвязчивой и жестокой молодежи, или, с свойственной старикам презрительной и молчаливой гордостью, прощал своих обидчиков, только он ничем не проявил своих размышлений до самого дома.

В этот вечер к Нестеру приехали кумовья, и, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадью, привязанную к его крыльцу. Загнав табун, он так поторопился, что, не сняв седла, пустил на двор мерина и, крикнув Ваське, чтоб он расседлал табунного, запер ворота и пошел к кумовьям. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылке, Сметанкиной правнучке, «коростовой дрянью», купленной на конной и не знающей отца и матери, и оскорбленного поэтому аристократического чувства всего варка, или вследствие

того, что мерин в высоком седле без седока представлял странно фантастическое для лошадей зрелище, только на варке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади, молодые и старые, с оскаленными зубами бегали за меринком, гоняя его по двору, раздавались звуки копыт об его худые бока и тяжелое кряхтение. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избегать ударов. Он остановился посередине двора, на лице его выразилось отвратительное слабое озлобление бессильной старости, потом отчаяние; он приложил уши, и вдруг что-то такое сделал, отчего все лошади вдруг затихли. Подошла самая старая кобыла Вязопуриха, понюхала мерина и вздохнула. Вздохнул и мерин.

.

Глава V

Посередине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура мерина с высоким седлом, с торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и в глубоком молчании стояли вокруг него, как будто они что-то новое, необыкновенное узнали от него. И точно, новое и неожиданное они узнали от него.

Вот что они узнали от него.

.

НОЧЬ 1-я

— Да, я сын Любезного первого и Бабы. Имя мое по родословной Мужик первый. Я Мужик первый по родословной, я Холстомер по-уличному, прозванный так толпою за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России. По происхождению нет в мире лошади выше меня по крови. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда не узнали меня. Как не узнавала меня Вязопуриха, бывшая со мной вместе в Хреновом и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Вязопурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление. Но вы хотели

этого. Да, я тот Холстомер, которого отыскивают и не находят охотники, тот Холстомер, которого знал сам граф и сбыл с завода за то, что я обежал его любимца Лебеда.

Когда я родился, я не знал, что такое значит пегий, я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать. Я родился, должно быть, ночью, к утру я, уже облизанный матерью, стоял на ногах. Помню, что мне все чего-то хотелось и все мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Денники у нас были в длинном теплом коридоре, с решетчатыми дверьми, сквозь которые все видно было. Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом то ей под передние ноги, то под коягу. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, перенесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник через решетку.

— Ишь ты, Баба-то ожеребилась, — сказал он и стал отворять задвижку; он взошел по свежей постилке и обнял меня руками. — Глянь-ка, Тарас, — крикнул он, — пегой какой, ровно сорока.

Я рванулся от него и спотыкнулся на колени.

— Вишь, чертенюк, — проговорил он.

Мать обеспокоилась, но не стала защищать меня и, только тяжело-тяжело вздохнув, отошла немного в сторону. Пришли конюха и стали смотреть меня. Один побежал объявить конюшему. Все смеялись, глядя на мои пежины, и давали мне разные странные названия. Не только я, но и мать не понимала значения этих слов. До сих пор между нами и всеми моими родными не было ни одного пегого. Мы не думали, чтоб в этом было что-нибудь дурное. Сложение же и силу мою и тогда все хвалили.

— Вишь, какой шустрый, — говорил конюх, — не удержишь.

Через несколько времени пришел конюший и стал удивляться на мой цвет, он даже казался огорченным.

— И в кого такая уродина, — сказал он, — генерал его теперь не оставит в заводе. Эх, Баба, посадила ты

меня, — обратился он к моей матери. — Хоть бы лысого ожеребила, а то вовсе пегого!

Мать моя ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, опять вздохнула.

— И в какого черта он уродился, точно мужик, — продолжал он, — в заводе нельзя оставить, срам, а хорош, очень хорош, — говорил и он, говорили и все, глядя на меня. Через несколько дней пришел и сам генерал посмотреть на меня, и опять все чему-то ужасались и бранили меня и мою мать за цвет моей шерсти. «А хорош, очень хорош», — повторял всякий, кто только меня видел.

До весны мы жили в маточной все порознь, каждый при своей матери, только изредка, когда снег на крышах варков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали выпускать на широкий двор, устланный свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных, близких и дальних. Тут из разных дверей я видел, как выходили с своими сосунками все знаменитые кобылы того времени. Тут была старая Голанка, Мушка — Сметанкина дочь, Краснуха, верховая Доброхотиха, все знаменитости того времени, все собирались тут с своими сосунками, похаживали по солнышку, катались по свежей соломе и обнюхивали друг друга, как и простые лошади. Вид этого варка, наполненного красавицами того времени, я не могу забыть до сих пор. Вам странно думать и верить, что и я был молод и резв, но это так было. Тут была эта самая Вязопуриха, тогда еще годовалым стригунчиком — милой, веселой и резвой лошадкой; но, не в обиду будь ей сказано, несмотря на то, что она редкостью по крови теперь считается между вами, тогда она была из худших лошадей того прилода. Она сама вам подтвердит это.

Пестрота моя, так не нравившаяся людям, чрезвычайно понравилась всем лошадям; все окружили меня, любовались и заигрывали со мною. Я начал уже забывать слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. Но скоро я узнал первое горе в моей жизни, и причиной его была мать. Когда уже начало таять, воробьи чирикали под навесами и в воздухе сильнее начала чувствоваться весна, мать моя стала переме-

няться в обращении со мною. Весь нрав ее изменился; то она вдруг без всякой причины начинала играть, бегая по двору, что совершенно не шло к ее почтенному возрасту; то задумывалась и начинала ржать; то кусала и брыкала в своих сестер-кобыл; то начинала обнюхивать меня и недовольно фыркать; то, выходя на солнце, клала свою голову чрез плечо своей двоюродной сестре Купчихе и долго задумчиво чесала ей спину и отталкивала меня от сосков. Один раз пришел конюший, велел надеть на нее недоуздок, — и ее повели из денника. Она заржала, я откликнулся ей и бросился за нею; но она и не оглянулась на меня. Конюх Тарас схватил меня в охапку, в то время как затворяли дверь за выведенной матерью. Я рванулся, сбил конюха в солому, — но дверь была заперта, и я только слышал все удалявшееся ржание матери. И в ржании этом я уже не слышал призыва, а слышал другое выражение. На ее голос далеко отозвался могущественный голос, как я после узнал, Доброго первого, который с двумя конюхами по сторонам шел на свидание с моею матерью. Я не помню, как вышел Тарас из моего денника: мне было слишком грустно. Я чувствовал, что навсегда потерял любовь своей матери. И все оттого, что я пегий, думал я, вспоминая слова людей о своей шерсти, и такое зло меня взяло, что я стал биться об стены денника головой и коленами — и бился до тех пор, пока не вспотел и не остановился в изнеможении.

Через несколько времени мать вернулась ко мне. Я слышал, как она рысдой и непривычным ходом подбегала к нашему деннику по коридору. Ей отворили дверь, я не узнал ее, как она помолодела и похорошела. Она обнюхала меня, фыркнула и начала гоготать. По всему выражению ее я видел, что она меня не любила. Она рассказывала мне про красоту Доброго и про свою любовь к нему. Свидания эти продолжались, и между мною и матерью отношения становились холоднее и холоднее.

Скоро нас выпустили на траву. С этой поры я узнал новые радости, которые мне заменили потерю любви моей матери. У меня были подруги и товарищи, мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие, и, подняв хвосты, скакать кругами вокруг

своих матерей. Это было счастливое время. Мне все прощалось, все меня любили, любовались мною и снисходительно смотрели на все, что бы я ни сделал. Это продолжалось недолго. Тут скоро случилось со мной ужасное. — Мерин вздохнул тяжело-тяжело и пошел прочь от лошадей.

Заря уже давно занялась. Заскрипели ворота, вошел Нестер. Лошади разошлись. Табунщик оправил седло на мерине и выгнал табун.

Глава VI

НОЧЬ 2-я

Как только лошади были загнаны, они опять столпились вокруг пегого.

— В августе месяце нас разлучили с матерью, — продолжал пегий, — и я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого Усана, и я уже не был тем, чем был прежде. Я не ревновал, но я чувствовал, что становился холодней к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступаю в общее отделение жеребят, где мы стояли по двое и по трое, — и каждый день всей гурьбой молодежи выходили на воздух. Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховый, и впоследствии на нем ездил император, и его изображали на картинках и в статуях. Тогда он еще был простой сосунок, с глянцевиной нежной шерстью, лебединой шейкой и, как струнки, ровными и тонкими ногами. Он был всегда весел, добродушен и любезен; всегда был готов играть, лизаться и подшутить над лошадей или человеком. Мы с ним невольно подружались, живя вместе, и дружба эта продолжалась во все время нашей молодости. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить, заигрывал с кобылками и смеялся над моей невинностью. И, на мое несчастье, я из самолюбия стал подражать ему; и очень скоро увлекся любовью. И эта ранняя склонность моя была причиной величайшей перемены моей судьбы. Случилось так, что я увлекся.

Вязопуриха была старше меня одним годом, мы с нею были особенно дружны; но под конец осени я заметил, что она начала дичиться меня... Но я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви, она сама помнит мое безумное увлечение, окончившееся для меня самой важной переменной в моей жизни. Табунщики бросились гонять ее и бить меня. Вечером меня загнали в особый денник; я ржал целую ночь, как будто предчувствуя события завтрашнего дня.

Наутро пришли в коридор моего денника генерал, конюший, конюха и табунщики, и начался страшный крик. Генерал кричал на конюшого, конюший оправдывался, что он не велел меня пускать, а что это самовольно сделали конюха. Генерал сказал, что он всех перепорет, а жеребчиков нельзя держать. Конюший обещался, что все исполнит. Они затихли и ушли. Я ничего не понимал, но я видел, что что-то такое замышлялось обо мне.

.
.

На другой день после этого я уже навеки перестал ржать, я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто мне не стало мило, я углубился в себя и стал размышлять. Сначала мне все было постыло. Я перестал даже пить, есть и ходить, а уж об игре и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать; но сейчас же представлялся страшный вопрос: зачем? к чему? И последние силы пропадали.

Один раз меня проваживали вечером, в то время как табун гнали с поля. Я издали еще увидел облако пыли с неясными знакомыми очертаниями всех наших маток. Я услышал веселое гоготанье и топот. Я остановился, несмотря на то, что веревка недоуздка, за который меня тянул конюх, резала мне затылок, и стал смотреть на приближающийся табун, как смотрят на всегда потерянное и невозвратимое счастье. Они приближались, и я различал по одной — все мне знакомые, красивые, величавые, здоровые и сытые фигуры. Кое-кто из них тоже оглянулся на меня. Я не чувствовал боль от дерганья недоуздка конюха. Я забылся и невольно, по старой

памяти, заржал и побежал рысью; но ржание мое отозвалось грустно, смешно и нелепо. В табуне не засмеялись, — но я заметил, как многие из них из приличия отвернулись от меня. Им, видимо, и гадко, и жалко, и совестно, а главное — смешно было на меня. Им смешно было на мою тонкую невыразительную шею, большую голову (я похудел в это время), на мои длинные, неуклюжие ноги и на глупый аллюр рысцой, который я, по старой привычке, предпринял вокруг конюха. Никто не отозвался на мое ржание, все отвернулись от меня. Я вдруг все понял, понял, насколько я навсегда стал далек от всех их, и не помню, как пришел домой за кошухом.

Я уже и прежде показывал склонность к серьезности и глубокомыслию, теперь же во мне сделался решительный переворот. Моя пежина, возбуждавшая такое странное презрение в людях, мое странное неожиданное несчастье и еще какое-то особенное положение мое на заводе, которое я чувствовал, но никак еще не мог объяснить себе, заставили меня углубиться в себя. Я задумывался над несправедливостью людей, осуждавших меня за то, что я пегий, я задумывался о непостоянстве материнской и вообще женской любви и зависимости ее от физических условий, и главное, я задумывался над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми, — теми свойствами, из которых вытекала особенность моего положения на заводе, которую я чувствовал, но не мог понять. Значение этой особенности и свойств людских, на которых она была основана, открылось мне по следующему случаю.

Это было зимою во время праздников. Целый день мне не давали корму и не поили меня. Как я после узнал, это происходило потому, что конюх был пьян. В этот же день конюший взошел ко мне, посмотрел, что нет корму, и начал ругать самыми дурными словами конюха, которого здесь не было, потом ушел. На другой день конюх с другим товарищем взошел в наш денник задавать нам сена, я заметил, что он особенно был бледен и печален; в особенности в выражении длинной спины его было что-то значительное и вызывающее со-

страдание. Он сердито бросил сено за решетку; я сунулся было головой чрез его плечо; но он кулаком так больно ударил меня по храпу, что я отскочил. Он еще ударил меня сапогом по животу.

— Кабы не этот коростовый, — сказал он, — ничего бы не было.

— А что? — спросил другой конюх.

— Небось графских не ходит проведывать, а *своего* жеребенка по два раза в день наведывает.

— Разве отдали ему пегого-то? — спросил другой.

— Продали, подарили ли, пес их ведает. Графских хоть всех голодом помори — ничего, а вот как смел *его* жеребенку корму не дать. Ложись, — говорит, — и ну бузовать. Христианства нет. Скотину жалчей человека, креста, видно, на нем нет, сам считал, варвар. Генерал так не парывал, всю спину исполосовал, видно христианской души нет.

То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял, — но для меня совершенно было темно тогда, что такое значили слова: *своего*, *его* жеребенка, из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшим. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что *меня* называли собственностью человека. Слова: моя лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя земля, мой воздух, моя вода.

Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и

ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил — мое. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит мое, тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю; но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какую-нибудь прямою выгодою; но это оказалось несправедливым.

Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они — те, которые называли меня своей лошадью, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие мое не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: «моя лавка». «Моя лавка сукон», например, — и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видали этих людей; и все отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами, а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей своими. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди: деятельность людей — по крайней мере тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наша же — делом. И вот это право говорить обо мне моя лошадь получил конюший и от этого высек конюха. Это открытие сильно поразило меня и вместе с теми

мыслями и суждениями, которые вызывала в людях моя пегая масть, и с задумчивостью, вызванною во мне изменною моею матери, заставило меня сделаться тем серьезным и глубокомысленным меринном, которым я есмь.

Я был трижды несчастлив: я был пегий, я был мерин, и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежал не богу и себе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежал конюшему.

Последствий того, что они вообразили себе это обо мне, было много. Первое из них уж было то, что меня держали отдельно, кормили лучше, чаще гоняли на корде и раньше запрягли. Меня запрягли в первый раз по третьему году. Я помню, как в первый раз сам конюший, который воображал, что я ему принадлежу, с толпою конюхов стали запрягать меня, ожидая от меня буйства или противодействия. Они скрянчили мне губу. Они обвили меня веревками, заводя в оглобли; они надели мне на спину широкий ременный крест и привязали его к оглоблям, чтоб я не бил задом; а я ожидал только случая показать свою охоту и любовь к труду.

Они удивлялись, что я пошел, как старая лошадь. Меня стали проезжать, и я стал упражняться в беганье рысью. С каждым днем я делал большие и большие успехи, так что чрез три месяца сам генерал и многие другие хвалили мой ход. Но странное дело, — именно потому, что они воображали себе, что я не свой, а конюшего, ход мой получал для них совсем другое значение.

Жеребцов, моих братьев, проезжали на бегу, вымеляли их пронос, выходили смотреть на них, ездили в золоченых дрожках, накидывали на них дорогие попоны. Я ездил в простых дрожках конюшего по его делам в Чесменку и другие хутора. Все это происходило оттого, что я был пегий, а главное потому, что я был, по их мнению, не графский, а собственность конюшего.

Завтра, если будем живы, я расскажу вам, какое главное последствие имело для меня это право собственности, которое воображал себе конюший.

Весь этот день лошади почтительно обращались с Холстомером. Но обращение Нестера было так же грубо. Чалый жеребеночек мужика, уже подходя к табуну, заржал, и бурая кобылка опять кокетничала.

Глава VII

НОЧЬ 3-я

Народился месяц, и узенький серп его освещал фигуру Холстомера, стоявшего посередине двора. Лошади толпились около него.

— Главное удивительное последствие для меня того, что я был не графский, не божий, а конюшого, — продолжал пегий, — было то, что то, что составляет главную заслугу нашу, — резвый ход, сделалось причиной моего изгнания. Проезжали на кругу Лебедя, а конюший из Чесменки подъехал на мне и стал у круга. Лебедь прошел мимо нас. Он хорошо ехал, но он все-таки щеголял, не было в нем той спорости, которую я выработал в себе, того, чтобы мгновенно при прикосновении одной ноги отделялась другая и не тратилось бы ни малейшего усилия праздну, а всякое усилие двигало бы вперед. Лебедь прошел мимо нас. Я потянулся в круг, конюший не задержал меня. «А что, померять моего Пегаша?» — крикнул он, и, когда Лебедь поравнялся другой раз, он пустил меня. У того уж была набрана скорость, и потому я отстал на первом заезде, но во второй я стал набирать на него, стал близиться к дрожкам, стал равняться, обходить и обошел. Попытались другой раз — то же самое. Я был резвее. И это привело всех в ужас. Решили, чтобы скорее продать меня подале, чтобы и слуху не было. «А то узнает граф — и беда!» Так говорили они. И меня продали барышнику в крэнной. У барышника я пробыл недолго. Меня купил гусар, приезжавший за ремонтом. Все это было так несправедливо, так жестоко, что я был рад, когда меня вывели из Хреновой и навсегда разлучили со всем, что мне было родно и мило. Мне было слишком тяжело между ними. Им предстояли любовь, почести, свобода, мне — труд, унижения, унижения, труд, и до конца моей жизни! За что? За то, что я был пегий и что от этого я должен был сделаться чьею-то лошадейю.

Дальше в этот вечер Холстомер не мог рассказывать. На варке случилось событие, переполошившее всех лошадей. Купчиха, жеребая запоздавшая кобыла,

слушавшая сначала рассказ, вдруг повернулась и медленно отошла под сарай и там начала кряхтеть так громко, что все лошади обратили на нее внимание, потом она легла, потом опять встала, опять легла. Старые матки поняли, что с ней, но молодежь пришла в волнение и, оставив мерина, окружила больную. К утру был новый жеребенок, качавшийся на ножках. Нестер кликнул конюшего, и кобылу с жеребенком отвели в денник, а лошадей погнали без нее.

Глава VIII

НОЧЬ 4-я

Вечером, когда ворота затворили и все затихло, пегий продолжал так:

— Много наблюдений над людьми и лошадьми успел я сделать во время всех моих переходов из рук в руки. Дольше всего я был у двух хозяев: у князя, гусарского офицера, потом у старушки, жившей у Николая Явленного.

У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни.

Хотя он был причиной моей гибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я любил его и люблю его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил. Вы понимаете это наше высокое лошадиное чувство. Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я, бывало, в наши хорошие времена, я тем буду счастливее.

Он купил меня у барышника, которому за восемьсот рублей продал меня конюший. Он купил меня за то, что ни у кого не было пегих лошадей. Это было мое лучшее время. У него была любовница. Я знал это потому, что каждый день возил его к ней и ее, и иногда возил их вместе. Любовница его была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец. И я всех их любил за это. И мне было хорошо жить. Жизнь моя проходила так: с утра приходил конюх чистить меня,

не сам кучер, а конюх. Конюх был молодой молодчик, взятый из мужиков. Он отворял дверь, выпускал пар лошадиный, выкидывал навоз, снимал попоны и начинал ерзать щеткой по телу и скребницей класть беловатые ряды плоти на избитый шипами канатник пола. Я шутивно покусывал его за рукав, я постукивал ногой. Потом подводили одного за другим к чану холодной воды, и малый любовался на гладкие своего труда пежины, на ногу, прямую, как стрела, с широким копытом, и на лоснящийся круп и спину, хоть спать ложись. За высокие решетки закладывали сено, всыпали овес в дубовые ясли. Приходил Феофан, старший кучер.

Хозяин и кучер были похожи. И тот и другой ничего не боялись и никого не любили, кроме себя, и за это все любили их. Феофан ходил в красной рубашке и плисовых штанах и поддевке. Я любил, когда он, бывало, в праздник, напояженный, в поддевке, зайдет в конюшню и крикнет: «Ну, животина, забыла!» — и толкнет рукояткой вилки меня по ляжке, но никогда не больно, а только для шутки. Я тотчас же понимал шутку и, прикладывая ухо, щелкал зубами.

Был у нас вороной жеребец из пары. Меня по ночам запрягали и с ним. Полкан этот не понимал шутки, а был просто зол, как черт. Я с ним рядом стоял, через стойло, и, бывало, серьезно грызся. Феофан не боялся его. Бывало, подойдет прямо, крикнет, кажется убьет, — нет, мимо, и Феофан наденет оброть. Раз мы с ним в паре понесли вниз по Кузнецкому. Ни хозяин, ни кучер не испугались, оба смеялись, кричали на народ и сдерживали и поворачивали, так никого и не задавили.

В их службе я потерял лучшие свои качества и половину жизни. Тут меня и опоили, и разбили на ноги. Но несмотря на то, это было лучшее время моей жизни. В двенадцать приходили, впрягали, мазали копыты, смачивали челку в гриву и вводили в оглобли.

Сани были камышовые плетеные бархатные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками, вожжи шелковые и одно время — филе. Запряжка была такая, что, когда все поводки, ремешки были прилажены и застегнуты, нельзя было разобрать, где кончается запряжка и начинается лошадь. Запрягут в сарае на развязке.

Выйдет Феофан с задом шире плеч, в красном кушаке под мышку, оглядит запряжку, сядет, заправит кафтан, выставит ногу в стремя, пошутит что-нибудь всегда, привесит кнут, которым почти никогда не стегнет меня, только для порядка, и скажет: «Пушай!» И, играя каждым шагом, я трогаю из ворот, и кухарка, вышедшая выплеснуть помои, останавливается на пороге, и мужики, привезшие на двор дрова, таращат глаза. Выедет, проедет и станет. Выйдут лакеи, подъедут кучера, и пойдут разговоры. Всё ждут, часа три иногда стоим у подъезда, изредка проезжаем, заворачиваем и опять становимся.

Наконец зашумят в дверях, выбежит во фраке седой Тихон с брюшком: «Подавай!» Тогда не было этой глупой манеры говорить: «вперед», как будто я не знаю, что ездют не назад, а вперед. Чмокнет Феофан. Подъедет, и выходит торопливо-небрежно, как будто ничего удивительного нет ни в этих санях, ни в лошади, ни в Феофане, который изогнет спину и вытянет руки так, как их, кажется, держать долго нельзя, выйдет князь в кивере и шинели с бобровым седым воротником, закрывающим румяное, чернобровое красивое лицо, которое бы никогда закрывать не надо, выйдет, побрякивая саблей, шпорами и медными задниками калош, ступая по ковру, как будто торопясь и не обращая внимания на меня и на Феофана, то, на что смотрят и чем любуются все, кроме его. Чмокнет Феофан, я вягу в поводу, и честно, шагом подъедем, станем; я покошусь на князя, взмахну кровной головой и тонкой челкой. Князь в духе, иногда пошутит с Феофаном, Феофан ответит, чуть оборачивая красивую голову, и не спуская рук, делает чуть заметное, понятное для меня движение вожжами, и раз-раз-раз, все шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, я еду. Тогда тоже не было нынешней глупой манеры кричать: «О!» — как будто у кучера болит что-нибудь, а непонятное: «Пади берегись!» — «Пади берегись!» — покрикивает Феофан, и народ сторонится, и останавливается, и шею кривит, оглядываясь на красавца мерина, красавца кучера и красавца барина.

Любил я перегнуть рысака. Когда, бывало, мы издалека завидим с Феофаном упряжь, достойную нашего

усилия, и мы, летя, как вихрь, медленно начинаем наплывать ближе и ближе, уж я кидаю грязь в спинку саней, равняюсь с седоком и над головой фыркаю ему, равняюсь с седелкой, с дугой, уж не вижу его и слышу только сзади себя все удаляющиеся его звуки. А князь, и Феофан, и я — мы все молчим и делаем вид, что мы просто едем по своему делу, что мы и не замечаем тех, которые попадают на пути на плохих лошадях. Любил я перегнать, но любил я также встретиться с хорошим рысаком; один миг, звук, взгляд, и мы уж разъехались и опять одиноко летим, каждый в свою сторону.

Заскрипели ворота, и послышались голоса Нестера и Васьки.

НОЧЬ 5-я

Погода начала изменяться. Было пасмурно, с утра и росы не было, но тепло, и комары липли. Как только табун загнали, лошади собрались вокруг пегого, и он так кончил свою историю:

— Счастливая жизнь моя кончилась скоро. Я прожил так только два года. В конце второй зимы случилось самое радостное для меня событие и вслед за ним самое большое мое несчастье. Это было на масленице, я повез князя на бег. На бегу ехали Атласный и Бычок. Не знаю, что он делал там в беседке, но знаю, что он вышел и велел Феофану въехать в круг. Помню, меня ввели в круг, поставили, и поставили Атласного. Атласный ехал с поддужным, я, как был, в городских санках. В завороте я его кинул; и хохот и рев восторга приветствовали меня.

Когда меня проваживали, за мной ходила толпа. И человек пять предлагали князю тысячи. Он только смеялся, показывая свои белые зубы.

— Нет, — говорил он, — то не лошадь, а друг, горы золота не возьму. До свиданья, господа, — расстегнул полость, сел.

— На Стожинку. — Это была квартира его любовницы. И мы полетели. Это был наш последний счастливый день.

Мы приехали к ней. Он называл ее своею. А она полюбила другого и уехала с ним. Он узнал это у нее



на квартире. Было пять часов, и он, не отпрягая меня, поехал за ней. Чего никогда не было: меня стегали кнутом и пускали скакать. В первый раз я сделал сбой, и мне совестно стало, и я хотел поправиться; но вдруг я услышал, князь кричал не своим голосом: «Валяй!» И свистнул кнут и резнул меня, и я поскакал, ударяя ногой в железо передка. Мы догнали ее за двадцать пять верст. Я довез его, но дрожал всю ночь и не мог ничего есть. Наутро мне дали воды. Я выпил и навек перестал быть той лошадью, какую я был. Я болел, меня мучали и калечили — лечили, как это называют люди. Сошли копыты, сделались наливывы, и ноги согнулись, груди не стало и появилась вялость и слабость во всем. Меня продали барышнику. Он меня кормил морковью и еще чем-то и сделал из меня что-то совсем непохожее на меня, но такое, что могло обмануть незнающего. Ни силы, ни езды во мне уже не было. Кроме того, барышник мучал меня тем, что, как только приходили покупатели, он входил в мой денник и начинал больным кнутом стегать и пугать меня, так что доводил до бешенства. Потом затирал рубцы от кнута и выводил. У барышника купила меня старушка. Ездил она все к Николе Явленному и секла кучера. Кучер плакал в моем стойле. И тут я узнал, что слезы имеют приятный соленый вкус. Потом старушка умерла. Приказчик ее взял меня в деревню и продал краснорядцу, потом я объелся пшеницы и еще хуже заболел. Меня продали мужику. Там я пахал, почти ничего не ел, и мне подрезали ногу сошниками. Я опять болел. Цыган выменял меня. Он мучал меня ужасно и, наконец, продал здешнему приказчику. И вот я здесь.

Все молчали. Стал накрапывать дождь.

Глава IX

Возвращаясь домой в следующий вечер, табун наткнулся на хозяина с гостем. Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две мужские фигуры: один был молодой хозяин в соломенной шляпе, другой высокий, толстый, обрюзгший военный. Старуха покосилась на

людей и, прижав, прошла подле него; остальные — молодежь — переполошились, замялись, особенно когда хозяин с гостем нарочно вошли в середину лошадей, что-то показывая друг другу и разговаривая.

— Вот эту я у Воейкова купил — серую в яблоках, — говорил хозяин.

— А эта молодая вороная белоножка чья? — хороша, — говорил гость. Они перебрали много лошадей, забегая и останавливая. Заметили и бурую кобылку.

— Это от верховых хреновских осталась у меня порода, — сказал хозяин.

Они не могли рассмотреть всех лошадей на ходу. Хозяин закричал Нестера, и старик, торопливо постукивая каблуками бока пегого, рысцой выбежал вперед. Пегий ковылял, припадая на одну ногу, но бежал так, что видно было, он ни в каком случае не стал бы роптать, даже ежели бы ему велели бежать так, насколько хватит силы, на край света. Он даже готов был бежать навскачь и даже покушался на это с правой ноги.

— Вот лучше этой кобылы — я смело могу сказать — нет лошади в России, — сказал хозяин, указывая на одну из кобыл. Гость похвалил. Хозяин взволнованно заходил, забегал, показывал и рассказывал историю и породу каждой лошади. Гостю, очевидно, было скучно слушать хозяина, и он придумывал вопросы, чтобы было похоже, что и он интересуется этим.

— Да, да, — говорил он рассеянно.

— Ты взгляни, — говорил хозяин, не отвечая, — ноги взгляни... Дорого досталась, да уж у меня третьяк от нее и едет.

— Хорошо едет? — сказал гость.

Так перебрали почти всех лошадей, и показывать больше нечего было. И они замолчали.

— Ну что ж, пойдем?

— Пойдем. — Они пошли в ворота. Гость рад был, что кончилось показыванье и что пойдут домой, где можно поесть, попить, покурить, и видимо повеселел. Проходя мимо Нестера, который, сидя на пегом, ожидал еще приказаний, гость хлопнул большой жирной рукой по крупу пегого.

— Вот расписной-то! — сказал он. — Такой-то у меня был пегий, помнишь, я тебе рассказывал.

Хозяин услышал, что говорят не об его лошадях, и не слушал, а, оглядываясь, продолжал смотреть на табун.

Вдруг над самым ухом его послышалось глупое, слабое, старческое ржание. Это заржал пегий, не кончил и, как будто сконфузился, оборвал. Ни гость, ни хозяин не обратили внимания на это ржанье и прошли домой. Холстомер узнал в обрюзгшем старике своего любимого хозяина, бывшего блестящего богача-красавца Серпуховского.

Глава X

Дождь продолжал моросить. На варке было пасмурно, а в барском доме было совсем другое. У хозяина был накрыт роскошный вечерний чай в роскошной гостиной. За чаем сидели хозяин, хозяйка и приезжий гость.

Хозяйка беременная, что очень заметно было по ее поднявшемуся животу, прямой, выгнутой позе, по полноте и в особенности по глазам, внутрь кротко и важно смотревшим большим глазам, сидела за самоваром.

Хозяин держал в руках ящик особенных десятилетних сигар, каких ни у кого не было, по его словам, и сбирался похвастать ими перед гостем. Хозяин был красавец лет двадцати пяти, свежий, холеный, расчесанный. Он дома был одет в свежую широкую, толстую пару, сделанную в Лондоне. На цепочке у него были крупные дорогие брелоки. Запонки рубашки были большие, тоже массивные, золотые, с бирюзой. Борода была à la Наполеон III, и мышинные хвостики были намажены и торчали так, как только могли это произвести в Париже. На хозяйке было платье шелковой кисеи с большими пестрыми букетами, на голове большие золотые, какие-то особенные шпильки в густых русых, хоть и не вполне своих, но прекрасных волосах.

На руках было много браслетов и колец, и всё дорогие. Самовар был серебряный, сервиз тоненький. Лакей, великолепный в своем фраке и белом жилете и галстук, как статуя, стоял у двери, ожидая приказаний. Мебель была гнутая, изогнутая и яркая; обои темные, большими цветами. Около стола звенела серебряным ошейником левретка, необычайно тонкая, которую звали необычайно трудным аглицким именем, плохо выговариваемым обоими, не знавшими по-аглицки. В углу, в цветах, стояло фортепяно *incrústé*¹. От всего веяло новизной, роскошью и редкостью. Все было очень хорошо, но на всем был особенный отпечаток излишка, богатства и отсутствия умственных интересов.

Хозяин был рысистый охотник, крепыш-сангвиник, один из тех, которые никогда не переводятся, ездят в собольих шубах, бросают дорогие букеты актрисам, пьют вино самое дорогое, с самой новой маркой, в самой дорогой гостинице, дают призы своего имени и содержат самую дорогую.

Приезжий, Никита Серпуховской, был человек лет за сорок, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился, видимо, физически, и морально, и денежно.

На нем было столько долгов, что он должен был служить, чтобы его не посадили в яму. Он теперь ехал в губернский город начальником коннозаводства. Ему выхлопотали это его важные родные. Он был одет в военный китель и синие штаны. Китель и штаны были такие, каких бы никто себе не сделал, кроме богача, белье тоже, часы были тоже английские. Сапоги были на каких-то чудных, в палец толщины, подошвах.

Никита Серпуховской промотал в жизни состояние в два миллиона и остался еще должен сто двадцать тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредит и возможность почти роскошно прожить еще лет десять. Лет десять уж проходили, и размах кончался, и Никите становилось грустно жить. Он начинал уже попивать, то есть хмелеть от вина, чего пре-

¹ с инкрустацией (франц.).

жде с ним не бывало. Пить же, собственно, он никогда не начинал и не кончал. Более же всего заметно было его падение в беспокойстве взглядов (глаза его начинали бегать) и нетвердости интонаций и движений. Это беспокойство поражало тем, что оно, очевидно, недавно пришло к нему, потому что видно было, что он долго привык всю жизнь никого и ничего не бояться и что теперь, недавно только, он дошел тяжелыми страданиями до этого страха, столь несвойственного его натуре. Хозяин и хозяйка замечали это, переглядывались так, что, видимо, понимая друг друга, откладывали только до постели подробное обсуждение этого предмета и переносили бедного Никиту и даже ухаживали за ним. Вид счастья молодого хозяина унижал Никиту и заставлял его, вспоминая свое безвозвратное прошедшее, болезненно завидовать.

— Что, вам ничего сигары, Мари? — сказал он, обращаясь к даме тем особенным, неуловимым и приобретаемым только опытностью тоном — вежливым, приятельским, но не вполне уважительным, которым говорят люди, знающие свет, с содержанками, в отличие от жен. Не то чтобы он хотел оскорбить ее, напротив, теперь он скорее хотел подделаться к ней и ее хозяину, хотя ни за что сам себе не признался бы в этом. Но он уж привык говорить так с такими женщинами. Он знал, что она сама бы удивилась, даже оскорбилась бы, ежели бы он с ней обходился, как с дамой. Притом надо было удержать за собой известный оттенок почтительного тона для настоящей жены своего равного. Он обращался с такими дамами всегда уважительно, но не потому, чтобы он разделял так называемые убеждения, которые проповедуются в журналах (он никогда не читал этой дряни) о уважении к личности каждого человека, о ничтожности брака и т. д., а потому, что так поступают все порядочные люди, а он был порядочный человек, хотя и упавший.

Он взял сигару. Но хозяин неловко взял горсть сигар и предложил гостю.

— Нет, ты увидишь, как хороши. Возьми.

Никита отклонил рукой сигары, и в глазах его мелькнуло чуть заметно оскорбление и стыд.

— Спасибо. — Он достал сигарочницу. — Попробуй моих.

Хозяйка была чуткая. Она заметила это и поспешила заговорить с ним:

— Я очень люблю сигары. Я бы сама курила, если бы не все курили вокруг меня.

И она улыбнулась своей красивой, доброй улыбкой. Он улыбнулся в ответ ей нетвердо. Двух зубов у него не было.

— Нет, ты возьми эту, — продолжал нечуткий хозяин. — Другие, те послабее. Фриц, bringen Sie noch eine Kasten, — сказал он, — dort zwei¹.

Немец-лакей принес другой ящик.

— Ты какие больше любишь? Крепкие? Эти очень хороши. Ты возьми все, — продолжал он совать. Он, видимо, был рад, что было перед кем похвастаться своими редкостями, и ничего не замечал. Серпуховской закурил и поспешил продолжать начатый разговор.

— Так во сколько тебе пришелся Атласный? — сказал он.

— Дорог пришелся, не меньше пяти тысяч, но по крайней мере уж я обеспечен. Какие дети, я тебе скажу!

— Едут? — спросил Серпуховской.

— Хорошо едут. Нынче сын его взял три приза: в Туле, Москве и в Петербурге бежал с воейковским Вороным. Каналья наездник сбил четыре сбоя, а то бы за флагом оставил.

— Сыр он немного. Голандщины много, вот что я тебе скажу, — сказал Серпуховской.

— Ну а матки-то на что? Я тебе покажу завтра. Добрыню я дал три тысячи. Ласковую — две тысячи.

И опять хозяин начал перечислять свое богатство. Хозяйка видела, что Серпуховскому это тяжело и что он притворно слушает.

— Будете еще чай пить? — спросила она.

— Не буду, — сказал хозяин и продолжал рассказывать. Она встала, хозяин остановил ее, обнял и поцеловал.

¹ принесите еще один ящик, там два (нем.).

Серпуховской начал было улыбаться, глядя на них и для них, ненатуральной улыбкой, но когда хозяин встал и, обняв ее, вышел с ней до портьеры — лицо Никиты вдруг изменилось, он тяжело вздохнул, и на обрюзгшем лице его вдруг выразилось отчаяние. Даже злоба была видна на нем.

Глава XI

Хозяин вернулся и, улыбаясь, сел против Никиты. Они помолчали.

— Да, ты говорил, у Воейкова купил, — сказал Серпуховской, как будто небрежно.

— Да — Атласного, ведь я говорил. Мне все хотелось кобыл у Дубовицкого купить. Да дрянь осталась.

— Он прогорел, — сказал Серпуховской и вдруг остановился и оглянулся кругом. Он вспомнил, что должен этому самому прогоревшему двадцать тысяч. И что если говорить про кого «прогорел», то уж, верно, про него говорят это. Он замолчал.

Оба опять долго молчали. Хозяин в голове перебирал, чем бы похвастаться перед гостем. Серпуховской придумывал, чем бы показать, что он не считает себя прогоревшим. Но у обоих мысли ходили туго, несмотря на то, что они старались подбодрить себя сигарами. «Что ж, когда выпить?» — думал Серпуховской. «Неприменно надо выпить, а то с ним с тоски умрешь», — думал хозяин.

— Так как же ты долго здесь пробудешь? — сказал Серпуховской.

— Да еще с месяц. Что ж, поужинаем, что ль? Фриц, готово?

Они вышли в столовую. В столовой под лампой стоял стол, уставленный свечами и самыми необыкновенными вещами: сифоны, куколки на пробках, вино необыкновенное в графинах, необыкновенные закуски, водки. Они выпили, съели, еще выпили, еще съели, и разговор завязался. Серпуховской раскраснелся и стал говорить, не робея.

Они говорили про женщин. У кого какая: цыганка, танцовщица, французенка.

— Ну что ж, ты оставил Матье? — спросил хозяин. Это была содержанка, которая разорила Серпуховского.

— Не я, а она. Ах, брат, как вспомнишь, что просадил в своей жизни! Теперь я рад, как заведутся тысяча рублей, рад, право, как уеду от всех. В Москве не могу. Ах, что говорить.

Хозяину было скучно слушать Серпуховского. Ему хотелось говорить про себя — хвастаться. А Серпуховскому хотелось говорить про себя — про свое блестящее прошедшее. Хозяин налил ему вина и ждал, когда он кончит, чтобы рассказать ему про себя, как у него теперь устроен завод так, как ни у кого не был прежде. И что его Мари не только из-за денег, но сердцем любит его.

— Я тебе хотел сказать, что в моем заводе... — начал было он. Но Серпуховской перебил его.

— Было время, могу сказать, — начал он, — что я любил и умел пожить. Ты вот говоришь про езду, ну скажи, какая у тебя самая резвая лошадь?

Хозяин обрадовался случаю рассказать еще про завод, и он начал было; но Серпуховской опять перебил его.

— Да, да, — сказал он. — Ведь это у вас, у заводчиков, только для тщеславия, а не для удовольствий и для жизни. А у меня не так было. Вот я тебе говорил нынче, что у меня была ездовая лошадь, пегая, такие же пежины, как под твоим табунщиком. Ох, лошадь же была! Ты не мог знать; это было в сорок втором году, я только приехал в Москву; поехал к барышнику и вижу — пегий мерин. Ладов хороших. Мне понравился. Цена? Тысяча рублей. Мне понравился, я взял и стал ездить. Не было у меня, да и у тебя нет и не будет такой лошади. Лучше я не знал лошади ни ездой, ни силой, ни красотой. Ты мальчишка был тогда, ты не мог знать, но ты слышал, я думаю. Вся Москва знала его.

— Да, я слышал, — неохотно сказал хозяин, — но я хотел тебе сказать про своих...

— Так ты слышал. Я купил его так, без породы, без аттестата; потом уж я узнал. Мы с Воейковым добирались. Это был сын Любезного первого, Холстомер. Холсты меряет. Его за пежину отдали с Хреновского

завода конюшему, а тот выхолостил и продал барышнику. Таких уж лошадей нет, дружок! Ах, время было. Ах ты, молодость! — пропел он из цыганской песни. Он начинал хмелеть. — Эх, хорошее было время. Мне было двадцать пять лет, у меня было восемьдесят тысяч серебром дохода тогда, ни одного седого волоса, все зубы как жемчуг. За что ни возьмусь, все удается; и все кончилось.

— Ну, тогда не было той резвости, — сказал хозяин, пользуясь перерывом. — Я тебе скажу, что мои первые лошади стали ходить без...

— Твои лошади! Да тогда резвее были.

— Как резвее?

— Резвее. Я как теперь помню, выехал я раз в Москве на бег на нем. Моих лошадей не было. Я не любил рысистых, у меня были кровные, Генерал, Шоле, Магомет. На пегом я ездил. Кучер у меня был славный малый, я любил его. Тоже спился. Так приехал я. — Серпуховской, когда, — говорят, — ты заведешь рысистых? — Мужиков-то ваших, черт их возьми, у меня извозчикий пегий всех ваших обежит. — Да вот не обегает. — Пари тысяча рублей. — Ударилась. Пустили. На пять секунд обошел, тысячу рублей выиграл пари. Да это что. Я на кровных, на тройке, сто верст в три часа сделал. Вся Москва знает.

И Серпуховской начал врать так складно и так непрерывно, что хозяин не мог вставить ни одного слова и с унылым лицом сидел против него, только для развлечения подливая себе и ему вино в стаканы.

Стало уж светать. А они все сидели. Хозяину было мучительно скучно. Он встал.

— Спать — так спать, — сказал Серпуховской, вставая и шатаясь, и, отдуваясь, пошел в отведенную комнату.

Хозяин лежал с любовницей.

— Нет, он невозможен. Напился и врет не переставая.

— И за мной ухаживает.

— Я боюсь, будет просить денег.

Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался.

«Кажется, я много врал, — подумал он. — Ну все равно. Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая, — сказал он сам себе и захохотал. — То я содержал, то меня содержат. Да, Винклерша содержит — я у ней деньги беру. Так ему и надо, так ему и надо! Однако раздеться, сапоги не снимешь».

— Эй! Эй! — крикнул он, но человек, приставленный к нему, ушел давно спать.

Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить, брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой — бился, бился, запыхался и устал. И так, с ногой в голенище, повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости.

Глава XII

Ежели Холстомер что еще вспоминал в эту ночь, то его развлек Васька. Кинул на него попону и поскакал, до утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадей. Они лизались. Утром он пошел в табун и все чесался.

«Что-то больно чешется», — думал он.

Прошло пять дней. Позвали коновала. Он с радостью сказал:

— Короста. Позвольте цыганам продать.

— Зачем? Зарежьте, только чтоб нынче его не было.

Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Холстомер остался. Пришел странный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черным кафтане. Это был драч. Он взял, не поглядев на него, повод оброти, надетой на Холстомера, и повел. Холстомер пошел спокойно, не оглядываясь, как всегда волоча ноги и цепляя задними по соломе. Выйдя за ворота, он потянулся к колодцу, но драч дернул и сказал: «Не к чему».

Драч и Васька, шедший сзади, пришли в лощинку за кирпичным сараем и, как будто что-то особенное было на этом самом обыкновенном месте, остановились, и драч, передав Ваське повод, снял кафтан, засучил рукава, достал из голенища нож и брусок, стал точить о

брусочек. Мерин потянулся к поводку, хотел от скуки пожевать его, но далеко было, он вздохнул и закрыл глаза. Губа его повисла, открылись съеденные желтые зубы, и он стал задремывать под звуки течения ножа. Только подрагивала его больная с наплывом отставленная нога. Вдруг он почувствовал, что его взяли под салазки и поднимают кверху голову. Он открыл глаза. Две собаки были перед ним. Одна нюхала по направлению к драчу, другая сидела, глядя на мерина, как будто ожидая чего-то именно от него. Мерин взглянул на них и стал тереть скулою о руку, которая держала его.

«Лечить, верно, хотят, — подумал он. — Пускай!»

И точно, он почувствовал, что что-то сделали с его горлом. Ему стало больно, он вздрогнул, ботнул ногой, но удержался и стал ждать, что будет дальше. Дальше сделалось то, что что-то жидкое полилось большой струей ему на шею и грудь. Он вздохнул во все бока. Ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни. Он закрыл глаза и стал склонять голову — никто не держал ее. Потом стала склоняться шея, потом ноги задрожали, зашаталось все тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Все так ново стало. Он удивился, рванулся вперед, вверх. Но вместо этого ноги, сдвинувшись с места, заплелись, он стал валиться на бок и, желая переступить, завалился вперед и на левый бок. Драч подождал, пока прекратились судороги, отогнал собак, подвинувшихся ближе, и потом, взяв за ногу и отворотив мерина на спину и велел Ваське держать за ногу, начал свежевать.

— Тоже лошадь была, — сказал Васька.

— Кабы посытее, хороша бы кожа была, — сказал драч.

Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали воронья и коршуны. Одна собака, упершись лапами в стерву, мотая головой, отрывала с треском то, что зацепила. Бурая кобылка остановилась, вытянула голову и шею и долго втягивала в себя воздух. Насилу могли отогнать ее.

На заре в овраге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выли головастые волченята. Их было пять: четыре почти равные, а один маленький, с головой больше туловища. Худая линявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волчат. Волченята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив полено и перегнув морду книзу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхаркнула большой кусок конины. Волченята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила все маленькому. Маленький, как бы гневаясь, рыча ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхаркнула волчица другому, и третьему, и всем пятерым и тогда легла против них, отдыхая.

Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и два мослака, остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти мослаки и череп и пустил их в дело.

Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А как уже двадцать лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю было только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но все-таки мертвые, хоронящие мертвых, нашли нужным одеть это, тотчас же загнившее, пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб, с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый, и свезти его в Москву и там раскопать давнишние людские кости и именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать все землей.

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО

1883. 20 октября. Сегодня возили меня свидетельствовать в губернское правление, и мнения разделились. Они спорили и решили, что я не сумасшедший. Но они решили так только потому, что я всеми силами держался во время свидетельствования, чтобы не высказаться. Я не высказался, потому что боюсь сумасшедшего дома; боюсь, что там мне помешают делать мое сумасшедшее дело. Они признали меня подверженным аффектам, и еще что-то такое, но — в здравом уме; они признали, но я-то знаю, что я сумасшедший. Доктор предписал мне лечение, уверяя меня, что если я буду строго следовать его предписаниям, то это пройдет. Все, что беспокоит меня, пройдет. О, что бы я дал, чтобы это прошло. Слишком мучительно. Расскажу по порядку, как и отчего оно взялось, это освидетельствование, как я сошел с ума и как выдал свое сумасшествие. До тридцати пяти лет я жил, как все, и ничего за мной заметно не было. Нешто только в первом детстве, до десяти лет было со мной что-то похожее на теперешнее состояние, но и то только припадками, а не так, как теперь постоянно. В детстве находило оно на меня немножко иначе. А именно вот так.

Помню, раз я ложился спать, мне было пять или шесть лет. Няня Евпраксия — высокая, худая, в коричневом платье, с чаплыжкой на голове и с отвисшей кожей под бородой, раздела меня и посадила в кровать.

— Я сам, сам, — заговорил я и перешагнул через перильца.

— Ну ложитесь, ложитесь, Феденька — вон Митя умник, уже легли, — сказала она, показывая головой на брата.

Я прыгнул в кровать, все держа ее руку. Потом выпустил, поболтал ногами под одеялом и закутался. И так мне хорошо. Я затих и думал: «Я люблю няню, няня любит меня и Митеньку, а я люблю Митеньку, а Митенька любит меня и няню. А няню любит Тарас, а я люблю Тараса, и Митенька любит. А Тарас любит меня и няню. А мама любит меня и няню, а няня любит маму, и меня и папу, и все любят, и всем хорошо». И вдруг я слышу, вбегают экономка и с сердцем кричит что-то об сахарнице, и няня с сердцем говорит, она не брала ее. И мне становится больно, и страшно, и непонятно, и ужас, холодный ужас находит на меня, и я прячусь с головой под одеяло. Но и в темноте одеяла мне не легче. Я вспоминаю, как при мне раз били мальчика, как он кричал, и какое страшное лицо было у Фоки, когда он его бил.

— А не будешь, не будешь, — приговаривал он и все бил. Мальчик сказал «не буду». А тот приговаривал «не будешь» и все бил. И тут на меня нашло. Я стал рыдать, рыдать. И долго никто не мог меня успокоить. Вот эти-то рыдания, это отчаяние были первыми припадками моего теперешнего сумасшествия. Помню, другой раз это нашло на меня, когда тетя рассказала про Христа. Она рассказала и хотела уйти, но мы сказали:

— Расскажи еще про Иисуса Христа.

— Нет, теперь некогда.

— Нет, расскажи, — и Митенька просил рассказать. И тетя начинала опять то же, что она рассказала нам прежде. Она рассказала, что его распяли, били, мучили, а он все молился и не осудил их.

— Тетя, за что же его мучили?

— Злые люди были.

— Да ведь он был добрый.

— Ну будет, уже девятый час. Слышите.

— За что они его били? Он простил, да за что они били. Больно было. Тетя, больно ему было?

- Ну будет, я пойду чай пить.
- А может быть, это неправда, его не били.
- Ну будет.
- Нет, нет, не уходи.

И на меня опять нашло, рыдал, рыдал, потом стал биться головой об стену.

Так это находило на меня в детстве. Но с четырнадцати лет, с тех пор, как проснулась во мне половая страсть и я отдался пороку, все это прошло, и я был мальчик, как все мальчики. Как все мы, воспитанные на жирной излишней пище, изнеженные, без физического труда и со всеми возможными соблазнами для воспаления чувственности, и в среде таких же испорченных детей, мальчики моего возраста научили меня пороку, и я отдался ему. Потом этот порок заменился другим. Я стал знать женщин, и так, ища наслаждений и находя их, я жил до тридцати пяти лет. Я был совершенно здоров, и не было никаких признаков моего сумасшествия. Эти двадцать лет моей здоровой жизни прошли для меня так, что я теперь ничего из них почти не помню и вспоминаю теперь с трудом и омерзением.

Как все мальчики моего круга умственно здоровые, я поступил в гимназию, потом в университет, где и кончил курс по юридическому факультету. Потом я служил немного, потом сошелся с моей теперешней женой и женился и жил в деревне, как говорится, воспитывал детей, хозяйничал и был мировым судьей. На десятом году моей женитьбы случился со мной первый припадок после моего детства.

Мы скопили с женой деньги от ее наследства и моих свидетельств за выкуп и решили купить имение. Меня очень занимало, как и должно быть, увеличение нашего состояния и желание увеличить его самым умным способом, лучше, чем другие. Я узнавал тогда везде, где продаются имения, и читал все объявления в газетах. Мне хотелось купить так, чтобы доход, или лес с имения покрыл бы покупку, и я бы получил имение даром. Я искал такого дурака, который бы не знал толку, и раз мне показалось, что я нашел такого.

Именье с большими лесами продавалось в Пензенской губернии. По всему, что я разузнал, выходило, что продавец именно такой дурак, и леса окупят ценность имения. Я собрался и поехал. Ехали мы сначала по железной дороге (я ехал с слугою), потом поехали на почтовых перекладных. Поездка была для меня очень веселая. Слуга, молодой, добродушный человек, был так же весел, как и я. Новые места, новые люди. Мы ехали, веселились. До места нам было двести с чем-то верст. Мы решили ехать не останавливаясь, только перемежая лошадей. Наступила ночь, мы всё ехали. Стали дремать. Я задремал, но вдруг проснулся. Мне стало чего-то страшно. И как это часто бывает, проснулся испуганный, оживленный — кажется, никогда не заснешь. «Зачем я еду? Куда я еду?» — пришло мне вдруг в голову. Не то чтобы не нравилась мысль купить дешево имение, но вдруг представилось, что мне не нужно ни за чем в эту даль ехать, что я умру тут в чужом месте. И мне стало жутко. Сергей, слуга, проснулся, я воспользовался этим, чтоб поговорить с ним. Я заговорил о здешнем крае, он отвечал, шутил, но мне было скучно. Заговорили о домашних, о том, как мы купим. И мне удивительно было, как он весело отвечал. Все ему было хорошо и весело, а мне все было постыло. Но все-таки, пока я говорил с ним, мне было легче. Но кроме того, что мне скучно, жутко было, я стал чувствовать усталость, желание остановиться. Мне казалось, что войти в дом, увидеть людей, выпить чаю, а главное заснуть, легче будет. Мы подъезжали к городу Арзамасу.

— А что, не переждать ли нам здесь? Отдохнем немножко?

— Что ж, отлично.

— Что, далеко еще до города?

— От той версты семь.

Ямщик был степенный, аккуратный и молчаливый. Он и ехал не скоро и скучно. Мы поехали. Я замолчал, мне стало легче, потому что я ждал впереди отдыха и надеялся, что там все пройдет. Ехали, ехали в темноте, ужасно мне казалось долго. Подъехали к городу. Народ весь уж спал. Показались в темноте домишки, зазвучал колокольчик и лошадиный топот, особенно отражаясь,

как это бывает, около домов. Дома пошли кое-где большие, белые. И все это невесело было. Я ждал станции, самовара и отдыха — лечь. Вот подъехали наконец к какому-то домику с столбом. Домик был белый, но ужасно мне показался грустный. Так что жутко даже стало. Я вылез потихоньку. Сергей бойко, живо вытаскивал, что нужно, бегая и стуча по крыльцу. И звуки его ног наводили на меня тоску. Я вошел, был коридорчик, заспанный человек с пятном на щеке, пятно это мне показалось ужасным, показал комнату. Мрачная была комната. Я вошел, еще жутче мне стало.

— Нет ли комнатки, отдохнуть бы?

— Есть номерок. Он самый.

Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как, я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно, с гардинкой — красной. Стол карельской березы и диван с изогнутыми сторонами. Мы вошли. Сергей устроил самовар, залил чай. А я взял подушку и лег на диван. Я не спал, но слушал, как Сергей пил чай и меня звал. Мне страшно было встать, разгулять сон и сидеть в этой комнате страшно. Я не встал и стал задремывать. Верно, и задремал, потому что, когда я очнулся, никого в комнате не было и было темно. Я был опять так же пробужден, как на телеге. Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал. Куда я везу себя. От чего, куда я убегаю? Я убегаю от чего-то страшного и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я, вот он, я весь тут. Ни пензенское, ни какое именье ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться и не могу. Не могу уйти от себя. Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, и сторож с пятном спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачало все. Мне так же, еще больше страшно было. «Да что это за глупость, — сказал я себе. — Чего я тоскую, чего боюсь». — «Меня; — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут». Мороз подрал меня по коже. Да, смерти. Она придет, она вот она, а ее не должно быть. Если бы мне пред-

стояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал, тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздиранье было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный с свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, все говорило то же. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть. Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, об жене — ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было. Но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска, такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно, кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать. Еще раз прошел посмотрел на спящих, еще раз попытался заснуть, все тот же ужас красный, белый, квадратный. Рвется что-то, а не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало. Что меня сделало? Бог, говорят, бог. Молиться, вспомнил я. Я давно, лет двадцать, не молился и не верил ни во что, несмотря на то, что для приличия говел каждый год. Я стал молиться. Господи помилуй, отче наш, богородицу. Я стал сочинять молитвы. Я стал креститься и кланяться в землю, оглядываясь и боясь, что меня увидят. Как будто это развлекло меня, развлек страх, что меня увидят. И я лег. Но стоило мне лечь и закрыть глаза, как опять то же чувство ужаса толкнуло, подняло меня. Я не мог больше терпеть, разбудил сторожа, разбудил Сергея, велел закладывать, и мы поехали. На воздухе и в движении стало лучше. Но я чувствовал, что что-то новое осело мне на душу и отравило всю прежнюю жизнь.

К ночи мы приехали на место. Весь день я боролся с своей тоской и поборол ее; но в душе был страшный осадок: точно случилось со мной какое-то несчастье, и я только мог на время забывать его; но оно было там на дне души и владело мной.

Мы приехали вечером. Старичок управляющий, хотя не радостно (ему досадно было, что продается именье), но хорошо принял меня. Чистые комнатки с мягкой мебелью. Новый блестящий самовар. Крупная чайная посуда, мед к чаю. Все было хорошо. Но я как старый забытый урок неохотно спрашивал его об именье. Все невесело было. Ночь, однако, я заснул без тоски. Я приписал это тому, что опять на ночь молился. И потом начал жить по-прежнему; но страх этой тоски висел надо мной с тех пор всегда. Я должен был не останавливаясь и, главное, в привычных условиях жить, как ученик по привычке не думая сказывает выученный наизусть урок, так я должен был жить, чтобы не попасть опять во власть этой ужасной, появившейся в первый раз в Арзамасе тоски. Домой я вернулся благополучно, именья не купил, денег не достало, и начал жить по-прежнему, с одной только разницей, что я стал молиться и ходить в церковь. По-прежнему мне казалось, но уже не по-прежнему, как я теперь вспоминаю. Я жил прежде начатым, продолжал катиться по проложенным прежде рельсам прежней силой, но нового ничего уже не предпринимал. И в прежде начатом было уже у меня меньше участия. Мне все было скучно. И я стал набожен. И жена замечала это и бранила и пилила меня за это. Тоски не повторялось дома. Но раз я поехал неожиданно в Москву. Днем собрался, вечером поехал. Было дело о процессе. Я приехал в Москву весело. Дорогой разговорился с харьковским помещиком о хозяйстве, о банках, о том, где остановиться, о театрах. Решили остановиться вместе на Московском подворье, на Мясницкой, и нынче же поехать в «Фауста». Приехали, я вошел в маленький номер. Тяжелый запах коридора был у меня в ноздрях. Дворник внес чемодан. Девушка коридорная зажгла свечу. Свеча зажглась, потом огонь поник, как всегда бывает. В соседнем номере кашлянул

кто-то — верно, старик. Девушка вышла, дворник стоял, спрашивая, не развязать ли. Огонь ожил и осветил синие с желтыми полосками обои, перегородку, облезший стол, диванчик, зеркало, окно и узкий размер всего номера. И вдруг арзамасский ужас шевельнулся во мне. «Боже мой, как я буду ночевать здесь», — подумал я.

— Развяжи, пожалуйста, голубчик, — сказал я дворнику, чтоб задержать его. «Оденусь поскорей, и в театр».

Дворник развязал.

— Пожалуйста, голубчик, зайди к барину в восьмой номер, со мной приехал, скажи, что я сейчас готов и приду к нему.

Дворник вышел, я стал торопиться одеваться, боясь взглянуть на стены. «Что за вздор, — подумал я, — чего я боюсь, точно дитя. Привидений я не боюсь. Да, привидений... лучше бы бояться привидений, чем того, чего я боюсь. — Чего? — Ничего... Себя... Ну вздор». Я, однако, надел жесткую, холодную крахмальную рубашку, засунул запонки, надел сертук, новые ботинки и пошел к харьковскому помещику. Он был готов. Мы поехали в «Фауста». Он еще заехал завиться. Я обстригся у француза, поболтал с французом, купил перчатки, все было хорошо. Я забыл совсем номер продолговатый и перегородку. В театре было тоже приятно. После театра харьковский помещик предложил заехать поужинать. Это было вне моих привычек, но когда мы вышли из театра и он предложил мне это, я вспомнил о перегородке и согласился.

Во втором часу мы вернулись домой. Я выпил непривычные два стакана вина; но был весел. Но только что мы вошли в коридор с завернутой лампой и меня охватил запах гостиницы, холод ужаса пробежал мне по спине. Но делать было нечего. Я пожал руку товарищу и вошел в номер.

Я провел ужасную ночь, хуже арзамасской, только утром, когда уже за дверью стал кашлять старик, я заснул, и не в постели, в которую я ложился несколько раз, а на диване. Всю ночь я страдал невыносимо, опять мучительно разрывалась душа с телом. «Я живу,

жил, я должен жить, и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь. Дождаться смерти, когда придет? Боюсь еще хуже. Жить, стало быть? Зачем? Чтоб умереть». Я не выходил из этого круга. Я брал книгу, читал. На минуту забывался, и опять тот же вопрос и ужас. Я ложился в постель, закрывал глаза. Еще хуже. Бог сделал это. Зачем? — Говорят: не спрашивай, а молись. Хорошо, я молился. Я и теперь молился, опять как в Арзамасе; но там и после я просто молился по-детски. Теперь же молитва имела смысл. «Если ты есть, открой мне: зачем, что я такое?» Я кланялся, читал все молитвы, которые знал, сочинял свои и прибавлял: «Так открой же». И я затихал и ждал ответа. Но ответа не было, как будто и не было никого, кто бы мог отвечать. И я оставался один, сам с собой. И я давал себе ответы вместо того, кто не хотел отвечать. Затем, чтобы жить в будущей жизни, отвечал я себе. Так зачем же эта неясность, это мученье? Не могу верить в будущую жизнь. Я верил, когда не всей душой спрашивал, а теперь не могу, не могу. Если бы ты был, ты бы сказал, мне, людям. А нет тебя, есть одно отчаяние. А я не хочу, не хочу его. Я возмутился. Я просил его открыть мне истину, открыть мне себя. Я делал все, что все делают, но он не открывался. Просите, и дастся вам, вспомнилось мне, и я просил. И в этом прощении я находил не утешение, а вдохновение. Может быть, я не просил, я отказался от него. — Ты на пядень, а он от тебя на сажень. — Я не верил в него, но просил, и он все-таки не открыл мне ничего. Я считался с ним и осуждал его, просто не верил.

На другой день я все силы употребил, чтобы покончить обыденкой все дела и избавиться от ночи и в номере. Я не кончил всего и вернулся домой в ночь. Тоски не было. Эта московская ночь изменила еще больше мою жизнь, начавшую изменяться с Арзамаса. Я еще меньше стал заниматься делами, и на меня находила апатия. Я стал слабеть и здоровьем. Жена требовала, чтоб я лечился. Она говорила, что мои толки о

вере, о бoге происходили от болезни. Я же знал, что моя слабость и болезнь происходили от неразрешенного вопроса во мне. Я старался не давать ходу этому вопросу и в привычных условиях старался наполнять жизнь. Я ходил в церковь по воскресеньям и праздникам, я говел, постился даже, как я это завел с поездки в Пензу, и молился, но больше как обычай. Я не ждал ничего от этого, как бы не разрывал векселя и протестовал его в сроки, несмотря на то, что знал невозможность получить по векселю. Делал это только на всякий случай. Жизнь же свою я наполнял не хозяйством, оно отталкивало меня своей борьбой — энергии не было, — а чтением журналов, газет, романов, картами по маленькой, и единственное проявление моей энергии была охота по старой привычке. Я всю жизнь был охотник. Раз приехал зимой сосед-охотник с гончими на волков. Я поехал с ним. На месте мы стали на лыжи и пошли на место. Охота была неудачна, волки прорвались сквозь облаву. Я услышал это издали и пошел по лесу следить свежий заячий след. Следы увели меня далеко на поляну. На поляне я нашел его. Он вскочил так, что я не видал. Я пошел назад. Пошел назад крупным лесом. Снег был глубок, лыжи вязли, сучки путались. Все глуше и глуше стало. Я стал спрашивать, где я, снег изменял все. И я вдруг почувствовал, что я потерялся. До дома, до охотников далеко, ничего не слышать. Я устал, весь в поту. Остановиться — замерзнешь. Идти — силы ослабеют. Я покричал, все тихо. Никто не откликнулся. Я пошел назад. Опять не то. Я поглядел. Кругом лес, не разберешь, где восток, где запад. Я опять пошел назад. Ноги устали. Я испугался, остановился, и на меня нашел весь арзамасский и московский ужас, но в сто раз больше. Сердце колотилось, руки, ноги дрожали. Смерть здесь? Не хочу. Зачем смерть? Что смерть? Я хотел по-прежнему допрашивать, упрекать бога, но тут я вдруг почувствовал, что я не смею, не должен, что считаться с ним нельзя, что он сказал, что нужно, что я один виноват. И я стал молить его прощенья и сам себе стал гадок. Ужас продолжался недолго. Я постоял, очнулся и пошел в одну сторону и скоро вышел. Я был недалеко от края. Я вышел на край,

на дорогу. Руки и ноги всё так же дрожали, и сердце билось. Но мне радостно было. Я дошел до охотников, мы вернулись домой. Я был весел, но знал, что у меня есть что-то радостное, что я разберу, когда останусь один. Так и случилось. Я остался один в своем кабинете и стал молиться, прося прощения и вспоминая свои грехи. Их мне казалось мало. Но я вспомнил их, и они мне гадки стали.

С тех пор я начал читать священное писание. Библия была мне непонятна, соблазнительна, Евангелие умиляло меня. Но больше всего я читал жития святых. И это чтение утешало меня, представляя примеры, которые все возможнее и возможнее казались для подражания. С этого времени еще меньше и меньше меня занимали дела и хозяйственные и семейные. Они даже отталкивали меня. Все не то казалось мне. Как, что было то, я не знал, но то, что было моей жизнью, переставало быть ею. Опять на покупке имения я узнал это. Продавалось недалеко от нас очень выгодно имение. Я поехал, все было прекрасно, выгодно. Особенно выгодно было то, что у крестьян земли было только огороды. Я понял, что они должны были задаром за пастьбу убирать поля помещика, так оно и было. Я все это оценил, все это мне понравилось по старой привычке. Но я поехал домой, встретил старуху, спрашивал о дороге, поговорил с ней. Она рассказала о своей нужде. Я приехал домой и, когда стал рассказывать жене о выгодах имения, вдруг устыдился. Мне мерзко стало. Я сказал, что не могу купить этого имения, потому что выгода наша будет основана на нищете и горе людей. Я сказал это, и вдруг меня просветила истина того, что я сказал. Главное, истина того, что мужики так же хотят жить, как мы, что они люди — братья, сыны отца, как сказано в Евангелии. Вдруг как что-то давно щемившее меня оторвалось у меня, точно родилось. Жена сердилась, ругала меня. А мне стало радостно. Это было начало моего сумасшествия. Но полное сумасшествие мое началось еще позднее, через месяц после этого. Оно началось с того, что я поехал в церковь, стоял обедню и

хорошо молился и слушал, и был умилен. И вдруг мне принесли просвиру, потом пошли к кресту, стали толкаться, потом на выходе нищие были. И мне вдруг ясно стало, что этого всего не должно быть. Мало того, что этого не должно быть, что этого нет, а нет этого, то нет и смерти и страха, и нет во мне больше прежнего раздиранья, и я не боюсь уже ничего. Тут уже совсем свет осветил меня, и я стал тем, что есть. Если нет этого ничего, то нет прежде всего во мне. Тут же на паперти я роздал, что у меня было, тридцать шесть рублей, нищим и пошел домой пешком, разговаривая с народом.

СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА

I

В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек, и зашел разговор о знаменитом красовском деле. Федор Васильевич разгорячился, доказывая неподсудность, Иван Егорович стоял на своем, Петр же Иванович, не вступив сначала в спор, не принимал в нем участия и просматривал только что поданные «Ведомости».

— Господа! — сказал он, — Иван Ильич-то умер.

— Неужели?

— Вот, читайте, — сказал он Федору Васильевичу, подавая ему свежий, пахучий еще номер.

В черном ободке было напечатано: «Прасковья Федоровна Головина с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о кончине возлюбленного супруга своего, члена Судебной палаты, Ивана Ильича Головина, последовавшей 4-го февраля сего 1882 года. Вынос тела в пятницу, в 1 час пополудни».

Иван Ильич был сотоварищ собравшихся господ, и все любили его. Он болел уже несколько недель; говорили, что болезнь его неизлечима. Место оставалось за ним, но было соображение о том, что в случае его смерти Алексеев может быть назначен на его место, на место же Алексеева — или Винников, или Штабель. Так

что, услышав о смерти Ивана Ильича, первая мысль каждого из господ, собравшихся в кабинете, была о том, какое значение может иметь эта смерть на перемещения или повышения самих членов или их знакомых.

«Теперь, наверно, получу место Штабеля или Винникова, — подумал Федор Васильевич. — Мне это и давно обещано, а это повышение составляет для меня восемьсот рублей прибавки, кроме канцелярии».

«Надо будет попросить теперь о переводе шурина из Калуги, — подумал Петр Иванович. — Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для ее родных».

— Я так и думал, что ему не подняться, — вслух сказал Петр Иванович. — Жалко.

— Да что у него, собственно, было?

— Доктора не могли определить. То есть определяли, но различно. Когда я видел его последний раз, мне казалось, что он поправится.

— А я так и не был у него с самых праздников. Все собирался.

— Что, у него было состояние?

— Кажется, что-то очень небольшое у жены. Но что-то ничтожное.

— Да, надо будет поехать. Ужасно далеко жили они.

— То есть от вас далеко. От вас всё далеко.

— Вот не может мне простить, что я живу за рекой, — улыбаясь на Шебека, сказал Петр Иванович. И заговорили о дальности городских расстояний, и пошли в заседание.

Кроме вызванных этой смертью в каждом соображений о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я.

«Каково, умер; а я вот нет», — подумал или почувствовал каждый. Близкие же знакомые, так называемые друзья Ивана Ильича, при этом подумали невольно и о том, что теперь им надобно исполнить

очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соболезнования.

Ближе всех были Федор Васильевич и Петр Иванович.

Петр Иванович был товарищем по училищу правоведения и считал себя обязанным Иваном Ильичом.

Передав за обедом жене известие о смерти Ивана Ильича и соображения о возможности перевода шурина в их округ, Петр Иванович, не ложась отдыхать, надел фрак и поехал к Ивану Ильичу.

У подъезда квартиры Ивана Ильича стояла карета и два извозчика. Внизу, в передней у вешалки прислонена была к стене газетовая крышка гроба с кисточками и начищенным порошком галуном. Две дамы в черном снимали шубки. Одна, сестра Ивана Ильича, знакомая, другая — незнакомая дама. Товарищ Петра Ивановича, Шварц, сходил сверху и, с верхней ступени увидав входившего, остановился и подмигнул ему, как бы говоря: «Глупо распорядился Иван Ильич; то ли дело мы с вами».

Лицо Шварца с английскими бакенбардами и вся худая фигура во фраке имела, как всегда, изящную торжественность, и эта торжественность, всегда противоречащая характеру игривости Шварца, здесь имела особенную соль. Так подумал Петр Иванович.

Петр Иванович пропустил вперед себя дам и медленно пошел за ними на лестницу. Шварц не стал сходить, а остановился наверху. Петр Иванович понял зачем: он, очевидно, хотел сговориться, где повинтиться нынче. Дамы прошли на лестницу к вдове, а Шварц, с серьезно сложенными, крепкими губами и игривым взглядом, движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца.

Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. Насчет того, что нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен и потому выбрал среднее: войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться. Насколько ему позволяли движения рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату. Два

молодые человека, один гимназист, кажется племянники, крестясь, выходили из комнаты. Старушка стояла неподвижно. И дама с странно поднятыми бровями что-то ей говорила шепотом. Дьячок в сюртуке, бодрый, решительный, читал что-то громко с выражением, исключаящим всякое противоречие; буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то посыпал по полу. Увидав это, Петр Иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося трупа. В последнее свое посещение Ивана Ильича Петр Иванович видел этого мужика в кабинете; он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Петр Иванович все крестился и слегка кланялся по срединному направлению между гробом, дьячком и образами на столе в углу. Потом, когда это движение крещения рукою показалось ему уже слишком продолжительно, он приостановился и стал разглядывать мертвеца.

Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшеюся головой на подушке, и выставял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизями на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу. Он очень переменялся, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное — значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано, и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым. Напоминание это показалось Петру Ивановичу неуместным или по крайней мере до него не касающимся. Что-то ему стало неприятно, и потому Петр Иванович еще раз поспешно перекрестился и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с приличиями, повернулся и пошел к двери. Шварц ждал его в проходной комнате, расставив широко ноги и играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игривую, чисто-плотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича. Петр Иванович понял, что он, Шварц,

стоит выше этого и не поддается удручающим впечатлениям. Один вид его говорил: инцидент панихиды Ивана Ильича никак не может служить достаточным поводом для признания порядка заседания нарушенным, то есть что ничто не может помешать нынче же вечером шелкнуть, распечатывая ее, колодой карт, в то время как лакей будет расставлять четыре необожженные свечи; вообще нет основания предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер. Он и сказал это шепотом проходившему Петру Ивановичу, предлагая соединиться на партию у Федора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Прасковья Федоровна, невысокая, жирная женщина, несмотря на все старания устроить противное, все-таки расширявшаяся от плеч книзу, вся в черном, с покрытой кружевом головой и с такими же странно поднятыми бровями, как и та дама, стоявшая против гроба, вышла из своих покоев с другими дамами и, проводив их в дверь мертвеца, сказала:

— Сейчас будет панихида; пройдите.

Шварц, неопределенно поклонившись, остановился, очевидно не принимая и не отклоняя этого предложения. Прасковья Федоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала:

— Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича... — и посмотрела на него, ожидая от него соответствующие этим словам действия.

Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «Поверьте!» И он так и сделал. И, сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый: что он тронут и она тронута.

— Пойдемте, пока там не началось; мне надо поговорить с вами, — сказала вдова. — Дайте мне руку.

Петр Иванович подал руку, и они направились во внутренние комнаты, мимо Шварца, который печально подмигнул Петру Ивановичу: «Вот-те и винт! Уж не взыщите, другого партнера возьмем. Нешто впятером, когда отделаетесь», — сказал его игривый взгляд.

Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку. Войдя в ее обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а Петр Иванович на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф. Прасковья Федоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул, но нашла это предупреждение не соответствующим своему положению и раздумала. Садясь на этот пуф, Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелеными листьями кретоном. Садясь на диван и проходя мимо стола (вообще вся гостиная была полна вещей и мебели), вдова зацепилась черным кружевом черной мантилии за резьбу стола. Петр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама стала отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел, придавив бунтовавший под ним пуф. Но вдова не все отцепила, и Петр Иванович опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже щелкнул. Когда все это кончилось, она вынула чистый батистовый платок и стала плакать. Петра же Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел насупившись. Неловкое это положение перервал Соколов, буфетчик Ивана Ильича, с докладом о том, что место на кладбище то, которое назначила Прасковья Федоровна, будет стоить двести рублей. Она перестала плакать и, с видом жертвы взглянув на Петра Ивановича, сказала по-французски, что ей очень тяжело. Петр Иванович сделал молчаливый знак, выразивший несомненную уверенность в том, что это не может быть иначе.

— Курите, пожалуйста, — сказала она великодушным и вместе убитым голосом и занялась с Соколовым вопросом о цене места. Петр Иванович, закуривая, слышал, что она очень обстоятельно расспросила о разных ценах земли и определила ту, которую следует взять. Кроме того, окончив о месте, она распорядилась и о певчих. Соколов ушел.

— Я все сама делаю, — сказала она Петру Ивановичу, отодвигая к одной стороне альбомы, лежавшие на столе; и, заметив, что пепел угрожал столу, не мешкая подвинула Петру Ивановичу пепельницу и проговорила: — Я нахожу притворством уверять, что я не могу от горя заниматься практическими делами. Меня, напротив, если может что не утешить... а развлечь, то это заботы о нем же. — Она опять достала платок, как бы собираясь плакать, и вдруг, как бы пересиливая себя, встряхнулась и стала говорить спокойно:

— Однако у меня дело есть к вам.

Петр Иванович поклонился, не давая расходиться пружинам пуфа, тотчас же зашевелившимся под ним.

— В последние дни он ужасно страдал.

— Очень страдал? — спросил Петр Иванович.

— Ах, ужасно! Последние не минуты, а часы он не переставая кричал. Трое суток сряду он, не переводя голоса, кричал. Это было невыносимо. Я не могу понять, как я вынесла это; за тремя дверьми слышно было. Ах! что я вынесла!

— И неужели он был в памяти? — спросил Петр Иванович.

— Да, — прошептала она, — до последней минуты. Он простился с нами за четверть часа до смерти и еще просил увести Володю.

Мысль о страдании человека, которого он знал так близко, сначала веселым мальчиком, школьником, потом взрослым партнером, несмотря на неприятное сознание притворства своего и этой женщины, вдруг ужаснула Петра Ивановича. Он увидел опять этот лоб, нажимавший на губу нос, и ему стало страшно за себя.

«Трое суток ужасных страданий и смерть. Ведь это сейчас, всякую минуту может наступить и для меня», — подумал он, и ему стало на мгновение страшно. Но тотчас же, он сам не знал как, ему на помощь пришла обычная мысль, что это случилось с Иваном Ильичом, а не с ним и что с ним этого случиться не должно и не может; что, думая так, он поддается мрачному настроению, чего не следует делать, как это очевидно было по лицу Шварца. И, сделав это рассуждение, Петр Иванович успокоился и с интересом стал

расспрашивать подробности о кончине Ивана Ильича, как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему.

После разных разговоров о подробностях действительно ужасных физических страданий, перенесенных Иваном Ильичом (подробности эти узнавал Петр Иванович только по тому, как мучения Ивана Ильича действовали на нервы Прасковьи Федоровны), вдова, очевидно, нашла нужным перейти к делу.

— Ах, Петр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело, как ужасно тяжело, — и она опять заплакала.

Петр Иванович вздыхал и ждал, когда она высморкается. Когда она высморкалась, он сказал:

— Поверьте... — и опять она разговорилась и высказала то, что было, очевидно, ее главным делом к нему; дело это состояло в вопросах о том, как бы по случаю смерти мужа достать денег от казны. Она сделала вид, что спрашивает у Петра Ивановича совета о пенсионе; но он видел, что она уже знает до мельчайших подробностей и то, чего он не знал: все то, что можно вытянуть от казны по случаю этой смерти; но что ей хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вытянуть еще побольше денег. Петр Иванович постарался выдумать такое средство, но, подумав несколько и из приличия побранив наше правительство за его скаредность, сказал, что, кажется, больше нельзя. Тогда она вздохнула и, очевидно, стала придумывать средство избавиться от своего посетителя. Он понял это, затушил папироску, встал, пожал руку и пошел в переднюю.

В столовой с часами, которым Иван Ильич так рад был, что купил в брикабраке, Петр Иванович встретил священника и еще несколько знакомых, приехавших на панихиду, и увидел знакомую ему красивую барышню, дочь Ивана Ильича. Она была вся в черном. Талия ее, очень тонкая, казалась еще тоньше. Она имела мрачный, решительный, почти гневный вид. Она поклонилась Петру Ивановичу, как будто он был в чем-то виноват. За дочерью стоял с таким же обиженным видом знакомый Петру Ивановичу богатый молодой человек, судебный следователь, ее жених, как он слышал. Он



Иван Ильич и Герасим 1893.

уныло поклонился им и хотел пройти в комнату мертвеца, когда из-под лестницы показалась фигурка гимназистика-сына, ужасно похожего на Ивана Ильича. Это был маленький Иван Ильич, каким Петр Иванович помнил его в Правоведении. Глаза у него были и заплаканные и такие, какие бывают у нечистых мальчиков в тринадцать — четырнадцать лет. Мальчик, увидав Петра Ивановича, стал сурово и стыдливо морщиться. Петр Иванович кивнул ему головой и вошел в комнату мертвеца. Началась панихида — свечи, стоны, ладан, слезы, всхлипыванья. Петр Иванович стоял нахмурившись, глядя на ноги перед собой. Он не взглянул ни разу на мертвеца и до конца не поддался расслабляющим влияниям и один из первых вышел. В передней никого не было. Герасим, буфетный мужик, выскочил из комнаты покойника, перешвырял своими сильными руками все шубы, чтобы найти шубу Петра Ивановича, и подал ее.

— Что, брат Герасим? — сказал Петр Иванович, чтобы сказать что-нибудь. — Жалко?

— Божья воля. Все там же будем, — сказал Герасим, оскаливая свои белые, сплошные мужицкие зубы, и, как человек в разгаре усиленной работы, живо отворил дверь, кликнул кучера, посадил Петра Ивановича и прыгнул назад к крыльцу, как будто придумывая, что бы ему еще сделать.

Петру Ивановичу особенно приятно было дохнуть чистым воздухом после запаха ладана, трупа и карболовой кислоты.

— Куда прикажете? — спросил кучер.

— Не поздно. Заеду еще к Федору Васильевичу.

И Петр Иванович поехал. И действительно, застал их при конце первого роббера, так что ему удобно было вступить пятым.

II

Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная.

Иван Ильич умер сорока пяти лет, членом Судебной палаты. Он был сын чиновника, сделавшего в Пе-

тербурге по разным министерствам и департаментам ту карьеру, которая доводит людей до того положения, в котором хотя и ясно оказывается, что исполнять какую-нибудь существенную должность они не годятся, они все-таки по своей долгой и прошедшей службе и своим чинам не могут быть выгнаны и потому получают выдуманные фиктивные места и нефиктивные тысячи, от шести до десяти, с которыми они и доживают до глубокой старости.

Таков был тайный советник, ненужный член разных ненужных учреждений, Илья Ефимович Головин.

У него было три сына. Иван Ильич был второй сын. Старший делал такую же карьеру, как и отец, только по другому министерству, и уж близко подходил к тому служебному возрасту, при котором получается эта инерция жалованья. Третий сын был неудачник. Он в разных местах везде напортил себе и теперь служил по железным дорогам: и его отец, и братья, и особенно их жены не только не любили встречаться с ним, но без крайней необходимости и не вспоминали о его существовании. Сестра была за бароном Грефом, таким же петербургским чиновником, как и его тесть. Иван Ильич был *le phenix de la famille*¹, как говорили. Он был не такой холодный и аккуратный, как старший, и не такой отчаянный, как меньшой. Он был середина между ними — умный, живой, приятный и приличный человек. Воспитывался он вместе с меньшим братом в Правоведении. Меньшой не кончил и был выгнан из пятого класса, Иван же Ильич хорошо кончил курс. В Правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь: человеком способным, весело-добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал все то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Он не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усвоивал себе их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал

¹ гордость семьи (франц.).

дружеские отношения. Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставив больших следов; он отдавался и чувственности и тщеславию, и — под конец, в высших классах — либеральности, но все в известных пределах, которые верно указывало ему его чувство.

Были в Правоведении совершены им поступки, которые прежде представлялись ему большими гадостями и внушали ему отвращение к самому себе в то время, как он совершал их; но впоследствии, увидав, что поступки эти были совершаемы и высоко стоящими людьми и не считались ими дурными, он не то что признал их хорошими, но совершенно забыл их и несколько не огорчился воспоминаниями о них.

Выйдя из Правоведения десятым классом и получив от отца деньги на обмундировку, Иван Ильич заказал себе платье у Шармера, повесил на брелоки медальку с надписью: «respice finem»¹, простился с принцем и воспитателем, пообедал с товарищами у Донона и с новыми модными чемоданом, бельем, платьем, бритвенными и туалетными принадлежностями и пледом, заказанными и купленными в самых лучших магазинах, уехал в провинцию на место чиновника особых поручений губернатора, которое доставил ему отец.

В провинции Иван Ильич сразу устроил себе такое же легкое и приятное положение, каково было его положение в Правоведении. Он служил, делал карьеру и вместе с тем приятно и прилично веселился; изредка он ездил по поручению начальства в уезды, держал себя с достоинством и с высшими и с низшими и с точностью и неподкупной честностью, которой не мог не гордиться, исполнял возложенные на него поручения, преимущественно по делам раскольников.

В служебных делах он был, несмотря на свою молодость и склонность к легкому веселью, чрезвычайно сдержан, официален и даже строг; но в общественных он был часто игрив и остроумен и всегда добродушен, приличен и *bon enfant*², как говорил про него его на-

¹ предвидь конец (лат.).

² добрый малый (франц.).

чальник и начальница, у которых он был домашним человеком.

Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведу; была и модистка; были и попойки с приезжими флигель-адъютантами, и поездки в дальнюю улицу после ужина; было и подслуживанье начальнику и даже жене начальника, но все это носило на себе такой высокий тон порядочности, что все это не могло быть называемо дурными словами: все это подходило только под рубрику французского изречения: *il faut que jeunesse se passe*¹. Все происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно с одобрением высоко стоящих людей.

Так прослужил Иван Ильич пять лет, и наступила перемена по службе. Явились новые судебные учреждения; нужны были новые люди.

И Иван Ильич стал этим новым человеком.

Ивану Ильичу предложено было место судебного следователя, и Иван Ильич принял его, несмотря на то, что место это было в другой губернии и ему надо было бросить установившиеся отношения и устанавливать новые. Ивана Ильича проводили друзья, сделали группу, поднесли ему серебряную папирсочницу, и он уехал на новое место.

Судебным следователем Иван Ильич был таким же *comme il faut* ным, приличным, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим общее уважение, каким он был чиновником особых поручений. Сама же служба следователя представляла для Ивана Ильича гораздо более интереса и привлекательности, чем прежняя. В прежней службе приятно было свободной походкой в шармеровском вицмундире пройти мимо трепещущих и ожидающих приема просителей и должностных лиц, завидующих ему, прямо в кабинет начальника и сесть с ним за чай с папирсою; но людей, прямо зависящих от его произвола, было мало. Такие люди были только исправники и раскольники, когда его посылали с поручениями; и он

¹ молодость должна перебеситься (франц.).

любил учтиво, почти по-товарищески обходиться с такими, зависящими от него, людьми, любил давать чувствовать, что вот он, могущий раздавить, дружески, просто обходится с ними. Таких людей тогда было мало. Теперь же, судебным следователем, Иван Ильич чувствовал, что все, все без исключения, самые важные, самодовольные люди — все у него в руках и что ему стоит только написать известные слова на бумаге с заголовком, и этого важного, самодовольного человека приведут к нему в качестве обвиняемого или свидетеля, и он будет, если он не захочет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его вопросы. Иван Ильич никогда не злоупотреблял этой своей властью, напротив, старался смягчать выражения ее; но сознание этой власти и возможность смягчать ее составляли для него главный интерес и привлекательность его новой службы. В самой же службе, именно в следствиях, Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность. Дело это было новое. И он был один из первых людей, выработавших на практике приложение уставов 1864 года.

Перейдя в новый город на место судебного следователя, Иван Ильич сделал новые знакомства, связи, по-новому поставил себя и принял несколько иной тон. Он поставил себя в некотором достойном отдалении от губернских властей, а избрал лучший круг из судебных и богатых дворян, живших в городе, и принял тон легкого недовольства правительством, умеренной либеральности и цивилизованной гражданственности. При этом, нисколько не изменив эlegantности своего туалета, Иван Ильич в новой должности перестал пробривать подбородок и дал свободу бороде расти, где она хочет.

Жизнь Ивана Ильича и в новом городе сложилась очень приятно: фрондирующее против губернатора общество было дружное и хорошее; жалованья было

больше, и немалую приятность в жизни прибавил тогда вист, в который стал играть Иван Ильич, имевший способность играть в карты весело, быстро соображая и очень тонко, так что в общем он всегда был в выигрыше.

После двух лет службы в новом городе Иван Ильич встретился с своей будущей женой. Прасковья Федоровна Михель была самая привлекательная, умная, блестящая девушка того кружка, в котором вращался Иван Ильич. В числе других забав и отдохновений от трудов следователя Иван Ильич установил игривые, легкие отношения с Прасковьей Федоровной.

Иван Ильич, будучи чиновником особых поручений, вообще танцевал; судебным же следователем он уже танцевал как исключение. Он танцевал уже в том смысле, что хоть и по новым учреждениям и в пятом классе, но если дело коснется танцев, то могу доказать, что в этом роде я могу лучше других. Так, он изредка в конце вечера танцевал с Прасковьей Федоровной и преимущественно во время этих танцев и победил Прасковью Федоровну. Она влюбилась в него. Иван Ильич не имел ясного, определенного намерения жениться, но когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос. «В самом деле, отчего же и не жениться?» — сказал он себе.

Девушка Прасковья Федоровна была хорошего дворянского рода, недурна; было маленькое состояньице. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и эта была партия хорошая. У Ивана Ильича было его жалованье, у ней, он надеялся, будет столько же. Хорошее родство; она — милая, хорошенькая и вполне порядочная женщина. Сказать, что Иван Ильич женился потому, что он полюбил свою невесту и нашел в ней сочувствие своим взглядам на жизнь, было бы так же несправедливо, как и сказать то, что он женился потому, что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям: он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным.

И Иван Ильич женился.

Самый процесс женитьбы и первое время брачной жизни, с супружескими ласками, новой мебелью, новой посудой, новым бельем, до беременности жены прошло очень хорошо, так что Иван Ильич начинал уже думать, что женитьба не только не нарушит того характера жизни легкой, приятной, веселой и всегда приличной и одобряемой обществом, который Иван Ильич считал свойственным жизни вообще, но еще усугубит его. Но тут, с первых месяцев беременности жены, явилось что-то таксе новое, неожиданное, неприятное, тяжелое и неприличное, чего нельзя было ожидать и от чего никак нельзя было отделаться.

Жена без всяких поводов, как казалось Ивану Ильичу, *de gaieté de coeur*¹, как он говорил себе, начала нарушать приятность и приличие жизни: она без всякой причины ревновала его, требовала от него ухаживанья за собой, придиралась ко всему и делала ему неприятные и грубые сцены.

Сначала Иван Ильич надеялся освободиться от неприятности этого положения тем самым легким и приличным отношением к жизни, которое выручало его прежде, — он пробовал игнорировать расположение духа жены, продолжал жить по-прежнему легко и приятно: приглашал к себе друзей составлять партию, пробовал сам уезжать в клуб или к приятелям. Но жена один раз с такой энергией начала грубыми словами ругать его и так упорно продолжала ругать его всякий раз, когда он не исполнял ее требований, очевидно твердо решившись не переставать до тех пор, пока он не покорится, то есть не будет сидеть дома и не будет так же, как и она, тосковать, что Иван Ильич ужаснулся. Он понял, что супружеская жизнь — по крайней мере с его женою — не содействует всегда приятностям и приличию жизни, а, напротив, часто нарушает их, и что поэтому необходимо оградить себя от этих нарушений. И Иван Ильич стал отыскивать средства для этого. Служба было одно, что импонировало Прасковье Федоровне, и Иван Ильич посредством службы и вытекающих из нее обязанностей

¹ из каприза (франц.).

стал бороться с женой, выгораживая свой независимый мир.

С рождением ребенка, попытками кормления и различными неудачами при этом, с болезнями действительными и воображаемыми ребенка и матери, в которых от Ивана Ильича требовалось участие, но в которых он ничего не мог понять, потребность для Ивана Ильича выгородить себе мир вне семьи стала еще более настоятельна.

По мере того как жена становилась раздражительнее и требовательнее, и Иван Ильич все более и более переносил центр тяжести своей жизни в службу. Он стал более любить службу и стал более честолюбив, чем он был прежде.

Очень скоро, не далее как через год после женитьбы, Иван Ильич понял, что супружеская жизнь, представляя некоторые удобства в жизни, в сущности есть очень сложное и тяжелое дело, по отношению которого, для того чтобы исполнять свой долг, то есть вести приличную, одобряемую обществом жизнь, нужно выработать определенное отношение, как и к службе.

И такое отношение к супружеской жизни выработал себе Иван Ильич. Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал веселой приятности и, если находил их, был очень благодарен; если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой огдельный, выгороженный им мир службы и в нем находил приятность.

Ивана Ильича ценили как хорошего служаку, и через три года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого в острог, публичность речей, успех, который в этом деле имел Иван Ильич, — все это еще более привлекало его к службе.

Пошли дети. Жена становилась все ворчливее и сердитее, но выработанные Иваном Ильичом отношения к домашней жизни делали его почти непроницаемым для ее ворчливости.

После семи лет службы в одном городе Ивана Ильича перевели на место прокурора в другую губернию. Они переехали, денег было мало, и жене не понравилось то место, куда они переехали. Жалованье было хоть и больше прежнего, но жизнь была дороже; кроме того, умерло двое детей, и потому семейная жизнь стала еще неприятнее для Ивана Ильича.

Прасковья Федоровна во всех случавшихся невзгодах в этом новом месте жительства упрекала мужа. Большинство предметов разговора между мужем и женой, особенно воспитание детей, наводило на вопросы, по которым были воспоминания ссор, и ссоры всякую минуту готовы были разгораться. Оставались только те редкие периоды влюбленности, которые находили на супругов, но продолжались недолго. Это были островки, на которые они приставали на время, но потом опять пускались в море затаенной вражды, выражавшейся в отчуждении друг от друга. Отчуждение это могло бы огорчать Ивана Ильича, если бы он считал, что это не должно так быть, но он теперь уже признавал это положение не только нормальным, но и целью своей деятельности в семье. Цель его состояла в том, чтобы все больше и больше освобождать себя от этих неприятностей и придать им характер безвредности и приличия; и он достигал этого тем, что он все меньше и меньше проводил время с семьею, а когда был вынужден это делать, то старался обеспечивать свое положение присутствием посторонних лиц. Главное же то, что у Ивана Ильича была служба. В служебном мире сосредоточился для него весь интерес жизни. И интерес этот поглощал его. Сознание своей власти, возможности погубить всякого человека, которого он захочет погубить, важность, даже внешняя, при его входе в суд и встречах с подчиненными, успех свой перед высшими и подчиненными и, главное, мастерство свое ведения дел, которое он чувствовал, — все это радовало его и вместе с беседами с товарищами, обедами и вистом наполняло его жизнь. Так что вообще жизнь Ивана Ильича продолжала идти так, как он считал, что она должна была идти: приятно и прилично.

Так прожил он еще семь лет. Старшей дочери было уже шестнадцать лет, еще один ребенок умер, и оставался мальчик-гимназист, предмет раздора. Иван Ильич хотел отдать его в Правоведение, а Прасковья Федоровна назло ему отдала в гимназию. Дочь училась дома и росла хорошо, мальчик тоже учился недурно.

III

Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжение семнадцати лет со времени женитьбы. Он был уже старым прокурором, отказавшимся от некоторых перемещений, ожидая более желательного места, когда неожиданно случилось одно неприятное обстоятельство, совсем было нарушившее его спокойствие жизни. Иван Ильич ждал места председателя в университетском городе, но Гоппе забежал как-то вперед и получил это место. Иван Ильич раздражился, стал делать упреки и поссорился с ним и с ближайшим начальством; к нему стали холодны и в следующем назначении его опять обошли.

Это было в 1880 году. Этот год был самый тяжелый в жизни Ивана Ильича. В этом году оказалось, с одной стороны, что жалованья не хватает на жизнь; с другой — что все его забыли и что то, что казалось для него по отношению к нему величайшей, жесточайшей несправедливостью, другим представлялось совсем обыкновенным делом. Даже отец не считал своей обязанностью помогать ему. Он почувствовал, что все покинули его, считая его положение с 3500 жалованья самым нормальным и даже счастливым. Он один знал, что с сознанием тех несправедливостей, которые были сделаны ему, и с вечным пилением жены, и с долгами, которые он стал делать, живя сверх средств, — он один знал, что его положение далеко не нормально.

Летом этого года для облегчения средств он взял отпуск и поехал прожить с женой лето в деревне у брата Прасковьи Федоровны.

В деревне, без службы Иван Ильич в первый раз почувствовал не только скуку, но тоску невыносимую,

и решил, что так жить нельзя и необходимо принять какие-нибудь решительные меры.

Проведя бессонную ночь, которую всю Иван Ильич проходил по террасе, он решил ехать в Петербург хлопотать и, чтобы наказать их, тех, которые не умели оценить его, перейти в другое министерство.

На другой день, несмотря на все отговоры жены и шурина, он поехал в Петербург.

Он ехал за одним: выпросить место в пять тысяч жалованья. Он уже не держался никакого министерства, направления или рода деятельности. Ему нужно только было место, место с пятью тысячами, по администрация, по банкам, по железным дорогам, по учреждениям императрицы Марии, даже таможни, но непременно пять тысяч и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его.

И вот эта поездка Ивана Ильича увенчалась удивительным, неожиданным успехом. В Курске подсел в первый класс Ф. С. Ильин, знакомый, и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдет на днях переворот: на место Петра Ивановича назначают Ивана Семеновича.

Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо, Петра Петровича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванович был товарищ и друг Ивану Ильичу.

В Москве известие подтвердилось. А приехав в Петербург, Иван Ильич нашел Захара Ивановича и получил обещание верного места в своем прежнем министерстве юстиции.

Через неделю он телеграфировал жене:

«Захар место Миллера при первом докладе получаю назначение».

Иван Ильич благодаря этой перемене лиц неожиданно получил в своем прежнем министерстве такое назначение, в котором он стал на две степени выше своих товарищей: пять тысяч жалованья и подъемных три тысячи пятьсот. Вся досада на прежних врагов своих

и на все министерство была забыта, и Иван Ильич был совсем счастлив.

Иван Ильич вернулся в деревню веселый, довольный, каким он давно не был. Прасковья Федоровна тоже повеселела, и между ними заключилось перемирие. Иван Ильич рассказывал о том, как его все чествовали в Петербурге, как все те, которые были его врагами, были посрамлены и подличали теперь перед ним, как ему завидуют за его положение, в особенности о том, как все его сильно любили в Петербурге.

Прасковья Федоровна выслушивала это и делала вид, что она верит этому, и не противоречила ни в чем, а делала только планы нового устройства жизни в том городе, куда они переезжали. И Иван Ильич с радостью видел, что эти планы были его планы, что они сходятся и что опять его запнувшаяся жизнь приобретает настоящий, свойственный ей, характер веселой приятности и приличия.

Иван Ильич приехал на короткое время. 10 сентября ему надо было принимать должность и, кроме того, нужно было время устроиться на новом месте, перевезти все из провинции, прикупить, приказать еще многое; одним словом, устроиться так, как это решено было в его уме, и почти что точно так же, как это решено было и в душе Прасковьи Федоровны.

И теперь, когда все устроилось так удачно и когда они сходились с женою в цели и, кроме того, мало жили вместе, они так дружно сошлись, как не сходились с первых лет женатой своей жизни. Иван Ильич было думал увезти семью тотчас же, но настояния сестры и зятя, вдруг сделавшимися особенно любезными и родственными к Ивану Ильичу и его семье, сделали то, что Иван Ильич уехал один.

Иван Ильич уехал, и веселое расположение духа, произведенное удачей и согласием с женой, одно усиливающее другое, все время не оставляло его. Нашлась квартира прелестная, то самое, о чем мечтали муж с женой. Широкие, высокие, в старом стиле приемные комнаты, удобный грандиозный кабинет, комнаты для жены и дочери, классная для сына — все как нарочно придумано для них. Иван Ильич сам взялся за устрой-

ство, выбирал обои, подкупал мебель, особенно из старья, которому он придавал особенный коммодный стиль, обивку, и все росло, росло и приходило к тому идеалу, который он составил себе. Когда он до половины устроился, его устройство превзошло его ожиданье. Он понял тот коммодный, изящный и не пошлый характер, который примет все, когда будет готово. Засыпая, он представлял себе залу, какою она будет. Глядя на гостиную, еще не оконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики разбросанные, эти блюда и тарелки по стенам и бронзы, когда они все станут по местам. Его радовала мысль, как он поразит Пашу и Лизаньку, которые тоже имеют к этому вкус. Они никак не ожидают этого. В особенности ему удалось найти и купить дешево старые вещи, которые придавали всему особенно благородный характер. Он в письмах своих нарочно представлял все хуже, чем есть, чтобы поразить их. Все это так занимало его, что даже новая служба его, любящего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседаниях у него бывали минуты рассеянности: он задумывался о том, какие карнизы на гардины, прямые или подобранные. Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель и сам перевешивал гардины. Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, оступился и упал, но, как сильный и ловкий человек, удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб поболел, но скоро прошел. Иван Ильич чувствовал себя все это время особенно веселым и здоровым. Он писал: чувствую, что с меня соскочило лет пятнадцать. Он думал кончить в сентябре, но затянулось до половины октября. Зато было прелестно. — не только он говорил, но ему говорили все, кто видели.

В сущности же, было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга: штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы, темное и блестящее, — все то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что

нельзя было даже обратить внимание; но ему все это казалось чем-то особенным. Когда он встретил своих на станции железной дороги, привез их в свою освещенную готовую квартиру и лакей в белом галстуке отпер дверь в убранную цветами переднюю, а потом они вошли в гостиную, кабинет и ахали от удовольствия, — он был очень счастлив, водил их везде, впивал в себя их похвалы и сиял от удовольствия. В этот же вечер, когда за чаем Прасковья Федоровна спросила его, между прочим, как он упал, он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика.

— Я недаром гимнаст. Другой бы убили, а я чуть ударился вот тут; когда тронешь — больно, но уже проходит; просто синяк.

И они начали жить в новом помещении, в котором, как всегда, когда хорошенько обжились, недоставало только одной комнаты, и с новыми средствами, к которым, как всегда, только немножко — каких-нибудь пятьсот рублей — недоставало, и было очень хорошо. Особенно было хорошо первое время, когда еще не все было устроено и надо было еще устраивать: то купить, то заказать, то переставить, то наладить. Хоть и были некоторые несогласия между мужем и женой, но оба так были довольны и так много было дела, что все кончалось без больших ссор. Когда уже нечего было устраивать, стало немножко скучно и чего-то недоставать, но тут уже сделались знакомства, привычки, и жизнь наполнилась.

Иван Ильич, проведши утро в суде, возвращался к обеду, и первое время расположение его духа было хорошо, хотя и страдало немного именно от помещения. (Всякое пятно на скатерти, на штофе, оборванный снурок гардины раздражали его: он столько труда положил на устройство, что ему больно было всякое разрушение.) Но вообще жизнь Ивана Ильича пошла так, как, по его вере, должна была протекать жизнь: легко, приятно и прилично. Вставал он в девять, пил кофе, читал газету, потом надевал вицмундир и ехал в суд. Там уже был обмят тот хомут, в котором он работал; он сразу попадал в него. Просители, справки в канцелярии, сама канцелярия, заседания — публичные и

распорядительные. Во всем этом надо было уметь исключать все то сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел: надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных, и повод к отношениям должен быть только служебный и самые отношения только служебные. Например, приходит человек и желает узнать что-нибудь. Иван Ильич как человек недолжностной и не может иметь никаких отношений к такому человеку; но если есть отношение этого человека как к члену, такое, которое может быть выражено на бумаге с заголовком, — в пределах этих отношений Иван Ильич делает все, все решительно, что можно, и при этом соблюдает подобие человеческих дружелюбных отношений, то есть учтивость. Как только кончается отношение служебное, так кончается всякое другое. Этим умением отделять служебную сторону, не смешивая ее с своей настоящей жизнью, Иван Ильич владел в высшей степени и долгой практикой и талантом выработал его до такой степени, что он даже, как виртуоз, иногда позволял себе, как бы шутя, смешивать человеческое и служебное отношения. Он позволял это себе потому, что чувствовал в себе силу всегда, когда ему понадобится, опять выделить одно служебное и откинуть человеческое. Дело это шло у Ивана Ильича не только легко, приятно и прилично, но даже виртуозно. В промежутки он курил, пил чай, беседовал немножко о политике, немножко об общих делах, немножко о картах и больше всего о назначениях. И усталый, но с чувством виртуоза, отчетливо отделавшего свою партию, одну из первых скрипок в оркестре, возвращался домой. Дома дочь с матерью куда-нибудь ездили или у них был кто-нибудь; сын был в гимназии, готовил уроки с репетиторами и учился исправно тому, чему учат в гимназии. Все было хорошо. После обеда, если не было гостей, Иван Ильич читал иногда книгу, про которую много говорят, и вечером садился за дела, то есть читал бумаги, справлялся с законами, — слышал показания и подводил под законы. Ему это было ни скучно, ни весело. Скучно было, когда можно было играть в винт; но если не было винта — то это было все-таки лучше, чем сидеть

одному или с женой. Удовольствия же Ивана Ильича были обеды маленькие, на которые он звал важных по светскому положению дам и мужчин, и такое времяпровождение с ними, которое было бы похоже на обыкновенное препровождение времени таких людей, так же как гостиная его была похожа на все гостиные.

Один раз у них был даже вечер, танцевали. И Ивану Ильичу было весело, и все было хорошо, только вышла большая ссора с женой из-за тортов и конфет: у Прасковьи Федоровны был свой план, а Иван Ильич настоял на том, чтобы взять все у дорогого кондитера, и взял много тортов, и ссора была за то, что торты остались, а счет кондитера был в сорок пять рублей. Ссора была большая и неприятная, так что Прасковья Федоровна сказала ему: «Дурак, кисляй». А он схватил себя за голову и в сердцах что-то упомянул о разводе. Но самый вечер был веселый. Было лучшее общество, и Иван Ильич танцевал с княгиней Труфоновой, сестрою той, которая известна учреждением общества «Унеси ты мое горе». Радости служебные были радости самолюбия; радости общественные были радости тщеславия; но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт. Он признавался, что после всего, после каких бы то ни было событий, нерадостных в его жизни, радость, которая, как свеча, горела перед всеми другими, — это сесть с хорошими игроками и некрикунами-партнерами в винт, и непременно вчетвером (впятером уж очень больно выходить, хотя и притворяешься, что я очень люблю), и вести умную, серьезную игру (когда карты идут), потом поужинать и выпить стакан вина. А спать после винта, особенно когда в маленьком выигрыше (большой — неприятно), Иван Ильич ложился в особенно хорошем расположении духа.

Так они жили. Круг общества составлялся у них самый лучший, ездили и важные люди и молодые люди.

Во взгляде на круг своих знакомых муж, жена и дочь были совершенно согласны и, не сговариваясь, одинаково оттирали от себя и освобождались от всяких разных приятелей и родственников, замарашек, которые разлетались к ним с нежностями в гостиную с япон-

скими блюдами по стенам. Скоро эти друзья-замарашки перестали разлетаться, и у Головиных осталось общество одно самое лучшее. Молодые люди ухаживали за Лизанькой, и Петрищев, сын Дмитрия Ивановича Петрищева и единственный наследник его состояния, судебный следователь, стал ухаживать за Лизой, так что Иван Ильич уже поговаривал об этом с Прасковьей Федоровной: не свести ли их кататься на тройках, или устроить спектакль. Так они жили. И все шло так, не изменяясь, и все было очень хорошо.

IV

Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота.

Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознание тяжести постоянной в боку и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа это, все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе Головиных приятность легкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие. Сцены опять стали чаще. Опять остались одни островки, и тех мало, на которых муж с женою могли сходиться без взрыва.

И Прасковья Федоровна теперь не без основания говорила, что у ее мужа тяжелый характер. С свойственной ей привычкой преувеличивать она говорила, что всегда и был такой ужасный характер, что надобно ее доброту, чтобы переносить это двадцать лет. Правда было то, что ссоры теперь начинались от него. Начинались его придирки всегда перед самым обедом и часто, именно когда он начинал есть, за супом. То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол, то прическа дочери. И во всем он обвинял Прасковью Федоровну. Прасковья Федоровна сначала возражала и

говорила ему неприятности, но он раза два во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она поняла, что это болезненное состояние, которое вызывается в нем принятием пищи, и смирила себя; уже не возражала, а только торопила обедать. Смирение свое Прасковья Федоровна поставила себе в великую заслугу. Решив, что муж ее имеет ужасный характер и сделал несчастье ее жизни, она стала жалеть себя. И чем больше она жалела себя, тем больше ненавидела мужа. Она стала желать, чтоб он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалованья. И это еще более раздражало ее против него. Она считала себя страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти ее, и она раздражалась, скрывала это, и это скрытое раздражение ее усиливало его раздражение.

После одной сцены, в которой Иван Ильич был особенно несправедлив и после которой он и при объяснении сказал, что он точно раздражителен, но что это от болезни, она сказала ему, что если он болен, то надо лечиться, и потребовала от него, чтобы он поехал к знаменитому врачу.

Он поехал. Все было, как он ожидал; все было так, как всегда делается. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде, и постукиванье, и выслушиванье, и вопросы, требующие определенные вперед, очевидно, ненужные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы, мол, только подвергнитесь нам, а мы все устроим, — у нас известно и несомненно, как все устроить, все одним манером для всякого человека, какого хотите. Все было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид.

Доктор говорил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда... и т. д. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос: опасно ли его положение, или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки

зрения доктора, вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению; существовало только взвешиванье вероятностей — блуждающей почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда дело будет пересмотрено. Все это было точь-в-точь то же, что делал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сделал свое резюме доктор и торжествуя, весело даже, взглянув сверху очков на подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем все равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора.

Но он ничего не сказал, а встал, положил деньги на стол и, вздохнув, сказал:

— Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы, — сказал он. — Вообще, это опасная болезнь или нет?..

Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как будто говоря: подсудимый, если вы не будете оставаться в пределах ставимых вам вопросов, я буду принужден сделать распоряжение об удалении вас из залы заседания.

— Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным, — сказал доктор. — Дальнейшее покажет исследование. — И доктор поклонился.

Иван Ильич вышел медленно, уныло сел в сани и поехал домой. Всю дорогу он не переставая перебирал все, что говорил доктор, стараясь все эти запутанные, неясные научные слова перевести на простой язык и прочесть в них ответ на вопрос: плохо — очень ли плохо мне, или еще ничего? И ему казалось, что смысл всего сказанного доктором был тот, что очень плохо. Все грустно показалось Ивану Ильичу на улицах. Извоз-

чки были грустны, дома грустны, прохожие, лавки грустны. Боль же эта, глухая, ноющая боль, ни на секунду не перестающая, казалось, в связи с неясными речами доктора получала другое, более серьезное значение. Иван Ильич с новым тяжелым чувством теперь прислушивался к ней.

Он приехал домой и стал рассказывать жене. Жена выслушала, но в середине рассказа его вошла дочь в шляпке: она собиралась с матерью ехать. Она с усилием присела послушать эту скуку, но долго не выдержала, и мать не дослушала.

— Ну, я очень рада, — сказала жена, — так теперь ты, смотри ж, принимай аккуратно лекарство. Дай рецепт, я пошлю Герасима в аптеку. — И она пошла одеваться.

Он не переводил дыханья, пока она была в комнате, и тяжело вздохнул, когда она вышла.

— Ну что ж, — сказал он. — Может быть, и точно ничего еще...

Он стал принимать лекарства, исполнять предписания доктора, которые изменились по случаю исследования мочи. Но тут как раз так случилось, что в этом исследовании и в том, что должно было последовать за ним, вышла какая-то путаница. До самого доктора нельзя было добраться, а выходило, что делалось не то, что говорил ему доктор. Или он забыл, или соврал, или скрывал от него что-нибудь.

Но Иван Ильич все-таки точно стал исполнять предписания и в исполнении этом нашел утешение на первое время.

Главным занятием Ивана Ильича со времени посещения доктора стало точное исполнение предписаний доктора относительно гигиены и приема лекарств и прислушивание к своей боли, ко всем своим отправлениям организма. Главными интересами Ивана Ильича стали людские болезни и людское здоровье. Когда при нем говорили о больных, об умерших, о выздоровевших, особенно о такой болезни, которая походила на его, он, стараясь скрыть свое волнение, прислушивался, расспрашивал и делал применение к своей болезни.

Боль не уменьшалась; но Иван Ильич делал над собой усилия, чтобы заставлять себя думать, что ему лучше. И он мог обманывать себя, пока ничего не волновало его. Но как только случалась неприятность с женой, неудача в службе, дурные карты в винте, так сейчас он чувствовал всю силу своей болезни; бывало, он переносил эти неудачи, ожидая, что вот-вот исправлю плохое, поборю, дождусь успеха, большого шлема. Теперь же всякая неудача подкашивала его и ввергала в отчаяние. Он говорил себе: вот только что я стал поправляться и лекарство начинало уже действовать, и вот это проклятое несчастье или неприятность... И он злился на несчастье или на людей, делавших ему неприятности и убивающих его, и чувствовал, как эта злоба убивает его; но не мог воздержаться от нее. Казалось бы, ему должно бы было быть ясно, что это озлобление его на обстоятельства и людей усиливает его болезнь и что поэтому ему надо не обращать внимания на неприятные случайности; но он делал совершенно обратное рассуждение: он говорил, что ему нужно спокойствие, следил за всем, что нарушало это спокойствие, и при всяком малейшем нарушении приходил в раздражение. Ухудшало его положение то, что он читал медицинские книги и советовался с докторами. Ухудшение шло так равномерно, что он мог себя обманывать, сравнивая один день с другим, — разницы было мало. Но когда он советовался с докторами, тогда ему казалось, что идет к худшему и очень быстро даже. И несмотря на это, он постоянно советовался с докторами.

В этот месяц он побывал у другой знаменитости: другая знаменитость сказала почти то же, что и первая, но иначе поставила вопросы. И совет с этой знаменитостью только усугубил сомнение и страх Ивана Ильича. Приятель его приятеля — доктор очень хороший — тот еще совсем иначе определил болезнь и, несмотря на то, что обещал выздоровление, своими вопросами и предположениями еще больше спутал Ивана Ильича и усилил его сомнение. Гомеопат — еще иначе определил болезнь и дал лекарство, и Иван Ильич, тайно от всех, принимал его с неделю. Но после не-

дели, не почувствовав облегчения и потеряв доверие и к прежним лечением, и к этому, пришел в еще большее уныние. Раз знакомая дама рассказывала про исцеление иконами. Иван Ильич застал себя на том, что он внимательно прислушивался и поверял действительность факта. Этот случай испугал его. «Неужели я так умственно ослабел? — сказал он себе. — Пустяки! Все вздор, не надо поддаваться мнительности, а, избрав одного врача, строго держаться его лечения. Так и буду делать. Теперь кончено. Не буду думать и до лета строго буду исполнять лечение. А там видно будет. Теперь конец этим колебаниям!..» Легко было сказать это, но невозможно исполнить. Боль в боку все томила, все как будто усиливалась, становилась постоянной, вкус во рту становился все страннее, ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы все слабели. Нельзя было себя обманывать: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичом, совершалось в нем. И он один знал про это, все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что все на свете идет по-прежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича. Домашние — главное жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов, — он видел, ничего не понимали, досадовали на то, что он такой невеселый и требовательный, как будто он был виноват в этом. Хотя они и старались скрывать это, он видел, что он им помеха, но что жена выработала себе известное отношение к его болезни и держалась его независимо от того, что он говорил и делал. Отношение это было такое:

— Вы знаете, — говорила она знакомым, — Иван Ильич не может, как все добрые люди, строго исполнять предписанное лечение. Нынче он примет капли и кушает, что велено, и вовремя ляжет: завтра вдруг, если я просмотрю, забудет принять, скушает осетрины (а ему не велено), да и засидится за винтом до часа.

— Ну, когда же? — скажет Иван Ильич с досадою. — Один раз у Петра Ивановича.

— А вчера с Шебеком.

— Все равно я не мог спать от боли...

— Да там уж от чего бы то ни было, только так ты никогда не выздоровеешь и мучаешь нас.

Внешнее, высказываемое другим и ему самому, отношение Прасковьи Федоровны было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич и вся болезнь эта есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у нее невольно, но от этого ему не легче было.

В суде Иван Ильич замечал, или думал, что замечает, то же странное к себе отношение: то ему казалось, что к нему приглядываются, как к человеку, имеющему скоро опростать место; то вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью, как будто то, что-то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нем и не переставая сосет его и неудержимо влечет куда-то, есть самый приятный предмет для шутки. Особенно Шварц своей игривостью, жизненностью и комильфотностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за десять лет назад, раздражал его.

Приходили друзья составить партию, садились. Сдавали, разминались новые карты, складывались бубны к бубнам, их семь. Партнер сказал: без козырей, — и поддержал две бубны. Чего ж еще? Весело, бодро должно бы быть — шлем. И вдруг Иван Ильич чувствует эту сосущую боль, этот вкус во рту, и ему что-то дикое представляется в том, что он при этом может радоваться шлему.

Он глядит на Михаила Михайловича, партнера, как он бьет по столу сангвинической рукой и учтиво и снисходительно удерживается от захватывания взяток, а подвигает их к Ивану Ильичу, чтобы доставить ему удовольствие собирать их, не утруждая себя, не протягивая далеко руку. «Что ж он думает, что я так слаб, что не могу протянуть далеко руку», — думает Иван Ильич, забывает козырей и козыряет лишний раз по своим и проигрывает шлем без трех, и что ужаснее всего — это то, что он видит, как страдает Михаил Михайлович, а ему все равно. И ужасно думать, отчего ему все равно.

Все видят, что ему тяжело, и говорят ему: «Мы можем прекратить, если вы устали. Вы отдохните». От-

дохнуть? Нет, он нисколько не устал, они доигрывают роббер. Все мрачны и молчаливы. Иван Ильич чувствует, что он напустил на них эту мрачность, и не может ее рассеять. Они ужинают и разъезжаются, и Иван Ильич остается один с сознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других и что отравы эта не ослабевает, а все больше и больше проникает все существо его.

И с сознанием этим, да еще с болью физической, да еще с ужасом надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи. А наутро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать, а если и не ехать, дома быть с теми же двадцатью четырьмя часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить так на краю гибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его.

V

Так шло месяц и два. Перед Новым годом приехал в их город его шурина и остановился у них. Иван Ильич был в суде. Прасковья Федоровна ездила за покупками. Войдя к себе в кабинет, он застал там шурина, здорового сангвиника, самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд все открыл Ивану Ильичу. Шурина раскрыл рот, чтоб ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило все.

— Что, переменялся?

— Да... есть перемена.

И сколько Иван Ильич ни наводил после шурина на разговор о его внешнем виде, шурина отмалчивался. Приехала Прасковья Федоровна, шурина пошел к ней. Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреть в зеркало — прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная. Потом он оголил руки до локтя, посмотрел, опустил рукава, сел на оттоманку и стал чернее ночи.

«Не надо, не надо», — сказал он себе, вскочил, подошел к столу, открыл дело, стал читать его, но не мог. Он отпер дверь, пошел в залу. Дверь в гостиную была затворена. Он подошел к ней на цыпочках и стал слушать.

— Нет, ты преувеличиваешь, — говорила Прасковья Федоровна.

— Как преувеличиваю? Тебе не видно — он мертвый человек, посмотри его глаза. Нет света. Да что у него?

— Никто не знает. Николаев (это был другой доктор) сказал что-то, но я не знаю. Лещетицкий (это был знаменитый доктор) сказал напротив...

Иван Ильич отошел, пошел к себе, лег и стал думать: «Почка, блуждающая почка». Он вспомнил все то, что ему говорили доктора, как она оторвалась и как блуждает. И он усилием воображения старался поймать эту почку и остановить, укрепить ее; так мало нужно, казалось ему. «Нет, поеду еще к Петру Ивановичу». (Это был тот приятель, у которого был приятель доктор.) Он позвонил, велел заложить лошадь и собрался ехать.

— Куда ты, Жан? — спросила жена с особенно грустным и непривычно добрым выражением.

Это непривычное доброе озлобило его. Он мрачно посмотрел на нее.

— Мне надо к Петру Ивановичу.

Он поехал к приятелю, у которого был приятель доктор. И с ним к доктору. Он застал его и долго беседовал с ним.

Рассматривая анатомически и физиологически подробности о том, что, по мнению доктора, происходило в нем, он все понял.

Была одна штука, маленькая штука в слепой кишке. Все это могло поправиться. Усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого, произойдет всасывание, и все поправится. Он немного опоздал к обеду. Пообедал, весело поговорил, но долго не мог уйти к себе заниматься. Наконец он пошел в кабинет и тотчас же сел за работу. Он читал дела, работал, но сознание того, что у него есть отложенное важ-

ное задушевное дело, которым он займется по окончании, не оставляло его. Когда он кончил дела, он вспомнил, что это задушевное дело были мысли о слепой кишке. Но он не предался им, он пошел в гостиную к чаю. Были гости, говорили и играли на фортепиано, пели; был судебный следователь, желанный жених дочери. Иван Ильич провел вечер, по замечанию Прасковьи Федоровны, веселее других, но он не забывал ни на минуту, что у него есть отложенные важные мысли о слепой кишке. В одиннадцать часов он простился и пошел к себе. Он спал один со времени своей болезни, в маленькой комнатке у кабинета. Он пошел разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал. И в его воображении происходило то желанное исправление слепой кишки. Всасывалось, выбрасывалось, восстанавливалась правильная деятельность. «Да, это все так, — сказал он себе. — Только надо помогать природе». Он вспомнил о лекарстве, приподнялся, принял его, лег на спину, прислушиваясь к тому, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль. «Только равномерно принимать и избегать вредных влияний; я уже теперь чувствую несколько лучше, гораздо лучше». Он стал щупать бок, — на ощупь не больно. «Да, я не чувствую, право, уже гораздо лучше». Он потушил свечу и лег на бок... Слепая кишка исправляется, всасывается. Вдруг он почувствовал знакомую старую, глухую, ноющую боль, упорную, тихую, серьезную. Во рту та же знакомая гадость. Засосало сердце, помутилось в голове. «Боже мой, боже мой! — проговорил он. — Опять, опять, и никогда не перестанет». И вдруг ему дело представилось совсем с другой стороны. «Слепая кишка! Почка, — сказал он себе. — Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и... смерти. Да, жизнь была и вот уходит, уходит, и я не могу удержать ее. Да. Зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю, и вопрос только в числе недель, дней — сейчас, может быть. То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда! Куда?» Его обдало холодом, дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца.

«Меня не будет, так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу». Он вскочил, хотел зажечь свечку, пошарил дрожащими руками, уронил свечу с подсвечником на пол и опять повалился назад, на подушку. «Зачем? Все равно,—говорил он себе, открытыми глазами глядя в темноту.—Смерть. Да, смерть. И они никто не знают и не хотят знать, и не жалеют. Они играют. (Он слышал дальние, из-за двери, раскат голоса и ритурнели.) Им все равно, а они также умрут. Дурачье. Мне раньше, а им после; и им то же будет. А они радуются. Скоты!» Злоба душила его. И ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтоб все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся.

«Что-нибудь не так; надо успокоиться, надо обдумать все сначала». И вот он начал обдумывать. «Да, начало болезни. Стукнулся боком, и все такой же я был, и нынче и завтра; немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость, тоска, опять доктора; а я все шел ближе, ближе к пропасти. Сил меньше. Ближе, ближе. И вот я исчах, у меня света в глазах нет. И смерть, а я думаю о кишке. Думаю о том, чтобы починить кишку, а это смерть. Неужели смерть?» Опять на него нашел ужас, он запыхался, нагнулся, стал искать спичек, надавил локтем на тумбочку. Она мешала ему и делала больно, он разозлился на нее, надавил с досадой сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии, задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти.

Гости уезжали в это время. Прасковья Федоровна провожала их. Она услышала падение и вошла.

— Что ты?

— Ничего. Уронил нечаянно.

Она вышла, принесла свечу. Он лежал, тяжело и быстро-быстро дыша, как человек, который пробежал версту, остановившимися глазами глядя на нее.

— Что ты, Jean?

— Ниче...го. У...ро...нил. — «Что же говорить. Она не поймет», думал он.

Она точно не поняла. Она подняла, зажгла ему свечу и поспешно ушла: ей надо было проводить гостью.

Когда она вернулась, он так же лежал навзничь, глядя вверх.

— Что тебе, или хуже?

— Да.

Она покачала головой, посидела.

— Знаешь, Жан, я думаю, не пригласить ли Леще-тицкого на дом.

Это значит знаменитого доктора пригласить и не пожалеть денег. Он ядовито улыбнулся и сказал: «Нет». Она посидела, подошла и поцеловала его в лоб.

Он ненавидел ее всеми силами души в то время, как она целовала его, и делал усилия, чтобы не оттолкнуть ее.

— Прощай. Бог даст, заснешь.

— Да.

VI

Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии.

В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого.

Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мамá, с папá, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении?

Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание?

И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, — мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно.

Так чувствовалось ему.

«Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос, но ничего подобного не было во мне; и я и все мои друзья — мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что! — говорил он себе. — Не может быть. Не может быть, а есть. Как же это? Как понять это?»

И он не мог понять и старался отогнать эту мысль, как ложную, неправильную, болезненную, и вытеснить ее другими, правильными, здоровыми мыслями. Но мысль эта, не только мысль, но как будто действительность, приходила опять и становилась перед ним.

И он призывал по очереди на место этой мысли другие мысли, в надежде найти в них опору. Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые заслоняли для него прежде мысль о смерти. Но — странное дело — все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия. Последнее время Иван Ильич большей частью проводил в этих попытках восстановить прежние ходы чувства, заслонявшего смерть. То он говорил себе: «Займусь службой, ведь я жил же ею». И он шел в суд, отгоняя от себя всякие сомнения; вступал в разговоры с товарищами и садился, по старой привычке рассеянно, задумчивым взглядом окидывая толпу и обеими исхудавшими руками опираясь на ручки дубового кресла, так же, как обыкновенно, перегибаясь к товарищу, подвигая дело, перешептываясь, и потом, вдруг вскидывая глаза и прямо усаживаясь, произносил известные слова и начинал дело. Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала свое сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и она приходила и становилась

прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: «Неужели только она правда?» И товарищи и подчиненные с удивлением и огорчением видели, что он, такой блестящий, тонкий судья, путался, делал ошибки. Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до конца заседание и возвращался домой с грустным сознанием, что не может по-старому судейское его дело скрыть от него то, что он хотел скрыть; что судейским делом он не может избавиться от нее. И что было хуже всего — это то, что она отвлекала его к себе не затем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился.

И, спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала через все, и ничто не могло заслонить ее.

Бывало, в это последнее время он войдет в гостиную, убранную им, — в ту гостиную, где он упал, для которой он, — как ему ядовито смешно было думать, — для устройства которой он пожертвовал жизнью, потому что он знал, что болезнь его началась с этого ушиба, — он входил и видел, что на лакированном столе был рубец, прорезанный чем-то. Он искал причину и находил ее в бронзовом украшении альбома, отогнутом на краю. Он брал альбом, дорогой, им составленный с любовью, и досадовал на неряшливость дочери и ее друзей, — то разорвано, то карточки перевернуты. Он приводил это старательно в порядок, загибал опять украшение.

Потом ему приходила мысль весь этот *établissement*¹ с альбомами переместить в другой угол, к цветам. Он звал лакея: или дочь или жена приходили на помощь; они не соглашались, противоречили, он спорил, сердился; но все было хорошо, потому что он не помнил о ней, ее не видно было.

¹ устройство, сооружение (франц.).

Но вот жена сказала, когда он сам передвигал: «Позволь, люди сделают, ты опять себе сделаешь вред», и вдруг она мелькнула через ширмы, он увидел ее. Она мелькнула, он еще надеется, что она скроется, но невольно он прислушался к боку, — там сидит все то же, все так же ноет, и он уже не может забыть, и она явственно глядит на него из-за цветов. К чему все?

«И правда, что здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно и как глупо! Это не может быть! Не может быть, но есть».

Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один с нею. С глазу на глаз с нею, а делать с нею нечего. Только смотреть на нее и холодеть.

VII

Как это сделалось на третьем месяце болезни Ивана Ильича, нельзя было сказать, потому что это делалось шаг за шагом, незаметно, но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и, главное, он сам — знали, что весь интерес в нем для других состоит только в том, скоро ли, наконец, он опростает место, освободит живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободится от своих страданий.

Он спал меньше и меньше; ему давали опиум и начали прыскать морфином. Но это не облегчало его. Тупая тоска, которую он испытывал в полуусыпленном состоянии, сначала только облегчала его как что-то новое, но потом она стала так же или еще более мучительна, чем откровенная боль.

Ему готовили особенные кушанья по предписанию врачей; но кушанья эти всё были для него безвкуснее и безвкуснее, отвратительнее и отвратительнее.

Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мученье. Мученье от нечистоты, неприличия и запаха, от сознания того, что в этом должен участвовать другой человек.

Но в этом самом неприятном деле и явилось утешение Ивану Ильичу. Приходил всегда выносить за ним буфетный мужик Герасим.

Герасим был чистый, свежий, раздобревший на городских харчах молодой мужик. Всегда веселый, ясный. Сначала вид этого всегда чисто, по-русски одетого человека, делавшего это противное дело, смущал Ивана Ильича.

Один раз он, встав с судна и не в силах поднять панталоны, повалился на мягкое кресло и с ужасом смотрел на свои обнаженные, с резко обозначенными мускулами, бессильные ляжки.

Вошел в толстых сапогах, распространяя вокруг себя приятный запах дегтя от сапог и свежести зимнего воздуха, легкой сильной поступью Герасим, в посконном чистом фартуке и чистой ситцевой рубаше, с засученными на голых, сильных, молодых руках рукавами, и, не глядя на Ивана Ильича, — очевидно, сдерживая, чтобы не оскорбить больного, радость жизни, сияющую на его лице, — подошел к судну.

— Герасим, — слабо сказал Иван Ильич.

Герасим вздрогнул, очевидно испугавшись, не промахнулся ли он в чем, и быстрым движением повернул к больному свое свежее, доброе, простое, молодое лицо, только что начинавшее обростать бородой.

— Что изволите?

— Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня. Я не могу.

— Помилуйте-с. — И Герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы. — Отчего ж не потрудиться? Ваше дело больное.

И он ловкими, сильными руками сделал свое привычное дело и вышел, легко ступая. И через пять минут, так же легко ступая, вернулся.

Иван Ильич все так же сидел в кресле.

— Герасим, — сказал он, когда тот поставил чистое, обмытое судно, — пожалуйста, помоги мне, поди сюда. — Герасим подошел. — Подними меня. Мне тяжело одному, а Дмитрия я уснул.

Герасим подошел; сильными руками, так же, как он легко ступал, обнял, ловко, мягко поднял и подержал,

другой рукой подтянул панталоны и хотел посадить. Но Иван Ильич попросил его свести его на диван. Герасим, без усилия и как будто не нажимая, свел его, почти неся, к дивану и посадил.

— Спасибо. Как ты ловко, хорошо... все делаешь.

Герасим опять улыбнулся и хотел уйти. Но Ивану Ильичу так хорошо было с ним, что не хотелось отпустить.

— Вот что: подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот, под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше.

Герасим принес стул, поставил не стукнув, враз опустил его ровно до полу и поднял ноги Ивана Ильича на стул; Ивану Ильичу показалось, что ему легче стало в то время, как Герасим высоко поднимал его ноги.

— Мне лучше, когда ноги у меня выше, — сказал Иван Ильич. — Подложи мне вон ту подушку.

Герасим сделал это. Опять поднял ноги и положил. Опять Ивану Ильичу стало лучше, пока Герасим держал его ноги. Когда он опустил их, ему показалось хуже.

— Герасим, — сказал он ему, — ты теперь занят?

— Никак нет-с, — сказал Герасим, выучившийся у городских людей говорить с господами.

— Тебе что делать надо еще?

— Да мне что ж делать? Все переделал, только дров наколоть на завтра.

— Так поддержи мне так ноги повыше, можешь?

— Отчего же, можно. — Герасим поднял ноги выше, и Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли.

— А дрова-то как же?

— Не извольте беспокоиться. Мы успеем.

Иван Ильич велел Герасиму сесть и держать ноги и поговорил с ним. И — странное дело — ему казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его ноги.

С тех пор Иван Ильич стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги и любил говорить с ним. Герасим делал это легко, охотно, просто и с добротой, которая умиляла Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях

оскорбляла Ивана Ильича; только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала Ивана Ильича, Главное мучение Ивана Ильича была ложь, — та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь, ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду... была ужасно мучительна для Ивана Ильича. И — странно — он много раз, когда они над ним проделывали свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им: перестаньте врать, и вы знаете и я знаю, что я умираю, так перестаньте по крайней мере врать. Но никогда он не имел духа сделать этого. Страшный, ужасный акт его умирания, он видел, всеми окружающими его был низведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия (вроде того, как обходятся с человеком, который, войдя в гостиную, распространяет от себя дурной запах), тем самым «приличием», которому он служил всю свою жизнь; он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положения. Один только Герасим понимал это положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Ему хорошо было, когда Герасим, иногда целые ночи напролет, держал его ноги и не хотел уходить спать, говоря: «Вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, выплюсь еще»; или когда он вдруг, переходя на «ты», прибавлял: «Кабы ты не больной, а то отчего же не послужить?» Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего, слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его:

— Все умирать будем. Отчего же не потрудиться? — сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что несет его для умирающего человека и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд.

Кроме этой лжи, или вследствие ее, мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели: Ивану Ильичу в иные минуты, после долгих страданий, больше всего хотелось, как ему ни совестно бы было признаться в этом, — хотелось того, чтоб его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь. Ему хотелось, чтоб его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей. Он знал, что он важный член, что у него седеющая борода и что потому это невозможно; но ему все-таки хотелось этого. И в отношениях с Герасимом было что-то близкое к этому, и потому отношения с Герасимом утешали его. Ивану Ильичу хочется плакать, хочется, чтоб его ласкали и плакали над ним, и вот приходит товарищ, член Шебек, и, вместо того чтобы плакать и ласкаться, Иван Ильич делает серьезное, строгое, глубокомысленное лицо и по инерции говорит свое мнение о значении кассационного решения и упорно настаивает на нем. Эта ложь вокруг него и в нем самом более всего отравляла последние дни жизни Ивана Ильича.

VIII

Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушел и пришел Петр-лакей, потушил свечи, открыл одну гардину и стал потихоньку убирать. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было — все было все равно, все было одно и то же: ноющая, ни на мгновение не утихающая, мучительная боль; сознание безнадежно все уходящей, но все не ушедшей еще жизни; надвигающаяся все та же страшная ненавистная смерть, которая одна была действительность, и все та же ложь. Какие же тут дни, недели и часы дня?

— Не прикажете ли чаю?

«Ему нужен порядок, чтоб по утрам господу пили чай», — подумал он и сказал только:

— Нет.

— Не угодно ли перейти на диван?

«Ему нужно привести в порядок горницу, и я мешаю, я — нечистота, беспорядок», — подумал он и сказал только:

— Нет, оставь меня.

Лакей повозился еще. Иван Ильич протянул руку. Петр подошел услужливо.

— Что прикажете?

— Часы.

Петр достал часы, лежавшие под рукой, и подал.

— Половина девятого. Там не встали?

— Никак нет-с. Василий Иванович (это был сын) ушли в гимназию, а Прасковья Федоровна приказали разбудить их, если вы спросите. Прикажете?

— Нет, не надо. — «Не попробовать ли чаю?» — подумал он. — Да, чаю... принеси.

Петр пошел к выходу. Ивану Ильичу страшно стало оставаться одному. «Чем бы задержать его? Да, лекарство». — Петр, подай мне лекарство. — «Отчего же, может быть, еще поможет и лекарство». Он взял ложку, выпил. «Нет, не поможет. Все это вздор, обман, — решил он, как только почувствовал знакомый приторный и безнадежный вкус. — Нет, уж не могу верить. Но боль-то, боль-то зачем, хоть на минуту затихла бы». И он застонал. Петр вернулся. — Нет, иди. Принеси чаю.

Петр ушел. Иван Ильич, оставшись один, застонал не столько от боли, как она ни была ужасна, сколько от тоски. «Все то же и то же, все эти бесконечные дни и ночи. Хоть бы скорее. Что скорее? Смерть, мрак. Нет, нет. Все лучше смерти!»

Когда Петр вошел с чаем на подносе, Иван Ильич долго растерянно смотрел на него, не понимая, кто он и что он. Петр смутился от этого взгляда. И когда Петр смутился, Иван Ильич очнулся.

— Да, — сказал он, — чай... хорошо, поставь. Только помоги мне умыться и рубашку чистую.

И Иван Ильич стал умываться. Он с отдыхом умыл руки, лицо, вычистил зубы, стал причесываться и посмотрел в зеркало. Ему страшно стало; особенно страшно было то, как волосы плоско прижимались к бледному лбу.

Когда переменяли ему рубашку, он знал, что ему будет еще страшнее, если он взглянет на свое тело, и не смотрел на себя. Но вот кончилось все. Он надел халат, укрылся пледом и сел в кресло к чаю. Одну минуту он почувствовал себя освеженным, но только что он стал пить чай, опять тот же вкус, та же боль. Он насильно допил и лег, вытянув ноги. Он лег и отпустил Петра.

Все то же. То капля надежды блеснет, то возбужется море отчаяния, и все боль, все боль, все тоска и все одно и то же. Одному ужасно тоскливо, хочется позвать кого-нибудь, но он вперед знает, что при других еще хуже. «Хоть бы опять морфин — забыться бы. Я скажу ему, доктору, чтоб он придумал что-нибудь еще. Это невозможно, невозможно так».

Час, два проходит так. Но вот звонок в передней. Авось доктор. Точно, это доктор, свежий, бодрый, жирный, веселый, с тем выражением — что вот вы там чего-то напугались, а мы сейчас вам все устроим. Доктор знает, что это выражение здесь не годится, но он уже раз навсегда надел его и не может снять, как человек, с утра надевший фрак и едущий с визитами.

Доктор бодро, утешающе потирает руки.

— Я холоден. Мороз здоровый. Дайте обогреться, — говорит он с таким выражением, что как будто только надо немножко подождать, пока он обогрется, а когда обогрется, то уж все исправит.

— Ну что, как?

Иван Ильич чувствует, что доктору хочется сказать: «Как делишки?», но что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит: «Как вы провели ночь?»

Иван Ильич смотрит на доктора с выражением вопроса: «Неужели никогда не станет тебе стыдно врать?» Но доктор не хочет понимать вопрос.

И Иван Ильич говорит:

— Все так же ужасно. Боль не проходит, не сдается. Хоть бы что-нибудь!

— Да, вот вы, больные, всегда так. Ну-с, теперь, кажется, я согрелся, даже аккуратнейшая Прасковья Федоровна ничего бы не имела возразить против моей температуры. Ну-с, здравствуйте. — И доктор пожимает руку.

И, откинув всю прежнюю игривость, доктор начинает с серьезным видом исследовать больного, пульс, температуру, и начинаются постукивания, прослушивания.

Иван Ильич знает твердо и несомненно, что все это вздор и пустой обман, но когда доктор, став на колени, вытягивается над ним, прислоняя ухо то выше, то ниже, и делает над ним с значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддается этому, как он поддавался, бывало, речам адвокатов, тогда как он уж очень хорошо знал, что они все врут и зачем врут.

Доктор, стоя на коленках на диване, еще что-то выстукивал, когда зашумело в дверях шелковое платье Прасковьи Федоровны и послышался ее упрек Петру, что ей не доложили о приезде доктора.

Она входит, целует мужа и тотчас же начинает доказывать, что она давно уж встала и только по недоразумению ее не было тут, когда приехал доктор.

Иван Ильич смотрит на нее, разглядывает ее всю и в упрек ставит ей и белизну, и пухлость, и чистоту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит ее. И прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней.

Ее отношение к нему и его болезни все то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему — то, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом, — и не могла уже снять этого отношения к нему.

— Да ведь вот он не слушается! Не принимает вовремя. А главное — ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему — ноги кверху,

Она рассказала, как он заставляет Герасима держать себе ноги.

Доктор улыбнулся презрительно-ласково: «Что ж, мол, делать, эти больные выдумывают иногда такие глупости; но можно простить».

Когда осмотр кончился, доктор посмотрел на часы, и тогда Прасковья Федоровна объявила Ивану Ильичу, что уж как он хочет, а она нынче пригласила знаменитого доктора, и они вместе с Михаилом Даниловичем (так звали обыкновенного доктора) осмотрят и обсудят.

— Ты уж не противься, пожалуйста. Это я для себя делаю, — сказала она иронически, давая чувствовать, что она все делает для него и только этим не дает ему права отказать ей. Он молчал и морщился. Он чувствовал, что ложь эта, окружающая его, так путалась, что уж трудно было разобрать что-нибудь.

Она все над ним делала только для себя и говорила ему, что она делает для себя то, что она точно делала для себя как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно.

Действительно, в половине двенадцатого приехал знаменитый доктор. Опять пошли выслушиванья и значительные разговоры при нем и в другой комнате о почке, о слепой кишке и вопросы и ответы с таким значительным видом, что опять вместо реального вопроса о жизни и смерти, который уже теперь один стоял перед ним, выступил вопрос о почке и слепой кишке, которые что-то делали не так, как следовало, и на которые за это вот-вот нападут Михаил Данилович и знаменитость и заставят их исправиться.

Знаменитый доктор простился с серьезным, но не с безнадежным видом. И на робкий вопрос, который с поднятыми к нему блестящими страхом и надеждой глазами обратил Иван Ильич, есть ли возможность выздоровления, отвечал, что ручаться нельзя, но возможность есть. Взгляд надежды, с которым Иван Ильич проводил доктора, был так жалок, что, увидав его, Прасковья Федоровна даже заплакала, выходя из дверей кабинета, чтобы передать гонорар знаменитому доктору.

Подъем духа, произведенный обнадеживанием доктора, продолжался недолго. Опять та же комната, те же картины, гардины, обои, склянки и то же свое болящее, страдающее тело. И Иван Ильич начал стонать; ему сделали впрыскивание, и он забылся.

Когда он очнулся, стало смеркаться; ему принесли обедать. Он поел с усилием бульона; и опять то же, и опять наступающая ночь.

После обеда, в семь часов, в комнату его вошла Прасковья Федоровна, одетая как на вечер, с толстыми, подтянутыми грудями и с следами пудры на лице. Она еще утром напоминала ему о поездке их в театр. Была приезжая Сарра Бернар, и у них была ложа, которую он настоял, чтоб они взяли. Теперь он забыл про это, и ее наряд оскорбил его. Но он скрыл свое оскорбление, когда вспомнил, что он сам настаивал, чтоб они достали ложу и ехали, потому что это для детей воспитательное эстетическое наслаждение.

Прасковья Федоровна вошла довольная собою, но как будто виноватая. Она присела, спросила о здоровье, как он видел, для того только, чтоб спросить, но не для того, чтобы узнать, зная, что и узнавать нечего, и начала говорить то, что ей нужно было: что она ни за что не поехала бы, но ложа взята, и едут Элен и дочь и Петрищев (судебный следователь, жених дочери), и что невозможно их пустить одних. А что ей так бы приятнее было посидеть с ним. Только бы он делал без нее по предписанию доктора.

— Да, и Федор Петрович (жених) хотел войти. Можно? И Лиза.

— Пускай войдут.

Вошла дочь, разодетая, с обнаженным молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его. А она его выставляла. Сильная, здоровая, очевидно влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью.

Вошел и Федор Петрович во фраке, завитой *á la Sarouf*, с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком.

За ним вполз незаметно и гимназистик в новеньком мундирчике, бедняжка, в перчатках и с ужасной си-невой под глазами, значение которой знал Иван Ильич.

Сын всегда жалок был ему. И страшен был его испуганный и соболезнающий взгляд. Кроме Герасима, Ивану Ильичу казалось, что один Вася понимал и жалел.

Все сели, опять спросили о здоровье. Произошло молчание. Лиза спросила у матери о бинокле. Произошли пререкания между матерью и дочерью, кто куда его дел. Вышло неприятно.

Федор Петрович спросил у Ивана Ильича, видел ли он Сарру Бернар. Иван Ильич не понял сначала того, что у него спрашивали, а потом сказал:

— Нет; а вы уж видели?

— Да, в «Adrienne Lecouvreur».

Прасковья Федоровна сказала, что она особенно хороша в том-то. Дочь возразила. Начался разговор об изяществе и реальности ее игры, — тот самый разговор, который всегда бывает один и тот же.

В середине разговора Федор Петрович взглянул на Ивана Ильича и замолк. Другие взглянули и замолкли. Иван Ильич смотрел блестящими глазами пред собою, очевидно негодуя на них. Надо было поправить это, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть. Лиза первая решилась. Она прервала молчанье. Она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговори-лась.

— Однако, если ехать, то пора, — сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца, и чуть заметно, значительно о чем-то, им одним известном, улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев платьем.

Все встали, простились и уехали.

Когда они вышли, Ивану Ильичу показалось, что ему легче: лжи не было, — она ушла с ними, но боль осталась. Все та же боль, все тот же страх делали то, что ничто не тяжеле, ничто не легче. Все хуже.

Опять пошли минута за минутой, час за часом, все то же, и все нет конца, и все страшнее неизбежный конец.

— Да, пошлите Герасима, — ответил он на вопрос Петра.

IX

Поздно ночью вернулась жена. Она вошла на цыпочках, но он услышал ее: открыл глаза и поспешно закрыл опять. Она хотела уснуть Герасима и сама сидеть с ним. Он открыл глаза и сказал:

— Нет. Иди.

— Ты очень страдаешь?

— Все равно.

— Прими опиума.

Он согласился и выпил. Она ушла.

Часов до трех он был в мучительном забытьи. Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий черный мешок и глубокий, и все дальше просовывают, и не могут просунуть. И это ужасное для него дело совершается с страданием. И он и боится, и хочет провалиться туда, и борется, и помогает. И вот вдруг он оборвался и упал, и очнулся. Все тот же Герасим сидит в ногах на постели, дремлет спокойно, терпеливо. А он лежит, подняв ему на плечи исхудалые ноги в чулках; свеча та же с абажуром, и та же непрекращающаяся боль.

— Уйди, Герасим, — прошептал он.

— Ничего, посижу-с.

— Нет, уйди.

Он снял ноги, лег боком на руку, и ему стало жалко себя. Он подождал только того, чтоб Герасим вышел в соседнюю комнату, и не стал больше удерживаться и заплакал, как дитя. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости бога, об отсутствии бога.

«Зачем ты все это сделал? Зачем привел меня сюда? За что, за что так ужасно мучаешь меня?..»

Он и не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не

шевелился, не звал. Он говорил себе: «Ну еще, ну бей! Но за что? Что я сделал тебе, за что?»

Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание: как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем.

— Чего тебе нужно? — было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал. — Что тебе нужно? Чего тебе нужно? — повторил он себе. — Чего? — Не страдать. Жить, — ответил он.

И опять он весь предался вниманию такому напряженному, что даже боль не развлекала его.

— Жить? Как жить? — спросил голос души.

— Да, жить, как я жил прежде: хорошо, приятно.

— Как ты жил прежде, хорошо и приятно? — спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но — странное дело — все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все — кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом.

Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое.

И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. Начиналось это с Правоведения. Там было еще кое-что истинно хорошее: там было веселье, там была дружба, там были надежды. Но в высших классах уже были реже эти хорошие минуты. Потом, во время первой службы у губернатора, опять появились хорошие минуты: это были воспоминания о любви к женщине. Потом все это смешалось, и еще меньше стало хорошего. Далее еще меньше хорошего, и что дальше, то меньше.

Женитьба... так нечаянно и разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство! И эта

мертвая служба, и эти заботы о деньгах, и так год, и два, и десять, и двадцать — и все то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь... И вот готово, умирай!

Так что ж это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтоб так бессмысленна, гадка была жизнь? А если точно она так гадка и бессмысленна была, так зачем же умирать и умирать, страдая? Что-нибудь не так.

«Может быть, я жил не так, как должно?» — приходило ему вдруг в голову. «Но как же не так, когда я делал все как следует?» — говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти как что-то совершенно невозможное.

«Чего ж ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: «Суд идет!..» Суд идет, идет суд, — повторил он себе. — Вот он суд! Да я же не виноват! — вскрикнул он с злобой. — За что?» И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать все об одном и том же: зачем, за что весь этот ужас?

Но сколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что все это происходит оттого, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль.

Х

Прошло еще две недели. Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И, лежа почти все время лицом к стене, он одиноко страдал все те же неразрешающиеся страдания и одиноко думал все ту же неразрешающуюся думу. Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос, отвечал: да, правда. Зачем эти муки? И голос

отвечал: а так, ни за чем. Дальше и кроме этого ничего не было.

С самого начала болезни, с того времени, как Иван Ильич в первый раз поехал к доктору, его жизнь разделилась на два противоположные настроения, сменявшие одно другое: то было отчаяние и ожидание непонятной и ужасной смерти, то была надежда и исполненное интереса наблюдение за деятельностью своего тела. То перед глазами была одна почка или кишка, которая на время отклонилась от исполнения своих обязанностей, то была одна непонятная ужасная смерть, от которой ничем нельзя избавиться.

Эти два настроения с самого начала болезни сменяли друг друга; но чем дальше шла болезнь, тем сомнительнее и фантастичнее становились соображения о почке и тем реальнее сознание наступающей смерти.

Стоило ему вспомнить о том, чем он был три месяца тому назад, и то, что он теперь; вспомнить, как равномерно он шел под гору, — чтобы разрушилась всякая возможность надежды.

В последнее время того одиночества, в котором он находился, лежа лицом к спинке дивана, того одиночества среди многолюдного города и своих многочисленных знакомых и семьи, — одиночества, полнее которого не могло быть нигде: ни на дне моря, ни в земле, — в последнее время этого страшного одиночества Иван Ильич жил только воображением в прошедшем. Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего. Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдаленному, к детству, и на нем останавливалось. Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали есть нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки. «Не надо об этом... слишком больно», — говорил себе Иван Ильич и опять переносился в настоящее. Пуговица на спинке дивана и морщины сафьяна. «Сафьян дорог, непрочен; ссора была из-за него. Но сафьян другой был, и другая ссора,

когда мы разорвали портфель у отца и нас наказали, а мама принесла пирожки». И опять останавливалось на детстве, и опять Ивану Ильичу было больно, и он старался отогнать и думать о другом.

И опять тут же, вместе с этим ходом воспоминания, у него в душе шел другой ход воспоминаний — о том, как усиливалась и росла его болезнь. То же, что дальше назад, то больше было жизни. Больше было и добра в жизни, и больше было и самой жизни. И то и другое сливалось вместе. «Как мучения всё идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла все хуже и хуже», — думал он. Одна точка светлая там, назади, в начале жизни, а потом все чернее и чернее и все быстрее и быстрее. «Обратно пропорционально квадратам расстояний от смерти», — подумал Иван Ильич. И этот образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой, запал ему в душу. Жизнь, ряд увеличивающихся страданий, летит быстрее и быстрее к концу, страшнейшему страданию. «Я лечу...» Он вздрагивал, шевелился, хотел противиться; но уже он знал, что противиться нельзя, и опять усталыми от смотрения, но не могущими не смотреть на то, что было перед ним, глазами глядел на спинку дивана и ждал, — ждал этого страшного падения, толчка и разрушения. «Противиться нельзя, — говорил он себе. — Но хоть бы понять, зачем это? И того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо. Но этого-то уже невозможно признать», — говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни. «Этого-то допустить уж невозможно, — говорил он себе, усмехаясь губами, как будто кто-нибудь мог видеть эту его улыбку и быть обманутым ею. — Нет объяснения! Мучение, смерть... Зачем?»

XI

Так прошло две недели. В эти недели случилось желанное для Ивана Ильича и его жены событие: Петрищев сделал формальное предложение. Это случилось вечером. На другой день Прасковья Федоровна вошла

к мужу, обдумывая, как объявить ему о предложении Федора Петровича, но в эту самую ночь с Иваном Ильичом свершилась новая перемена к худшему. Прасковья Федоровна застала его на том же диване, но в новом положении. Он лежал навзничь, стонал и смотрел перед собою остановившимся взглядом.

Она стала говорить о лекарствах. Он перевел свой взгляд на нее. Она не договорила того, что начала: такая злоба, именно к ней, выражалась в этом взгляде.

— Ради Христа, дай мне умереть спокойно, — сказал он.

Она хотела уходить, но в это время вошла дочь и подошла поздороваться. Он так же посмотрел на дочь, как и на жену, и на ее вопросы о здоровье сухо сказал ей, что он скоро освободит их всех от себя. Обе замолчали, посидели и вышли.

— В чем же мы виноваты? — сказала Лиза матери. — Точно мы это сделали! Мне жалко папà, но за что же нас мучать?

В обычное время приехал доктор. Иван Ильич отвечал ему: «да, нет», не спуская с него озлобленного взгляда, и под конец сказал:

— Ведь вы знаете, что ничего не поможете, так оставьте.

— Облегчить страдания можем, — сказал доктор.

— И того не можете; оставьте.

Доктор вышел в гостиную и сообщил Прасковье Федоровне, что очень плохо и что одно средство — опиум, чтобы облегчить страдания, которые должны быть ужасны.

Доктор говорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда; но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение.

Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь, глядя на сонное, добродушное скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: а что, как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была «не то».

Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он

прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, — что они-то и могли быть настоящие, а остальное все могло быть не то. И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы — все это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой все это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было.

«А если это так, — сказал он себе, — и я уйду из жизни с сознанием того, что погубил все, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что ж?» Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь. Когда он увидал утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, — каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, все то, чем он жил, и ясно видел, что все это было не то, все это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть. Это сознание увеличило, удесятило его физические страдания. Он стонал и метался и обдергивал на себе одежду. Ему казалось, что она душила и давила его. И за это он ненавидел их.

Ему дали большую дозу опиума, он забылся; но в обед началось опять то же. Он гнал всех от себя и метался с места на место.

Жена пришла к нему и сказала:

— Жан, голубчик, сделай это для меня (для меня?). Это не может повредить, но часто помогает. Что же, это ничего. И здоровые часто...

Он открыл широко глаза.

— Что? Причаститься? Зачем? Не надо! А впрочем...

Она заплакала.

— Да, мой друг? Я позову нашего, он такой милый.

— Прекрасно, очень хорошо, — проговорил он.

Когда пришел священник и исповедовал его, он смягчился, почувствовал как будто облегчение от своих

сомнений и вследствие этого от страданий, и на него нашла минута надежды. Он опять стал думать о слепой кишке и возможности исправления ее. Он причастился со слезами на глазах.

Когда его уложили после причастия, ему стало на минуту легко, и опять явилась надежда на жизнь. Он стал думать об операции, которую предлагали ему. «Жить, жить хочу», — говорил он себе. Жена пришла поздравить; она сказала обычные слова и прибавила:

— Не правда ли, тебе лучше?

Он, не глядя на нее, проговорил: да.

Ее одежда, ее сложение, выражение ее лица, звук ее голоса — все сказало ему одно: «Не то. Все то, чем ты жил и живешь, — есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть». И как только он подумал это, поднялась его ненависть и вместе с ненавистью физические мучительные страдания и с страданиями сознание неизбежной, близкой гибели. Что-то сделалось новое: стало винтить, и стрелять, и сдавливать дыхание.

Выражение лица его, когда он проговорил «да», было ужасно. Проговорив это «да», глядя ей прямо в лицо, он необычайно для своей слабости быстро повернулся ничком и закричал:

— Уйдите, уйдите, оставьте меня!

XII

С этой минуты начался тот три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. В ту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришел конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено, так и остается сомнением.

— У! Уу! У! — кричал он на разные интонации. Он начал кричать: «Не хочу!» — и так продолжал кричать на букву «у».

Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный

к смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пу- скало его вперед и больше всего мучало его.

Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной до- роги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление.

«Да, все было не то, — сказал он себе, — но это ничего. Можно, можно сделать «то». Что ж «то»?» — спросил он себя и вдруг затих.

Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умиравший все кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал.

В это самое время Иван Ильич провалился, увидел свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя: что же «то», и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с откры- тым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке, с от- чаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее.

«Да, я мучаю их, — подумал он. — Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. «Впрочем, зачем же гово- рить, надо сделать», — подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал:

— Уведи... жалко... и тебя... — Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти», и, не в силах уже

будучи поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо.

И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто, — подумал он. — А боль? — спросил он себя. — Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?»

Он стал прислушиваться.

«Да, вот она. Ну что ж, пускай боль».

«А смерть? Где она?»

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страху никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет.

— Так вот что! — вдруг вслух проговорил он. — Какая радость!

Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотанье и хрипенье.

— Кончено! — сказал кто-то над ним.

Он услышал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть, — сказал он себе. — Ее нет больше».

Он втянул в себя воздух, остановился на половине вдоха, потянулся и умер.

ОКОНЧАНИЕ МАЛОРОССИЙСКОЙ ЛЕГЕНДЫ
«СОРОК ЛЕТ»,
ИЗДАННОЙ КОСТОМАРОВЫМ В 1881 г.

В эту же первую ночь, с 12-го на 13-е августа, когда он (убийца), после разговора с сыном, лег один спать в своей комнате, началось его наказание.

«Нет бога, нет души, нет наказания! Как хорошо, как покойно! И как много и долго я понапрасну мучал себя. Все боремся друг с другом, все губим друг друга, чтобы жить, как это сказал Александр. Борьба за существование: вот закон! И другого нет. И мне бог дал быть победителем. Бог дал! Все остается эта глупая привычка. Не бог какой-то дал, а я сумел быть победителем; вот мне и хорошо. И всякий борись; а кто поборол, пользуйся своей победой. Я поборол и пользуюсь. Хорошо было мне жить, только воспоминание отравляло; теперь же будет еще лучше, совсем хорошо. Я понимаю, что им завидно (он вспомнил слова схимника). Им завидно: каждому хочется. А хочется, так борись. Сам борись, а не жди, чтобы тебе дали. Вот и Александр...»

Он вспомнил, как Александр говорил ему на днях, что положенных ему двадцати тысяч в год мало. Он просил прибавить ему еще десять тысяч, и, когда он отказал, он был недоволен.

«Положим, он рассчитывает иметь все, когда я умру...»

И вдруг Трофиму Семеновичу очень ясно пришло в голову, что сын должен желать его смерти.

«Борись, чтобы быть победителем. Я боролся — убил купца; мне нужна была его смерть, и я взял его жизнь. А ему, сыну моему Александру, чья смерть нужна?»

Он остановился и привстал в ужасе на постели.

«Чья смерть? — Моя! — Да, я стою ему на дороге. Сколько бы я ни давал ему, ему лучше, чтобы я умер и он был бы хозяином».

И Трофим стал вспоминать взгляды и слова сына, и во всем он видел то, что сын желает его смерти. И не может не желать.

«А если желает и он — образованный человек, без суеверий, так он должен меня убить. Положим, он не захочет погубить себя. Но есть яд!»

И вдруг ему вспомнился разговор сына о старинных ядах, таких, которые убивают так, что следов нельзя найти.

«А если у него будет этот яд, то как же он не даст его мне? Он должен дать!»

«Он говорил уже, что я запускаю дела, он говорил, что можно сделать больше. Да, стакан чаю — и готово! Подкупить людей, повара, они все продажны».

Он стал вспоминать своего камердинера-цеголя.

«Этому дай тысячу рублей — и готово, да и повару тоже».

Трофим взволновался, думая это, и, чтобы успокоиться, хотел выпить стакан сахарной воды, стоявший на столике у его кровати. Он взял в руку стакан: на дне было что-то белое. «Кто знает, что это? — Нет, не обманешь!» — сказал он и вылил воду; затем пошел к раковине и выпил воды оттуда. «Да, борьба всех против всех. А бороться, так не зевать: буду осторожнее. Буду пить и есть то, что будет есть жена... Да и она тоже. Она знает, что ей пойдет седьмая часть. А ее бедные родные давно требуют от нее. Да, война, так война! Надо так поставить себя, чтобы им не было выгоды в моей смерти. Надо написать завещание такое, которое лишило бы их всего, чтобы смерть моя была невыгодна им. Да, завтра сделаю это и объявлю им».

Он хотел заснуть, но мысли не давали ему спать. Он стал сочинять завещание. Надел халат и туфли, подошел к столу и стал писать начерно завещание, в кото-

ром он отдавал все состояние на богоугодные заведения. Окончив это, он хотел лечь; но тут пришла ему мысль о лакее, о дворнике. Он сам переносился в душу лакея и говорил себе: «Что, если бы я был бедняк-лакей и получал бы пятнадцать рублей жалованья в месяц, и за пять комнат от меня спал бы богач с деньгами, и я бы твердо знал, как я знаю теперь, что нет бога, нет и суда. Что я сделал бы? Я сделал бы, что я сделал с купцом». И на Трофима нашел страх; он опять встал и стал запирать свою дверь, но задвижка не держала, и он, задвинув дверь креслом, привязал его полотенцем к ручке и на кресло поставил кресло, чтобы оно загремело. Только тогда он затушил свечу и проспал так долго, что жена обеспокоилась и пошла отворить дверь. Кресла упали и загремели. Трофим вскочил испуганный, бледный.

«Кто? что? караул!» — даже закричал он и долго не мог опомниться. Ему при пробуждении показалось, что его пришли убивать. Когда он опомнился, то сказал, что он из осторожности загородил, и постарался скрыть свой страх; но сколько он ни старался, с этого дня и домашние и прислуга стали замечать в нем большую перемену. Прежде он бывал весел, бывал и сердит, бывал ласков и добр, бывал и уныл, когда думал о своем грехе. Прежде он одних не любил, других любил, особенно детей — внуков. Теперь же он всегда был одинаков, всегда был молчалив, осторожен, на всех смотрел подозрительно и со всеми, даже с детьми, был одинаково холоден. Завещание сделалось для него главным занятием с этого времени. Долго не мог он сделать такого, какое ему хотелось сделать. Все приказные, которые приезжали к нему за этим делом, не могли угодить ему. Он писал, и переписывал, и переменял. В пище он также стал особенно требователен. Иногда самые вкусные и любимые его кушанья он оставлял, не отведав их, часто отказывался от обеда и приходил в середине стола и брал у сына или дочери или жены начатую тарелку и тогда только ел. Вино он сам покупал особо и держал в своей комнате в шкапу. Делами он стал заниматься меньше; но когда и занимался, всегда скрывал от домашних свои барыши и сколько он получает. Деньги, которые

доставляли ему прежде столько радости, теперь только мучали его. Он старался уберечь их от других и чувствовал, что уберечь их нельзя против таких людей без бога, каким он сам был. Он чувствовал, что если все узнают то, что он знал и что знает его сын, что бога и суда нет, то тогда никакие силы не сохранят его. Его убьют, отравят, отнимут состояние обманом или силой. Одно было спасение: не показывать людям того, что он знает, что нет бога и суда, а, напротив, внушать им, что есть бог, что есть суд. И потому еще последняя переменна, которая сделалась с Трофимом после 12-го августа, была та, что он стал особенно набожен, таким, каким еще не был во всю свою жизнь. Он не пропускал ни одной службы, постился все посты, среды и пятницы, не пропускал никогда случая внушать своим семейным, и своим знакомым, и своей прислуге, что есть бог и его закон и что те, которые не будут соблюдать его, погибнут и будут жестоко наказаны в будущей жизни. Он внушал это даже своему сыну, делая вид, что забыл все, что говорил с ним, или что раскаивался в этом.

С самого того срока, 12-го августа, когда он уверился в том, что ему бояться нечего и некого, что бога нет и что теперь ничто ему не мешает жить вполне в свое удовольствие, не только отпали все его удовольствия, но из всех удовольствий сделались мучения. Страх убийства, отравления, обмана, самых страшных преступлений в своей семье и между своими домочадцами не оставлял его. Он подозревал всякого человека во всех самых ужасных замыслах, и боялся, и ненавидел всякого человека, и жену, и сына, и дочь, и всех людей. Даже маленькие внуки его, которых он прежде любил, теперь казались ему злыми зверьками. Ему казалось, что они так же ненавидят его, как он ненавидел людей. Чтобы спастись от своего страха, он делал не переставая два дела: первое, принимал меры осторожности против всех людей; второе, внушал людям, что есть бог, суд божий. Он считал, что его спасение в том, чтобы уверить людей в том, во что он сам не верил. Состояние его, которое все увеличивалось, уже не радовало, но пугало его. Семейные были его враги. Простых радо-

стей — еды, питья, сна, и тех у него не было. Он во всем подозревал злые против себя замыслы.

Так прожил несчастный Трофим еще более десяти лет. Странности его были всем видны, но страданий его никто не видал. А страдания его были велики. Страдания его были, главное, в том, что жизнь его — он чувствовал — была испорчена страхом, который обуял его, а поправить ее он никак не мог, никак не мог освободиться от страха, а между тем то, чего он боялся, надвигалось все ближе и ближе.

Так промаялся Трофим двенадцать лет, и один раз, придя от обедни и позавтракав у себя в комнате и выпив вина, запертого у него в шкапу, он лег спать и больше не проснулся. Смерть Трофима была внезапная и легкая.

Богатый гроб Трофима повезли на кладбище Александро-Невской лавры. За гробом шла толпа знакомых, ездивших на богатые обеды и ужины богача-золотопромышленника. Один проповедник, славившийся тогда в Петербурге даром красноречия, произнес надгробное слово и много говорил о добродетели, благочестии и счастливой жизни усопшего. Никто, кроме бога, не знал о преступлении Трофима, ни о том, какое наказание постигло его с той минуты, как он потерял в себе бога.

ТРИ СЫНА

(Притча)

Дал отец сыну именье, хлеба, скотины и сказал: «Живи так, как я, и будет тебе всегда хорошо».

Взял сын все отцовское, ушел от отца и стал жить в свое удовольствие. «Отец ведь сказал, чтобы я жил так, как и он. Он живет и радуется, и я буду так жить».

Жил так год, два, десять, двадцать лет, и прожил все отцовское именье, и ничего не осталось у него. И стал он просить отца дать ему еще; но отец не слушал его. Тогда стал он задабривать отца и дарить отцу то, что у него было лучшего, и просить его. Но отец ничего не отвечал ему. Тогда сын стал просить прощенья у отца, думая, что он обидел чем отца, и опять просил дать ему еще; но отец ничего не говорил.

И тогда стал сын клясть отца. Он сказал:

— Если теперь не дасшь, зачем прежде давал и отдалял меня и обещал, что мне будет всегда хорошо жить. Не стоят все мои прежние радости, когда я проживал именье, одного часа теперешней муки. Вижу, что погибаю, и спасенья нет. А кто виноват?— Ты. Ты ведь знал, что мне не достанет именья, а не дал больше. Ты сказал мне только: живи, как я, и тебе будет хорошо. Я и жил, как ты. Ты жил в свое удовольствие, и я жил в свое удовольствие. Себе-то ты больше оставил. У тебя и теперь есть, а мне не достало. Не отец ты, а обманщик и злодей. Проклятая моя жизнь, проклят и ты, злодей, мучитель, не хочу знать и ненавижу тебя.

Дал отец именье и второму сыну и сказал только: «Живи, как я, и тебе будет всегда хорошо». Второй сын

уж не так обрадовался имению, как первый. Он думал, что ему так и следует. Но он знал, что случилось с старшим братом, и потому стал думать о том, как бы не прожить все именье так же, как и первый. Он понял одно, что старший брат не так понял слова: живи, как я, и что не надо жить только в свое удовольствие. И стал он думать, что значит: живи, как я. И придумал, что надо, как и отец, заводить все то именье, которое дано ему. И начал заводить вновь такое же именье, как и то, которое дал ему отец.

И стал он придумывать, как бы самому снова сделать все то, что дал ему отец. И стал спрашивать у отца, как что делать; но отец не отвечал ему. Но сын подумал, что отец боится сказать ему, и стал разбирать все вещи отцовские, чтобы понять по ним, как все сделано, и перепортил и погубил все, что получил от отца, а все, что сделал нового, все это было не на пользу; но ему не хотелось признаться, что он все перепортил, и он жил и мучился, а всем говорил, что отец ему ничего и не давал, а все он сделал себе сам. «А все мы сами и всё можем делать лучше и лучше и дойдем скоро так, что все будет прекрасно». Так говорил второй сын, пока еще у него оставалось кое-что отцовское, но когда он переломал последнее и ему стало нечем жить, он сам на себя наложил руки и убил себя.

Дал отец такое же именье и третьему сыну, и так же сказал: «Живи так, как я, и тебе будет всегда хорошо». И третий сын так же, как первый и второй, обрадовался имению и ушел от отца; но он знал, что случилось с старшими братьями, и стал думать о том, что значит: живи так, как я, и тебе будет всегда хорошо.

Старший брат думал, что жить так, как отец, значит жить в свое удовольствие, и все прожил и пропал. Второй брат думал, что жить так, как отец, значит сделать самому все то, что сделал отец, и тоже отчаялся. Что же значит: живи так, как отец?

И стал он вспоминать все, что знал об отце. И сколько он ни думал, ничего другого он не знал об отце, как только то, что прежде ничего не было, и его самого не было; и что отец родил, вспоил, вскормил его, научил и дал ему всякое добро и сказал: живи так, как я,

и тебе будет всегда хорошо. То же отец сделал и с братьями. И сколько он ни думал, больше он ничего не мог узнать об отце. Все, что он знал об отце, было только то, что отец делал добро и ему и братьям его.

И тогда он понял, что значат слова: живи так, как я. Он понял, что жить так, как отец, значит делать то, что он делает, делать добро людям.

И когда он подумал это, отец уж был подле него и сказал: «Вот мы и опять вместе, и тебе всегда будет хорошо. Поди же к своим братьям, ко всем детям моим и скажи им, что значит: живите, как я, и что правда то, что тем, которые будут жить, как я, будет всегда хорошо».

И третий сын пошел и все рассказал своим братьям, и с тех пор все дети, когда получали именье от отца, радовались не тому, что у них именья много, а тому, что они могут жить так же, как отец, и что им будет всегда хорошо.

Отец — это бог; сыновья — это люди; именье — это жизнь. Люди думают, что они могут жить одни, без бога. Одни из этих людей думают, что жизнь им дана затем, чтобы веселиться этой жизнью. Они веселятся и проматывают жизнь, а как придет время умирать, не понимают, зачем была дана жизнь такая, веселье которой кончается страданиями и смертью. И эти люди умирают, проклиная бога и называя его злым, и отделиются от бога. Это первый сын.

Другие люди думают, что жизнь им дана затем, чтобы понять, как она сделана и чтобы сделать ее лучше, чем та, которая дана им от бога. И они бьются о том, чтобы сделать другую, лучшую жизнь. Но они, улучшая эту жизнь, губят ее, и этим сами лишают себя жизни.

Третьи говорят: «Все, что мы знаем о боге, это то, что он дает людям благо, велит им делать то же, что и он, и потому будем делать то же, что он, — благо людям».

И как только они начинают делать это, бог сам приходит к ним и говорит:

— Этого самого я и хотел. Делайте со мною вместе то, что я делаю, и как я живу, так и вы жить будете.

СУРАТСКАЯ КОФЕЙНАЯ

(По Бернарден де Сен-Пьеру)

Была в индийском городе Сурате кофейная. И сходились туда из разных земель проезжие и иностранцы и часто беседовали.

Зашел туда раз персидский ученый-богослов. Он всю жизнь изучал сущность божества и читал и писал о том книги. Долго думал, читал и писал он о боге, зашел у него ум за разум, спуталось у него все в голове, и дошел он до того, что перестал верить в бога.

Узнал про это царь и изгнал его из персидского царства.

Так-то всю жизнь рассуждая о первой причине, запутался несчастный богослов и, вместо того, чтобы понять, что у него уже не стало разума, стал думать, что не стало больше высшего разума, управляющего миром.

Был у этого богослова раб-африканец, ходивший за ним повсюду. Когда богослов вошел в кофейную, африканец остался на дворе, за дверью, и сел на камень на припеке солнца; он сидел и отгонял от себя мух. А сам богослов лег на диван в кофейной и велел подать себе чашку опиума. Когда он выпил чашку и опиум начал расшевеливать его мозг, он обратился к своему рабу.

— Что, раб презренный, — сказал богослов, — скажи мне, как ты думаешь, есть бог или нет?

— Разумеется, есть! — сказал раб и тотчас достал из-за пояса маленького деревянного идола. — Вот, — сказал раб, — вот тот бог, который меня хранит с тех пор, как я живу на свете. Бог этот сделан из сука того самого священного дерева, которому поклоняются все в нашей стране.

Услыхали этот разговор между богословом и рабом бывшие в кофейной и удивились.

Удивительным показался им вопрос господина и еще более удивительным ответ раба.

Один брамин, слышавший слова раба, обратился к нему и сказал:

— Несчастный безумец! Разве можно думать, чтобы бог мог находиться за поясом у человека? Бог есть один — брама. И этот брама больше всего мира, потому что он сотворил весь мир. Брама есть единый, великий бог; тот бог, которому построены храмы на берегах реки Гангеса, тот бог, которому служат его единственные жрецы — брамины. Одни эти жрецы знают истинного бога. Прошло уже двадцать тысяч лет, и сколько ни было переворотов в мире, жрецы эти остаются такими же, какими были всегда, потому что брама, единый, истинный бог, покровительствует им.

Так сказал брамин, думая убедить всех, но бывший тут же еврейский меняла возразил ему.

— Нет, — сказал он. — Храм истинного бога не в Индии!.. И бог покровительствует не касте браминов! Истинный бог есть бог не браминов, а бог Авраама, Исаака и Иакова. И покровительствует истинный бог только одному своему народу израильскому. Бог с начала мира, не переставая, любил и любит один наш народ. И если теперь и рассеян наш народ на земле, то это только испытание, а бог, как и обещал, соберет опять народ свой в Иерусалим с тем, чтобы восстановить чудо древности, Иерусалимский храм, поставить израиля владыкой над всеми народами.

Так сказал еврей и заплакал. Он хотел продолжать речь, но бывший тут итальянец перебил его.

— Неправду вы говорите, — сказал итальянец еврею. — Вы приписываете богу несправедливость. Бог не может любить один народ больше других. Напротив,

если он даже и покровительствовал прежде израилю, то вот уже тысяча восемьсот лет прошло с тех пор, как бог разгневался и в знак своего гнева прекратил существование его и рассеял этот народ по земле, так что вера эта не только не распространяется, но только кое-где остается. Бог не оказывает предпочтения никакому народу, а призывает всех тех, которые хотят спастись, в лоно единой римско-католической церкви, вне которой нет спасения.

Так сказал итальянец. Но бывший тут протестантский пастор, побледнев, отвечал католическому миссионеру:

— Как можете вы говорить, что спасение возможно только в вашем исповедании? Знайте же, что спасены будут только те, которые, по Евангелию, будут служить богу в духе и истине по закону Иисуса.

Тогда турок, служащий в суратской таможне, который тут же сидел, куря трубку, с важным видом обратился к обоим христианам.

— Напрасно вы так уверены в истине своей римской веры, — сказал он. — Ваша вера уже около шестисот лет тому назад заменена истинною верою Магомета. И, как вы сами видите, истинная вера Магомета все больше и больше распространяется и в Европе, и в Азии, и даже в просвещенном Китае. Вы сами признаете, что евреи отвержены богом, и доказательством тому приводите то, что евреи в унижении и вера их не распространяется. Признайте же истинность веры Магомета, потому что она находится в величии и постоянно распространяется. Спасутся только верующие в последнего пророка божия, Магомета. И то только последователи Омара, а не Али, так как последователи Али — неверные.

При этих словах персидский богослов, принадлежащий к секте Али, хотел возразить. Но в кофейной в это время поднялся великий спор между всеми бывшими тут иностранцами разных вер и исповеданий. Были тут христиане абиссинские, индийские ламы, измаилиты и огнепоклонники.

Все спорили о сущности бога и о том, как нужно почитать его. Каждый утверждал, что только в его стране знают истинного бога и знают, как надо почитать его.

Все спорили, кричали. Один только бывший тут китаец, ученик Конфуция, сидел смиренно в углу кофейной и не вступал в спор. Он пил чай, слушал, что говорили, но сам молчал.

Турок, заметив его среди спора, обратился к нему и сказал:

— Поддержи хоть ты меня, добрый китаец. Ты молчишь, но ты мог бы сказать кое-что в мою пользу. Я знаю, что у вас в Китае вводятся теперь разные веры. Ваши торговцы не раз говорили мне, что ваши китайцы из всех других вер считают магометанскую самой лучшей и охотно принимают ее. Поддержи же мои слова и скажи, что ты думаешь об истинном боге и его пророке.

— Да, да, скажи, что ты думаешь, — обратились к нему и другие.

Китаец, ученик Конфуция, закрыл глаза, подумал и потом, открыв их, выпростал руки из широких рукавов своей одежды, сложил их на груди и заговорил тихим и спокойным голосом.

— Господа, — сказал он, — мне кажется, что самолюбие людей более всего другого мешает их согласию в деле веры. Если вы потрудитесь меня выслушать, я объясню вам это примером.

Я выехал из Китая в Сурат на английском пароходе, обошедшем вокруг света. По пути мы пристали к восточному берегу острова Суматры, чтобы набрать воды. В полдень мы сошли на землю и сели на берегу моря в тени кокосовых пальм, недалеко от деревни жителей острова. Нас сидело несколько человек из различных земель.

Пока мы сидели, к нам подошел слепой.

Человек этот ослеп, как мы узнали после, оттого, что слишком долго и упорно смотрел на солнце. А смотрел он так долго и упорно на солнце потому, что захотел понять, что такое солнце. Он хотел это узнать, чтобы завладеть светом солнца.

Бился он долго, пускал в дело все науки, хотелось ему захватить несколько лучей солнца, поймать их и закупорить в бутылку.

Долго он бился и все смотрел на солнце и ничего не мог сделать, а сделалось с ним только то, что от солнца у него заболели глаза и он ослеп.

Тогда он сказал себе:

— Свет солнечный не жидкость, потому что если бы он был жидкостью, то можно было бы переливать его, и он колебался бы от ветра, как вода. Свет солнечный тоже не огонь, потому что, если бы это был огонь, он бы тух в воде. Свет тоже не дух, потому что он виден, и не тело, потому что нельзя им двигать. А так как свет солнечный не жидкость, не твердое, не дух, не тело, то свет солнечный — ничто.

Так он рассудил и в одно время оттого, что все смотрел на солнце и все думал о нем, потерял и зрение и разум.

Когда же он стал совсем слеп, тогда уже совершенно уверился в том, что солнца нет.

С этим слепцом подошел и его раб. Он посадил своего господина в тень кокосового дерева, поднял с земли кокосовый орех и стал из него делать ночник. Он сделал светильню из волокна кокосового, выжал из ореха масло в скорлупу и обмакнул в него светильню.

Пока раб делал свой ночник, слепой, вздохнув, сказал ему:

— Ну, что, раб, правду я тебе сказал, что нет солнца? Видишь, как темно. А говорят — солнце... Да и что такое солнце?

— А не знаю я, что такое солнце, — сказал раб. — Мне нет до него дела. А вот свет знаю. Вот я сделал ночник, мне и будет светло, и тебе могу им службу оказать, и все найти в своем шалаше.

И раб взял в руку свою скорлупу. — Вот, говорит, мое солнце.

Тут же сидел хромой с костылем. Он услышал это и засмеялся.

— Ты, видно, от рожденья слеп, — сказал он слепому, — что не знаешь, что такое солнце. Я тебе скажу, что оно такое: солнце — огненный шар, и шар этот каждый день выходит из моря и каждый вечер садится в горах нашего острова; это мы все видим, и ты бы видел, если бы был зрячий.

Рыбак, сидевший тут же, услышал эти слова и сказал хромоту:

— И видно же, что ты нигде не был дальше твоего острова. Если бы ты был не хром да поездил бы по морю, ты бы знал, что солнце садится не в горах нашего острова, а как выходит из моря, так вечером опять и садится в море. Я говорю верно, потому что каждый день вижу это своими глазами.

Услыхал это индеец.

— Удивляюсь, — сказал он, — как может умный человек говорить такие глупости. Разве можно, чтобы огненный шар спускался в воду и не потухал? Солнце вовсе не огненный шар, а солнце — божество. Божество это называется Дева. Божество это ездит на колеснице по небу вокруг золотой горы Сперувя.

Бывает, что злые змеи Рагу и Кету нападают на Дева и проглатывают его, и тогда делается темно. Но жрецы наши молятся о том, чтобы божество освободилось, и тогда оно освобождается. Только такие невежественные люди, как вы, никогда не ездившие дальше своего острова, могут воображать, что солнце светит только на их остров.

Тогда заговорил бывший тут же хозяин египетского судна.

— Нет, — сказал он, — и это неправда, солнце не божество и не ходит только вокруг Индии и ее золотой горы. Я много плавал и по Черному морю, и по берегам Аравии, был и на Мадагаскаре, и на Филиппинских островах, — солнце освещает все земли, а не одну Индию, оно не ходит кругом одной горы, но оно встает у островов Японии, и потому и острова те называются Япен, то есть на их языке — рождение солнца, и садится оно далеко, далеко на западе, за островами Англии. Я это хорошо знаю, потому что и сам видел много и слышал много от деда. А дед мой плавал до самых краев моря.

Он хотел еще говорить, но английский матрос нашего корабля перебил его.

— Нет земли, кроме Англии, — сказал он, — где бы лучше знали о том, как ходит солнце. Солнце, мы все это знаем в Англии, нигде не встает и нигде не ло-

жится. А оно ходит беспрестанно вокруг земли. Мы это хорошо знаем, потому что сами вот только что обошли вокруг земли и нигде не натолкнулись на солнце. Везде оно так же, как здесь, утром показывается и вечером скрывается.

И англичанин взял палку, начертил на песке круг и стал толковать, как ходит солнце по небу вокруг земли. Но он не сумел растолковать хорошо и, показав на кормчего своего корабля, сказал:

— Он, впрочем, более меня учен и лучше вам все это растолкует.

Кормчий был человек разумный и слушал разговор молча, пока его не спросили. Но теперь, когда все обратились к нему, он начал говорить и сказал:

— Все вы обманываете друг друга и сами обманываетесь. Солнце не вертится вокруг земли, а земля вертится вокруг солнца, и сама еще вертится, поворачивая к солнцу в продолжение двадцати четырех часов и Японию, и Филиппинские острова, и Суматру, на которой мы сидим, и Африку, и Европу, и Азию, и множество еще других земель. Солнце светит не для одной горы, не для одного острова, не для одного моря и даже не для одной земли, а для многих таких же планет, как и земля. Все это каждый из вас мог бы понять, если бы смотрел вверх на небо, а не себе под ноги, и не думал бы, что солнце светит только для одного него или для одной его родины.

Так сказал мудрый кормчий, много ездивший по свету и много смотревший вверх на небо.

— Да, заблуждения и несогласия людей в вере — от самолюбия, — продолжал китаец, ученик Конфуция. — Что с солнцем, то же и с богом. Каждому человеку хочется, чтобы у него был свой особенный бог или, по крайней мере, бог его родной земли. Каждый народ хочет заключить в своем храме того, кого не может объять весь мир.

И может ли какой храм сравниться с тем, который сам бог построил для того, чтобы соединить в нем всех людей в одно исповедание и одну веру?

Все человеческие храмы сделаны по образцу этого храма — мира божия. Во всех храмах есть купели, есть своды, светильники, образа, надписи, книги законов, жертвы, алтари и жрецы. В каком же храме есть такая купель, как океан, такой свод, каков свод небесный, такие светильники, каковы солнце, луна и звезды, такие образа, каковы живые, любящие, помогающие друг другу люди? Где надписи о благодати бога, столь же понятные, как те благодеяния, которые повсюду рассеяны богом для счастья людей? Где такая книга закона, столь ясная каждому, как та, которая написана в его сердце? Где жертвы, подобные тем жертвам самоотречения, которые любящие люди приносят своим ближним? И где алтарь, подобный сердцу доброго человека, на котором сам бог принимает жертву?

Чем выше будет понимать человек бога, тем лучше он будет знать его. А чем лучше будет знать он бога, тем больше будет приближаться к нему, подражать его благодати, милосердию и любви к людям.

И потому пусть тот, который видит весь свет солнца, наполняющий мир, пусть тот не осуждает и не презирает того суеверного человека, который в своем идоле видит только один луч того же света, пусть не презирает и того неверующего, который ослеп и вовсе не видит света.

Так сказал китаец, ученик Конфуция, и все бывшие в кофейной замолчали и не спорили больше о том, чья вера лучше.

КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА

«А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (*Матфея V, 28*).

«Говорят ему ученики его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.

Он же сказал им: не все вменяют слово сие: но кому дано.

Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для царства небесного. Кто может вместить, да вместит» (*Матфея XIX, 10, 11, 12*).

I

Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили едущие на короткие расстояния, но трое ехало, так же как и я, с самого места отхода поезда: некрасивая и немолодая дама, курящая, с измученным лицом, в полумужском пальто и шапочке, ее знакомый, разговорчивый человек лет сорока, с аккуратными новыми вещами, и еще державшийся особняком небольшого роста господин с порывистыми движениями, еще не старь, но с очевидно преждевременно поседевшими курчавыми волосами и с необыкновенно

блестящими глазами, быстро перебежавшими с предмета на предмет. Он был одет в старое от дорогого портного пальто с барашковым воротником и высокую барашковую шапку. Под пальто, когда он расстегивался, видна была поддевка и русская вышитая рубаха. Особенность этого господина состояла еще в том, что он изредка издавал странные звуки, похожие на откашливание или на начатый и оборванный смех.

Господин этот во все время путешествия старательно избегал общения и знакомства с пассажирами. На заговариванья соседей он отвечал коротко и резко и или читал, или, глядя в окно, курил, или, достав провизию из своего старого мешка, пил чай, или закусывал.

Мне казалось, что он тяготится своим одиночеством, и я несколько раз хотел заговорить с ним, но всякий раз, когда глаза наши встречались, что случалось часто, так как мы сидели наискоски друг против друга, он отворачивался и брался за книгу или смотрел в окно.

Во время остановки, перед вечером второго дня, на большой станции нервный господин этот сходил за горячей водой и заварил себе чай. Господин же с аккуратными новыми вещами, адвокат, как я узнал впоследствии, с своей соседкой, курящей дамой в полумужском пальто, пошли пить чай на станцию.

Во время отсутствия господина с дамой в вагон вошло несколько новых лиц и в том числе высокий бритый морщинистый старик, очевидно купец, в ильковой шубе и суконном картузе с огромным козырьком. Купец сел против места дамы с адвокатом и тотчас же вступил в разговор с молодым человеком, по виду купеческим приказчиком, вошедшим в вагон тоже на этой станции.

Я сидел наискоски и, так как поезд стоял, мог в те минуты, когда никто не проходил, слышать урывками их разговор. Купец объявил сначала о том, что он едет в свое имение, которое отстоит только на одну станцию; потом, как всегда, заговорили сначала о ценах, о торговле, говорили, как всегда, о том, как Москва нынче торгует, потом заговорили о Нижегородской ярманке. Приказчик стал рассказывать про кутежи какого-то извест-

ного обоим богача-купца на ярманке, но старик не дал ему договорить и стал сам рассказывать про былые куптежи в Кунавине, в которых он сам участвовал. Он, видимо, гордился своим участием в них и с видимой радостью рассказывал, как они вместе с этим самым знакомым сделали раз пьяные в Кунавине такую штуку, что ее надо было рассказать шепотом и что приказчик захохотал на весь вагон, а старик тоже засмеялся, оскалив два желтые зуба.

Не ожидая услышать ничего интересного, я встал, чтобы походить по платформе до отхода поезда. В дверях мне встретились адвокат с дамой, на ходу про что-то оживленно разговаривавшие.

— Не успеете,— сказал мне общительный адвокат,— сейчас второй звонок.

И точно, я не успел дойти до конца вагонов, как раздался звонок. Когда я вернулся, между дамой и адвокатом продолжался оживленный разговор. Старый купец молча сидел напротив них, строго глядя перед собой и изредка неодобрительно жуя зубами.

— Затем она прямо объявила своему супругу,— улыбаясь, говорил адвокат в то время, как я проходил мимо него,— что она не может, да и не желает жить с ним, так как...

И он стал рассказывать далее что-то, чего я не мог расслышать. Вслед за мной прошли еще пассажиры, прошел кондуктор, вбежал артельщик, и довольно долго был шум, из-за которого не слышно было разговора. Когда все затихло и я опять услышал голос адвоката, разговор, очевидно, с частного случая перешел уже на общие соображения.

Адвокат говорил о том, как вопрос о разводе занимал теперь общественное мнение в Европе и как у нас все чаще и чаще являлись такие же случаи. Заметив, что его голос один слышен, адвокат прекратил свою речь и обратился к старику.

— В старину этого не было, не правда ли? — сказал он, приятно улыбаясь.

Старик хотел что-то ответить, но в это время поезд тронулся, и старик, сняв картуз, начал креститься и чи-

тать шепотом молитву. Адвокат, отведя в сторону глаза, учтиво дождался. Окончив свою молитву и троекратное крещение, старик надел прямо и глубоко свой картуз, поправился на месте и начал говорить.

— Бывало, сударь, и прежде, только меньше, — сказал он. — По нынешнему времени нельзя этому не быть. Уж очень образованны стали.

Поезд, двигаясь все быстрее и быстрее, погромыхивал на стычках, и мне трудно было расслышать, а интересно было, и я пересел ближе. Сосед мой, нервный господин с блестящими глазами, очевидно, тоже заинтересовался и, не вставая с места, прислушивался.

— Да чем же худо образование? — чуть заметно улыбаясь, сказала дама. — Неужели же лучше так жениться, как в старину, когда жених и невеста и не видали даже друг друга? — продолжала она, по привычке многих дам отвечая не на слова своего собеседника, а на те слова, которые она думала, что он скажет. — Не знали, любят ли, могут ли любить, а выходили за кого попало, да всю жизнь и мучались; так, по-вашему, это лучше? — говорила она, очевидно обращая речь ко мне и к адвокату, но менее всего к старику, с которым говорила.

— Уж очень образованны стали, — повторил купец, презрительно глядя на даму и оставляя ее вопрос без ответа.

— Желательно бы знать, как вы объясняете связь между образованием и несогласием в супружестве, — чуть заметно улыбаясь, сказал адвокат.

Купец что-то хотел сказать, но дама перебила его.

— Нет, уж это время прошло, — сказала она. Но адвокат остановил ее:

— Нет, позвольте им выразить свою мысль.

— Глупости от образования, — решительно сказал старик.

— Женят таких, которые не любят друг друга, а потом удивляются, что несогласно живут, — торопилась говорить дама, оглядываясь на адвоката и на меня и даже на приказчика, который, поднявшись с своего места и облокотившись на спинку, улыбаясь, прислуши-

вался к разговору. — Ведь это только животных можно спаривать, как хозяин хочет, а люди имеют свои склонности, привязанности, — очевидно желая уязвить купца, говорила она.

— Напрасно так говорите, сударыня, — сказал старик, — животное скот, а человеку дан закон.

— Ну да как же жить с человеком, когда любви нет? — все торопилась дама высказывать свои суждения, которые, вероятно, ей казались очень новыми.

— Прежде этого не разбирали, — внушительным тоном сказал старик, — нынче только завелось это. Как что, она сейчас говорит: «Я от тебя уйду». У мужиков на что, и то эта самая мода завелась. «На, говорит, вот тебе твои рубахи и портки, а я пойду с Ванькой, он кудрявей тебя». Ну вот и толкуй. А в женщине первое дело страх должен быть.

Приказчик посмотрел и на адвоката, и на даму, и на меня, очевидно удерживая улыбку и готовый и осмеять и одобрить речь купца, смотря по тому, как она будет принята.

— Какой же страх? — сказала дама.

— А такой: да боится своего му-у-ужа! Вот какой страх.

— Ну, уж это, батюшка, время прошло, — даже с некоторой злобой сказала дама.

— Нет, сударыня, этому времени пройти нельзя. Как была она, Ева, женщина, из ребра мужнина сотворена, так и останется до скончания века, — сказал старик, так строго и победительно потрянув головой, что приказчик тотчас же решил, что победа на стороне купца, и громко засмеялся.

— Да это вы, мужчины, так рассуждаете, — говорила дама, не сдаваясь и оглядываясь на нас, — сами себе дали свободу, а женщину хотите в терему держать. Сами небось себе все позволяете.

— Позволенья никто не дает, а только что от мужчины в доме ничего не прибудет, а женщина-жено — утлый сосуд, — продолжал внушать купец.

Внушительность интонаций купца, очевидно, побеждала слушателей, и дама даже чувствовала себя подавленной, но все еще не сдавалась.

— Да, но, я думаю, вы согласитесь, что женщина — человек, и имеет чувства, как и мужчина. Ну что же ей делать, если она не любит мужа?

— Не любит! — грозно повторил купец, двинув бровями и губами. — Небось полюбит!

Этот неожиданный аргумент особенно понравился приказчику, и он издал одобрительный звук.

— Да нет, не полюбит, — заговорила дама, — а если любви нет, то ведь к этому нельзя же принудить.

— Ну, а как жена изменит мужу, тогда как? — сказал адвокат.

— Этого не полагается, — сказал старик, — за этим смотреть надо.

— А как случится, тогда как? Ведь бывает же.

— У кого бывает, а у нас не бывает, — сказал старик.

Все помолчали. Приказчик пошевелился, еще подвинулся и, видимо не желая отстать от других, улыбаясь, начал:

— Да-с, вот тоже у нашего молодца скандал один вышел. Тоже рассудить слишком трудно. Тоже попала такая женщина, что распутевая. И пошла чертить. А малый степенный и с развитием. Сначала с конторщиком. Уговаривал он тоже добром. Не унялась. Всякие пакости делала. Его деньги стала красть. И бил он ее. Что ж, все хужела. С некрещеным, с евреем, с позволенья сказать, свела шашни. Что ж ему делать? Бросил ее совсем. Так и живет холостой, а она слоняется.

— Потому он дурак, — сказал старик. — Кабы он спервоначала не дал ей ходу, а укороту бы дал настоящую, жила бы небось. Волю не давать надо сначала. Не верь лошади в поле, а жене в доме.

В это время пришел кондуктор спрашивать билеты до ближайшей станции. Старик отдал свой билет.

— Да-с, загодя укорачивать надо женский пол, а то все пропадет.

— Ну, а как же вы сами сейчас рассказывали, как женатые люди на ярманке в Кунавине веселятся? — сказал я, не выдержав.

— Эта статья особая, — сказал купец и погрузился в молчанье.

Когда раздался свисток, купец поднялся, достал из-под лавки мешок, запахнулся и, приподняв картуз, вышел на тормоз.

II

Только что старик ушел, поднялся разговор в несколько голосов.

— Старого завета папаша, — сказал приказчик.

— Вот Домострой живой, — сказала дама. — Какое дикое понятие о женщине и о браке!

— Да-с, далеки мы от европейского взгляда на брак, — сказал адвокат.

— Ведь главное то, чего не понимают такие люди, — сказала дама, — это то, что брак без любви не есть брак, что только любовь освящает брак и что брак истинный только тот, который освящает любовь.

Приказчик слушал и улыбался, желая запомнить для употребления сколько можно больше из умных разговоров.

В середине речи дамы позади меня послышался звук как бы прерванного смеха или рыдания, и, оглянувшись, мы увидели моего соседа, седого одинокого господина с блестящими глазами, который во время разговора, очевидно интересовавшего его, незаметно подошел к нам. Он стоял, положив руки на спинку сиденья, и, очевидно, очень волновался: лицо его было красно, и на щеке вздрагивал мускул.

— Какая же это любовь... любовь... любовь... освящает брак? — сказал он, запинаясь.

Видя взволнованное состояние собеседника, дама постаралась ответить ему как можно мягче и обстоятельнее.

— Истинная любовь... Есть эта любовь между мужчиной и женщиной, возможен и брак, — сказала дама.

— Да-с, но что разумеет под любовью истинной? — неловко улыбаясь и робея, сказал господин с блестящими глазами.

— Всякий знает, что такое любовь, — сказала дама, очевидно желая прекратить с ним разговор.

— А я не знаю, — сказал господин. — Надо определить, что вы разумеете...

— Как? очень просто, — сказала дама, но задумалась. — Любовь? Любовь есть исключительное предпочтение одного или одной перед всеми остальными, — сказала она.

— Предпочтение на сколько времени? На месяц? На два дни, на полчаса? — проговорил седой господин и засмеялся.

— Нет, позвольте, вы, очевидно, не про то говорите.

— Нет-с, я про то самое.

— Они говорят, — вступился адвокат, указывая на даму, — что брак должен вытекать, во-первых, из привязанности, любви, если хотите, и что если налицо есть таковая, то только в этом случае брак представляет из себя нечто, так сказать, священное. Затем, что всякий брак, в основе которого не заложены естественные привязанности — любовь, если хотите, — не имеет в себе ничего нравственно-обязательного. Так ли я понимаю? — обратился он к даме.

Дама движением головы выразила одобрение разъяснению своей мысли.

— Засим... — продолжал речь адвокат, но нервный господин с горевшими огнем теперь глазами, очевидно, с трудом удерживался и, не дав адвокату договорить, начал:

— Нет, я про то самое, про предпочтение одного или одной перед всеми другими, но я только спрашиваю: предпочтение на сколько времени?

— На сколько времени? надолго, на всю жизнь иногда, — сказала дама, пожимая плечами.

— Да ведь это только в романах, а в жизни никогда. В жизни бывает это предпочтение одного перед другими на года, что очень редко, чаще на месяцы, а то на недели, на дни, на часы, — говорил он, очевидно зная, что он удивляет всех своим мнением, и довольный этим.

— Ах, что вы! Да нет. Нет, позвольте, — в один голос заговорили мы все трое. Даже приказчик издал какой-то неодобрительный звук.

— Да-с, я знаю, — перекрикивал нас седой господин, — вы говорите про то, что считается существующим, а я говорю про то, что есть. Всякий мужчина испытывает то, что вы называете любовью, к каждой красивой женщине.

— Ах, это ужасно, что вы говорите; но есть же между людьми то чувство, которое называется любовью и которое дается не на месяцы и годы, а на всю жизнь?

— Нет, нету. Если допустить даже, что мужчина и предпочел бы известную женщину на всю жизнь, то женщина-то, по всем вероятностям, предпочтет другого, и так всегда было и есть на свете, — сказал он и достал папиросочницу и стал закуривать.

— Но может быть и взаимность, — сказал адвокат.

— Нет-с, не может быть, — возразил он, — так же как не может быть, что в возу гороха две замеченные горошины легли бы рядом. Да кроме того, тут не невероятность одна, тут, наверное, пресыщение. Любить всю жизнь одну или одного — это все равно, что сказать, что одна свечка будет гореть всю жизнь, — говорил он, жадно затягиваясь.

— Но вы всё говорите про плотскую любовь. Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на духовном сродстве? — сказала дама.

— Духовное сродство! Единство идеалов! — повторил он, издавая свой звук. — Но в таком случае незачем спать вместе (простите за грубость). А то вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе, — сказал он и нервно засмеялся.

— Но позвольте, — сказал адвокат, — факт противоречит тому, что вы говорите. Мы видим, что супружества существуют, что все человечество или большинство его живет брачной жизнью и многие честно проживают продолжительную брачную жизнь.

Седой господин опять засмеялся.

— То вы говорите, что брак основывается на любви, когда же я выражаю сомнение в существовании любви, кроме чувственной, вы мне доказываете существование любви тем, что существуют браки. Да брак-то в наше время один обман!

— Нет-с, позвольте, — сказал адвокат, — я говорю только, что существовали и существуют браки.

— Существуют. Да только отчего они существуют? Они существовали и существуют у тех людей, которые в браке видят нечто таинственное, таинство, которое обязывает перед богом. У тех они существуют, а у нас их нет. У нас люди женятся, не видя в браке ничего, кроме совокупления, и выходит или обман, или насилие. Когда обман, то это легче переносится. Муж и жена только обманывают людей, что они в единобрачии, а живут в многоженстве и в многомужестве. Это скверно, но еще идет; но когда, как это чаще всего бывает, муж и жена приняли на себя внешнее обязательство жить вместе всю жизнь и со второго месяца уж ненавидят друг друга, желают разойтись и все-таки живут, тогда это выходит тот страшный ад, от которого спиваются, стреляются, убивают и отравляют себя и друг друга, — говорил он все быстрее, не давая никому вставить слова и все больше и больше разгорячаясь. Все молчали. Было неловко.

— Да, без сомнения, бывают критические эпизоды в супружеской жизни, — сказал адвокат, желая прекратить неприлично горячий разговор.

— Вы, как я вижу, узнали, кто я? — тихо и как будто спокойно сказал седой господин.

— Нет, я не имею удовольствия.

— Удовольствие небольшое. Я Позднышев, тот, с которым случился тот критический эпизод, на который вы намекаете, тот эпизод, что он жену убил, — сказал он, оглядывая быстро каждого из нас.

Никто не нашелся, что сказать, и все молчали.

— Ну, все равно, — сказал он, издавая свой звук. — Впрочем, извините! А!.. не буду стеснять вас.

— Да нет, помилуйте... — сам не зная, что «помилуйте», сказал адвокат.

Но Позднышев, не слушая его, быстро повернулся и ушел на свое место. Господин с дамой шептались. Я сидел рядом с Позднышевым и молчал, не умея придумать, что сказать. Читать было темно, и потому я закрыл глаза и притворился, что хочу заснуть. Так мы проехали молча до следующей станции.

На станции этой господин с дамой перешли в другой вагон, о чем они переговаривались еще раньше с кондуктором. Приказчик устроился на лавочке и заснул. Позднышев же все курил и пил заваренный еще на той станции чай.

Когда я открыл глаза и взглянул на него, он вдруг с решительностью и раздражением обратился ко мне:

— Вам, может быть, неприятно сидеть со мной, зная, кто я? Тогда я уйду.

— О нет, помилуйте.

— Ну, так не угодно ли? Только крепок. — Он налил мне чаю.

— Они говорят... И всё лгут... — сказал он.

— Вы про что? — спросил я.

— Да все про то же: про эту любовь ихнюю и про то, что это такое. Вы не хотите спать?

— Совсем не хочу.

— Так хотите, я вам расскажу, как я этой любовью самой был приведен к тому, что со мной было.

— Да, если вам не тяжело.

— Нет, мне тяжело молчать. Пейте ж чай. Или слишком крепок?

Чай действительно был как пиво, но я выпил стакан. В это время прошел кондуктор. Он проводил его молча злыми глазами и начал только тогда, когда тот ушел.

III

— Ну, так я расскажу вам... Да вы точно хотите?

Я повторил, что очень хочу. Он помолчал, потер руками лицо и начал:

— Коли рассказывать, то надо рассказывать все с начала: надо рассказать, как и отчего я женился и каким я был до женитьбы.

Жил я до женитьбы, как живут все, то есть в нашем кругу. Я помещик и кандидат университета и был преподавателем. Жил до женитьбы, как все живут, то есть развратно, и, как все люди нашего круга, живя развратно, был уверен, что я живу, как надо. Про себя я думал, что я милашка, что я вполне нравственный

человек. Я не был соблазнителем, не имел неестественных вкусов, не делал из этого главной цели жизни, как это делали многие из моих сверстников, а отдавался разврату степенно, прилично, для здоровья. Я избегал тех женщин, которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети и были привязанности, но я делал, как будто их не было. И это-то я считал не только нравственным, но я гордился этим.

Он остановился, издал свой звук, как он делал всегда, когда ему приходила, очевидно, новая мысль.

— А ведь в этом-то и главная мерзость, — вскрикнул он. — Разврат ведь не в чем-нибудь физическом, ведь никакое безобразие физическое не разврат; а разврат, истинный разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение. А это-то освобождение я и ставил себе в заслугу. Помню, как я мучался раз, не успев заплатить женщине, которая, вероятно полюбила меня, отдалась мне. Я успокоился только тогда, когда послал ей деньги, показав этим, что я нравственно ничем не считаю себя связанным с нею. Вы не качайте головой, как будто вы согласны со мной, — вдруг крикнул он на меня. — Ведь я знаю эту штуку. Вы все, и вы, вы, в лучшем случае, если вы не редкое исключение, вы тех самых взглядов, каких я был. Ну, все равно, вы простите меня, — продолжал он, — но дело в том, что это ужасно, ужасно, ужасно!

— Что ужасно? — спросил я.

— Та пучина заблуждения, в которой мы живем относительно женщин и отношений к ним. Да-с, не могу спокойно говорить про это, и не потому, что со мной случился этот эпизод, как он говорил, а потому, что с тех пор, как случился со мной этот эпизод, у меня открылись глаза, и я увидел все совсем в другом свете. Все навыворот, все навыворот!..

Он закурил папироску и, облокотившись на свои колени, начал говорить.

В темноте мне не видно было его лицо, только слышен был из-за дребезжания вагона его внушительный и приятный голос.

IV

— Да-с, только перемучавшись, как я перемучался, только благодаря этому я понял, где корень всего, понял, что должно быть, и потому увидел весь ужас того, что есть.

Так изволите видеть, вот как и когда началось то, что привело меня к моему эпизоду. Началось это тогда, когда мне было невступно шестнадцать лет. Случилось это, когда я был еще в гимназии, а брат мой старший был студент первого курса. Я не знал еще женщин, но я, как и все несчастные дети нашего круга, уже не был невинным мальчиком: уже второй год я был развращен мальчишками; уже женщина, не какая-нибудь, а женщина, как сладкое нечто, женщина, всякая женщина, нагота женщины уже мучала меня. Уединения мои были нечистые. Я мучался, как мучаются 0,99 наших мальчиков. Я ужасался, я страдал, я молился и падал. Я уже был развращен в воображении и в действительности, но последний шаг еще не был сделан мною. Я погибал один, но еще не налагая руки на другое человеческое существо. Но вот товарищ брата, студент, весельчак, так называемый добрый малый, то есть самый большой негодяй, выучивший нас и пить и в карты играть, уговорил после попойки ехать туда. Мы поехали. Брат тоже еще был невинен и пал в эту же ночь. И я, пятнадцатилетний мальчишка, осквернил себя самого и содействовал осквернению женщины, вовсе не понимая того, что я делал. Я ведь ни от кого от старших не слышал, чтоб то, что я делал, было дурно. Да и теперь никто не услышит. Правда, есть это в заповеди, но заповеди ведь нужны только на то, чтобы отвечать на экзамене батюшке, да и то не очень нужны, далеко не так, как заповедь об употреблении *и* в условных предложениях.

Так от тех старших людей, мнения которых я уважал, я ни от кого не слышал, чтобы это было дурно. Напротив, я слышал от людей, которых я уважал, что это было хорошо. Я слышал, что мои борьбы и страдания утишатся после этого, я слышал это и читал, слышал от старших, что для здоровья это будет хорошо; от

товарищей же слышал, что в этом есть некоторая заслуга, молодечество. Так что вообще, кроме хорошего, тут ничего не виделось. Опасность болезней? Но и та ведь предвидена. Попечительное правительство заботится об этом. Оно следит за правильной деятельностью домов терпимости и обеспечивает разврат для гимназистов. И доктора за жалование следят за этим. Так и следует. Они утверждают, что разврат бывает полезен для здоровья, они же и учреждают правильный, аккуратный разврат. Я знаю матерей, которые заботятся в этом смысле о здоровье сыновей. И наука посылает их в дома терпимости.

— Отчего же наука? — сказал я.

— Да кто же доктора? Жрецы науки. Кто развращает юношей, утверждая, что это нужно для здоровья? Они. А потом с ужасной важностью лечат сифилис.

— Да отчего же не лечить сифилис?

— А оттого, что если бы 0,01 тех усилий, которые положены на лечение сифилиса, были положены на искоренение разврата, сифилиса давно не было бы и помину. А то усилия употреблены не на искоренение разврата, а на поощрение его, на обеспечение безопасности разврата. Ну, да не в том дело. Дело в том, что со мной, да и с 0,9, если не больше, не только нашего сословия, но всех, даже крестьян, случилось то ужасное дело, что я пал не потому, что я подпал естественному соблазну прелести известной женщины. Нет, никакая женщина не соблазнила меня, а я пал потому, что окружающая меня среда видела в том, что было падение, одни — самое законное и полезное для здоровья отправление, другие — самую естественную и не только простительную, но даже невинную забаву для молодого человека. Я и не понимал, что тут есть падение, я просто начал предаваться тем отчасти удовольствиям, отчасти потребностям, которые свойственны, как мне было внушено, известному возрасту, начал предаваться этому разврату, как я начал пить, курить. А все-таки в этом первом падении было что-то особенное и трогательное. Помню, мне тотчас же, там же, не выходя из комнаты, сделалось грустно, грустно, так что хотелось плакать, плакать о

погибели своей невинности, о навеки погубленном отношении к женщине. Да-с, естественное, простое отношение к женщине было погублено навеки. Чистого отношения к женщине уж у меня с тех пор не было и не могло быть. Я стал тем, что называют блудником. А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик уже не нормальный человек, так и человек, познавший нескольких женщин для своего удовольствия, уже не нормальный, а испорченный навсегда человек — блудник. Как пьяницу и морфиниста можно узнать тотчас же по лицу, по приемам, точно так же и блудника. Блудник может воздерживаться, бороться; но простого, ясного, чистого отношения к женщине, братского, у него уже никогда не будет. Поэтому, как он взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас можно узнать блудника. И я стал блудником и остался таким, и это-то и погубило меня.

V

— Да, так-с. Потом пошло дальше, дальше, были всякого рода отклонения. Боже мой! как вспомню я все мои мерзости в этом отношении, ужас берет! О себе, над которым товарищи смеялись за мою так называемую невинность, я так вспоминаю. А как поспышишь о золотой молодежи, об офицерах, о парижанах! И все эти господа и я, когда мы, бывало, тридцатилетние развратники, имеющие на душе сотни самых разнообразных ужасных преступлений относительно женщин, когда мы, тридцатилетние развратники, входим чисто-начисто вымытые, выбритые, надушенные, в чистом белье, во фраке или в мундире в гостиную или на бал — эмблема чистоты — прелесть!

Ведь вы подумайте, что бы должно быть и что есть. Должно бы быть то, что, когда в общество к моей сестре, дочери вступит такой господин, я, зная его жизнь, должен подойти к нему, отозвать в сторону и тихо сказать: «Голубчик, ведь я знаю, как ты живешь, как проводишь ночи и с кем. Тебе здесь не место. Здесь чистые,

невинные девушки. Уйди!» Так должно бы быть; а есть то, что, когда такой господин является и танцует, обнимая ее, с моей сестрой, дочерью, мы ликуем, если он богат и с связями. А воть он удостоит после Ригольбош и мою дочь. Если даже и остались следы, нездоровье, — ничего. Нынче хорошо лечат. Как же, я знаю, несколько высшего света девушек выданы родителями с восторгом за сифилитиков. О! о мерзость! Да придет же время, что обличится эта мерзость и ложь!

И он несколько раз издал свои странные звуки и взялся за чай. Чай был страшно крепкий, не было воды, чтобы его разбавить. Я чувствовал, что меня волновали особенно выпитые мною два стакана. Должно быть, и на него действовал чай, потому что он становился все возбужденнее и возбужденнее. Голос его становился все более и более певучим и выразительным. Он беспрестанно менял позы, то снимал шапку, то надевал ее, и лицо его странно изменялось в той полутьме, в которой мы сидели.

— Ну, вот так я и жил до тридцати лет, ни на минуту не оставляя намерения жениться и устроить себе самую возвышенную, чистую семейную жизнь, и с этой целью приглядывался к подходящей для этой цели девушке, — продолжал он. — Я гваздался в гное разврата и вместе с тем разглядывал девушек, по своей чистоте достойных меня. Многих я забраковывал именно потому, что они были недостаточно чисты для меня; наконец я нашел такую, которую счел достойной себя. Это была одна из двух дочерей когда-то очень богатого, но разорившегося пензенского помещика.

В один вечер, после того как мы ездили в лодке и ночью, при лунном свете, ворочались домой и я сидел рядом с ней и любовался ее стройной фигурой, обтянутой джерси, и ее локонами, я вдруг решил, что это она. Мне показалось в этот вечер, что она понимает все, все, что я чувствую и думаю, а что чувствую я и думаю самые возвышенные вещи. В сущности же, было только то, что джерси было ей особенно к лицу, также и локоны, и что после проведенного в близости с нею дня захотелось еще большей близости.

Удивительное дело, какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не видишь глупости, а видишь умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна.

Я вернулся в восторге домой и решил, что она верш нравственного совершенства и что потому-то она достойна быть моей женой, и на другой день сделал предложение.

Ведь что это за путаница! Из тысячи женившихся мужчин не только в нашем быту, но, к несчастью, и в народе, едва ли есть один, который бы не был женат уже раз десять, а то и сто или тысячу, как Дон-Жуан, прежде брака. (Есть теперь, правда, я слышу и наблюдаю, молодые люди чистые, чувствующие и знающие, что это не шутка, а великое дело. Помоги им бог! Но в мое время не было ни одного такого на десять тысяч.) И все знают это и притворяются, что не знают. Во всех романах до подробностей описаны чувства героев, пруды, кусты, около которых они ходят; но, описывая их великую любовь к какой-нибудь девице, ничего не пишется о том, что было с ним, с интересным героем, прежде: ни слова о его посещениях домов, о горничных, кухарках, чужих женах. Если же есть такие неприличные романы, то их не дают в руки, главное, тем, кому нужнее всего это знать, — девушкам. Сначала притворяются перед девушками в том, что того распутства, которое наполняет половину жизни наших городов и деревень даже, что этого распутства совсем нет. Потом так приучаются к этому притворству, что наконец, как англичане, сами начинают искренно верить, что мы все нравственные люди и живем в нравственном мире. Девушки же, те, бедные, верят в это совсем серьезно. Так верила и моя несчастная жена. Помню, как уже будучи женихом, я показал ей свой дневник, из которого она могла узнать хотя немного мое прошедшее, главное — про последнюю связь, которая была у меня и о которой она могла узнать от других и про которую я потому-то

и чувствовал необходимость сказать ей. Помню ее ужас, отчаяние и растерянность, когда она узнала и поняла. Я видел, что она хотела бросить меня тогда. И отчего она не бросила!

Он издал свой звук, помолчал и отпил еще глоток чаю.

VI

— Нет, впрочем, так лучше, так лучше! — вскрикнул он. — Поделом мне! Но не в том дело. Я хотел сказать, что обмануты тут ведь только одни несчастные девушки. Матери же знают это, особенно матери, воспитанные своими мужьями, знают это прекрасно. И притворяясь, что верят в чистоту мужчин, они на деле действуют совсем иначе. Они знают, на какую удочку ловить мужчин для себя и для своих дочерей.

Ведь мы, мужчины, только не знаем, и не знаем потому, что не хотим знать, женщины же знают очень хорошо, что самая возвышенная, поэтическая, как мы ее называем, любовь зависит не от нравственных достоинств, а от физической близости и притом прически, цвета, покроя платья. Скажите опытной кокетке, задавшей себе задачу пленить человека, чем она скорее хочет рисковать: тем, чтобы быть в присутствии того, кого она прельщает, изобличенной во лжи, жестокости, даже распутстве, или тем, чтобы показаться при нем в дурно сшитом и некрасивом платье, — всякая всегда предпочтет первое. Она знает, что наш брат все врет о высоких чувствах — ему нужно только тело, и потому он простит все гадости, а уродливого, безвкусного, дурного тона костюма не простит. Кокетка знает это сознательно, но всякая невинная девушка знает это бессознательно, как знают это животные.

От этого эти джерси мерзкие, эти нашлепки на зады, эти голые плечи, руки, почти груди. Женщины, особенно прошедшие мужскую школу, очень хорошо знают, что разговоры о высоких предметах — разговорами, а что нужно мужчине тело и все то, что выставляет его в самом заманчивом свете; и это самое и делается. Ведь если откинуть только ту привычку к этому безобразию, кото-

рая стала для нас второй природой, а взглянуть на жизнь наших высших классов как она есть, со всем ее бесстыдством, ведь это один сплошной дом терпимости. Вы не согласны? Позвольте, я докажу, — заговорил он, перебивая меня. — Вы говорите, что женщины в нашем обществе живут иными интересами, чем женщины в домах терпимости, а я говорю, что нет, и докажу. Если люди различны по целям жизни, по внутреннему содержанию жизни, то это различие непременно отразится и во внешности, и внешность будет различная. Но посмотрите на тех, на несчастных презираемых, и на самых высших светских барынь: те же наряды, те же фасоны, те же духи, то же оголение рук, плеч, груди и обтягивание выставленного зада, та же страсть к камушкам, к дорогим, блестящим вещам, те же увеселения, танцы и музыка, пенье. Как те заманивают всеми средствами, так и эти. Никакой разницы. Строго определяя, надо только сказать, что проститутки на короткие сроки — обыкновенно презираемые, проститутки на долгие — уважаемы.

VII

— Да, так вот меня эти джерси, и локоны, и нашлапки поймали. Поймать же меня легко было, потому что я воспитан был в тех условиях, при которых, как огурцы на парах, выгоняются влюбляющиеся молодые люди. Ведь наша возбуждающая излишняя пища при совершенной физической праздности есть не что иное, как систематическое разжигание похоти. Удивляйтесь не удивляйтесь, а так. Ведь я сам этого до последнего времени ничего не видал. А теперь увидал. От этого-то меня и мучает то, что никто этого не знает, а говорят такие глупости, как вон та барыня.

Да-с, около меня нынче весной работали мужики на насыпи железной дороги. Обыкновенная пища малого из крестьян — хлеб, квас, лук; он жив, бодр, здоров, работает легкую полевую работу. Он поступает на железную дорогу, и харчи у него — каша и один фунт мяса. Но зато он и выпускает это мясо на шестнадцатичасовой работе с тачкой в тридцать пудов. И ему как раз так. Ну

а мы, поедающие по два фунта мяса, дичи и всякие горячительные яства и напитки, — куда это идег? На чувственные эксессы. И если идет туда, спасительный клапан открыт, все благополучно; но прикройге клапан, как я прикрывал его временно, и тотчас же получается возбуждение, которое, проходя через призму нашей искусственной жизни, выразится влюбленьем самой чистой воды, иногда даже платоническим. И я влюбился, как все влюбляются. И все было налицо: и восторги, и умиление, и поэзия. В сущности же, эта моя любовь была произведением, с одной стороны, деятельности мамыши и портних, с другой — избытка поглощавшейся мной пищи при праздной жизни. Не будь, с одной стороны, катаний на лодках, не будь портних с талиями и т. п., а будь моя жена одета в нескладный капот и сиди она дома, а будь я, с другой стороны, в нормальных условиях человека, поглощающего пищи столько, сколько нужно для работы, и будь у меня спасительный клапан открыт, — а то он случайно прикрылся как-то на это время, — я бы не влюбился, и ничего бы этого не было.

VIII

— Ну, а тут так подошло: и мое состояние, и платье хорошо, и катанье на лодках удалось. Двадцать раз не удавалось, а тут удалось. Вроде как капкан. Я не смеюсь. Ведь теперь браки так и устраиваются, как капканы. Ведь естественно что? Девка созрела, надо ее выдать. Кажется, как просто, когда девка не урод и есть мужчины, желающие жениться. Так и делалось в старину. Вошла в возраст дева, родители устраивали брак. Так делалось, делается во всем человечестве: у китайцев, индейцев, магометан, у нас в народе; так делается в роде человеческом по крайней мере в 0,99 его части. Только в 0,01 или меньше нас, распутников, нашли, что это нехорошо, и выдумали новое. Да что же новое-то? А новое то, что девы сидят, а мужчины, как на базар, ходят и выбирают. А девки ждут и думают, но не смеют сказать: «Батюшка, меня! нет, меня. Не ее, а меня: у меня, смотри, какие плечи и другое». А мы, мужчины,

похаживаем, поглядываем и очень довольны. «Знаю, мол, я не попадусь». Похаживают, посматривают, очень довольны, что это для них все устроено. Глядь, не побережся, — хлоп, тут и есть!

— Так как же быть? — сказал я. — Что же, женщине делать предложение?

— Да уж я не знаю как; только если равенство, так равенство. Если нашли, что сватовство унизительно, то уж это в тысячу раз больше. Там права и шансы равны, а здесь женщина или раба на базаре, или привада в капкан. Скажите какой-нибудь матушке или самой девушке правду, что она только тем и занята, чтобы ловить жениха. Боже, какая обида! А ведь они все только это и делают, и больше им делать нечего. И что ведь ужасно — это видеть занятых этим иногда совершенно молоденьких бедных невинных девушек. И опять, если бы это открыто делалось, а то все обман. «Ах, происхождение видов, как это интересно! Ах, Лиза очень интересуется живописью! А вы будете на выставке? Как поучительно! А на тройках, а спектакль, а симфония? Ах, как замечательно! Моя Лиза без ума от музыки. А вы почему не разделяете эти убеждения? А на лодках!..» А мысль одна: «Возьми, возьми меня, мою Лизу! Нет, меня! Ну, хоть попробуй!..» О мерзость! ложь! — заключил он и, допив последний чай, принялся убирать чашки и посуду.

IX

— Да вы знаете, — начал он, укладывая в мешок чай и сахар, — то властвованье женщин, от которого страдает мир, все это происходит от этого.

— Как властвованье женщин? — сказал я. — Права, преимущества прав на стороне мужчин.

— Да, да, это, это самое, — перебил он меня. — Это самое, то, что я хочу сказать вам, это-то и объясняет то необыкновенное явление, что, с одной стороны, совершенно справедливо то, что женщина доведена до самой низкой степени унижения, с другой стороны — что она властвует. Точно так же как евреи, как они своей

денежной властью отплачивают за свое угнетение, так и женщины. «А, вы хотите, чтобы мы были только торговцы. Хорошо, мы, торговцы, завладеем вами», — говорят евреи. «А, вы хотите, чтобы мы были только предмет чувственности, хорошо, мы, как предмет чувственности, и поработим вас», — говорят женщины. Не в том отсутствие прав женщины, что она не может вотировать или быть судьей — заниматься этими делами не составляет никаких прав, — а в том, чтобы в половом общении быть равной мужчине, иметь право пользоваться мужчиной и воздерживаться от него по своему желанию, по своему желанию избирать мужчину, а не быть избираемой. Вы говорите, что это безобразно. Хорошо. Тогда чтоб и мужчина не имел этих прав. Теперь же женщина лишена того права, которое имеет мужчина. И вот, чтоб возместить это право, она действует на чувственность мужчины, через чувственность покоряет его так, что он только формально выбирает, а в действительности выбирает она. А раз овладев этим средством, она уже злоупотребляет им и приобретает страшную власть над людьми.

— Да где же эта особенная власть? — спросил я.

— Где власть? Да везде, во всем. Пройдите в каждом большом городе по магазинам. Миллионы тут, не оценишь положенных туда трудов людей, а посмотрите, в 0,9 этих магазинов есть ли хоть что-нибудь для мужского употребления? Вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами. Считите все фабрики. Огромная доля их работает бесполезные украшения, экипажи, мебели, игрушки на женщин. Миллионы людей, поколения рабов гибнут в этом каторжном труде на фабриках только для прихоти женщин. Женщины, как царицы, в плену рабства и тяжелого труда держат 0,9 рода человеческого. А все оттого, что их унизили, лишили их равных прав с мужчинами. И вот они мстят действием на нашу чувственность, уловением нас в свои сети. Да, все от этого. Женщины устроили из себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. Как только мужчина подошел к женщине, так и подпал под ее дурман и ошалел. И прежде мне всегда бывало неловко,

жутко, когда я видал разряженную даму в бальном платье, но теперь мне прямо страшно, я прямо вижу нечто опасное для людей и противозаконное, и хочется крикнуть полицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет.

Да, вы смеетесь! — закричал он на меня, — а это вовсе не шутка. Я уверен, что придет время, и, может быть, очень скоро, что люди поймут это и будут удивляться, как могло существовать общество, в котором допускались такие нарушающие общественное спокойствие поступки, как те прямо вызывающие чувственность украшения своего тела, которые допускаются для женщин в нашем обществе. Ведь это все равно, что расставить по гуляньям, по дорожкам всякие капканы, — хуже! Отчего азартная игра запрещена, а женщины в проституточных, вызывающих чувственность нарядах не запрещены? Они опаснее в тысячу раз!

Х

— Ну вот, так-то и меня поймали. Я был то, что называется влюблен. Я не только представлял ее себе верхом совершенства, я и себя за это время моего жениховства представлял тоже верхом совершенства. Ведь нет того негодяя, который, поискав, не нашел бы негодяев в каком-нибудь отношении хуже себя и который поэтому не мог бы найти повода гордиться и быть довольным собой. Так и я: я женился не на деньгах — корысть была ни при чем, не так, как большинство моих знакомых женились из-за денег или связей, — я был богат, она бедна. Это одно. Другое, чем я гордился, было то, что другие женились с намерением вперед продолжать жить в таком же многоженстве, в каком они жили до брака; я же имел твердое намерение держаться после свадьбы единобрачия, и не было пределов моей гордости перед собой за это. Да, свинья я был ужасная и воображал себе, что я ангел.

Время, пока я был женихом, продолжалось недолго. Без стыда теперь не могу вспомнить это время жениховства! Какая гадость! Ведь подразумевается любовь

духовная, а не чувственная. Ну, если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего же этого не было. Говорить бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была сизифова работа. Только выдумашь, что сказать, скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было. Все, что можно было сказать о жизни, ожидавшей нас, устройстве, планах, было сказано, а дальше что? Ведь если бы мы были животные, то так бы и знали, что говорить нам не полагается; а тут, напротив, говорить надо и нечего, потому что занимает не то, что разрешается разговорами. А при этом еще этот безобразный обычай конфет, грубого обжорства сладким и все эти мерзкие приготовления к свадьбе: толки о квартире, спальне, постелях, капотах, халатах, белье, туалетах. Ведь вы поймите, что если женятся по Домострою, как говорил этот старик, то пуховики, приданое, постель — все это только подробности, сопутствующие таинству. Но у нас, когда из десяти брачующихся едва ли есть один, который не только не верит в таинство, но не верит даже в то, что то, что он делает, есть некоторое обязательство, когда из ста мужчин едва ли один есть уже неженатый прежде и из пятидесяти один, который вперед не готовился бы изменять своей жене при всяком удобном случае, когда большинство смотрит на поездку в церковь только как на особенное условие обладания известной женщиной, — подумайте, какое ужасное значение получают при этом все эти подробности. Выходит, что дело-то все только в этом. Выходит что-то вроде продажи. Развратнику продают невинную девушку и обставляют эту продажу известными формальностями.

XI

— Так все женятся, так и я женился, и начался хваленый медовый месяц. Ведь название-то одно какое подлое! — с злобой прошипел он. — Я ходил раз в Париже по всем зрелищам и зашел посмотреть по вывеске женщину с бородой и водяную собаку. Оказалось, что это

было больше ничего, как мужчина декольте в женском платье, и собака, засунутая в моржовую кожу и плавающая в ванне с водой. Все было очень мало интересно; но когда я выходил, то меня учтиво провожал показыватель и, обращаясь к публике у входа, указывая на меня, говорил: «Вот спросите господина, стоит ли смотреть? Заходите, заходите, по франку с человека!» Мне совестно было сказать, что смотреть не стоит, и показывающий, вероятно, рассчитывал на это. Так, вероятно, бывает и с теми, которые испытали всю мерзость медового месяца и не разочаровывают других. Я тоже не разочаровывал никого, но теперь не вижу, почему не говорить правду. Даже считаю, что необходимо говорить об этом правду. Неловко, стыдно, гадко, жалко и, главное, скучно, до невозможности скучно! Это нечто вроде того, что я испытывал, когда приучался курить, когда меня тянуло рвать и текли слюни, а я глотал их и делал вид, что мне очень приятно. Наслаждение от куренья, так же как и от этого, если будет, то будет потом: надо, чтоб супруги воспитали в себе этот порок, для того чтоб получить от него наслаждение.

— Как порок? — сказал я. — Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве.

— Естественном? — сказал он. — Естественном? Нет, я скажу вам напротив, что я пришел к убеждению, что это не... естественно. Да, совершенно не... естественно. Спросите у детей, спросите у неразвращенной девушки. Моя сестра очень молодая вышла замуж за человека вдвое старше ее и развратника. Я помню, как мы были удивлены в ночь свадьбы, когда она, бледная и в слезах, убежала от него и, трясясь всем телом, говорила, что она ни за что, ни за что, что она не может даже сказать того, чего он хотел от нее.

Вы говорите: естественно! Естественно есть. И есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала; здесь же и мерзко, и стыдно, и больно. Нет, это неестественно! И девушка неиспорченная, я убедился, всегда ненавидит это.

— Как же, — сказал я, — как же бы продолжался род человеческий?

— Да вот как бы не погиб род человеческий! — сказал он злобно-иронически, как бы ожидая этого знакомого ему и недобросовестного возражения. — Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы английским лордам всегда можно было обжираться, — это можно. Проповедуй воздержание от деторождения во имя того, чтобы больше было приятности, — это можно; а зайкнись только о том, чтобы воздерживаться от деторождения во имя нравственности, — батюшки, какой крик: род человеческий как бы не прекратился оттого, что десяток-другой хочет перестать быть свиньями. Впрочем, извините. Мне неприятен этот свет, можно закрыть? — сказал он, указывая на фонарь.

Я сказал, что мне все равно, и тогда он поспешно, как все, что он делал, встал на сиденье и задернул шерстяной занавеской фонарь.

— Все-таки, — сказал я, — если бы все признали это для себя законом, род человеческий прекратился бы.

Он не сейчас ответил.

— Вы говорите, род человеческий как будет продолжаться? — сказал он, усевшись опять против меня и широко раскрыв ноги и низко опершись на них локтями. — Зачем ему продолжаться, роду-то человеческому? — сказал он.

— Как зачем? иначе бы нас не было.

— Да зачем нам быть?

— Как зачем? Да чтобы жить.

— А жить зачем? Если нет цели никакой, если жизнь для жизни нам дана, незачем жить. И если так, то Шопенгауэры и Гартманы да и все буддисты совершенно правы. Ну, а если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнется цель. Так оно и выходит, — говорил он с видимым волнением, очевидно очень дорожа своей мыслью. — Так оно и выходит. Вы заметьте: если цель человечества — благо, добро, любовь, как хотите; если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что все люди соединятся воедино любовью, что раскуют копья на серпы и так далее, то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная, и злая, и упорная — половая, плотская любовь, и потому если

уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить. Пока же человечество живет, перед ним стоит идеал и, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно утонченнее пользоваться удовольствиями половой страсти, а идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотою. К нему всегда стремились и стремятся люди. И посмотрите, что выходит.

Выходит, что плотская любовь — это спасительный клапан. Не достигло теперь живущее поколение человечества цели, то не достигло оно только потому, что в нем есть страсти, и сильнейшая из них — половая. А есть половая страсть, есть новое поколение, стало быть и есть возможность достижения цели в следующем поколении. Не достигло и то, опять следующее, и так до тех пор, пока не достигнется цель, не исполнится пророчество, не соединятся люди воедино. А то ведь что бы вышло? Если допустить, что бог сотворил людей для достижения известной цели, и сотворил бы их или смертными, без половой страсти, или вечными. Если бы они были смертны, но без половой страсти, то вышло бы что? То, что они прожили бы и, не достигнув цели, умерли бы; а чтобы достигнуть цели, богу надо бы сотворять новых людей. Если же бы они были вечны, то положим (хотя это и труднее тем же людям, а не новым поколениям исправлять ошибки и приближаться к совершенству), положим, они бы достигли после многих тысяч лет цели, но тогда зачем же они? Куда ж их деть? Именно так, как есть, лучше всего... Но, может быть, вам не нравится эта форма выражения, и вы эволюционист? То и тогда выходит то же самое. Высшая порода животных — людская, для того чтобы удержаться в борьбе с другими животными, должна сомкнуться воедино, как рой пчел, а не бесконечно плодиться; должна так же, как пчелы, воспитывать бесполок, то есть опять должна стремиться к воздержанию, а никак не к разжиганию похоти, к чему направлен весь строй нашей жизни. — Он помолчал. — Род чело-

веческий прекратится? Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это так же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира, и по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что же странного, что по учению нравственному выходит то же самое?

Он долго молчал после этого, выпил еще чаю, докурил папироску и, достав из мешка новые, положил их в свою старую запачканную папиросочницу.

— Я понимаю вашу мысль, — сказал я, — нечто подобное утверждают шекеры.

— Да, да, и они правы, — сказал он. — Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло, с которым надо бороться, а не поощрять, как у нас. Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим женам, а именно — и главное — к своей жене.

XII

— В нашем же мире как раз обратное: если человек еще думал о воздержании, будучи холостым, то, женившись, всякий считает, что теперь воздержание уже не нужно. Ведь эти отъезды после свадьбы, уединения, в которые с разрешения родителей отправляются молодые, — ведь это не что иное, как разрешение на разврат. Но нравственный закон сам за себя оплачивает, когда нарушаешь его. Сколько я ни старался устроить себе медовый месяц, ничего не выходило. Все время было гадко, стыдно и скучно. Но очень скоро стало еще мучительно тяжело. Началось это очень скоро. Кажется, на третий или на четвертый день я застал жену скучною, стал спрашивать, о чем, стал обнимать ее, что, по-моему, было все, чего она могла желать, а она отвела мою руку и заплакала. О чем? Она не умела сказать. Но ей было грустно, тяжело. Вероятно, ее измученные нервы подсказали ей истину о гадости наших сношений; но она не умела сказать. Я стал допрашивать, она что-то сказала, что ей грустно без матери. Мне показалось, что это неправда. Я стал уговаривать ее, промол-

чав о матери. Я не понял, что ей просто было тяжело, а мать была только отговорка. Но она тотчас же обиделась за то, что я умолчал о матери, как будто не поверив ей. Она сказала мне, что видит, что я не люблю ее. Я упрекнул ее в капризе, и вдруг лицо ее совсем изменилось, вместо грусти выразилось раздражение, и она самыми ядовитыми словами начала упрекать меня в эгоизме и жестокости. Я взглянул на нее. Все лицо ее выражало полнейшую холодность и враждебность, ненависть почти ко мне. Помню, как я ужаснулся, увидав это. «Как? что? — думал я. — Любовь — союз душ, и вместо этого вот что! Да не может быть, да это не она!» Я попробовал было смягчить ее, но наткнулся на такую непреодолимую стену холодной, ядовитой враждебности, что не успел я оглянуться, как раздражение захватило и меня, и мы наговорили друг другу кучу неприятностей. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора, а это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность истощилась удовлетворением чувственности, и остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу, то есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого. Я называл ссорой то, что произошло между нами; но это была не ссора, а это было только вследствие прекращения чувственности обнаружившееся наше действительное отношение друг к другу. Я не понимал, что это холодное и враждебное отношение было нашим нормальным отношением, не понимал этого потому, что это враждебное отношение в первое время очень скоро опять закрылось от нас вновь поднявшеюся перегонной чувственностью, то есть влюблением.

И я подумал, что мы поссорились и помирились и что больше этого уже не будет. Но в этот же первый медовый месяц очень скоро наступил опять период пресыщения, опять мы перестали быть нужными друг другу, и произошла опять ссора. Вторая ссора эта поразила меня еще сильнее, чем первая. Стало быть, первая не была случайностью, а это так и должно быть и так и будет, думал я. Вторая ссора тем более поразила меня, что

она возникла по самому невозможному поводу. Что-то такое из-за денег, которых я никогда не жалел и уж никак не мог жалеть для жены. Помню только, что она так как-то повернула дело, что какое-то мое замечание оказалось выражением моего желания властвовать над ней через деньги, на которых я утверждал будто бы свое исключительное право, что-то невозможное, глупое, подлое, несвойственное ни мне, ни ей. Я раздражился, стал упрекать ее в неделикатности, она меня, — и пошло опять. И в словах и в выражении ее лица и глаз я увидел опять ту же, прежде так поразившую меня, жестокую, холодную враждебность. С братом, с приятелями, с отцом, я помню, я ссорился, но никогда между нами не было той особенной, ядовитой злобы, которая была тут. Но прошло несколько времени, и опять эта взаимная ненависть скрылась под влюбленностью, то есть чувственностью, и я еще утешался мыслью, что эти две ссоры были ошибки, которые можно исправить. Но вот наступила третья, четвертая ссора, и я понял, что это не случайность, а что это так должно быть, так и будет, и я ужаснулся тому, что предстоит мне. При этом мучила меня еще та ужасная мысль, что это один я только так дурно, непохоже на то, что я ожидал, живу с женой, тогда как в других супружествах этого не бывает. Я не знал еще тогда, что это общая участь, но что все так же, как я, думают, что это их исключительное несчастье, скрывают это исключительное, постыдное свое несчастье не только от других, но и от самих себя, сами себе не признаются в этом.

Началось с первых дней и продолжалось все время, и все усиливаясь и ожесточаясь. В глубине души я с первых же недель почувствовал, что я попался, что вышло не то, чего я ожидал, что женитьба не только не счастье, но нечто очень тяжелое, но я, как и все, не хотел признаться себе (я бы не признался себе и теперь, если бы не конец) и скрывал не только от других, но от себя. Теперь я удивляюсь, как я не видал своего настоящего положения. Его можно бы уже видеть потому, что ссоры начинались из таких поводов, что невозможно бывало после, когда они кончались, вспомнить из-за чего. Рассудок не успевал подделывать под постоянно

существующую враждебность друг к другу достаточных поводов. Но еще поразительнее была недостаточность предлогов примиренья. Иногда бывали слова, объяснения, даже слезы, но иногда... ох! гадко и теперь вспомнить — после самых жестоких слов друг другу вдруг молча взгляды, улыбки, поцелуи, объятия... Фу, мерзость! Как я мог не видеть всей гадости этого тогда...

XIII

Взошли два пассажира и стали усаживаться на дальней лавочке. Он молчал, пока они усаживались, но как только они затихли, он продолжал, очевидно ни на минуту не теряя нити своей мысли.

— Ведь что, главное, поганно, — начал он, — предполагается в теории, что любовь есть нечто идеальное, возвышенное, а на практике любовь ведь есть нечто мерзкое, свиное, про которое и говорить и вспоминать мерзко и стыдно. Ведь недаром же природа сделала то, что это мерзко и стыдно. А если мерзко и стыдно, то так и надо понимать. А тут, напротив, люди делают вид, что мерзкое и стыдное прекрасно и возвышенно. Какие были первые признаки моей любви? А те, что я предавался животным излишествам, не только не стыдясь их, но почему-то гордясь возможности этих физических излишеств, не думая при том нисколько не только о ее духовной жизни, но даже и об ее физической жизни. Я удивлялся, откуда бралось наше озлобление друг к другу, а дело было совершенно ясно: озлобление это было не что иное, как протест человеческой природы против животного, которое подавляло ее.

Я удивлялся нашей ненависти друг к другу. А ведь это и не могло быть иначе. Эта ненависть была не что иное, как ненависть взаимная сообщников преступления — и за подстрекательство и за участие в преступлении. Как же не преступление, когда она, бедная, забеременела в первый же месяц, а наша свиная связь продолжалась? Вы думаете, что я отступаю от рассказа? Нисколько! Это я все рассказываю вам, как я убил жену. На суде у меня спрашивают, чем, как я убил жену.

‘Дурачье! думают, что я убил ее тогда, ножом, пятого октября. Я не тогда убил ее, а гораздо раньше. Так точно, как они теперь убивают, все, все...

— Да чем же? — спросил я.

— Вот это-то и удивительно, что никто не хочет знать того, что так ясно и очевидно, того, что должны знать и проповедовать доктора, но про что они молчат. Ведь дело ужасно просто. Мужчина и женщина сотворены так, как животное, так, что после плотской любви начинается беременность, потом кормление, такие состояния, при которых для женщины, так же как и для ее ребенка, плотская любовь вредна. Женщин и мужчин равное число. Что же из этого следует? Кажется, ясно. И не нужно большой мудрости, чтобы сделать из этого тот вывод, который делают животные, то есть воздержание. Но нет. Наука дошла до того, что нашла каких-то лейкоцитов, которые бегают в крови, и всякие ненужные глупости, а этого не могла понять. По крайней мере не слышать, чтобы она говорила это.

И вот для женщины только два выхода: один — сделать из себя урода, уничтожить или уничтожать в себе по мере надобности способность быть женщиной, то есть матерью, для того чтобы мужчина мог спокойно и постоянно наслаждаться; или другой выход, даже не выход, а простое, грубое, прямое нарушение законов природы, который совершается во всех так называемых честных семьях. А именно тот, что женщина, наперекор своей природе, должна быть одновременно и беременной, и кормилицей, и любовницей, должна быть тем, до чего не спускается ни одно животное. И сил не может хватить. И оттого в нашем быту истерики, нервы, а в народе — кликуши. Вы заметьте, у девушек, у чистых, нет кликушества, только у баб, и у баб, живущих с мужьями. Так у нас. Точно так же и в Европе. Все больницы истеричных полны женщин, нарушающих закон природы. Но ведь кликуши и пациентки Шарко — это совсем увечные, а полукалек женщин полон мир. Ведь только подумать, какое великое дело совершается в женщине, когда она понесла плод или когда кормит родившегося ребенка. Растет то, что продолжает, заменяет нас. И это-то святое дело нарушается — чем же? — страшно

подумать! И толкуют о свободе, правах женщин. Это все равно, что людоеды откармливали бы людей пленных на еду и вместе с тем уверяли бы, что они заботятся о их правах и свободе.

Все это было ново и поразило меня.

— Так как же? Если так, то, — сказал я, — выходит, что любить жену можно раз в два года, а мужчина...

— Мужчине необходимо, — подхватил он. — Опять милые жрецы науки уверили всех. Я бы им, этим волхвам, велел исполнять должность тех женщин, которые, по их мнению, необходимы мужчинам, что бы они тогда заговорили? Внушите человеку, что ему необходима водка, табак, опиум, и все это будет необходимо. Выходит, что бог не понимал того, что нужно, и потому, не спросившись у волхвов, дурно устроил. Извольте видеть, дело не сходится. Мужчине нужно и необходимо, так решили они, удовлетворять свою похоть, а тут замешалось деторождение и кормление детей, мешающие удовлетворению этой потребности. Как же быть-то? Обратиться к волхвам, они устроят. Они и придумали. Ох, когда это развенчаются эти волхвы с своими обманами? Пора! Дошло уже вот докуда, с ума сходят и стреляются, и все от этого. Да как же иначе? Животные как будто знают, что потомство продолжает их род, и держатся известного закона в этом отношении. Только человек этого знать не знает и не хочет. И озабочен только тем, чтобы иметь как можно больше удовольствия. И это кто же? Царь природы, человек. Ведь вы заметьте, животные сходятся только тогда, когда могут производить потомство, а поганый царь природы — всегда, только бы приятно. И мало того, возводит это обезьянье занятие в перл создания, в любовь. И во имя этой любви, то есть пакости, губит — что же? — половину рода человеческого. Из всех женщин, которые должны бы быть помощницами в движении человечества к истине и благу, он во имя своего удовольствия делает не помощниц, но врагов. Посмотрите, что тормозит повсюду движение человечества вперед? Женщины. А отчего они такие? А только от этого. Да-с, да-с, — повторил он несколько раз и стал шевелиться, доставать папиросы и курить, очевидно желая несколько успокоиться.

— Вот такой-то свиньей я и жил, — продолжал он опять прежним тоном. — Хуже же всего было то, что, живя этой скверной жизнью, я воображал, что потому, что я не соблазняюсь другими женщинами, что поэтому я живу честной семейной жизнью, что я нравственный человек и что я ни в чем не виноват, а что если у нас происходят ссоры, то виновата она, ее характер.

Виновата же была, разумеется, не она. Она была такая же, как и все, как большинство. Воспитана она была, как того требует положение женщины в нашем обществе, и поэтому как и воспитываются все без исключения женщины обеспеченных классов, и как они не могут не воспитываться. Толкуют о каком-то новом женском образовании. Всё пустые слова: образование женщины точно такое, какое должно быть при существующем не притворном, а истинном всеобщем взгляде на женщину.

И образование женщины будет всегда соответствовать взгляду на нее мужчины. Ведь все мы знаем, как мужчина смотрит на женщину: «Wein, Weiber und Gesang»¹, и так в стихах поэты говорят. Возьмите всю поэзию, всю живопись, скульптуру, начиная с любовных стихов и голых Венер и Фрин, вы видите, что женщина есть орудие наслаждения; она такова на Трубе, и на Грачевке, и на придворном бале. И заметьте хитрость дьявола: ну, наслаждение, удовольствие, так так бы и знать, что удовольствие, что женщина сладкий кусок. Нет, сначала рыцари уверяли, что они боготворят женщину (боготворят, а все-таки смотрят на нее как на орудие наслаждения). Теперь уже уверяют, что уважают женщину. Одни уступают ей место, поднимают ей платки; другие признают ее права на занятие всех должностей, на участие в правлении и т. д. Это всё делают, а взгляд на нее все тот же. Она орудие наслаждения. Тело ее есть средство наслаждения. И она знает это. Все равно как рабство. Рабство ведь есть не что иное, как пользование одних подневольным трудом многих. И потому, чтобы рабства не было, надо, чтобы люди не же-

¹ Вино, женщины и песни (нем.).

ляли пользоваться подневольным трудом других, считали бы это грехом или стыдом. А между тем возьмут отменяют внешнюю форму рабства, устроят так, что нельзя больше совершать купчих на рабов, и воображают и себя уверяют, что рабства уже нет, и не видят и не хотят видеть того, что рабство продолжает быть, потому что люди точно так же любят и считают хорошим и справедливым пользоваться трудами других. А как скоро они считают это хорошим, то всегда найдутся люди, которые сильнее или хитрее других и сумеют это сделать. То же и с эмансипацией женщины. Рабство женщины ведь только в том, что люди желают и считают очень хорошим пользоваться ею как орудием наслаждения. Ну, и вот освобождают женщину, дают ей всякие права, равные мужчине, но продолжают смотреть на нее как на орудие наслаждения, так воспитывают ее и в детстве и общественным мнением. И вот она все такая же приниженная, развращенная раба, и мужчина все такой же развращенный рабовладелец.

Освобождают женщину на курсах и в палатах, а смотрят на нее как на предмет наслаждения. Научите ее, как она научена у нас, смотреть так на самую себя, и она всегда останется низшим существом. Или она будет с помощью мерзавцев-докторов предупреждать зарождение плода, то есть будет вполне проститутка, спустившаяся не на ступень животного, но на ступень вещи, или она будет то, что она есть в большей части случаев, — больной душевно, истеричной, несчастной, какие они и есть, без возможности духовного развития.

Гимназии и курсы не могут изменить этого. Изменить это может только перемена взгляда мужчин на женщин и женщин самих на себя. Переменится это только тогда, когда женщина будет считать высшим положением положение девственницы, а не так, как теперь, высшее состояние человека — стыдом, позором. Пока же этого нет, идеал всякой девушки, какое бы ни было ее образование, будет все-таки тот, чтобы привлечь к себе как можно больше мужчин, как можно больше самцов, с тем чтобы иметь возможность выбора.

А то, что одна побольше знает математики, а другая умеет играть на арфе, — это ничего не изменит. Жен-

щина счастлива и достигает всего, чего она может желать, когда она обворожит мужчину. И потому главная задача женщины — уметь обвораживать его. Так это было и будет. Так это в девичьей жизни в нашем мире, так продолжается и в замужней. В девичьей жизни это нужно для выбора, в замужней — для властвования над мужем.

Одно, что прекращает или хоть подавляет на время это, это — дети, и то тогда, когда женщина не урод, то есть сама кормит. Но тут опять доктора.

С мсей женой, которая сама хотела кормить и кормила следующих пятерых детей, случилось с первым же ребенком нездоровье. Доктора эти, которые цинически раздевали и ощупывали ее везде, за что я должен был их благодарить и платить им деньги, — доктора эти милые наши, что она не должна кормить, и она на первое время лишена была того единственного средства, которое могло избавить ее от кокетства. Кормила кормилица, то есть мы воспользовались бедностью, нуждой и невежеством женщины, сманили ее от ее ребенка к своему и за это одели ее в кокошник с галунами. Но не в этом дело. Дело в том, что в это самое время ее свободы от беременности и кормления в ней с особенной силой проявилось прежде заснувшее это женское кокетство. И во мне, соответственно этому, с особенной же силой проявились мучения ревности, которые не переставая терзали меня во все время моей женатой жизни, как они и не могут не терзать всех тех супругов, которые живут с женами, как я жил, то есть безнравственно.

XV

— Я во все время моей женатой жизни никогда не переставал испытывать терзания ревности. Но были периоды, когда я особенно резко страдал этим. И один из таких периодов был тот, когда после первого ребенка доктора запретили ей кормить. Я особенно ревновал в это время, во-первых, потому, что жена испытывала то свойственное матери беспокойство, которое должно вызывать беспричинное нарушение правильного хода

жизни; во-вторых, потому, что, увидав, как она легко отбросила нравственную обязанность матери, я справедливо, хотя и бессознательно, заключил, что ей так же легко будет отбросить и супружескую, тем более что она была совершенно здорова и, несмотря на запрещение милых докторов, кормила следующих детей сама и выкормила прекрасно.

— Однако вы не любите докторов, — сказал я, заметив особенно злое выражение голоса всякий раз, как он упоминал только о них.

— Тут не дело любви и не любви. Они погубили мою жизнь, как они губили и губят жизнь тысяч, сотен тысяч людей, а я не могу не связывать следствия с причиной. Я понимаю, что им хочется, так же как и адвокатам и другим, наживать деньги, и я бы охотно отдал им половину своего дохода, и каждый, если бы снимал то, что они делают, охотно бы отдал им половину своего достатка, только чтобы они не вмешивались в вашу семейную жизнь, никогда бы близко не подходили к вам. Я ведь не собирал сведений, но я знаю десятки случаев — их пропасть, — в которых они убили то ребенка в утробе матери, уверяя, что мать не может разродиться, а мать потом рождает прекрасно, то матерей под видом каких-то операций. Ведь никто не считает этих убийств, как не считали убийств инквизиции, потому что предполагалось, что это на благо человечества. Перечесать нельзя преступлений, совершаемых ими. Но все эти преступления ничто в сравнении с тем нравственным растлением материализма, которое они вносят в мир, особенно через женщин. Уж не говорю про то, что если только следовать их указаниям, то благодаря заразам везде, во всем, людям надо не идти к единению, а к разъединению: всем надо, по их учению, сидеть врозь и не выпускать изо рта спринцовки с карболовой кислотой (впрочем, открыли, что и она не годится). Но и это ничего. Яд главный — в развращении людей, женщин в особенности.

Нынче уж нельзя сказать: «Ты живешь дурно, живи лучше», — нельзя этого сказать ни себе, ни другому. А если дурно живешь, то причина в ненормальности нервных отправлениях или т. п. И надо пойти к ним,

а они пропишут на тридцать пять копеек в аптеке лекарства, и вы принимайте. Вы сделаетесь еще хуже, тогда еще лекарства и еще доктора. Отличная штука!

Но не в этом дело. Я только говорил про то, что она прекрасно сама кормила детей и что это ношение и кормление детей одно спасало меня от мук ревности. Если бы не это, все случилось бы раньше. Дети спасали меня и ее. В восемь лет у ней родилось пять человек детей. И всех она кормила сама.

— Где же они теперь, ваши дети? — спросил я.

— Дети? — испуганно переспросил он.

— Извините меня, может быть вам тяжело вспоминать?

— Нет, ничего. Детей моих взяла моя свояченица и ее брат. Они не дали их мне. Я им отдал состояние, а их они мне не дали. Ведь я вроде сумасшедшего. Я теперь еду от них. Я видел их, но мне их не дадут. А то я воспитаю их так, что они не будут такими, как их родители. А надо, чтоб были такие же. Ну, да что делать! Понятно, что мне их не дадут и не поверят. Да я и не знаю, был ли бы я в силах воспитать их. Я думаю, нет. Я — развалина, калека. Одно во мне есть. Я знаю. Да, это верно, что я знаю то, что все не скоро еще узнают.

Да, дети живы и растут такими же дикарями, как и все вокруг них. Я видел их, три раза видел. Ничего я не могу для них сделать. Ничего. Еду к себе теперь на юг. У меня там домик и садик.

Да, не скоро еще люди узнают то, что я знаю. Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах — это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство, — это трудно, ужасно трудно...

Вы хоть слушаете, я и то благодарен.

XVI

— Вот вы напомнили про детей. Опять какое страшное лганье идет про детей. Дети — благословенье божие, дети — радость. Ведь это все ложь. Все это было когда-то, но теперь ничего подобного нет. Дети — мученье,

и больше ничего. Большинство матерей так прямо и чувствуют и иногда нечаянно прямо так и говорят это. Спросите у большинства матерей нашего круга достаточных людей, они вам скажут, что от страха того, что дети их могут болеть и умирать, они не хотят иметь детей, не хотят кормить, если уж родили, для того чтобы не привязаться и не страдать. Наслаждение, которое доставляет им ребенок прелестью его, этих ручек, ножек, тельца всего, удовольствие, доставляемое ребенком, — меньше страдания, которое они испытывают — не говоря уже от болезни или потери ребенка, но от одного страха за возможность болезней и смерти. Взвесив выгоды и невыгоды, оказывается, что невыгодно и потому нежелательно иметь детей. Они это прямо, смело говорят, воображая, что эти чувства происходят в них от любви к детям, чувства хорошего и похвального, которым они гордятся. Они не замечают того, что этим рассуждением они прямо отрицают любовь, а утверждают только свой эгоизм. Для них меньше удовольствия от прелести ребенка, чем страданий от страха за него, и потому не надо того ребенка, которого они будут любить. Они жертвуют не собою для любимого существа, а имеющим быть любимым существом для себя.

Ясно, что это не любовь, а эгоизм. Но и осудить их, матерей достаточных семей, за этот эгоизм — не поднимается рука, когда вспомнишь все то, что они переменяются от здоровья детей благодаря опять тем же докторам в нашей господской жизни. Как вспомню только, даже теперь, жизнь и состояние жены в первое время, когда было трое, четверо детей и она вся была поглощена ими, — ужас берет. Жизни нашей не было совсем. Это была какая-то вечная опасность, спасенье от нее, вновь наступившая опасность, вновь отчаянные усилия и вновь спасенье — постоянно такое положение, как на гибнущем корабле. Иногда мне казалось, что это нарочно делалось, что она прикидывалась беспокоящейся о детях, для того чтобы победить меня. Так это заманчиво, просто разрешало в ее пользу все вопросы. Мне казалось иногда, что все, что она в этих случаях делала и говорила, — она делала и говорила нарочно. Но

нет, она сама страшно мучалась и казнилась постоянно с детьми, с их здоровьем и болезнями. Это была пытка для нее и для меня тоже. И нельзя ей было не мучаться. Ведь влечение к детям, животная потребность кормить, лелеять, защищать их — была, как она и есть у большинства женщин, но не было того, что есть у животных — отсутствия воображения и рассудка. Курица не боится того, что может случиться с ее цыпленком, не знает всех тех болезней, которые могут постигнуть его, не знает всех тех средств, которыми люди воображают, что они могут спасти от болезней и смерти. И дети для нее, для курицы, не мученье. Она делает для своих цыплят то, что ей свойственно и радостно делать; дети для нее радость. И когда цыпленок начинает болеть, ее заботы очень определенные: она греет, кормит его. И, делая это, знает, что она делает все, что нужно. Издохнет цыпленок, она не спрашивает себя, зачем он умер, куда он ушел, поквохчет, потом перестанет и продолжает жить по-прежнему. Но для наших несчастных женщин и для моей жены было не то. Уж не говоря о болезнях — как лечить, о том, как воспитывать, растить, она со всех сторон слышала и читала бесконечно разнообразные и постоянно изменяющиеся правила. Кормить так, тем; нет, не так, не тем, а вот этак; одевать, поить, купать, класть спать, гулять, воздух, — на все это мы, она преимущественно, узнавала всякую неделю новые правила. Точно со вчерашнего дня начали рожаться дети. А не так накормили, не так искупали, не вовремя, и заболел ребенок, и оказывается, что виновата она, сделала не то, что надо делать.

Это пока здоровье. И то мученье. Но уж если заболел, тогда кончено. Совершенный ад. Предполагается, что болезнь можно лечить и что есть такая наука и такие люди — доктора, и они знают. Не все, но самые лучшие знают. И вот ребенок болен, и надо попасть на этого самого лучшего, того, который спасает, и тогда ребенок спасен; а не захватил этого доктора или живешь не в том месте, где живет этот доктор, — и ребенок погиб. И это не ее исключительная вера, а эта вера всех женщин ее круга, и со всех сторон она слышит только это: у Екатерины Семеновны умерло двое, потому что

не позвали вовремя Ивана Захарыча, а у Марьи Ивановны Иван Захарыч спас старшую девочку; а вот у Петровых вовремя, по совету доктора, разъехались по гостиницам — и остались живы, а не разъехались — и померли дети. А у той был слабый ребенок, переехали, по совету доктора, на юг — и спасли ребенка. Как же тут не мучаться и не волноваться всю жизнь, когда жизнь детей, к которым она животной привязана, зависит от того, что она вовремя узнает то, что скажет об этом Иван Захарыч. А что скажет Иван Захарыч, никто не знает, менее всего он сам, потому что он очень хорошо знает, что он ничего не знает и ничему помочь не может, а сам только виляет как попало, чтобы только не перестали верить, что он что-то знает. Ведь если бы она была совсем животное, она так бы не мучалась; если же бы она была совсем человек, то у ней была бы вера в бога, и она бы говорила и думала, как говорят верующие бабы: «Бог дал, бог и взял, от бога не уйдешь». Она бы думала, что жизнь и смерть как всех людей, так и ее детей, вне власти людей, а во власти только бога, и тогда бы она не мучалась тем, что в ее власти было предотвратить болезни и смерти детей, а она этого не сделала. А то для нее положение было такое: даны самые хрупкие, подверженные самым бесчисленным бедствиям, слабые существа. К существам этим она чувствует страстную, животную привязанность. Кроме того, существа эти поручены ей, а вместе с тем средства сохранения этих существ скрыты от нас и открыты совсем чужим людям, услуги и советы которых можно приобретать только за большие деньги, и то не всегда.

Вся жизнь с детьми и была для жены, а потому и для меня, не радость, а мука. Как же не мучаться? Она и мучалась постоянно. Бывало, только что успокоимся от какой-нибудь сцены ревности или просто ссоры и думаем пожить, почитать и подумать; только возьмешься за какое-нибудь дело, вдруг получается известие, что Васю рвет, или Маша сходила с кровью, или у Андрюши сыпь, ну и конечно, жизни уж нет. Куда скакать, за какими докторами, куда отделить? И начинают клистиры, температуры, микстуры и доктора.

Не успеет это кончиться, как начинается что-нибудь другое. Правильной, твердой семейной жизни не было. А было, как я вам говорил, постоянное спасение от воображаемых и действительных опасностей. Так ведь это теперь в большинстве семей. В моей же семье было особенно резко. Жена была чадолюбива и легковерна.

Так что присутствие детей не только не улучшало нашей жизни, но отравляло ее. Кроме того, дети — это был для нас новый повод к раздору. С тех пор как были дети и чем больше они росли, тем чаще именно сами дети были и средством и предметом раздора. Не только предметом раздора, но дети были орудием борьбы; мы как будто дрались друг с другом детьми. У каждого из нас был свой любимый ребенок — орудие драки. Я дрался больше Васей, старшим, а она Лизой. Кроме того, когда дети стали подрастать и определились их характеры, сделалось то, что они стали союзниками, которых мы привлекли каждый на свою сторону. Они страшно страдали от этого, бедняжки, но нам, в нашей постоянной войне, не до того было, чтобы думать о них. Девочка была моя сторонница, мальчик же старший, похожий на нее, ее любимец, часто был ненавистен мне.

XVII

— Ну-с, так и жили. Отношения становились все враждебнее и враждебнее. И, наконец, дошли до того, что уже не разногласие производило враждебность, но враждебность производила разногласие: что бы она ни сказала, я уж вперед был не согласен, и точно так же и она.

На четвертый год с обеих сторон решено было как-то само собой, что понять друг друга, согласиться друг с другом мы не можем. Мы перестали уже пытаться договориться до конца. О самых простых вещах, в особенности о детях, мы оставались неизменно каждый при своем мнении. Как я теперь вспоминаю, мнения, которые я отстаивал, были вовсе мне не так дороги, чтобы я не мог поступиться ими; но она была противного мнения, и уступить — значило уступить ей. А этого я не

мог. Она тоже. Она, вероятно, считала себя всегда совершенно правой передо мной, а уж я в своих глазах был всегда свят перед нею. Вдвоем мы были почти обречены на молчание или на такие разговоры, которые, я уверен, животные могут вести между собой: «Который час? Пора спать. Какой нынче обед? Куда ехать? Что написано в газете? Послать за доктором. Горло болит у Маши». Стоило на волосок выступить из этого до невозможного сузившегося кружка разговоров, чтобы вспыхнуло раздражение. Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку, за ход в винте, — всё дела, которые ни для того, ни для другого не могли иметь никакой важности. Во мне по крайней мере ненависть к ней часто кипела страшная! Я смотрел иногда, как она паливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви — период злобы; энергический период любви — длинный период злобы, более слабое проявление любви — короткий период злобы. Тогда мы не понимали, что эта любовь и злоба были то же самое животное чувство, только с разных концов. Жить так было бы ужасно, если бы мы понимали свое положение; но мы не понимали и не видали его. В этом и спасенье и казнь человека, что, когда он живет неправильно, он может себя затуманивать, чтобы не видеть бедственности своего положения. Так делали и мы. Она старалась забыться напряженными, всегда поспешными занятиями хозяйством, обстановкой, нарядами своими и детей, учением, здоровьем детей. У меня же было свое пьянство — пьянство службы, охоты, карт. Мы оба постоянно были заняты. Мы оба чувствовали, что чем больше мы заняты, тем злее мы можем быть друг к другу. «Тебе хорошо гримасничать, — думал я на нее, — а ты вот меня промучала сценами всю ночь, а мне заседание». — «Тебе хорошо, — не только думала, но и говорила она, — а я всю ночь не спала с ребенком».

Так мы и жили, в постоянном тумане не видя того положения, в котором мы находились. И если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил еще до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь, не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все; я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался.

А мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видеть этого. Я еще не знал тогда, что 0,99 супружеств живут в таком же аду, как и я жил, и что это не может быть иначе. Тогда я еще не знал этого ни про других, ни про себя.

Удивительно, какие совпадения и в правильной и даже неправильной жизни! Как раз когда родителям жизнь становится невыносимой друг от друга, необходимы делаются и городские условия для воспитания детей. И вот является потребность переезда в город.

Он замолчал и раза два издал свои странные звуки, которые теперь уже совсем похожи были на сдержанные рыдания. Мы подходили к станции.

— Который час? — спросил он.

Я взглянул, было два часа.

— Вы не устали? — спросил он.

— Нет, но вы устали.

— Меня душит. Позвольте, я пройду, выпью воды.

И он, шатаясь, пошел через вагон. Я сидел один, перебирая все, что он сказал мне, и так задумался, что и не заметил, как он вернулся из другой двери.

XVIII

— Да, я все увлекаюсь, — начал он. — Много я передумал, на многое я смотрю по-иному, и все это хочется сказать. Ну, и стали жить в городе. В городе несчастным людям жить лучше. В городе человек может прожить сто лет и не хватиться того, что он давно умер и сгнил. Разбираться с самим собой некогда, все занято. Дела, общественные отношения, здоровье, искусства,

здоровье детей, их воспитанье. То надо принимать тех и этих, ехать к тем и этим; то надо посмотреть эту, послушать этого или эту. Ведь в городе во всякий данный момент есть одна, а то сразу две, три знаменитости, которые нельзя никак пропустить. То надо лечить себя, того или этого, то учителя, репетиторы, гувернантки, а жизнь пустым-пустешенька. Ну, так мы и жили и меньше чувствовали боль от сожигания. Кроме того, первое время было чудесное занятие — устройство в новом городе, на новой квартире, и еще занятие — переездов из города в деревню и из деревни в город.

Прожили одну зиму, и в другую зиму случилось еще следующее никому не заметное, кажущееся ничтожным обстоятельство, но такое, которое и произвело все то, что произошло. Она была нездорова, и мерзавцы не велели ей рожать и научили средству. Мне это было отвратительно. Я боролся против этого, но она с легкомысленным упорством настояла на своем, и я покорился; последнее оправдание свиной жизни — дети — было отнято, и жизнь стала еще гаже.

Мужу, работнику, дети нужны, хотя и трудно ему выкормить, но они ему нужны, и потому его супружеские отношения имеют оправдание. Нам же, людям, имеющим детей, еще дети не нужны, они — лишняя забота, расход, сонаследники, они тягость. И оправдания свиной жизни для нас уж нет никакого. Или мы искусственно избавляемся от детей, или смотрим на детей как на несчастье, последствие неосторожности, что еще гаже. Оправданий нет. Но мы так нравственно пали, что мы даже не видим надобности в оправдании. Большинство теперешнего образованного мира предается этому разврату без малейшего угрызения совести.

Нечему угрызаться, потому что совести в нашем быту нет никакой, кроме, если можно так назвать, совести общественного мнения и уголовного закона. А тут и та и другая не нарушаются: совеститься перед обществом нечего, все это делают: и Марья Павловна и Иван Захарыч. А то что ж разводиться нищих или лишать себя возможности общественной жизни? Совеститься перед уголовным законом или бояться его тоже нечего. Это

безобразные девки и солдатки бросают детей в пруды и колодцы; тех, понятно, надо сажать в тюрьму, а у нас все делается своевременно и чисто.

Так прожили мы еще два года. Средство мерзавцев, очевидно, начинало действовать; она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе тридцатилетней нерожавшей, раскормленной и раздраженной женщины. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 0,99 наших женщин. И я чувствовал это, и мне было страшно.

XIX

Он вдруг приподнялся и пересел к самому окну.

— Извините меня, — проговорил он и, устремив глаза в окно, молча просидел так минуты три. Потом он тяжело вздохнул и опять сел против меня. Лицо его стало совсем другое, глаза жалкие, и какая-то странная почти улыбка морщила его губы. — Я устал немножко, но я расскажу. Еще времени много, не рассветало еще. Да-с, — начал он опять, закурив папиросу. — Она поползла с тех пор, как перестала рожать, и болезнь эта — страдание вечное о детях — стала проходить; не то что проходить, но она как будто очнулась от пьянства, опомнилась и увидала, что есть целый мир божий с его радостями, про который она забыла, но в котором она жить не умела, мир божий, которого она совсем не понимала. «Как бы не пропустить! Уйдет время, не веротишь!» Так мне представляется, что она думала или скорее чувствовала, да и нельзя ей было думать и чувствовать иначе: ее воспитали в том, что есть в мире только одно достойное внимания — любовь. Она вышла замуж, получила кое-что из этой любви, но не только далеко не то, что обещалось, что ожидалось, но и много разочарований, страданий и тут же неожиданную

муку — детей! Мука эта истомила ее. И вот благодаря услужливым докторам она узнала, что можно обойтись и без детей. Она обрадовалась, испытала это и ожила опять для одного того, что она знала, — для любви. Но любовь с огаженным и ревностью и всякой злостью мужем была уже не то. Ей стала представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь, по крайней мере я так думал про нее. И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего-то. Я видел это и не мог не тревожиться. Сплошь да рядом стало случаться то, что она, как и всегда, разговаривая со мной через посредство других, то есть говоря с посторонними, но обращая речь ко мне, выражала смело, совсем не думая о том, что она час тому назад говорила противоположное, выражала полусерьезно, что материнская забота — это обман, что не стоит того — отдавать свою жизнь детям, когда есть молодость и можно наслаждаться жизнью. Она занималась детьми меньше, не с таким отчаянием, как прежде, но больше и больше занималась собой, своей наружностью, хотя она и скрывала это, и своими удовольствиями, и даже усовершенствованием себя. Она опять с увлечением взялась за фортепиано, которое прежде было совершенно брошено. С этого все и началось.

Он опять повернулся к окну устало смотрившими глазами, но тотчас же опять, видимо сделав над собою усилие, продолжал:

— Да-с, явился этот человек. — Он замялся и раза два произвел носом свои особенные звуки.

Я видел, что ему мучительно было называть этого человека, вспоминать, говорить о нем. Но он сделал усилие и, как будто порвав то препятствие, которое мешало ему, решительно продолжал:

— Дрянной он был человек, на мои глаза, на мою оценку. И не потому, какое он значение получил в моей жизни, а потому, что он действительно был такой. Впрочем, то, что он был плох, служило только доказательством того, как неменяема была она. Не он, так другой, это должно было быть. — Он опять замолчал. — Да-с, это был музыкант, скрипач; не профессиональный музыкант, а полупрофессиональный, полуобщественный человек.

Отец его — помещик, сосед моего отца. Он — отец — разорился, и дети — три было мальчика — все устроились; один только, меньшей этот, отдан был к своей крестной матери в Париж. Там его отдали в консерваторию, потому что был талант к музыке, и он вышел оттуда скрипачом и играл в концертах. Человек он был... — Очевидно, желая сказать что-то дурное про него, он воздержался и быстро сказал: — Ну, уж там я не знаю, как он жил, знаю только, что в этот год он явился в Россию и явился ко мне.

Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуренные усики, прическа последняя, модная, лицо пошло-хорошенькое, то, что женщины называют недурен, сложения слабого, хотя и не уродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у готтентотов, говорят. Они, говорят, тоже музыкальны. Лезущий в фамильярность насколько возможно, но чуткий и всегда готовый остановиться при малейшем отпоре, с соблюдением внешнего достоинства и с тем особенным парижским оттенком ботинок с пуговками и ярких цветов галстука и другого, что усваивают себе иностранцы в Париже и что по своей особенности, новизне, всегда действует на женщин. В манерах деланная, внешняя веселость. Манера, знаете, про все говорить намеками и отрывками, как будто вы все это знаете, помните и можете сами дополнить.

Вот он-то с своей музыкой был причиной всего. Ведь на суде было представлено дело так, что все случилось из ревности. Ничуть не бывало, то есть не то, что ничуть не бывало, а то, да не то. На суде так и решено было, что я обманутый муж и что я убил, защищая свою поруганную честь (так ведь это называется пихнему). И от этого меня оправдали. Я на суде старался выяснить смысл дела, но они понимали так, что я хочу реабилитировать честь жены.

Отношения ее с этим музыкантом, какие бы они ни были, для меня это не имеет смысла, да и для нее тоже. Имеет же смысл то, что я вам рассказал, то есть мое свинство. Все произошло оттого, что между нами была та страшная пучина, о которой я вам говорил, то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу, при

которой первого повода было достаточно для произведения кризиса. Ссоры между нами становились в последнее время чем-то страшным и были особенно поразительны, сменяясь тоже напряженной животной страстностью.

Если бы явился не он, то другой бы явился. Если бы не предлог ревности, то другой. Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать, или разойтись, или убить самих себя или своих жен, как я сделал. Если с кем этого не случилось, то это особенно редкое исключение. Я ведь, прежде чем кончить, как я кончил, был несколько раз на краю самоубийства, а она тоже отравлялась.

XX

— Да, это так было, и недолго перед тем.

Жили мы как будто в перемирье, и нет никаких причин нарушать его; вдруг начинается разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит: «Не медаль, а похвальный отзыв». Начинается спор. Начинается перепрыгиванье с одного предмета на другой, попреки: «Ну, да это давно известно, всегда так: ты сказал...» — «Нет, я не говорил». — «Стало быть, я лгу!..» Чувствуешь, что вот-вот начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить. Знаешь, что сейчас начнется, и боишься этого, как огня, и потому хотел бы удержаться, но злоба охватывает все твое существо. Она в том же, еще худшем положении, нарочно перетолковывает всякое твое слово, придавая ему ложное значение; каждое же ее слово пропитано ядом; где только она знает, что мне больнее всего, туда-то она и колет. Дальше, больше. Я кричу: «Молчи!» — или что-то в этом роде. Она выскакивает из комнаты, бежит в детскую. Я стараюсь удержать ее, чтобы договорить и доказать, и схватываю ее за руку. Она прикидывается, что сделал ей больно, и кричит: «Дети, ваш отец бьет меня!» Я кричу: «Не лги!» — «Ведь это уж не в первый раз!» — кричит она, или что-нибудь подобное. Дети бросаются к ней.

Она успокаивает их. Я говорю: «Не притворяйся!» Она говорит: «Для тебя все притворство; ты убьешь человека и будешь говорить, что он притворяется. Теперь я поняла тебя. Ты этого-то и хочешь!» — «О, хоть бы ты издохла!» — кричу я. Помню я, как ужаснули меня эти страшные слова. Я никак не ожидал, чтобы я мог сказать такие страшные, грубые слова, и удивляюсь тому, что они могли выскочить из меня. Я кричу эти страшные слова и убегаю в кабинет, сажусь и курю. Слышу, что она выходит в переднюю и собирается уезжать. Я спрашиваю куда. Она не отвечает. «Ну, и черт с ней», — говорю я себе, возвращаюсь в кабинет, опять ложусь и курю. Тысячи разных планов о том, как отомстить ей и избавиться от нее и как поправить все это и сделать так, как будто бы ничего не было, приходят мне в голову. Я все это думаю и курю, курю, курю. Думаю убежать от нее, скрыться, уехать в Америку. Дохожу до того, что мечтаю о том, как я избавлюсь от нее и как это будет прекрасно, как сойду с другой, прекрасной женщиной, совсем новой. Избавлюсь тем, что она умрет, или тем, что разведусь, и придумываю, как это сделать. Вижу, что я путаюсь, что я не то думаю, что нужно, но и для того, чтобы не видеть, что я не то думаю, что нужно, для этого-то курю.

А жизнь дома идет. Приходит гувернантка, спрашивает: «Где madame? когда вернется?» Лакей спрашивает, подавать ли чай. Прихожу в столовую; дети, в особенности старшая Лиза, которая уж понимает, вопросительно и недоброжелательно смотрят на меня. Пьем молча чай. Ее все нет. Проходит весь вечер, ее нет, и два чувства сменяются в душе: злоба к ней за то, что она мучает меня и всех детей своим отсутствием, которое кончится же тем, что она придет, и страх того, что она не придет и что-нибудь сделает над собой. Я бы поехал за ней. Но где искать ее? У сестры? Но это глупо приехать спрашивать. Да и бог с ней; если она хочет мучать, пускай сама мучается. А то ведь она этого и ждет. И в следующий раз будет еще хуже. А что, как она не у сестры, а что-нибудь делает или уже сделала над собой?.. Одиннадцать, двенадцать, час. Не иду в спальню, глупо одному там лежать и ждать,

и тут не ложусь. Хочу чем-нибудь заняться, написать письма, читать; ничего не могу. Сажу один в кабинете, мучаюсь, злюсь и прислушиваюсь. Три, четыре часа — ее все нет. К утру засыпаю. Просыпаюсь — ее нет.

Все в доме идет по-старому, но все в недоуменье и все вопросительно и укоризненно смотрят на меня, предполагая, что все это от меня. А во мне все та же борьба — злобы за то, что она меня мучает, и беспокойства за нее.

Около одиннадцати приезжает ее сестра послом от нее. И начинается обычное: «Она в ужасном положении. Ну что же это!» — «Да ведь ничего не случилось». Я говорю про невозможность ее характера и говорю, что я ничего не сделал.

— Да ведь не может же это так оставаться, — говорит сестра.

— Все ее дело, а не мое, — говорю я. — Я первого шага не сделаю. Разойтись, так разойтись.

Свояченица уезжает ни с чем. Я смело сказал, говоря с ней, что не сделаю первого шага, но как она уехала и я вышел и увидел детей жалких, испуганных, я уже готов делать первый шаг. И рад бы его сделать, но не знаю как. Опять хожу, курю, выпиваю за завтраком водки и вина и достигаю того, чего бессознательно желаю: не вижу глупости, подлости своего положения.

Около трех приезжает она. Встречая меня, она ничего не говорит. Я воображаю, что она смирилась, начинаю говорить о том, что я был вызван ее укоризнами. Она с тем же строгим и страшно измученным лицом говорит, что она приехала не объясняться, а взять детей, что жить вместе мы не можем. Я начинаю говорить, что виноват не я, что она вывела меня из себя. Она строго, торжественно смотрит на меня и потом говорит:

— Не говори больше, ты расквесишься.

Я говорю, что терпеть не могу комедий. Тогда она вскрикивает что-то, чего я не разбираю, и убегает в свою комнату. И за ней звенит ключ: она заперлась. Я толкаюсь, нет ответа, и я с злостью отхожу. Через полчаса Лиза прибегает в слезах.

— Что? что-нибудь сделалось?

— Мамы не слышно.

Идем. Я дергаю изо всех сил дверь. Задвижка плохо задвинута, и обе половинки отворяются. Я подхожу к кровати. Она в юбках и высоких ботинках лежит неловко на кровати без чувств. На столике пустая склянка с опиумом. Приводим в чувство. Еще слезы и, наконец, примирение. И не примирение: в душе у каждого та же старая злоба друг против друга с прибавкой еще раздражения за ту боль, которая сделана этой ссорой и которую всю каждый ставит на счет другого. Но надо же как-нибудь кончить все это, и жизнь идет по-старому. Так, такие-то ссоры и хуже бывали беспрестанно, то раз в неделю, то раз в месяц, то каждый день. И все одно и то же. Один раз я уже взял заграничный паспорт — ссора продолжалась два дня, — но потом опять полуобъяснение, полупримирие — и я остался.

XXI

— Так вот в таких-то мы были отношениях, когда явился этот человек. Приехал в Москву этот человек — фамилия его Трухачевский — и явился ко мне. Это было утром. Я принял его. Были мы когда-то на «ты». Он попытался серединными фразами между «ты» и «вы» удержаться на «ты», но я прямо дал тон на «вы», и он тотчас же подчинился. Он мне очень не понравился с первого взгляда. Но, странное дело, какая-то странная, роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а, напротив, приблизить. Ведь что могло быть проще того, чтобы поговорить с ним холодно, проститься, не знакомя с женою. Но нет, я, как нарочно, заговорил об его игре, сказал, что мне говорили, что он бросил скрипку. Он сказал, что, напротив, он играет теперь больше прежнего. Он стал вспоминать о том, что я играл прежде. Я сказал, что не играю больше, но что жена моя хорошо играет.

Удивительное дело! Мои отношения к нему в первый день, в первый час моего свиданья с ним были такие, какие они могли быть только после того, что случилось.

Что-то было напряженное в моих отношениях с ним: я замечал всякое слово, выражение, сказанное им или мною, и приписывал им важность.

Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда это последнее время, была очень элегантна и заманчива, беспокояще красива. Он, видимо, понравился ей с первого взгляда. Кроме того, она обрадовалась тому, что будет иметь удовольствие играть со скрипкой, что она очень любила, так что занимала для этого скрипача из театра, и на лице ее выразилась эта радость. Но, увидав меня, она тотчас же поняла мое чувство и изменила свое выражение, и началась эта игра взаимного обманыванья. Я приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно. Он, глядя на жену так, как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид, что его интересует только предмет разговора, именно то, что уже совсем не интересовало его. Она старалась казаться равнодушной, но знакомое ей мое фальшиво-улыбающееся выражение ревнивца и его похотливый взгляд, очевидно, возбуждали ее. Я видел, что с первого же свиданья у ней особенно заблестели глаза, и, вероятно вследствие моей ревности, между ним и ею тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Она краснела — и он краснел, она улыбалась — он улыбался. Поговорили о музыке, о Париже, о всяких пустяках. Он встал, чтоб уезжать, и, улыбаясь, со шляпой на подрагивающей ляжке стоял, глядя то на нее, то на меня, как бы ожидая, что мы сделаем. Помню я эту минуту именно потому, что в эту минуту я мог не позвать его, и тогда ничего бы не было. Но я взглянул на него, на нее. «И не думай, чтоб я ревновал тебя», — мысленно сказал я ей, — «или чтоб я боялся тебя», — мысленно сказал я ему и пригласил его привозить как-нибудь вечером скрипку, чтобы играть с женой. Она с удивлением взглянула на меня, вспыхнула и, как будто испугавшись, стала отказываться, говорила, что она недостаточно хорошо играет. Этот отказ ее еще более раздражил меня, и я еще больше настаивал.

вал. Помню то странное чувство, с которым я смотрел на его затылок, белую шею, отделявшуюся от черных, расчесанных на обе стороны волос, когда он своей подпрыгивающей, какой-то птичьей походкой выходил от нас. Я не мог не признаться себе, что присутствие этого человека мучало меня. «От меня зависит, — думал я, — сделать так, чтобы никогда не видеть его». Но сделать так — значило признаться, что я боюсь его. Нет, я не боюсь его! Это было бы слишком унижительно, говорил я себе. И тут же, в передней, зная, что жена слышит меня, я настоял на том, чтобы он нынче же вечером приехал со скрипкой. Он обещал мне и уехал.

Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без приготовлений. Я очень любил музыку и сочувствовал их игре, устраивал ему пюпитр, переворачивал страницы. И кое-что они сыграли, какие-то песни без слов и сонатку Моцарта. Он играл превосходно, и у него было в высшей степени то, что называется тоном. Кроме того, тонкий, благородный вкус, совсем несвойственный его характеру.

Он был, разумеется, гораздо сильнее жены и помогал ей и вместе с тем учтиво хвалил ее игру. Он держал себя очень хорошо. Жена казалась заинтересованной только одной музыкой и была очень проста и естественна. Я же, хотя и притворялся заинтересованным музыкой, весь вечер не переставая мучался ревностью.

С первой минуты как он встретился глазами с женой, я видел, что зверь, сидящий в них обоих, помимо всех условий положения и света, спросил: «Можно?» — и ответил: «О да, очень». Я видел, что он никак не ожидал встретить в моей жене, в московской даме, такую привлекательную женщину, и был очень рад этому. Потому что сомнения в том, что она согласна, у него не было никакого. Весь вопрос был в том, чтобы только не помешал несносный муж. Если бы я был чист, я бы не понимал этого, но я, так же как и большинство, думал так про женщин, пока я не был женат, и потому

читал в его душе как по-писаному. Мучался я особенно тем, что я видел несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прерываемого привычной чувственностью, а что этот человек, и по своей внешней элегантности и новизне, и, главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему из совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительные натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то что нравиться, а несомненно без малейшего колебания должен был победить, смять, перекрутить ее, свить из нее веревку, сделать из нее все, что захочет. Я этого не мог не видеть, и я страдал ужасно. Но, несмотря на то или, может быть, вследствие этого, какая-то сила против моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивым, но ласковым с ним. Для жены ли, или для него я это делал, чтоб показать, что я не боюсь его, для себя ли, чтоб обмануть самого себя, — не знаю, только я не мог с первых же сношений моих с ним быть прост. Я должен был, для того чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогим вином, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женою. Я сказал, что позову кое-кого из моих знакомых, любителей музыки, послушать его. Да так и кончилось.

И Позднышев в сильном волнении переменял положение и издал свой особенный звук.

— Странное дело, как действовало на меня присутствие этого человека, — начал он опять, очевидно делая усилие, для того чтобы быть спокойным. — Возвращаюсь с выставки домой на второй или на третий день после этого, вхожу в переднюю и вдруг чувствую, что-то тяжелое, как камень, наваливается мне на сердце, и не могу дать себе отчета, что́ это. Это что-то было то, что, проходя через переднюю, я заметил что-то напоминавшее его. Только в кабинете я дал себе отчет в том, что́ это было, и вернулся в переднюю, чтобы поверить себя. Да, я не ошибся: это была его шинель. Знаете, модная шинель. (Все, что его касалось, хотя

я и не отдавал себе в том отчета, я замечал с необыкновенной внимательностью.) Спрашиваю, — так и есть, он тут. Прохожу не через гостиную, а через классную, в залу. Лиза, дочь, сидит за книжкой, и няня с маленькой у стола вертит какой-то крышкой. Дверь в залу затворена, и слышу оттуда равномерное *agreggio* и голос его и ее. Прислушиваюсь, но не могу разобрать. Очевидно, звуки на фортепиано нарочно для того, чтобы заглушить их слова, поцелуи может быть. Боже мой! что тут поднялось во мне! Как вспомню только про того зверя, который жил во мне тогда, ужас берет. Сердце вдруг сжалось, остановилось и потом заколотило, как молотком. Главное чувство, как и всегда, во всякой злости, было — жалость к себе. «При детях, при няне!» — думал я. Должно быть, я был страшен, потому что и Лиза смотрела на меня странными глазами. «Что ж мне делать?» — спросил я себя. — Войти? Я не могу, я бог знает что сделаю». Но не могу и уйти. Няня глядит на меня так, как будто она понимает мое положение. «Да нельзя не войти», — сказал я себе и быстро отворил дверь. Он сидел за фортепиано, делал эти *agreggio* своими изогнутыми кверху большими белыми пальцами. Она стояла в углу рояля над раскрытыми нотами. Она первая увидела или услышала и взглянула на меня. Испугалась ли она и притворилась, что не испугалась, или точно не испугалась, но она не вздрогнула, не пошевелилась, а только покраснела, и то после.

— Как я рада, что ты пришел; мы не решили, что играть в воскресенье, — сказала она таким тоном, которым не говорила бы со мной, если бы мы были одни. Это и то, что она сказала «мы» про себя и его, возмутило меня. Я молча поздоровался с ним.

Он пожал мне руку и тотчас же с улыбкой, которая мне прямо казалась насмешливой, начал объяснять мне, что он принес ноты для приготовления к воскресенью и что вот между ними несогласие, что играть: более трудное и классическое, именно Бетховенскую сонату со скрипкой, или маленькие вещицы? Все было так естественно и просто, что нельзя было ни к чему

придаться, а вместе с тем я был уверен, что все это было неправда, что они сговаривались о том, как обмануть меня.

Одно из самых мучительнейших отношений для ревнивцев (а ревнивцы все в нашей общественной жизни) — это известные светские условия, при которых допускается самая большая и опасная близость между мужчиной и женщиной. Надо сделаться посмешищем людей, если препятствовать близости на балах, близости докторов с своей пациенткой, близости при занятиях искусством, живописью, а главное — музыкой. Люди занимаются вдвоем самым благородным искусством, музыкой; для этого нужна известная близость, и близость эта не имеет ничего предосудительного, и только глупый, ревнивый муж может видеть тут что-либо нежелательное. А между тем все знают, что именно посредством этих самых занятий, в особенности музыкой, и происходит большая доля прелюбодеяний в нашем обществе. Я, очевидно, смутил их тем смущением, которое выражалось во мне: я долго ничего не мог сказать. Я был как перевернутая бутылка, из которой вода не идет оттого, что она слишком полна. Я хотел изругать, выгнать его, но я чувствовал, что я должен был опять быть любезным и ласковым с ним. Я так и сделал. Я сделал вид, что одобряю все, и опять по тому странному чувству, которое заставляло меня обращаться с ним с тем большей лаской, чем мучительнее мне было его присутствие, я сказал ему, что полагаюсь на его вкус и ей советую то же. Он побыл настолько еще, насколько нужно было, чтобы сгладить неприятное впечатление, когда я вдруг с испуганным лицом вошел в комнату и замолчал, — и уехал, притворяясь, что теперь решили, что играть завтра. Я же был вполне уверен, что в сравнении с тем, что занимало их, вопрос о том, что играть, был для них совершенно безразличен.

Я с особенной учтивостью проводил его до передней (как не провожать человека, который приехал с тем, чтобы нарушить спокойствие и погубить счастье целой семьи!). Я жал с особенной лаской его белую, мягкую руку.

— Целый день этот я не говорил с ней, не мог. Близость ее вызывала во мне такую ненависть к ней, что я боялся себя. За обедом она при детях спросила меня о том, когда я еду. Мне надо было на следующей неделе ехать на съезд в уезд. Я сказал когда. Она спросила, не нужно ли мне чего на дорогу. Я не сказал ничего и молча просидел за столом и молча же ушел в кабинет. Последнее время она никогда не приходила ко мне в комнату, особенно в это время. Лежу в кабинете и злюсь. Вдруг знакомая походка. И в голову мне приходит страшная, безобразная мысль о том, что она, как жена Урии, хочет скрыть уже совершенный грех свой и что она затем в такой неурочный час идет ко мне. «Неужели она идет ко мне?» — думал я, слушая ее приближающиеся шаги. Если ко мне, то я прав значит. И в душе поднимается невыразимая ненависть к ней. Ближе, ближе шаги. Неужели не пройдет мимо, в залу? Нет, дверь скрипнула, и в дверях ее высокая, красивая фигура, и в лице, в глазах — робость и заискивание, которое она хочет скрыть, но которое я вижу и значение которого я знаю. Я чуть не задохнулся, так долго я удерживал дыханье, и, продолжая глядеть на нее, схватился за папиросочницу и стал закуривать.

— Ну что это, к тебе придешь посидеть, а ты закуриваешь, — и она села близко ко мне на диван, прислонясь ко мне.

Я отстранился, чтоб не касаться ее.

— Я вижу, что ты недоволен тем, что я хочу играть в воскресенье, — сказала она.

— Я несколько не доволен, — сказал я.

— Разве я не вижу?

— Ну, поздравляю тебя, что ты видишь. Я же ничего не вижу, кроме того, что ты ведешь себя, как котка...

— Да если ты хочешь браниться, как извозчик, то я уйду.

— Уходи, только знай, что если тебе не дорога честь семьи, то мне не ты дорога (черт с тобой), но честь семьи.

— Да что, что?

— Убирайся, ради бога убирайся!

Притворялась она, что не понимает, о чем, или действительно не понимала, но только она обиделась и рассердилась. Она встала, но не ушла, а остановилась посередине комнаты.

— Ты решительно стал невозможен,— начала она.— Это такой характер, с которым ангел не уживется,— и, как всегда, стараясь уязвить меня как можно больнее, она напомнила мне мой поступок с сестрой (это был случай с сестрой, когда я вышел из себя и наговорил сестре своей грубости; она знала, что это мучит меня, и в это место кольнула меня). — После этого меня уж ничто не удивит от тебя, — сказала она.

«Да, оскорбить, унижить, опозорить и поставить меня же в виноватых», — сказал я себе, и вдруг меня охватила такая страшная злоба к ней, какой я никогда еще не испытывал.

Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней; но в ту же минуту, как я вскочил, я помню, что я сознал свою злобу и спросил себя, хорошо ли отдаться этому чувству, и тотчас же ответил себе, что это хорошо, что это испугает ее, и тотчас же, вместо того чтобы противиться этой злобе, я еще стал разжигать ее в себе и радоваться тому, что она больше и больше разгорается во мне.

— Убирайся, или я тебя убью! — закричал я, подойдя к ней и схватив ее за руку. Я сознательно усиливал интонации злости своего голоса, говоря это. И должно быть, я был страшен, потому что она так заробела, что даже не имела силы уйти, а только говорила:

— Вася, что ты, что с тобой?

— Уходи! — заревел я еще громче. — Только ты можешь довести меня до бешенства. Я не отвечаю за себя!

Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, показывающее высшую степень этого моего бешенства. Мне страшно хотелось бить, убить ее, но я знал, что этого нельзя, и потому, чтобы все-таки дать ход своему бешенству, схватил со стола пресс-папье, еще раз прокричав: «Уходи!» — швырнул его оземь мимо нее.

Я очень хорошо целил мимо. Тогда она пошла из комнаты, но остановилась в дверях. И тут же, пока еще она видела (я сделал это для того, чтобы она видела), я стал брать со стола вещи, подсвечники, чернильницу, и бросать оземь их, продолжая кричать:

— Уйди! убирайся! Я не отвечаю за себя!

Она ушла — и я тотчас же перестал.

Через час ко мне пришла няня и сказала, что у жены истерика. Я пришел; она рыдала, смеялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всем телом. Она не притворялась, но была истинно больна.

К утру она успокоилась, и мы помирились под влиянием того чувства, которое мы называли любовью.

Утром, когда после примирения я признался ей, что ревновал ее к Трухачевскому, она несколько не смутилась и самым естественным образом засмеялась. Так странно даже ей казалась, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку.

— Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь, кроме удовольствия, доставляемого музыкой? Да если хочешь, я готова никогда не видеть его. Даже в воскресенье, хотя и позваны все. Напиши ему, что я нездорова, и кончено. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное он сам, что он опасен. А я слишком горда, чтобы позволить думать это.

И она ведь не лгала, она верила в то, что говорила; она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему и защитить им себя от него, но ей не удалось это. Все было направлено против нее, в особенности эта проклятая музыка. Так все и кончилось, и в воскресенье собрались гости, и они опять играли.

XXIII

— Я думаю, что излишне говорить, что я был очень тщеславен: если не быть тщеславным в обычной нашей жизни, то ведь нечем жить. Ну, и в воскресенье я со вкусом занялся устройством обеда и вечера с

музыкой. Я сам накупил вещей для обеда и позвал гостей.

К шести часам собрались гости, и явился и он во фраке с бриллиантовыми запонками дурного тона. Он держал себя развязно, на все отвечал поспешно с улыбочкой согласия и понимания, знаете, с тем особенным выражением, что все, что вы сделаете или скажете, есть то самое, чего он ожидал. Все, что было в нем непорядочного, все это я замечал теперь с особенным удовольствием, потому что это все должно было успокоить меня и показывать, что он стоял для моей жены на такой низкой ступени, до которой, как она и говорила, она не могла унизиться. Я теперь уже не позволял себе ревновать. Во-первых, я перемучался уже этой мукой, и мне надо было отдохнуть; во-вторых, я хотел верить уверениям жены и верил им. Но, несмотря на то, что я не ревновал, я все-таки был ненатурален с ним и с нею и во время обеда и первую половину вечера, пока не началась музыка. Я все еще следил за движениями и взглядами их обоих.

Обед был как обед, скучный, притворный. Довольно рано началась музыка. Ах, как я помню все подробности этого вечера; помню, как он принес скрипку, отпер ящик, снял вышитую ему дамой покрывку, достал и стал строить. Помню, как жена села с притворно-равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость — робость преимущественно перед своим умением, — с притворным видом села за рояль, и начались обычные *la* на фортепиано, *пиччикато* скрипки, установка нот. Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживавшихся и потом сказали что-то друг другу, и началось. Она взяла первый аккорд. У него сделалось серьезное, строгое, симпатичное лицо, и, прислушиваясь к своим звукам, он осторожными пальцами дернул по струнам и ответил роялю. И началось...

Он остановился и несколько раз сряду произвел свои звуки. Хотел начать говорить, но засопел носом и опять остановился.

— Они играли Крейцерову сонату Бетховена. Знаете ли вы первое престо? Знаете?! — вскрикнул он. — У!.. Страшная вещь эта соната. Именно эта часть. И вообще

страшная вещь музыка. Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом, — вздор, неправда! Она действует, страшно действует, я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует ни возвышающим, ни принижаящим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение, она переносит меня в какое-то другое, не свое положение: мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует, как зевота, как смех: мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего, смеяться не о чем, но я смеюсь, слыша смеющегося.

Она, музыка, сразу, непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое, но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, — Бетховен, ведь он знал, почему он находился в таком состоянии, — это состояние привело его к известным поступкам, и потому для него это состояние имело смысл, для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственный сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла; сыграли плясовую, я проплясал, музыка дошла; ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла, а то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, — нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с ними что хочет. И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек.

А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо. Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом

есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то несоответственное ни месту, ни времени вызывание энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня по крайней мере вещь эта подействовала ужасно; мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, о которых я не знал до сих пор. Да вот как, совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как, как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета, но сознание этого нового состояния было очень радостно. Всё те же лица, и в том числе и жена и он, представлялись совсем в другом свете.

После этого престо они доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое *andante* с пошлыми варьяциями и совсем слабый финал. Потом еще играли по просьбе гостей то элегию Эрнста, то еще разные вещицы. Все это было хорошо, но все это не произвело на меня и 0,01 того впечатления, которое произвело первое. Все это происходило уже на фоне того впечатления, которое произвело первое. Мне было легко, весело весь вечер. Жену же я никогда не видал такую, какую она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла, и эта совершенная растаянность какая-то, слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как они кончили. Я все это видел, но не приписывал этому никакого другого значения, кроме того, что она испытывала то же, что и я, что и ей, как и мне, открылись, как будто вспомнились новые, неиспытанные чувства. Вечер кончился благополучно, и все разъехались.

Зная, что я должен был через два дня ехать на съезд, Трухачевский, прощаясь, сказал, что он надеется в свой другой приезд повторить еще удовольствие нынешнего вечера. Из этого я мог заключить, что он не считал возможным бывать у меня без меня, и это было мне приятно. Оказывалось, что так как я не вернусь до его отъезда, то мы с ним больше не увидимся.

Я в первый раз с истинным удовольствием пожал ему руку и благодарил его за удовольствие. Он также совсем простился с женой. И их прощанье показалось мне самым натуральным и приличным. Все было прекрасно. Мы оба с женою были очень довольны вечером.

XXIV

— Через два дня я уехал в уезд, в самом хорошем, спокойном настроении простившись с женой. В уезде всегда бывало пропасть дела и совсем особенная жизнь, особенный мирок. Два дня я по десяти часов проводил в присутствии. На другой день мне в присутствии принесли письмо от жены. Я тут же прочел его. Она писала о детях, о дяде, о нянюшке, о покупках и между прочим, как о вещи самой обыкновенной, о том, что Трухачевский заходил, принес обещанные ноты и обещал играть еще, но что она отказалась. Я не помнил, чтобы он обещал принести ноты: мне казалось, что он тогда простился совсем, и потому это неприятно поразило меня. Но дела было столько, что некогда было подумать, и я только вечером, вернувшись на квартиру, перечел письмо. Кроме того, что Трухачевский без меня был еще раз, весь тон письма показался мне натянутым. Бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре и хотел выскочить, но я боялся этого зверя и запер его скорей. «Какое мерзкое чувство эта ревность! — сказал я себе. — Что может быть естественнее того, что она пишет?»

И я лег в постель и стал думать о делах, предстоящих на завтра. Мне всегда долго не спалось во время этих съездов, на новом месте, но тут я заснул очень скоро. И как это бывает, знаете, вдруг толчок электрический, и просыпаешься. Так я проснулся, и проснулся с мыслью о ней, о моей плотской любви к ней, и о Трухачевском, и о том, что между нею и им все кончено. Ужас и злоба стиснули мне сердце. Но я стал образумливать себя. «Что за вздор, — говорил я себе, — нет никаких оснований, ничего нет и не было. И как я могу так унижать ее и себя, предполагая такие ужасы. Что-то вроде наемного скрипача, известный за дрянного чело-

века, и вдруг женщина почтенная, уважаемая мать семейства, моя жена! Что за нелепость!» — представлялось мне с одной стороны. «Как же этому не быть?» — представлялось мне с другой. Как же могло не быть то самое простое и понятное, во имя чего я женился на ней, то самое, во имя чего я с нею жил, чего одного в ней нужно было и мне и чего поэтому нужно было и другим и этому музыканту. Он человек неженатый, здоровый (помню, как он хрустел хрящом в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином), сытый, гладкий, и не только без правил, но, очевидно, с правилами о том, чтобы пользоваться теми удовольствиями, которые представляются. И между ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств. Что же может удерживать его? Ничто. Все, напротив, привлекает его. Она? Да кто она? Она тайна, как была, так и есть. Я не знаю ее. Знаю ее только как животное. А животное ничто не может, не должно удерживать.

Только теперь я вспомнил их лица в тот вечер, когда они после Крейцеровой сонаты сыграли какую-то страстную вещицу, не помню кого, какую-то до похабности чувственную пьесу. «Как я мог уехать? — говорил я себе, вспоминая их лица. — Разве не ясно было, что между ними все совершилось в этот вечер? и разве не видно было, что уже в этот вечер между ними не только не было никакой преграды, но что они оба, главное она, испытывали некоторый стыд после того, что случилось с ними?» Помню, как она слабо, жалобно и блаженно улыбалась, утирая пот с покрасневшегося лица, когда я подошел к фортепиано. Они уже тогда избегали смотреть друг на друга, и только за ужином, когда он наливал ей воды, они взглянули друг на друга и чуть улыбнулись. Я с ужасом вспомнил теперь этот перехваченный мною их взгляд с чуть заметной улыбкой. «Да, все кончено», — говорил мне один голос, и тотчас же другой голос говорил совсем другое. «Это что-то нашло на тебя, этого не может быть», — говорил этот другой голос. Мне жутко стало лежать в темноте, я зажег спичку, и мне как-то страшно стало в этой маленькой комнатке с желтыми обоями. Я закурил папироску и, как всегда бывает, когда вертишься в одном

и том же кругу неразрешающихся противоречий, — куришь, и я курил одну папироску за другой, для того чтобы затуманить себя и не видеть противоречий.

Я не заснул всю ночь, и в пять часов, решив, что не могу оставаться более в этом напряжении и сейчас же поеду, я встал, разбудил сторожа, который мне прислуживал, и послал его за лошадьми. В заседание я послал записку о том, что я по экстренному делу вызван в Москву; потому прошу, чтобы меня заменил член. В восемь часов я сел в тарантас и поехал.

XXV

Вошел кондуктор и, заметив, что свеча наша догорела, потушил ее, не вставляя новой. На дворе начинало светать. Позднышев молчал, тяжело вздыхая все время, пока в вагоне был кондуктор. Он продолжал свой рассказ, только когда вышел кондуктор и в полутемном вагоне слышался только треск стеколдвигающегося вагона и равномерный храп приказчика. В полусвете зари мне совсем уже не видно его было. Слышен был только его все более и более взволнованный, страдающий голос.

— Ехать надо было тридцать пять верст на лошадах и восемь часов по чугунке. На лошадах ехать было прекрасно. Была морозная осенняя пора с ярким солнцем. Знаете, эта пора, когда шипы выпечатываются на масляной дороге. Дороги гладкие, свет яркий и воздух бодрящий. В тарантасе ехать было хорошо. Когда рассветло и я поехал, мне стало легче. Глядя на лошадей, на поля, на встречных, забывал, куда я еду. Иногда мне казалось, что я просто еду и что ничего того, что вызвало меня, ничего этого не было. И мне особенно радостно бывало так забываться. Когда же я вспоминал, куда я еду, я говорил себе: «Тогда видно будет, не думай». На середине дороги сверх того случилось событие, задержавшее меня в дороге и еще больше развлекшее меня: тарантас сломался, и надо было чинить его. Поломка эта имела большое значение тем, что она сделала то, что я приехал в Москву не в пять часов, как я рассчитывал, а в двенадцать часов и домой — в пер-

вом часу, так как я не попал на курьерский, а должен был уже ехать на пассажирском. Поездка за телегой, починка, расплата, чай на постоялом дворе, разговоры с дворником — все это еще больше развлекло меня. Сумерками все было готово, и я опять поехал, и ночью еще лучше было ехать, чем днем. Был молодой месяц, маленький мороз, еще прекрасная дорога, лошади, веселый ямщик, и я ехал и наслаждался, почти совсем не думая о том, что меня ожидает, или именно потому особенно наслаждался, что знал, что меня ожидает, и прощался с радостями жизни. Но это спокойное состояние мое, возможность подавлять свое чувство кончилось поездкой на лошадях. Как только я вошел в вагон, началось совсем другое. Этот восьмичасовой переезд в вагоне был для меня что-то ужасное, чего я не забуду во всю жизнь. Оттого ли, что, сев в вагон, я живо представил себя уже приехавшим, или оттого, что железная дорога так возбуждающе действует на людей, но только, с тех пор как я сел в вагон, я уже не мог владеть своим воображением, и оно не переставая с необычайной яркостью начало рисовать мне разжигающие мою ревность картины, одну за другой и одну циничнее другой, и все о том же, о том, что происходило там, без меня, как она изменяла мне. Я сгорал от негодования, злости и какого-то особенного чувства упоения своим унижением, созерцая эти картины, и не мог оторваться от них; не мог не смотреть на них, не мог стереть их, не мог не вызывать их. Мало того, чем более я созерцал эти воображаемые картины, тем более я верил в их действительность. Яркость, с которой представлялись мне эти картины, как будто служила доказательством тому, что то, что я воображал, было действительность. Какой-то дьявол, точно против моей воли, придумывал и подсказывал мне самые ужасные соображения. Давнишний разговор с братом Трухачевского вспомнился мне, и я с каким-то восторгом раздирал себе сердце этим разговором, относя его к Трухачевскому и моей жене.

Это было очень давно, но я вспомнил это. Брат Трухачевского, я помню, раз на вопрос о том, посещает ли он публичные дома, сказал, что порядочный человек не станет ходить туда, где можно заболеть, да и грязно

и гадко, когда всегда можно найти порядочную женщину. И вот он, его брат, нашел мою жену. «Правда, она уже не первой молодости, зуба одного нет сбоку и есть пухлость некоторая, — думал я за него, — но что же делать, надо пользоваться тем, что есть». — «Да, он делает снисхождение ей, что берет ее своей любовницей, — говорил я себе. — Притом она безопасна». — «Нет, это невозможно! Что я думаю! — ужасаясь, говорил я себе. — Ничего, ничего подобного нет. И нет даже никаких оснований что-нибудь предполагать подобное. Разве она не говорила мне, что ей унизительна даже мысль о том, что я могу ревновать к нему? Да, но она лжет, все лжет!» — вскрикивал я — и начиналось опять... Пассажиров в нашем вагоне было только двое — старушка с мужем, оба очень неразговорчивые, и те вышли на одной из станций, и я остался один. Я был как зверь в клетке: то я вскакивал, подходил к окнам, то, шатаясь, начинал ходить, стараясь подогнать вагон; но вагон со всеми лавками и стеклами все точно так же подрагивал, вот как наш...

И Позднышев вскочил и сделал несколько шагов и опять сел.

— Ох, боюсь я, боюсь я вагонов железной дороги, ужас находит на меня. Да, ужасно! — продолжал он. — Я говорил себе: «Буду думать о другом. Ну, положим, о хозяине постоянного двора, у которого я пил чай». Ну вот, в глазах воображения возникает дворник с длинной бородой и его внук — мальчик одних лет с моим Васей. Мой Вася! Он увидит, как музыкант целует его мать. Что делается в его бедной душе? Да ей что! Она любит... И опять поднималось то же. Нет, нет... Ну, буду думать об осмотре больницы. Да, как вчера больной жаловался на доктора. А доктор с усами, как у Трухачевского. И как он нагло... Они оба обманывали меня, когда говорил, что он уезжает. И опять начиналось. Все, о чем я думал, имело связь с ним. Я страдал ужасно. Страдание главное было в неведении, в сомнениях, в раздвоении, в незнании того, что — любить или ненавидеть надо ее. Страдания были так сильны, что, я помню, мне пришла мысль, очень понравившаяся мне, выйти на путь, лечь на рельсы под вагон и кончить. Тогда по

крайней мере не будешь больше колебаться, сомневаться. Одно, что мешало это сделать, была жалость к себе, тотчас же непосредственно за собой вызывавшая ненависть к ней. К нему же было какое-то странное чувство и ненависти и сознания своего унижения и его победы, но к ней страшная ненависть. «Нельзя покончить с собой и оставить ее; надо, чтоб она пострадала хоть сколько-нибудь, хоть поняла бы, что я страдал», — говорил я себе. Я выходил на всех станциях, чтобы развлекаться. На одной станции я в буфете увидел, что пьют, и тотчас же сам выпил водки. Рядом со мной стоял еврей и тоже пил. Он разговорился, и я, чтобы только не оставаться одному в своем вагоне, пошел с ним в его грязный, накуренный и забрызганный шелухой от семечек вагон третьего класса. Там я сел с ним рядом, и он много что-то болтал и рассказывал анекдоты. Я слушал его, но не мог понимать того, что он говорит, потому что продолжал думать о своем. Он заметил это и стал требовать к себе внимания; тогда я встал и ушел опять в свой вагон. «Надо обдумать, — говорил я себе, — правда ли то, что я думаю, и есть ли основание мне мучаться». Я сел, желая спокойно обдумать, но тотчас же вместо спокойного обдумыванья началось опять то же: вместо рассуждений — картины и представления. «Сколько раз я так мучался, — говорил я себе (я вспоминал прежние подобные припадки ревности), — и потом все кончалось ничем. Так и теперь, может быть, даже наверное, я найду ее спокойно спящую; она проснется, обрадуется мне, и по словам, по взгляду я почувствую, что ничего не было и что все это вздор. О, как хорошо бы это!» — «Но нет, это слишком часто было, и теперь этого уже не будет», — говорил мне какой-то голос, и опять начиналось. Да, вот где была казнь! Не в сифилитическую больницу я сводил бы молодого человека, чтобы отбить у него охоту от женщин, но в душу к себе, посмотреть на тех дьяволов, которые раздирали ее! Ведь ужасно было то, что я признавал за собой несомненное, полное право над ее телом, как будто это было мое тело, и вместе с тем чувствовал, что владеть я этим телом не могу, что оно не мое и что она может распоряжаться им как хочет, а хочет распоря-

даться им не так, как я хочу. И я ничего не могу сделать ни ему, ни ей. Он, как Ванька-ключничек перед висилицей, споет песенку о том, как в сахарные уста было поцеловано и прочее. И верх его. А с ней еще меньше я могу что-нибудь сделать. Если она не сделала, но хочет, а я знаю, что хочет, то еще хуже: уж лучше бы сделала, чтоб я знал, чтоб не было неизвестности. Я не мог бы сказать, чего я хотел. Я хотел, чтоб она не желала того, что она должна желать. Это было полное сумасшествие!

XXVI

— На предпоследней станции, когда кондуктор пришел обирать билеты, я, собрав свои вещи, вышел на тормоз, и сознание того, что близко, вот оно решение, еще усилило мое волнение. Мне стало холодно, и я стал дрожать челюстями так, что стучал зубами. Я машинально с толпой вышел из вокзала, взял извозчика, сел и поехал. Я ехал, оглядывая редких прохожих, и дворников, и тени, бросаемые фонарями и моей пролеткой то спереди, то сзади, ни о чем не думая. Отъехав с полверсты, мне стало холодно ногам, и я подумал о том, что снял в вагоне шерстяные чулки и положил их в сумку. Где сумка? тут ли? Тут. А где корзина? Я вспомнил, что я забыл совсем о багаже, но, вспомнив и достав расписку, решил, что не стоит возвращаться за этим, и поехал дальше.

Сколько я ни стараюсь вспомнить теперь, я никак не могу вспомнить моего тогдашнего состояния: что я думал? чего хотел? ничего не знаю. Помню только, что у меня было сознание того, что готовится что-то страшное и очень важное в моей жизни. Оттого ли произошло то важное, что я так думал, или оттого, что предчувствовал, — не знаю. Может быть и то, что после того, что случилось, все предшествующие минуты в моем воспоминании получили мрачный оттенок. Я подъехал к крыльцу. Был первый час. Несколько извозчиков стояло у крыльца, ожидая седоков по освещенным окнам (освещенные окна были в нашей квартире, в зале и гостиной). Не отдавая себе отчета в том, почему есть еще свет

так поздно в наших окнах, я в том же состоянии ожидания чего-то страшного взошел на лестницу и позвонил. Лакей, добрый, старательный и очень глупый Егор, отворил. Первое, что бросилось в глаза, в передней была на вешалке рядом с другим платьем его шинель. Я бы должен был удивиться, но не удивился, точно я ждал этого. «Так и есть», — сказал я себе. Когда я спросил Егора, кто здесь, и он назвал мне Трухачевского, я спросил, есть ли еще кто-нибудь. Он сказал:

— Никого-с.

Помню, как он ответил мне это с такой интонацией, как будто желал порадовать меня и рассеять сомнения, что есть еще кто. «Никого-с. Так, так», — как будто говорил я себе.

— А дети?

— Слава богу, здоровы. Давно спят-с.

Я не мог продохнуть и не мог остановить трясущихся челюстей. «Да, стало быть, не так, как я думал: то прежде я думал — несчастье, а оказывалось все хорошо, по-старому. Теперь же вот не по-старому, а вот оно все то, что я представлял себе и думал, что только представлял, а вот оно все в действительности. Вот оно все...»

Я чуть было не зарыдал, но тотчас же дьявол подсказал: «Ты плачь, сентиментальничай, а они спокойно разойдутся, улик не будет, и ты век будешь сомневаться и мучаться». И тотчас чувствительность над собой исчезла, и явилось странное чувство — вы не поверите — чувство радости, что кончится теперь мое мученье, что теперь я могу наказать ее, могу избавиться от нее, что я могу дать волю моей злобе. И я дал волю моей злобе — я сделался зверем, злым и хитрым зверем.

— Не надо, не надо, — сказал я Егору, хотевшему идти в гостиную, — а ты вот что: ты поди, скорее возьми извозчика и поезжай; вот квитанция, получи вещи. Ступай.

Он пошел по коридору за своим пальто. Боясь, что он спугнет их, я проводил его до его каморки и подождал, пока он оделся. В гостиной, за другой комнатой, слышен был говор и звук ножей и тарелок. Они ели и не слышали звонка. «Только бы не вышли теперь», — думал я. Егор надел свое пальто с астраханским бараш-

ком и вышел. Я выпустил его и запер за ним дверь, и мне стало жутко, когда я почувствовал, что остался один и что мне надо сейчас действовать. Как — я еще не знал. Я знал только, что теперь все кончено, что сомнений в ее невинности не может быть и что я сейчас накажу ее и кончу мои отношения с нею.

Прежде еще были у меня колебания, я говорил себе: «А может быть, это неправда, может быть, я ошибаюсь», — теперь уж этого не было. Все было решено бесповоротно. Тайно от меня, одна с ним, ночью! Это уже совершенное забвение всего. Или еще хуже: нарочно такая смелость, дерзость в преступлении, чтобы дерзость эта служила признаком невинности. Все ясно. Сомнения нет. Я боялся только одного, как бы они не разбежались, не придумали еще нового обмана и не лишили меня тем и очевидности улики, и возможности наказать. И с тем, чтоб скорее застать их, я на цыпочках пошел в залу, где они сидели, не через гостиную, а через коридор и детскую.

В первой детской мальчики спали. Во второй детской няня зашевелилась, хотела проснуться, и я представил себе то, что она подумает, узнав все, и такая жалость к себе охватила меня при этой мысли, что я не мог удержаться от слез, и, чтобы не разбудить детей, выбежал на цыпочках в коридор и к себе в кабинет, повалился на свой диван и зарыдал.

«Я — честный человек, я — сын своих родителей, я — всю жизнь мечтавший о счастье семейной жизни, я — мужчина, никогда не изменявший ей... И вот! пять человек детей, и она обнимает музыканта, оттого что у него красные губы! Нет, это не человек! Это сука, это мерзкая сука! Рядом с комнатой детей, в любви к которым она притворялась всю свою жизнь. И писать мне то, что она писала! И так нагло броситься на шею! Да что я знаю? может быть, все время это так было. Может быть, она давно с лакеями прижила всех детей, которые считаются моими. И завтра я бы приехал, и она в своей прическе, с своей этой талией и ленивыми грациозными движениями (я увидал все ее привлекательное ненавистное лицо) встретила бы меня, и зверь этот ревности навеки сидел бы у меня в сердце и раз-

дирал бы его. Няня что подумает, Егор. И бедная Лизочка! Она уже понимала что-то. И эта наглость! и эта ложь! и эта животная чувственность, которую я так знаю», — говорил я себе.

Я хотел встать, но не мог. Сердце так билось, что я не мог устоять на ногах. Да, я умру от удара. Она убьет меня. Ей это и надо. Что ж, ей убить? Да нет, это бы ей было слишком выгодно, и этого удовольствия я не доставлю ей. Да, и я сижу, а они там едят и смеются, и... Да, несмотря на то, что она была уж не первой свежести, он не побрезгал ею: все-таки она была недурна, главное же по крайней мере было безопасно для его драгоценного здоровья. «И зачем я не задушил ее тогда», — сказал я себе, вспомнив ту минуту, когда я неделю тому назад вытаскивал ее из кабинета и потом колотил вещи. Мне живо вспомнилось то состояние, в котором я был тогда; не только вспомнилось, но я ощутил ту же потребность бить, разрушать, которую я ощущал тогда. Помню, как мне захотелось действовать, и всякие соображения, кроме тех, которые нужны были для действия, выскочили у меня из головы. Я вступил в то состояние зверя или человека под влиянием физического возбуждения во время опасности, когда человек действует точно, неторопливо, но и не теряя ни минуты, и все только с одною определенной целью.

XXVII

— Первое, что я сделал, я снял сапоги и, оставшись в чулках, подошел к стене над диваном, где у меня висели ружья и кинжалы, и взял кривой дамасский кинжал, ни разу не употреблявшийся и страшно острый. Я вынул его из ножен. Ножны, я помню, завалились за диван, и помню, что я сказал себе: «Надо после найти их, а то пропадут». Потом я снял пальто, которое все время было на мне, и, мягко ступая в одних чулках, пошел туда.

И подкравшись тихо, я вдруг отворил дверь. Помню выражение их лиц. Я помню это выражение, потому что выражение это доставило мне мучительную радость.

Это было выражение ужаса. Этого-то мне и надо было. Я никогда не забуду выражение отчаянного ужаса, которое выступило в первую секунду на обоих их лицах, когда они увидали меня. Он сидел, кажется, за столом, но, увидав или услышав меня, вскочил на ноги и остановился спиной к шкафу. На его лице было одно очень несомненное выражение ужаса. На ее лице было то же выражение ужаса, но с ним вместе было и другое. Если бы оно было одно, может быть не случилось бы того, что случилось; но в выражении ее лица было, по крайней мере показалось мне в первое мгновение, было еще огорченье, недовольство тем, что нарушили ее увлечение любовью и ее счастье с ним. Ей как будто ничего не нужно было, кроме того, чтобы ей не мешали быть счастливой теперь. То и другое выражение только мгновение держалось на их лицах. Выражение ужаса в его лице тотчас же сменилось выражением вопроса: можно лгать или нет? Если можно, то надо начинать. Если нет, то начнется еще что-то другое. Но что? Он вопросительно взглянул на нее. На ее лице выражение досады и огорчения сменилось, как мне показалось, когда она взглянула на него, заботою о нем.

На мгновение я остановился в дверях, держа кинжал за спиною. В это же мгновение он улыбнулся и до смешного равнодушным тоном начал:

— А мы вот музицировали...

— Вот не ждала, — в то же время начала и она, покоряясь его тону.

Но ни тот, ни другой не договорили: то же самое бешенство, которое я испытывал неделю тому назад, овладело мной. Опять я испытал эту потребность разрушения, насилия и восторга бешенства и отдался ему.

Оба не договорили... Началось то другое, чего он боялся, что разрывало сразу все, что они говорили. Я бросился к ней, все еще скрывая кинжал, чтобы он не помешал мне ударить ее в бок под грудью. Я выбрал это место с самого начала. В ту минуту, как я бросился к ней, он увидел, и, чего я никак не ждал от него, он схватил меня за руку и крикнул:

— Опомнитесь, что вы! Люди!

Я вырвал руку и молча бросился к нему. Его глаза

встретились с моими, он вдруг побледнел как полотно, до губ, глаза сверкнули как-то особенно, и, чего я тоже никак не ожидал, он шмыгнул под фортепиано, в дверь. Я бросился было за ним, но на левой руке моей повисла тяжесть. Это была она. Я рванулся. Она еще тяжелее повисла и не выпускала. Неожиданная эта помеха, тяжесть и ее отвратительное мне прикосновение еще больше разожгли меня. Я чувствовал, что я вполне бешеный и должен быть страшен, и радовался этому. Я размахнулся изо всех сил левой рукой и локтем попал ей в самое лицо. Она вскрикнула и выпустила мою руку. Я хотел бежать за ним, но вспомнил, что было бы смешно бежать в чулках за любовником своей жены, а я не хотел быть смешон, а хотел быть страшен. Несмотря на страшное бешенство, в котором я находился, я помнил все время, какое впечатление я произвожу на других, и даже это впечатление отчасти руководило мною. Я повернулся к ней. Она упала на кушетку и, схватившись рукой за расшибленные мною глаза, смотрела на меня. В лице ее были страх и ненависть ко мне, к врагу, как у крысы, когда поднимают мышеловку, в которую она попала. Я по крайней мере ничего не видел в ней, кроме этого страха и ненависти ко мне. Это был тот самый страх и ненависть ко мне, которые должна была вызвать любовь к другому. Но еще, может быть, я удержался бы и не сделал бы того, что я сделал, если бы она молчала. Но она вдруг начала говорить и хватать меня рукой за руку с кинжалом.

— Опомнись! Что ты? Что с тобой? Ничего ист, ничего, ничего... Клянусь!

Я бы и еще помедлил, но эти последние слова ее, по которым я заключил обратное, то есть, что все было, вызывали ответ. И ответ должен был быть соответствен тому настроению, в которое я привел себя, которое все шло *crescendo*¹ и должно было продолжать так же возрастать. У бешенства есть тоже свои законы.

— Не лги, мерзавка! — завопил я и левой рукой схватил ее за руку, но она вырвалась. Тогда все-таки я, не выпуская кинжала, схватил ее левой рукой за горло,

¹ нарастая (итал.).

опрокинул навзничь и стал душить. Какая жесткая шея была... Она схватилась обеими руками за мои руки, отдирая их от горла, и я как будто этого-то и ждал, изо всех сил ударил ее кинжалом в левый бок, ниже ребер.

Когда люди говорят, что они в припадке бешенства не помнят того, что они делают, — это вздор, неправда. Я все помнил и ни на секунду не переставал помнить. Чем сильнее я разводил сам в себе пары своего бешенства, тем ярче разгорался во мне свет сознания, при котором я не мог не видеть всего того, что я делал. Всякую секунду я знал, что я делаю. Не могу сказать, чтобы я знал вперед, что я буду делать, но в ту секунду, как я делал, даже, кажется, несколько вперед, я знал, что я делаю, как будто для того, чтоб возможно было раскаяться, чтоб я мог себе сказать, что я мог остановиться. Я знал, что я ударяю ниже ребер и что кинжал войдет. В ту минуту, как я делал это, я знал, что я делаю нечто ужасное, такое, какого я никогда не делал и которое будет иметь ужасные последствия. Но сознание это мелькнуло как молния, и за сознанием тотчас же следовал поступок. И поступок сознавался с необычайной яркостью. Я слышал и помню мгновенное противодействие корсета и еще чего-то и потом погружение ножа в мягкое. Она схватилась руками за кинжал, обрезала их, но не удержала. Я долго потом, в тюрьме, после того как нравственный переворот совершился во мне, думал об этой минуте, вспоминал, что мог, и соображал. Помню на мгновение, только на мгновение, предварявшее поступок, страшное сознание того, что я убиваю и убил женщину, беззащитную женщину, мою жену. Ужас этого сознания я помню и потому заключаю и даже вспоминаю смутно, что, воткнув кинжал, я тотчас же вытащил его, желая поправить сделанное и остановить. Я секунду стоял неподвижно, ожидая, что будет, можно ли поправить. Она вскочила на ноги, вскрикнула:

— Няня! он убил меня!

Услышавшая шум няни стояла в дверях. Я все стоял, ожидая и не веря. Но тут из-под ее корсета хлынула кровь. Тут только я понял, что поправить нельзя, и тотчас же решил, что и не нужно, что я этого самого и хочу и это самое и должен был сделать. Я подождал,

пока она упала и няня с криком: «Батюшки!» — подбежала к ней, и тогда только бросил кинжал прочь и пошел из комнаты.

«Не надо волноваться, надо знать, что я делаю», — сказал я себе, не глядя на нее и няню. Няня кричала, звала девушку. Я прошел коридором и, послав девушку, пошел в свою комнату. «Что теперь надо делать?» — спросил я себя и тотчас же понял что. Войдя в кабинет, я прямо подошел к стене, снял с нее револьвер, осмотрел его — он был заряжен — и положил на стол. Потом достал ножны из-за дивана и сел на диван.

Долго я сидел так. Я ничего не думал, ничего не вспоминал. Я слышал, что там что-то возились. Слышал, как приехал кто-то, потом еще кто-то. Потом слышал и видел, как Егор внес мою привезенную корзину в кабинет. Точно кому-нибудь это нужно!

— Слышал ты, что случилось? — сказал я. — Скажи дворнику, чтобы дали знать в полицию.

Он ничего не сказал и ушел. Я встал, запер дверь и, достав папироски и спичку, стал курить. Я не докурил папироски, как меня схватил и повалил сон. Я спал, верно, часа два. Помню, я видел во сне, что мы дружны с ней, поссорились, но миримся, и что немножко что-то мешает, но мы дружны. Меня разбудил стук в дверь. «Это полиция, — подумал я, просыпаясь. — Ведь я убил, кажется. А может быть, это она, и ничего не было». В дверь еще постучались. Я ничего не отвечал, решая вопрос: было это или не было? Да, было. Я вспомнил сопротивление корсета и погружение ножа, и мороз пробежал по спине. «Да, было. Да, теперь надо и себя», — сказал я себе. Но я говорил это и знал, что я не убью себя. Однако я встал и взял опять в руки револьвер. Но странное дело: помню, как прежде много раз я был близок к самоубийству, как в тот день даже, на железной дороге, мне это легко казалось, легко именно потому, что я думал, как я этим поражу ее. Теперь я никак не мог не только убить себя, но и подумать об этом. «Зачем я это сделаю?» — спрашивал я себя, и ответа не было. В дверь постучались еще. «Да, прежде надо узнать, кто это стучится. Успею еще». Я положил револьвер и покрыл его газетой. Я подошел к двери и

отодвинул задвижку. Это была сестра жены, добрая, глупая вдова.

— Вася! что это? — сказала она, и всегда готовые у ней слезы полились.

— Что надо? — грубо спросил я. Я видел, что совсем не надо было и незачем было быть с ней грубым, но я не мог придумать никакого другого тона.

— Вася, она умирает! Иван Федорович сказал. — Иван Федорович это был доктор, ее доктор, советчик.

— Разве он здесь? — спросил я, и вся злоба на нее поднялась опять. — Ну так что ж?

— Вася, поди к ней. Ах, как это ужасно, — сказала она.

«Пойти к ней?» — задал я себе вопрос. И тотчас же ответил, что надо пойти к ней, что, вероятно, всегда так делается, что когда муж, как я, убил жену, то непременно надо идти к ней. «Если так делается, то надо идти, — сказал я себе. — Да если нужно будет, всегда успею», — подумал я о своем намерении застрелиться и пошел за нею. «Теперь будут фразы, гримасы, но я не поддамся им», — сказал я себе.

— Постой, — сказал я сестре, — глупо без сапог, дай я надену хоть туфли.

XXVIII

— И удивительное дело! Опять, когда я вышел из комнаты и пошел по привычным комнатам, опять во мне явилась надежда, что ничего не было, но запах этой докторской гадости — йодоформ, карболка — поразил меня. Нет, все было. Проходя по коридору мимо детской, я увидел Лизоньку. Она смотрела на меня испуганными глазами. Мне показалось даже, что тут были все пятеро детей, и все смотрели на меня. Я подошел к двери, и горничная изнутри отворила мне и вышла. Первое, что бросилось мне в глаза, было ее светло-серое платье на стуле, все черное от крови. На нашей двухспальной постели, на моей даже постели — к ней был легче подход — лежала она с поднятыми коленями. Она лежала очень отлого на одних подушках, в расстегнутой

кофте. На месте раны было что-то наложено. В комнате был тяжелый запах йодоформа. Прежде и больше всего поразило меня ее распухшее и синеющее по отекам лицо, часть носа и под глазом. Это было последствие удара моего локтем, когда она хотела удерживать меня. Красоты не было никакой, а что-то гадкое показалось мне в ней. Я остановился у порога.

— Подойди, подойди к ней, — говорила мне сестра.

«Да, верно, она хочет покаяться», — подумал я. «Простить? Да, она умирает и можно простить ее», — думал я, стараясь быть великодушным. Я подошел вплоть. Она с трудом подняла на меня глаза, из которых один был подбитый, и с трудом, с запинками проговорила:

— Добился своего, убил... — И в лице ее, сквозь физические страдания и даже близость смерти, выразилась та же старая, знакомая мне холодная животная ненависть. — Детей... я все-таки тебе... не отдам... Она (ее сестра) возьмет...

О том же, что было главным для меня, о своей вине, измене, она как бы считала нестоящим упоминать.

— Да, полюбуйся на то, что ты сделал, — сказала она, глядя в дверь, и всхлинула. В двери стояла сестра с детьми. — Да, вот что ты сделал.

Я взглянул на детей, на ее с подтеками разбитое лицо и в первый раз забыл себя, свои права, свою гордость, в первый раз увидел в ней человека. И так ничтожно мне показалось все то, что оскорбляло меня, — вся моя ревность, и так значительно то, что я сделал, что я хотел припасть лицом к ее руке и сказать: «Прости!» — но не смел.

Она молчала, закрыв глаза, очевидно не в силах говорить дальше. Потом изуродованное лицо ее задрожало и сморщилось. Она слабо оттолкнула меня.

— Зачем все это было? Зачем?

— Прости меня, — сказал я.

— Прости? Все это вздор!.. Только бы не умереть!.. — вскрикнула она, приподнялась, и лихорадочно блестящие глаза ее устремились на меня. — Да, ты добился своего!.. Ненавижу!.. Ай! Ах! — очевидно, в бреду, пугаясь чего-то, закричала она. — Ну, убивай, убивай, я не боюсь... Только всех, всех, и его. Ушел, ушел!

Бред продолжался все время. Она не узнавала никого. В тот же день, к полдню, она померла. Меня прежде этого, в восемь часов, отвели в часть и оттуда в тюрьму. И там, просидев одиннадцать месяцев, дожидаясь суда, я обдумал себя и свое прошедшее и понял его. Начал понимать я на третий день. На третий день меня водили туда...

Он что-то хотел сказать и, не в силах будучи удерживать рыдания, остановился. Собравшись с силами, он продолжал:

— Я начал понимать только тогда, когда увидел ее в гробу... — Он вскрикнул, но тотчас же торопливо продолжал: — Только тогда, когда я увидел ее мертвое лицо, я понял все, что я сделал. Я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, тот не может понять... У! у! у!.. — вскрикнул он несколько раз и затих.

Мы долго сидели молча. Он всхлипывал и трясся молча передо мной.

— Ну, простите...

Он отвернулся от меня и прилег на лавке, закрывшись пледом. На той станции, где мне надо было выходить, — это было в восемь часов утра, — я подошел к нему, чтобы проститься. Спал ли он, или притворялся, но он не шевелился. Я тронул его рукой. Он открылся, и видно было, что он не спал.

— Прощайте, — сказал я, подавая ему руку.

Он подал мне руку и чуть улыбнулся, но так жалобно, что мне захотелось плакать.

— Да, простите, — повторил он то же слово, которым заключил и весь рассказ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К «КРЕЙЦЕРОВОЙ СОНАТЕ»

Я получил и получаю много писем от незнакомых мне лиц, просящих меня объяснить в простых и ясных словах то, что я думаю о предмете написанного мною рассказа под заглавием «Крейцера соната». Попытаюсь это сделать, то есть в коротких словах выразить, насколько это возможно, сущность того, что я хотел сказать в этом рассказе, и тех выводов, которые, по моему мнению, можно сделать из него.

Хотел я сказать, *во-первых*, то, что в нашем обществе сложилось твердое, общее всем сословиям и поддерживаемое ложной наукой убеждение в том, что половое общение есть дело необходимое для здоровья, и что так как женитьба есть дело не всегда возможное, то и половое общение вне брака, не обязывающее мужчину ни к чему, кроме денежной платы, есть дело совершенно естественное и потому долженствующее быть поощряемым. Убеждение это до такой степени стало общим и твердым, что родители, по совету врачей, устраивают разврат для своих детей; правительства, единственный смысл которых состоит в заботе о нравственном благосостоянии своих граждан, учреждают разврат, то есть регулируют целое сословие женщин, долженствующих погибать телесно и душевно для удовлетворения мнимых потребностей мужчин, а холо-

стые люди с совершенно спокойной совестью предаются разврату.

И вот я хотел сказать, что это нехорошо, потому что не может быть того, чтобы для здоровья одних людей нужно бы было губить тела и души других людей, так же как не может быть того, чтобы для здоровья одних людей нужно было пить кровь других.

Вывод же, который, мне кажется, естественно сделать из этого, тот, что поддаваться этому заблуждению и обману не нужно. А для того, чтобы не поддаваться, надо, во-первых, не верить безнравственным учениям, какими бы они ни поддерживались мнимыми науками, а во-вторых, понимать, что вступление в такое половое общение, при котором люди или освобождают себя от возможных последствий его — детей, или сваливают всю тяжесть этих последствий на женщину, или предупреждают возможность рождения детей, — что такое половое общение есть преступление самого простого требования нравственности, есть подлость, и что потому холостым людям, не желающим жить подло, надо не делать этого.

Для того же, чтобы они могли воздержаться, они должны, кроме того что вести естественный образ жизни: не пить, не объедаться, не есть мяса и не избегать труда (не гимнастики, а утомляющего, не игрушечного труда), не допускать в мыслях своих возможности общения с чужими женщинами, так же как всякий человек не допускает такой возможности между собой и матерью, сестрами, родными, женами друзей.

Доказательство же того, что воздержание возможно и менее опасно и вредно для здоровья, чем невоздержание, всякий мужчина найдет вокруг себя сотни.

Это первое.

Второе то, что в нашем обществе, вследствие взгляда на любовное общение не только как на необходимое условие здоровья и на удовольствие, но и как на поэтическое, возвышенное благо жизни, супружеская неверность сделалась во всех слоях общества (в крестьянском особенно, благодаря солдатству) самым обычным явлением.

И я полагаю, что это нехорошо. Вывод же, который вытекает из этого, тот, что этого не надо делать.

Для того же, чтобы не делать этого, надо, чтобы изменился взгляд на плотскую любовь, чтобы мужчины и женщины воспитывались бы в семьях и общественным мнением так, чтобы они и до и после женитьбы не смотрели на влюбление и связанную с ним плотскую любовь как на поэтическое и возвышенное состояние, как на это смотрят теперь, а как на унижительное для человека животное состояние, и чтобы нарушение обещания верности, даваемого в браке, казнилось бы общественным мнением по крайней мере так же, как казнятся им нарушения денежных обязательств и торговые обманы, а не воспевалось бы, как это делается теперь, в романах, стихах, песнях, операх и т. д.

Это второе.

Третье то, что в нашем обществе, вследствие опять того же ложного значения, которое придано плотской любви, рождение детей потеряло свой смысл и, вместо того чтобы быть целью и оправданием супружеских отношений, стало помехой для приятного продолжения любовных отношений, и что потому и вне брака и в браке, по совету служителей врачебной науки, стало распространяться употребление средств, лишаящих женщину возможности деторождения, или стало входить в обычай и привычку то, чего не было прежде и теперь еще нет в патриархальных крестьянских семьях: продолжение супружеских отношений при беременности и кормлении.

И полагаю я, что это нехорошо. Нехорошо употреблять средства против рождения детей, во-первых, потому, что это освобождает людей от забот и трудов о детях, служащих искуплением плотской любви, а во-вторых, потому, что это нечто весьма близкое к самому противоположному человеческой совести действию — убийству. И нехорошо невоздержание во время беременности и кормления, потому что это губит телесные, а главное — душевные силы женщины.

Вывод же, который вытекает из этого, тот, что этого не надо делать. А для того, чтобы этого не делать, надо понять, что воздержание, составляющее необхо-

димое условие человеческого достоинства при безбрачном состоянии, еще более обязательно в браке.

Это третье.

Четвертое то, что в нашем обществе, в котором дети представляются или помехой для наслаждения, или несчастной случайностью, или своего рода наслаждением, когда их рождается вперед определенное количество, эти дети воспитываются не в виду тех задач человеческой жизни, которые предстоят им как разумным и любящим существам, а только в виду тех удовольствий, которые они могут доставить родителям. И что вследствие этого дети людей воспитываются как дети животных, так что главная забота родителей состоит не в том, чтобы приготовить их к достойной человека деятельности, а в том (в чем поддерживаются родители ложной наукой, называемой медициной), чтобы как можно лучше напитать их, увеличить их рост, сделать их чистыми, белыми, сытыми, красивыми (если в низших классах этого не делают, то только по необходимости, а взгляд один и тот же). И в изнеженных детях, как и во всяких перекормленных животных, неестественно рано появляется непреодолимая чувственность, составляющая причину страшных мучений этих детей в отроческом возрасте. Наряды, чтения, зрелища, музыка, танцы, сладкая пища, вся обстановка жизни, от картинок на коробках до романов и повестей и поэм, еще более разжигают эту чувственность, и вследствие этого самые ужасные половые пороки и болезни делаются обычными условиями выращивания детей обоего пола и часто остаются и в зрелом возрасте.

И я полагаю, что это нехорошо. Вывод же, который можно сделать из этого, тот, что надо перестать воспитывать детей людей, как детей животных, и для воспитания людских детей поставить себе другие цели, кроме красивого, выхоленного тела.

Это четвертое.

Пятое то, что в нашем обществе, где влюбление между молодым мужчиной и женщиной, имеющее в основе все-таки плотскую любовь, возведено в высшую поэтическую цель стремлений людей, свидетельством чего служит все искусство и поэзия нашего общества,

молодые люди лучшее время своей жизни посвящают: мужчины на выглаживание, приискивание и овладевание наилучшими предметами любви в форме любовной связи или брака, а женщины и девушки — на заманивание и вовлечение мужчин в связь или брак.

И от этого лучшие силы людей тратятся не только на непроизводительную, но на вредную работу. От этого происходит большая часть безумной роскоши нашей жизни, от этого — праздность мужчин и бесстыдство женщин, не пренебрегающих выставлением по модам, заимствуемым от заведомо развратных женщин, вызывающих чувственность частей тела.

И я полагаю, что это нехорошо.

Нехорошо это потому, что достижение цели соединения в браке или вне брака с предметом любви, как бы оно ни было опоэтизировано, есть цель, недостойная человека, так же как недостойна человека представляющаяся многим людям высшим благом цель приобретения себе сладкой и изобильной пищи.

Вывод же, который можно сделать из этого, тот, что надо перестать думать, что любовь плотская есть нечто особенно возвышенное, а надо понять, что цель, достойная человека, — служение ли человечеству, отечеству, науке, искусству ли (не говоря уже о служении богу) — какая бы она ни была, если только мы считаем ее достойной человека, не достигается посредством соединения с предметом любви в браке или вне его, а что, напротив, влюбление и соединение с предметом любви (как бы ни старались доказывать противное в стихах и прозе) никогда не облегчает достижение достойной человека цели, но всегда затрудняет его.

Это пятое.

Вот то существенное, что я хотел сказать и думал, что сказал в своем рассказе. И мне казалось, что можно рассуждать о том, как исправить то зло, на которое указывали эти положения, но что не согласиться с ними никак нельзя.

Мне казалось, что не согласиться с этими положениями нельзя, во-первых, потому, что положения эти вполне согласны с прогрессом человечества, всегда шедшим от распушенности к большей и большей целомуд-

ренности, и с нравственным сознанием общества, с нашей совестью, всегда осуждающей распущенность и ценящей целомудрие; и, во-вторых, потому, что эти положения суть только неизбежные выводы из учения Евангелия, которые мы или исповедуем, или, по крайней мере, хотя и бессознательно, признаем основой наших понятий о нравственности.

Но вышло не так.

Никто, правда, прямо не оспаривает положений о том, что развратничать не надо до брака, не надо и после брака, что не надо искусственно уничтожать деторождения, что не надо из детей делать забавы и не надо ставить любовное соединение выше всего остального, — одним словом, никто не спорит о том, что целомудрие лучше распущенности. Но говорят: «Если безбрачие лучше брака, то очевидно, что люди должны делать то, что лучше. Если же люди сделают это, то род человеческий прекратится, и потому не может быть идеалом рода человеческого уничтожение его».

Но не говоря уже о том, что уничтожение рода человеческого не есть понятие новое для людей нашего мира, а есть для религиозных людей догмат веры, для научных же людей неизбежный вывод наблюдений об охлаждении солнца, в возражении этом есть большое, распространенное и старое недоразумение.

Говорят: «Если люди достигнут идеала полного целомудрия, то они уничтожаются, и потому идеал этот не верен». Но те, которые говорят так, умышленно или неумышленно смешивают две разнородные вещи — правило, предписание и идеал.

Целомудрие не есть правило или предписание, а идеал или скорее — одно из условий его. А идеал только тогда идеал, когда осуществление его возможно только в идее, в мысли, когда он представляется достижимым только в бесконечности и когда поэтому возможность приближения к нему — бесконечна. Если бы идеал не только мог быть достигнут, но мы могли бы представить себе его осуществление, он бы перестал быть идеалом. Таков идеал Христа, — установление царства бога на земле, идеал, предсказанный еще пророками о том, что наступит время, когда все люди бу-

дут научены богом, перекуют мечи на орала, копы на серпы, лев будет лежать с ягненком и когда все существа будут соединены любовью. Весь смысл человеческой жизни заключается в движении по направлению к этому идеалу, и потому стремление к христианскому идеалу во всей его совокупности и к целомудрию, как к одному из условий этого идеала, не только не исключает возможности жизни, но, напротив того, отсутствие этого христианского идеала уничтожило бы движение вперед и, следовательно, возможность жизни.

Суждение о том, что род человеческий прекратится, если люди всеми силами будут стремиться к целомудрию, подобно тому, которое сделали бы (да и делают), что род человеческий погибнет, если люди, вместо борьбы за существование, будут всеми силами стремиться к осуществлению любви к друзьям, к врагам, ко всему живущему. Суждения такие вытекают из непонимания различия двух приемов нравственного руководства.

Как есть два способа указания пути ищущему, указания путешественнику, так есть и два способа нравственного руководства для ищущего правды человека. Один способ состоит в том, что человеку указываются предметы, долженствующие встретиться ему, и он направляется по этим предметам.

Другой способ состоит в том, что человеку дается только направление по компасу, который человек несет с собой и на котором он видит всегда одно неизменное направление и потому всякое свое отклонение от него.

Первый способ нравственного руководства есть способ внешних определений, правил: человеку даются определенные признаки поступков, которые он должен и которых не должен делать.

«Соблюдай субботу, обрезывайся, не крадь, не пей хмельного, не убивай живого, отдавай десятину бедным, не прелюбодействуй, омывайся и молись пять раз в день, крестись, причащайся и т. под.». Таковы постановления внешних религиозных учений: браминского, буддийского, магометанского, еврейского, церковного, ложно называемого христианским.

Другой способ есть способ указания человеку никогда не достижимого им совершенства, стремление к которому человек сознает в себе: человеку указывается идеал, по отношению к которому он всегда может видеть степень своего удаления от него.

«Люби бога твоего всем сердцем, и всюю душой твоей, и всем разумением твоим и ближнего, как самого себя. Будьте совершенны, как отец ваш небесный».

Таково учение Христа.

Проверка исполнения внешних религиозных учений есть совпадение поступков с определениями этих учений, и совпадение это возможно.

Проверка исполнения Христова учения есть сознание степени несоответствия с идеальным совершенством. (Степень приближения не видна: видно одно отклонение от совершенства.)

Человек, исповедующий внешний закон, есть человек, стоящий в свете фонаря, привешенного к столбу. Он стоит в свете этого фонаря, ему светло, и идти ему дальше некуда. Человек, исповедующий Христово учение, подобен человеку, несущему фонарь перед собой на более или менее длинном шесте: свет всегда впереди его и всегда побуждает его идти за собой и вновь открывает ему впереди его новое, влекущее к себе освещенное пространство.

Фарисей благодарит бога за то, что он исполняет все.

Богатый юноша тоже исполнил все с детства и не понимает, чего может недоставать ему. И они не могут думать иначе: впереди их нет того, к чему бы они могли продолжать стремиться. Десятина отдана, суббота соблюдена, родители почтены, прелюбодеяния, воровства, убийства — нет. Чего же еще? Для исповедующего же христианское учение достижение всякой ступени совершенства вызывает потребность вступления на высшую ступень, с которой открывается еще высшая, и так без конца.

Исповедующий закон Христа всегда в положении мытаря. Он всегда чувствует себя несовершенным, не видя позади себя пути, который он прошел, а видя всегда впереди себя тот путь, по которому еще надо идти и который он не прошел еще.

В этом состоит различие учения Христа от всех других религиозных учений, различие, заключающееся не в различии требований, а в различии способа руководства людей. Христос не давал никаких определений жизни, он никогда не устанавливал никаких учреждений, никогда не устанавливал и брака. Но люди, не понимающие особенности учения Христа, привыкшие к внешним учениям и желающие чувствовать себя правыми, как чувствует себя правым фарисей, противно всему духу учения Христа, из буквы его сделали внешнее учение правил, называемое церковным христианским учением, и этим учением подменили истинное Христово учение идеала.

Церковные, называющие себя христианскими, учения по отношению ко всем проявлениям жизни вместо учения идеала Христа поставили внешние определения и правила, противные духу учения. Это сделано по отношению власти, суда, войска, церкви, богослужения, это сделано и по отношению брака: несмотря на то, что Христос не только никогда не устанавливал брака, но уж если отыскивать внешние определения, то скорее отрицал его («оставь жену и иди за мной»), церковные учения, называющие себя христианскими, установили брак как христианское учреждение, то есть определили внешние условия, при которых плотская любовь может для христианина будто бы быть безгрешною, вполне законною.

Но так как в истинном христианском учении нет никаких оснований для учреждения брака, то и вышло то, что люди нашего мира от одного берега отстали и к другому не пристали, то есть не верят, в сущности, в церковные определения брака, чувствуя, что это учреждение не имеет оснований в христианском учении, и вместе с тем не видят перед собой закрытого церковным учением идеала Христа, стремления к полному целомудрию и остаются по отношению брака без всякого руководства. От этого-то и происходит то, кажущееся сначала странным, явление, что у евреев, магометан, ламаистов и других, признающих религиозные учения гораздо низшего уровня, чем христианское, но имеющих точные внешние определения брака, семей-

ное начало и супружеская верность несравненно тверже, чем у так называемых христиан.

У тех есть определенное наложничество, многоженство, ограниченное известными пределами. У нас же существует полная распущенность и наложничество, многоженство и многомужество, не подчиненное никаким определениям, скрывающееся под видом воображаемого единобрачия.

Только потому, что над некоторой частью соединяющихся совершается духовенством за деньги известная церемония, называемая церковным браком, люди нашего мира наивно или лицемерно воображают, что живут в единобрачии.

Христианского брака быть не может и никогда не было, как никогда не было и не может быть ни христианского богослужения (Мф. VI, 5—12; Иоан. IV, 21), ни христианских учителей и отцов (Мф. XXIII, 8—10), ни христианской собственности, ни христианского войска, ни суда, ни государства. Так и понималось это всегда истинными христианами первых и последующих веков.

Идеал христианина есть любовь к богу и ближнему, есть отречение от себя для служения богу и ближнему; плотская же любовь, брак, есть служение себе и потому есть, во всяком случае, препятствие служению богу и людям, а потому с христианской точки зрения — падение, грех.

Вступление в брак не может содействовать служению богу и людям даже в том случае, если бы вступающие в брак имели бы целью продолжение рода человеческого. Таким людям, вместо того чтобы вступать в брак для произведения детских жизней, гораздо проще поддерживать и спасать те миллионы детских жизней, которые гибнут вокруг нас от недостатка не говорю уже духовной, но материальной пищи.

Только в том случае мог бы христианин без сознания падения, греха вступить в брак, если бы он видел и знал, что все существующие жизни детей обеспечены.

Можно не принимать учения Христа, того учения, которым проникнута вся наша жизнь и на котором основана вся наша нравственность, но, принимая это

учение, нельзя не признавать того, что оно указывает идеал полного целомудрия.

В Евангелии ведь сказано ясно и без возможности какого-либо перетолкования — во-первых, то, что женатому не должно разводиться с женой, с тем чтобы взять другую, а должно жить с той, с которой раз сошелся (Мф. V, 31—32; XIX, 8); во-вторых, то, что человеку вообще, и следовательно, как женатому, так и неженатому, грешно смотреть на женщину как на предмет наслаждения (Мф. V, 28—29), и, в-третьих, то, что неженатому лучше не жениться вовсе, то есть быть вполне целомудренным (Мф. XIX, 10—12).

Для многих и многих мысли эти покажутся странными и даже противоречивыми. И они, действительно, противоречивы, но не между собой, а мысли эти противоречат всей нашей жизни, и невольно является сомнение: кто прав? — мысли ли эти, или жизнь миллионов людей и моя? Это самое чувство испытывал и я в сильнейшей степени, когда приходил к тем убеждениям, которые теперь высказываю: я никак не ожидал, что ход моих мыслей приведет меня к тому, к чему он привел меня. Я ужасался своим выводам, хотел не верить им, но не верить нельзя было. И как ни противоречат эти выводы всему строю нашей жизни, как ни противоречат тому, что я прежде думал и высказывал даже, я должен был признать их.

«Но всё это общие соображения, которые, может быть, и справедливы, но относятся к учению Христа и обязательны для тех, которые исповедуют его, но жизнь есть жизнь, и нельзя, указав впереди недостижимый идеал Христа, оставить людей в одном из самых жгучих, общих и производящих наибольшие бедствия вопросов с одним этим идеалом без всякого руководства.

«Молодой, страстный человек сначала увлечется идеалом, но не выдержит, сорвется и, не зная и не признавая никаких правил, попадет в полный разврат!»

Так рассуждают обыкновенно.

«Христов идеал недостижим, поэтому не может служить нам руководством в жизни; о нем можно говорить, мечтать, но для жизни он неприменим, и потому

надо оставить его. Нам нужен не идеал, а правило, руководство, которое было бы по нашим силам, по среднему уровню нравственных сил нашего общества: церковный честный брак или хоть даже не совсем честный брак, при котором один из брачующихся, как у нас, мужчина, уже сходилась со многими женщинами, или хотя бы брак с возможностью развода, или хотя бы гражданский, или (идя по тому же пути) хотя бы японский на срок, — почему же не дойти и до домов терпимости?»

Говорят, это лучше, чем уличный разврат. В том-то и беда, что, позволив себе принижать идеал по своей слабости, нельзя найти того предела, на котором надо остановиться.

Но ведь это рассуждение с самого начала неверно; неверно прежде всего то, чтобы идеал бесконечного совершенства не мог быть руководством в жизни и чтобы нужно было, глядя на него, или махнуть рукой, сказав, что он мне ненужен, так как я никогда не достигну его, или принизить идеал до тех ступеней, на которых хочется стоять моей слабости.

Рассуждать так — все равно, что мореплавателю сказать себе, что так как я не могу идти по той линии, которую указывает компас, то я выкину компас или перестану смотреть на него, то есть отброшу идеал или прикреплю стрелку компаса к тому месту, которое будет соответствовать в данную минуту ходу моего судна, то есть принижу идеал к моей слабости. Идеал совершенства, данный Христом, не есть мечта или предмет риторических проповедей, а есть самое необходимое, всем доступное руководство нравственной жизни людей, как компас — необходимое и доступное орудие руководства морехода; только надо верить как в то, так и в другое. В каком бы ни находился человек положении, всегда достаточно учения идеала, данного Христом, для того чтобы получить самое верное указание тех поступков, которые должно и не должно совершать. Но надо верить этому учению вполне, этому одному учению, перестать верить во все другие, точно так же как надо мореходу верить в компас, перестать приглядываться и руководиться тем, что он видит по сторонам. Надо уметь руководствоваться христианским

учением, как уметь руководствоваться компасом, а для этого, главное, надо понимать свое положение, надо уметь не бояться с точностью определять свое отклонение от идеального данного направления. На какой бы ступени ни стоял человек, всегда есть для него возможность приближения к этому идеалу, и никакое положение для него не может быть таким, в котором бы он мог сказать, что он достиг его, и не мог бы стремиться к еще большему приближению. Таково стремление человека к христианскому идеалу вообще и таково же к целомудрию в частности. Если представить себе по отношению полового вопроса самые различные положения людей — от невинного детства до брака, — в которых не соблюдается воздержание, на каждой ступени между этими двумя положениями учение Христа с выставляемым им идеалом будет всегда служить ясным и определенным руководством того, что должно и не должно на каждой из этих ступеней делать человеку.

Что делать чистому юноше, девушке? Соблюдать себя чистыми от соблазнов и, для того чтобы быть в состоянии все свои силы отдать на служение богу и людям, стремиться к большему и большему целомудрию мыслей и желаний.

Что делать юноше и девушке, подпавшим соблазнам, поглощенным мыслями о беспредметной любви или о любви к известному лицу и потерявшим от этого известную долю возможности служить богу и людям? Все то же: не попускать себя на падение, зная, что такое поущение не освободит от соблазна, а только усилит его, и все так же стремиться к большему и большему целомудрию для возможности более полного служения богу и людям.

Что делать людям, когда они не осилили борьбы и пали? Смотреть на свое падение не как на законное наслаждение, как смотрят теперь, когда оно оправдывается обрядом брака, ни как на случайное удовольствие, которое можно повторять с другими, ни как на несчастье, когда падение совершается с неровней и без обряда, а смотреть на это первое падение как на единственное, как на вступление в неразрывный брак.

Вступление это в брак своим вытекающим из него последствием — рождением детей — определяет для вступивших в брак новую, более ограниченную форму служения богу и людям. До брака человек непосредственно в самых разнообразных формах мог служить богу и людям; вступление же в брак ограничивает его область деятельности и требует от него возвращения и воспитания происходящего от брака потомства, будущих служителей богу и людям.

Что делать мужчине и женщине, живущим в браке и исполняющим то ограниченное служение богу и людям, через возвращение и воспитание детей, которое вытекает из их положения?

Все то же: стремиться вместе к освобождению от соблазна, очищению себя и прекращению греха, заменой отношений, препятствующих и общему и частному служению богу и людям, заменой плотской любви чистыми отношениями сестры и брата.

И потому неправда то, что мы не можем руководиться идеалом Христа, потому что он так высок, совершенен и недостижим. Мы не можем руководиться им только потому, что мы сами себе лжем и обманываем себя.

Ведь если мы говорим, что нужно иметь правила более осуществимые, чем идеал Христа, а то иначе мы, не достигнув идеала Христа, впадем в разврат, мы говорим не то, что для нас слишком высок идеал Христа, а только то, что мы в него не верим и не хотим определять своих поступков по этому идеалу.

Говоря, что, раз павши, мы впадем в разврат, мы ведь этим говорим только, что мы вперед уже решили, что падение с неровней не есть грех, а есть забава, увлечение, которое необязательно поправить тем, что мы называем браком. Если же бы мы понимали, что падение есть грех, который должен и может быть искуплен только неразрывностью брака и всей той деятельностью, которая вытекает из воспитания детей, рожденных от брака, то падение никак не могло бы быть причиной впадения в разврат.

А то ведь это все равно, как если бы земледелец не считал посевом тот посев, который не удался ему, а, сая

на другом и третьем месте, считал бы настоящим посевом тот, который удастся ему. Очевидно, что такой человек испортил бы много земли и семян и никогда бы не научился сеять. Только поставьте идеалом целомудрие, считайте, что всякое падение кого бы то ни было с кем бы то ни было есть единственный, неразрывный на всю жизнь брак, и будет ясно, что руководство, данное Христом, не только достаточно, но единственно возможно.

«Человек слаб, надо дать ему задачу по силам», говорят люди. Это все равно, что сказать: «руки мои слабы, и я не могу провести линию, которая была бы прямая, то есть кратчайшая между двумя точками, и потому, чтоб облегчить себя, я, желая проводить прямую, возьму за образец себе кривую или ломаную». Чем слабее моя рука, тем нужнее мне совершенный образец.

Нельзя, познав христианское учение идеала, делать так, как будто мы не знаем его, и заменять его внешними определениями. Христианское учение идеала открыто человечеству именно потому, что оно может руководить его в теперешнем возрасте. Человечество уже выжило период религиозных, внешних определений, и никто уже не верит в них.

Христианское учение идеала есть то единое учение, которое может руководить человечеством. Нельзя, не должно заменять идеал Христа внешними правилами, а надо твердо держать этот идеал перед собой во всей чистоте его и, главное, верить в него.

Плавающему недалеко от берега можно было говорить: «держишься того возвышения, мыса, башни» и т. п.

Но приходит время, когда пловцы удалились от берега, и руководством им должны и могут служить только недостижимые светила и компас, показывающий направление. А то и другое дано нам.

ДЬЯВОЛ

«А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.

И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» (*Матфея V, 28, 29, 30*).

I

Евгения Иртенева ожидала блестящая карьера. Все у него было для этого. Прекрасное домашнее воспитание, блестящее окончание курса на юридическом факультете Петербургского университета, связи по недавно умершему отцу с самым высшим обществом и даже начало службы в министерстве под покровительством министра. Было и состояние, даже большое состояние, но сомнительное. Отец жил за границей и в Петербурге, давая по шести тысяч сыновьям — Евгению и старшему, Андрею, служившему в кавалергардах, и

сам проживал с матерью очень много. Только летом он приезжал на два месяца в имение, но не занимался хозяйством, предоставляя все заевшемуся управляющему, тоже не занимавшемуся имением, но к которому он имел полное доверие.

После смерти отца, когда братья стали делиться, оказалось, что долгов было так много, что поверенный по делам советовал даже, оставив за собой имение бабки, которое ценили в сто тысяч, отказаться от наследства. Но сосед по имению, помещик, имевший дела с стариком Иртеневым, то есть имевший вексель на него и приезжавший для этого в Петербург, говорил, что, несмотря на долги, дела можно поправить и удержать еще большое состояние. Стоило только продать лес, отдельные куски пустоши и удержать главное золотое дно — Семеновское с четырьмя тысячами десятин чернозема, сахарным заводом и двумястами десятин заливных лугов, если посвятить себя этому делу и, поселившись в деревне, умно и расчетливо хозяйничать.

И вот Евгений, съездив весной (отец умер постом) в имения и осмотрев все, решил выйти в отставку, поселиться с матерью в деревне и заняться хозяйством с тем, чтобы удержать главное имение. С братом, с которым не был особенно дружен, он сделался так: обязался ему платить ежегодно четыре тысячи или одновременно восемьдесят тысяч, за которые брат отказывался от своей доли наследства.

Так он и сделал и, поселившись с матерью в большом доме, горячо и осторожно вместе с тем взялся за хозяйство.

Обыкновенно думают, что самые обычные консерваторы — это старики, а новаторы — это молодые люди. Это не совсем справедливо. Самые обычные консерваторы — это молодые люди. Молодые люди, которым хочется жить, но которые не думают и не имеют времени подумать о том, как надо жить, и которые поэтому избирают себе за образец ту жизнь, которая была.

Так было и с Евгением. Поселившись теперь в деревне, его мечта и идеал были в том, чтобы воскресить ту форму жизни, которая была не при отце — отец был дурной хозяин, но при деде. И теперь и в доме, и в

саду, и в хозяйстве он, разумеется, с изменениями, собственными времени, старался воскресить общий дух жизни деда — все на широкую ногу, довольство всех вокруг и порядок и благоустройство, а для того чтобы устроить эту жизнь, дела было очень много: нужно было и удовлетворять требованиям кредиторов и банков и для того продавать земли и отсрочивать платежи, нужно было и добывать деньги, для того чтобы продолжать вести, где наймом, где работниками, огромное хозяйство в Семеновском с четырьмя тысячами десятин запашки и сахарным заводом; нужно было и в доме и в саду делать так, чтобы не похоже было на запущение и упадок.

Работы было много, но и сил было много у Евгения — сил и физических и духовных. Ему было двадцать шесть лет, он был среднего роста, сильного сложения с развитыми гимнастикой мускулами, сангвиник с ярким румянцем во всю щеку, с яркими зубами и губами и с негустыми, мягкими и вьющимися волосами. Единственный физический изъян его была близорукость, которую он сам развил себе очками, и теперь уже не мог ходить без пенсне, которое уже прокладывало черточки наверху горбинки его носа. Таков он был физически, духовный же облик его был такой, что чем больше кто знал его, тем больше любил. Мать и всегда любила его больше всех, теперь же, после смерти мужа, сосредоточила на нем не только всю свою нежность, но всю свою жизнь. Но не одна мать так любила его. Товарищи его с гимназии и университета всегда особенно не только любили, но уважали его. На всех посторонних он всегда действовал также. Нельзя было не верить тому, что он говорил, нельзя было предполагать обман, неправду при таком открытом, честном лице и, главное, глазах.

Вообще вся его личность много помогала ему в его делах. Кредитор, который отказал бы другому, верил ему. Приказчик, староста, мужик, который сделал бы гадость, обманул бы другого, забывал обмануть под приятным впечатлением общения с добрым, простым и, главное, открытым человеком.

Был конец мая. Кое-как Евгений наладил дело в городе об освобождении пустоши от залога, чтобы продать ее купцу, и занял деньги у этого же купца на то, чтобы

обновить инвентарь, то есть лошадей, быков, подводы. И, главное, на то, чтобы начать необходимую постройку хутора. Дело наладилось. Возили лес, плотники уже работали, и навоз возили на восьмидесяти подводах, но все до сих пор висело на ниточке.

II

В середине этих забот случилось обстоятельство хотя и не важное, но в то время помучавшее Евгения. Он жил свою молодость, как живут все молодые, здоровые, неженатые люди, то есть имел сношения с разного рода женщинами. Он был не развратник, но и не был, как он сам себе говорил, монахом. А предавался этому только настолько, насколько это было необходимо для физического здоровья и умственной свободы, как он говорил. Началось это с шестнадцати лет. И до сих пор шло благополучно. Благополучно в том смысле, что он не предался разврату, не увлекся ни разу и не был ни разу болен. Была у него в Петербурге сначала швея, потом она испортилась, и он устроился иначе. И эта сторона была так обеспечена, что не смущала его.

Но вот в деревне он жил второй месяц и решительно не знал, как ему быть. Невольное воздержание начинало действовать на него дурно. Неужели ехать в город из-за этого? И куда? Как? Это одно тревожило Евгения Ивановича, а так как он был уверен, что это необходимо и что ему нужно, ему действительно становилось нужно, и он чувствовал, что он не свободен и что он против воли провожает каждую молодую женщину глазами.

Он считал нехорошим у себя в своей деревне сойтись с женщиной или девкой. Он знал по рассказам, что и отец его и дед в этом отношении совершенно отделились от других помещиков того времени и дома не заводили у себя никогда никаких шашен с крепостными, и решил, что этого он не сделает; но потом, все более и более чувствуя себя связанным и с ужасом представляя себе то, что с ним может быть в городишке, и сообщив, что теперь не крепостные, он решил, что можно и

здесь. Только бы сделать это так, чтобы никто не знал, и не для разврата, а только для здоровья, так говорил он себе. И когда он решил это, ему стало еще спокойнее; говоря с старостой, с мужиками, с столяром, он невольно наводил разговор на женщин и, если разговор заходил о женщинах, то задерживал на этом. На женщин же он приглядывался больше и больше.

III

Но решить дело самому с собой было одно, привести же его в исполнение было другое. Самому подойти к женщине невозможно. К какой? где? Надо через кого-нибудь, но к кому обратиться?

Случилось ему раз зайти напиться в лесную караулку. Сторожем был бывший охотник отца. Евгений Иванович разговорился с ним, и сторож стал рассказывать старинные истории про кутежи на охоте. И Евгению Ивановичу пришло в голову, что хорошо бы было здесь, в караулке или в лесу, устроить это. Он только не знал как, и возьмется ли за это старый Данила. «Может быть, он ужаснется от такого предложения, и я осрамлюсь, а может, очень просто согласится». Так он думал, слушая рассказы Данилы. Данила рассказывал, как они стояли в отъезде поле у дьячихи и как Пряничникову он привел бабу.

«Можно», — подумал Евгений.

— Ваш батюшка, царство небесное, этими глупостями не занимался.

«Нельзя», — подумал Евгений, но, чтобы исследовать, сказал:

— Как же ты такими делами нехорошими занимался?

— А что же тут худого? И она рада и мой Федор Захарыч довольны-предовольны. Мне рубль. Ведь как же и быть ему-то? Тоже живая кость. Чай вино пьет.

«Да, можно сказать», — подумал Евгений и тотчас же приступил.

— А знаешь, — он почувствовал, как он багрово покраснел, — знаешь, Данила, я измучался. — Данила улыбнулся. — Я все-таки не монах — привык.

Он чувствовал, что глупо все, что он говорит, но радовался, потому что Данила одобрял.

— Что ж, вы бы давно сказали, это можно, — сказал он. — Вы только скажите какую.

— Ах, право, мне все равно. Ну, разумеется, чтоб не безобразная была и здоровая.

— Понял! — откусил Данила. Он подумал. — Ох, хороша штучка есть, — начал он. Опять Евгений покраснел. — Хороша штучка. Извольте видеть, выдали ее по осени, — Данила стал шептать, — а он ничего не может сделать. Ведь это на охотника что стоит.

Евгений сморщился даже от стыда.

— Нет, нет, — заговорил он. — Мне совсем не то нужно. Мне, напротив (что могло быть напротив?), мне, напротив, надо, чтобы только здоровая, да поменьше хлопот — солдатка или эдак...

— Знаю. Это, значит, Степаниду вам предоставить. Муж в городе, все равно как солдатка. А бабочка хорошая, чистая. Будете довольны. Я и то ей намесь говорю — пойди, а она...

— Ну, так когда же?

— Да хоть завтра. Я вот пойду за табаком и зайду, а в обед приходите сюда али за огород к бане. Никого нет. Да и в обед весь народ спит.

— Ну, хорошо.

Страшное волнение охватило Евгения, когда он поехал домой. «Что такое будет? Что такое крестьянка? Что-нибудь вдруг безобразное, ужасное. Нет, они красивые, — говорил он себе, вспоминая тех, на которых он заглядывался. — Но что я скажу, что я сделаю?»

Целый день он был не свой. На другой день в двенадцать часов он пошел к караулке. Данила стоял в дверях и молча значительно кивнул головой к лесу. Кровь прилила к сердцу Евгения, он почувствовал его и пошел к огороду. Никого. Подошел к бане. Никого. Заглянул туда, вышел и вдруг услышал треск сломленной ветки. Он оглянулся, она стояла в чаще за оврагом. Он бросился туда через овраг. В овраге была крапива, которой он не заметил. Он острекался и, потеряв с носу пенсне, вбежал на противоположный бугор. В белой вышитой занавеске, красно-бурой паневе, красном

ярком платке, с босыми ногами, свежая, твердая, красивая, она стояла и робко улыбалась.

— Тут кругом тропочка, обошли бы, — сказала она. — А мы давно. Голомья.

Он подошел к ней и, оглядываясь, коснулся ее.

Через четверть часа они разошлись, он нашел пенсне и зашел к Даниле и в ответ на вопрос его: «Довольны ль, барин?» — дал ему рубль и пошел домой.

Он был доволен. Стыд был только сначала. Но потом прошел. И все было хорошо. Главное, хорошо, что ему теперь легко, спокойно, бодро. Ее он хорошенько даже не рассмотрел. Помнил, что чистая, свежая, недурная и простая, без гримас. «Чья бишь она? — говорил он себе. — Печникова он сказал? Какая же это Печникова? ¹ Ведь их два двора. Должно быть, Михайлы-старика сноха. Да, верно его. У него ведь сын живет в Москве, спрошу у Данилы когда-нибудь».

С этих пор устранилась эта важная прежде неприятность деревенской жизни — невольное воздержание. Свобода мысли Евгения уже не нарушалась, и он мог свободно заниматься своими делами.

А дело, которое взял на себя Евгений, было очень не легкое: иногда ему казалось, что он не выдержит и кончится тем, что все-таки придется продать имение, все труды его пропадут, и, главное, что окажется, что не выдержал, не сумел доделать того, за что взялся. Это больше всего тревожило его. Не успевал он заткнуть кое-как одной дыры, как раскрывалась новая, неожиданная.

Во все это время все оказывались новые и новые, неизвестные прежде долги отца. Видно было, что отец в последнее время брал где попало. Во время раздела в мае Евгений думал, что он знает, наконец, все. Но вдруг в середине лета он получил письмо, из которого оказывалось, что был еще долг вдове Есиповой в двенадцать тысяч. Векселя не было, была простая расписка, которую можно было, по словам поверенного, оспаривать. Но Евгению и в голову не могло прийти отказаться от уплаты действительного долга отца только потому, что можно

¹ В дальнейшем вместо фамилии Печников фамилия Пчельников.

было оспаривать документ. Ему надо было узнать только наверное, действительный ли это был долг.

— Мама! что такое Есипова Калерия Владимировна? — спросил он у матери, когда они, по обыкновению, сошлись за обедом.

— Есипова? Да это воспитанница дедушки. А что? Евгений рассказал матери про письмо.

— Удивляюсь, как ей не совестно. Твой папа ей сколько передавал.

— Но должны мы ей?

— То есть как тебе сказать? Долгу нет, папа по своей бесконечной доброте...

— Да, но папа считал это долгом.

— Не могу я тебе сказать. Не знаю. Знаю, что тебе и так тяжело.

Евгений видел, что Марья Павловна сама не знала, как сказать, и как бы выпытывала его.

— Из этого я вижу, что надо платить, — сказал сын. — Я завтра поеду к ней и поговорю, нельзя ли отсрочить.

— Ах, как мне жалко тебя. Но, знаешь, лучше. Ты ей скажи, что она должна подождать, — говорила Марья Павловна, очевидно успокоенная и гордая решением сына.

Положение Евгения было особенно трудно оттого еще, что мать, жившая с ним, совсем не понимала его положения. Она всю жизнь привыкла жить так широко, что не могла представить себе даже того положения, в котором был сын, то есть того, что нынче-завтра дела могли устроиться так, что у них ничего не останется и сыну придется все продать и жить и содержать мать одной службой, которая в его положении могла ему дать много-много две тысячи рублей. Она не понимала, что спастись от этого положения можно только урезкой расходов во всем, и потому не могла понять, зачем Евгений так стеснялся в мелочах, в расходах на садовников, кучеров, на прислугу и стол даже. Кроме того, как большинство вдов, она питала к памяти покойника чувства благоговения, далеко не похожие на те, которые она имела к нему, пока он был жив, и не допускала мысли

о том, что то, что делал или завел покойник, могло быть худо и изменено.

Евгений поддерживал с большим напряжением и сад, и оранжерею с двумя садовниками, и конюшню с двумя кучерами. Марья же Павловна наивно думала, что не жалуясь на стол, который готовил старик повар, и на то, что дорожки в парке не все были чищены, и что вместо лакеев был один мальчик, что она делает все, что может мать, жертвующая собой для своего сына. Так и в этом новом долге, в котором Евгений видел для себя почти что добывающий удар всем его предприятиям, Мария Павловна видела только случай, выказавший благородство Евгения. Марья Павловна не беспокоилась очень о материальном положении Евгения еще и потому, что она была уверена, что он сделает блестящую партию, которая поправит все. Партию же он мог сделать самую блестящую. Она знала десяток семей, которые счастливы были отдать за него дочь. И она желала как можно скорее устроить это.

IV

Евгений сам мечтал о женитьбе, но только не так, как мать: мысль о том, чтобы сделать из женитьбы средство поправления своих дел, была отвратительна ему. Жениться он хотел честно, по любви. Он и приглядывался к девушкам, которых встречал и знал, прикидывал себя к ним, но судьба его не решалась. Между тем, чего он никак не ожидал, сношения его с Степанидой продолжались и получили даже характер чего-то установившегося. Евгений так был далек от распутства, так тяжело было ему делать это тайное — он чувствовал — нехорошее дело, что он никак не устраивался и даже после первого свиданья надеялся совсем больше не видеть Степаниды; но оказалось, что через несколько времени на него опять нашло беспокойство, которое приписывал этому. И беспокойство на этот раз уже не было безличное; а ему представлялись именно те самые черные, блестящие глаза, тот же грудной голос, говорящий «голомя», тот же запах чего-то свежего и сильного и та же высокая грудь, поднимающая занавеску, и

все это в той же ореховой и кленовой чаше, облитой ярким светом. Как ни совестно было, он опять обратился к Даниле. И опять назначилось свидание в полдень в лесу. В этот раз Евгений больше рассмотрел ее, и все показалось ему в ней привлекательно. Он попробовал поговорить с ней, спросил о муже. Действительно, это был Михайлин сын, он жил в кучерах в Москве.

— Ну что же, как же ты... — Евгений хотел спросить, как она изменяет ему.

— Чего как же? — спросила она. Она, очевидно, была умна и догадлива.

— Ну как же вот ты ко мне ходишь?

— Вона, — весело проговорила она. — Он, я чай, там гуляет. Что ж мне-то?

Очевидно, она сама на себя напускала развязность, ухарство. И это показалось мило Евгению. Но все-таки он не назначил ей сам свиданья. Даже когда она предложила, чтобы сходитьсь помимо Данилы, к которому она как-то недоброжелательно относилась, Евгений не согласился. Он надеялся, что это свидание было последнее. Она ему нравилась. Он думал, что ему необходимо такое общение и что дурного в этом нет ничего; но в глубине души у него был судья более строгий, который не одобрял этого и надеялся, что это в последний раз, если же не надеялся, то по крайней мере не хотел участвовать в этом деле и приготавливать себе это в другой раз.

Так и шло все лето, в продолжение которого он виделся с ней раз десять и всякий раз через Данилу. Было один раз, что ей нельзя было прийти, потому что приехал муж, и Данила предложил другую. Евгений с отвращением отказался. Потом муж уехал, и свиданья продолжались по-старому, сначала через Данилу, а потом уже прямо он назначал время, и она приходила с бабой Прохоровой, так как одной нельзя ходить бабе. Один раз, в самое назначенное время свиданья, к Марье Павловне приехал семейство с той девушкой, которую она сватала Евгению, и Евгений никак не мог вырваться. Как только он мог уйти, он пошел как будто на гумно и в обход тропинкой в лес на место свиданья. Ее не было. Но на обычном месте все, куда могла достать рука, все было переломано, черемуха, орешень, даже молодой

кленок в кол толщиной. Это она ждала, волновалась и сердилась и, играючи, оставляла ему память. Он постоял, постоял и пошел к Даниле просить его вызвать ее на завтра. Она пришла и была такая же, как всегда.

Так прошло лето. Свиданья всегда назначались в лесу и один раз только, уж перед осенью, в гумennem сарае на их задворках. Евгению и в голову не приходило, чтобы эти отношения его имели какое-нибудь для него значение. Об ней же он и не думал. Давал ей деньги, и больше ничего. Он не знал и не думал о том, что по всей деревне уж знали про это и завидовали ей, что ее домашние брали у ней деньги и поощряли ее и что ее представление о грехе, под влиянием денег и участия домашних, совсем уничтожилось. Ей казалось, что если люди завидуют, то то, что она делает, хорошо.

«Просто для здоровья надо же, — думал Евгений. — Положим, нехорошо, и, хотя никто не говорит, все или многие знают. Баба, с которой она ходит, знает. А знает, верно, рассказала и другим. Но что же делать? Скверно я поступаю, — думал Евгений, — да что делать, ну да ненадолго».

Главное, что смущало Евгения, то это был муж. Сначала ему почему-то представлялось, что муж ее должен быть плох, и это как бы оправдывало его отчасти. Но он увидал мужа и был поражен. Это был молодчина и щеголь, уж никак не хуже, а наверно лучше его. При первом свидании он сказал ей, что видел мужа и что он полюбовался им, какой он молодчина.

— Другого такого нет в деревне, — с гордостью сказала она.

Это удивило Евгения. Мысль о муже с тех пор еще более мучила его. Случилось ему раз быть у Данилы, и Данила, разговорившись, прямо сказал ему:

— А Михайла наемни спрашивал меня, правда ли, что барин с сына женой живет. Я сказал, не знаю. Да и то, говорю, лучше с баринном, чем с мужиком.

— Ну, что ж он?

— Да ничего, говорит: погоди ж, дознаюсь, я ей дам.

«Ну да если бы муж вернулся, я бы бросил», — думал Евгений. Но муж жил в городе, и отношения пока

продолжались. «Когда надо будет, оборву, и ничего не останется», — думал он.

И ему казалось это несомненным, потому что в продолжение лета много разных вещей очень сильно занимали его: и устройство нового хутора, и уборка, и постройка, и, главное, уплата долга и продажа пустоши. Все это были предметы, которые поглощали его всего, о которых он думал, ложась и вставая. Все это была настоящая жизнь. Сношения же — он даже не называл это связью — с Степанидой было нечто совсем незаметное. Правда, что, когда приступало желание видеть ее, оно приступало с такой силой, что он ни о чем другом не мог думать, но это продолжалось недолго, устраивалось свиданье, и он опять забывал ее на недели, иногда на месяц.

Осенью Евгений часто ездил в город и там сблизился с семейством Анненских. У Анненских была дочь, только что вышедшая институтка. И тут, к великому огорчению Марьи Павловны, случилось то, что Евгений, как она говорила, продешевил себя, влюбился в Лизу Анненскую и сделал ей предложение.

С тех пор сношения с Степанидой прекратились.

V

Почему Евгений выбрал Лизу Анненскую нельзя объяснить, как никогда нельзя объяснить, почему мужчина выбирает ту, а не другую женщину. Причин было пропасть и положительных и отрицательных. Причиной было и то, что она не была очень богатая невеста, каких сватала ему мать, и то, что она была наивна и жалка в отношениях к своей матери, и то, что она не была красавица, обращающая на себя внимание, и не была дурна. Главное же было то, что сближение с ней началось в такой период, когда Евгений был зрел к женитьбе. Он влюбился потому, что знал, что женится.

Лиза Анненская сначала только нравилась Евгению, но когда он решил, что она будет его женою, он почувствовал к ней чувство гораздо более сильное, он почувствовал, что он влюблен.

Лиза была высокая, тонкая, длинная. Длинное было в ней все: и лицо, и нос не вперед, но вдоль по лицу, и пальцы, и ступни. Цвет лица у ней был очень нежный, белый, желтоватый, с нежным румянцем, волосы длинные, русые, мягкие и вьющиеся, и прекрасные, ясные, кроткие, доверчивые глаза. Эти глаза особенно поразили Евгения. И когда он думал о Лизе, он видел всегда перед собой эти ясные, кроткие, доверчивые глаза.

Такова она была физически; духовно же он ничего не знал про нее, а только видел эти глаза. И эти глаза, казалось, говорили ему все, что ему нужно было знать. Смысл же этих глаз был такой.

Еще с института, с пятнадцати лет, Лиза постоянно влюблялась во всех привлекательных мужчин и была оживлена и счастлива только тогда, когда была влюблена. Вышедши из института, она точно так же влюблялась во всех молодых мужчин, которых встречала, и, разумеется, влюбилась в Евгения, как только узнала его. Эта-то ее влюбленность и давала ее глазам то особенное выражение, которое так пленило Евгения.

В эту же зиму в одно и то же время она уже была влюблена в двух молодых людей и краснела и волновалась не только когда они входили в комнату, но когда произносили их имя. Но потом, когда ее мать намекнула ей, что Иртенев, кажется, имеет серьезные виды, влюбленье ее в Иртенева усилилось так, что она стала почти равнодушной к двум прежним, но когда Иртенев стал бывать у них, на бале, собрании, танцевал с ней больше, чем с другими, и, очевидно, желал узнать только, любит ли она его, тогда влюбленье ее в Иртенева сделалось чем-то болезненным, она видела его во сне и наяву в темной комнате, и все другие исчезли для нее. Когда же он сделал предложение и их благословили, когда она поцеловалась с ним и стали жених с невестой, тогда у ней не стало других мыслей, кроме него, других желаний, кроме того, чтобы быть с ним, чтобы любить его и быть им любимой. Она и гордилась им, и умилялась перед ним и перед собой и своей любовью, и вся млела и таяла от любви к нему. Чем больше он узнавал ее, тем больше и он любил ее. Он никак не ожидал встретить такую любовь, и эта любовь усиливала еще его чувство.

Перед весной он приехал в Семеновское посмотреть и распорядиться по хозяйству, а главное по дому, где шло убранство для женитьбы.

Марья Павловна была недовольна выбором сына, но только потому, что партия эта не была так блестяща, как она могла бы быть, и потому, что Варвара Алексеевна, будущая теща, не нравилась ей. Добрая ли она была, или злая, она не знала и не решила, но то, что она была не порядочная женщина, не *comme il faut*, не леди, как говорила себе Марья Павловна, это она увидела с первого знакомства, и это огорчало ее. Огорчало за то, что она ценила эту порядочность по привычке, знала, что Евгений очень чуток на это, и предвидела для него много огорчений от этого. Девушка же ей нравилась. Нравилась, главное, потому, что она нравилась Евгению. Надо было любить ее. И Марья Павловна готова была на это, и совершенно искренно.

Евгений застал мать радостной, довольной. Она устраивала все в доме и сама собиралась уехать, как только он привезет молодую жену. Евгений уговаривал ее оставаться. И вопрос оставался нерешенным. Вечером, по обыкновению, после чая Марья Павловна делала пасьян. Евгений сидел, помогая ей. Это было время самых душевных разговоров. Окончив один пасьян и не начиная новый, Марья Павловна взглянула на Евгения и, несколько заминаясь, начала так:

— А я хотела тебе сказать, Женя. Разумеется, я не знаю, но вообще я хотела посоветовать о том, что перед женитьбой надо непременно покончить все свои холостые дела, так чтобы ничего уже не могло беспокоить и тебя и, помилуй бог, жену. Ты меня понимаешь?

И действительно, Евгений сейчас же понял, что Марья Павловна намекала на его сношения с Степанидой, которые прекратились с самой осени, и, как всегда одинокие женщины, приписывала этим сношениям гораздо большее значение, чем то, которое они имели. Евгений покраснел, и не от стыда столько, сколько от досады, что добрая Марья Павловна суется — правда, любя, — но все-таки суется туда, куда ей не надо и чего

она не понимает и не может понимать. Он сказал, что у него ничего нет такого, что бы нужно было скрывать, и что он именно так себя вел всегда, чтобы ничто не могло помешать его женитьбе.

— Ну и прекрасно, дружок. Ты, Геня, не обижайся на меня, — сказала Марья Павловна, конфузясь.

Но Евгений видел, что она не кончила и не сказала то, что хотела. Так и вышло. Немного погодя она стала рассказывать о том, как без него ее просили крестить у... Пчельниковых.

Теперь Евгений вспыхнул уже не от досады и даже не от стыда, а от какого-то странного чувства сознания важности того, что ему сейчас скажут, сознания невольного, совершенно несогласного с его рассуждением. Так и вышло то, чего он ожидал. Марья Павловна, как будто не имея никаких других целей, кроме разговора, рассказала, что нынешний год родятся все мальчики, видно к войне. И у Васиных, и у Пчельникова молодая бабочка первым — тоже мальчик. Марья Павловна хотела рассказать это незаметно, но ей самой сделалось стыдно, когда она увидела краску на лице сына и его нервные снимание, пощелкивание и надевание пенсне и поспешное закуривание папиросы. Она замолчала. Он тоже молчал и не мог придумать, чем бы перервать это молчание. Так что оба поняли, что поняли друг друга.

— Да, главное в деревне надо справедливость, чтоб не было любимцев, как у дяди твоего.

— Маменька, — сказал вдруг Евгений, — я знаю, к чему вы это говорите. Вы напрасно тревожитесь. Для меня моя будущая семейная жизнь такая святыня, которой я ни в каком случае не нарушу. А то, что было в моей холостой жизни, то все кончено совсем. И я никогда не входил ни в какие связи, и никто не имеет на меня никаких прав.

— Ну, я рада, — сказала мать. — Я знаю твои благородные мысли.

Евгений принял эти слова матери как следующую ему дань и замолчал.

На другое утро он поехал в город, думая о невесте, обо всем на свете, но только не о Степаниде. Но как будто нарочно, чтобы напомнить ему, он, подъезжая к

церкви, стал встречать народ, шедший и ехавший оттуда. Он встретил Матвея-старика с Семеном, ребят, молодых девок, а вот две бабы, одна постарше и одна нарядная, в ярко-красном платке, и что-то знакомое. Баба идет легко, бодро, и на руке ребенок. Он поравнялся, баба старшая поклонилась по-старинному, остановившись, а молодайка с ребенком только нагнула голову, и из-под платка блеснули знакомые улыбающиеся, веселые глаза.

«Да, это она, но все кончено, и нечего смотреть на нее. И ребенок, может быть, мой, — мелькнуло ему в голове. — Нет, вздор какой. Муж был, она к нему ходила». Он не стал высчитывать даже. Так у него решено было, что это было нужно для здоровья, он платил деньги, и больше ничего; связи какой-нибудь между им и ею нет, не было, не может и не должно быть. Он не то чтобы заминал голос совести, нет, прямо совесть ничего не говорила ему. И он не вспомнил о ней ни разу после разговора матери и встречи. И ни разу после и не встречал ее.

На красную горку Евгений обвенчался в городе и тотчас же с молодой женой уехал в деревню. Дом был устроен, как обыкновенно устраивают для молодых. Марья Павловна хотела уехать, но Евгений, а главное — Лиза упросили ее остаться. Только она перешла во флигель.

И так началась для Евгения новая жизнь.

VII

Первый год семейной жизни был трудный год для Евгения. Труден он был тем, что дела, которые он откладывал кое-как во время сватовства, теперь, после женитьбы, все вдруг обрушились на него.

Выпутаться из долгов оказалось невозможным. Дача была продана, самые кричащие долги покрыты, но все еще оставались долги, и денег не было. Именье принесло хороший доход, но нужно было послать брату и издержать на свадьбу, так что денег не было, и завод не мог идти и надо было его остановить. Одно средство выпутаться состояло в том, чтобы употребить деньги жены.

Лиза, поняв положение мужа, сама потребовала этого. Евгений согласился, но только с тем, чтобы сделать купчую на половину имения на имя жены. Так он и сделал. Разумеется, не для жены, которую это оскорбляло, а для тещи.

Эти дела с разными переменами, то успех, то неуспех, было одно, что отравляло жизнь Евгения в этот первый год. Другое было нездоровье жены. В этот же первый год, семь месяцев после женитьбы, осенью, с Лизой случилась беда. Она выехала в шарабане встречать мужа, возвращавшегося из города, смиренная лошадь заиграла, она испугалась, выпрыгнула. Прыжок был относительно счастливый, — она могла зацепиться за колесо, — но она была уже беременна, и в ту же ночь у нее начались боли, и она выкинула и долго не могла справиться после выкидыша. Потеря ожидаемого ребенка, болезнь жены, связанное с этим расстройство жизни и, главное, присутствие тещи, приехавшей тотчас же, как заболела Лиза, — все это сделало для Евгения год этот еще более тяжелым.

Но, несмотря на эти тяжелые обстоятельства, к концу первого года Евгений чувствовал себя очень хорошо. Во-первых, его задушевная мысль восстановить упавшее состояние, возобновить дедовскую жизнь в новых формах, хотя с трудом и медленно, но приводилась в исполнение. Теперь уже речи не могло быть о продаже за долги всего имения. Имение главное, хотя и переписанное на имя жены, было спасено, и если только свекла будет выходна и цены хороши, то к будущему году положение нужды и напряжения может замениться совершенным довольством. Это было одно.

Другое было то, что как ни много он ожидал от своей жены, он никак не ожидал найти в ней то, что он нашел: это было не то, чего он ожидал, но это было гораздо лучше. Умилений, восторгов влюбленных, хотя он и старался их устраивать, не выходило или выходило очень слабо; но выходило совсем другое, то, что не только веселее, приятнее, но легче стало жить. Он не знал, отчего это происходит, но это было так.

Происходило же это оттого, что ею было решено тотчас же после обручения, что из всех людей в мире есть

один Евгений Иртенев выше, умнее, чище, благороднее всех, и потому обязанность всех людей служить и делать приятное этому Иртеневу. Но так как всех нельзя заставить это делать, то надо по мере сил делать это самой. Так она и делала, и потому все ее силы душевные всегда были направлены на то, чтобы узнать, угадать то, что он любит, и потом делать это самое, что бы это ни было и как бы трудно это ни было.

И в ней было то, что составляет главную прелесть общения с любящей женщиной, в ней было благодаря любви к мужу ясновиденье его души. Она чужая — ему казалось, часто лучше его самого — всякое состояние его души, всякий оттенок его чувства и соответственно этого поступала, стало быть никогда не оскорбляла его чувства, а всегда умеряла тяжелые чувства и усиливала радостные. Но не только чувства, мысли его она понимала. Самые чуждые ей предметы по сельскому хозяйству, по заводу, по оценке людей она сразу понимала и не только могла быть ему собеседником, но часто, как он сам говорил ей, ползным, незаменимым советчиком. На вещи, людей, на все в мире она смотрела только его глазами. Она любила свою мать, но, увидав, что Евгению бывало неприятно вмешательство в их жизнь тещи, она сразу стала на сторону мужа и с такой решительностью, что он должен был укрощать ее.

Сверх всего этого, в ней было пропасть вкуса, такта и, главное, тишины. Все, что она делала, она делала незаметно, заметны были только результаты дела, то есть всегда и во всем чистота, порядок и изящество. Лиза тотчас же поняла, в чем состоял идеал жизни ее мужа, и старалась достигнуть и достигала в устройстве и порядке дома того самого, чего он желал. Недоставало детей, но и на это была надежда. Зимой они съездили в Петербург к акушеру, и он уверил их, что она совсем здорова и может иметь детей.

И это желание сбылось. К концу года она опять забеременела.

Одно, что не то что отравляло, но угрожало их счастьем, была ее ревность — ревность, которую она сдерживала, не показывала, но от которой она часто страдала. Не только Евгений не мог никого любить, потому что

не было на свете женщин, достойных его (о том, что была ли она достойна его, или нет, она никогда не спрашивала себя), но и ни одна женщина поэтому не могла сметь любить его.

VIII

Жили они так: он вставал, как всегда, рано и шел по хозяйству, на завод, где производились работы, иногда в поле. К десяти часам он приходил к кофею. Кофе пили на террасе Марья Павловна, дядюшка, который жил у них, и Лиза. После разговоров, часто очень оживленных, за кофе, расходились до обеда. В два обедали. И после ходили гулять или ездили кататься. Вечером, когда он приходил из конторы, пили поздно чай, и иногда он читал вслух, она работала, или музицировали, или разговаривали, когда бывали гости. Когда он уезжал по делам, он писал и получал от нее письма каждый день. Иногда она сопутствовала ему, и это бывало особенно весело. В именины его и ее собирались гости, и ему приятно было видеть, как она умела все устроить так, что всем было хорошо. Он видел, да и слышал, что все любят ее, молодой, милой хозяйкой, и еще больше любил ее за это. Все шло прекрасно. Беременность она носила легко, и они оба, хотя и сами робея, начинали загадывать о том, как они будут воспитывать ребенка. Способ воспитания, приемы, все это решал Евгений, и она только желала покорно исполнить его волю. Евгений же начитался медицинских книг и имел намерение воспитывать ребенка по всем правилам науки. Она, разумеется, соглашалась на все и готовилась, сшивала конверты теплые и холодные и устраивала качку. Так наступил второй год их женитьбы и вторая весна.

IX

Это было под троицын день. Лиза была на пятом месяце и, хотя и береглась, была весела и подвижна. Обе матери, ее и его, жили в доме под предлогом карауления и оберегания ее и только тревожили ее своими пикиров-

ками. Евгений занимался особенно горячо хозяйством, новой обработкой в больших размерах свеклы.

Под троицын день Лиза решила, что надо сделать хорошую очистку дома, которой не делали со святой, и позвала в помощь прислуге двух поденных баб, чтоб вымыть полы, окна, и выбить мебель и ковры, и надеть чехлы. С раннего утра пришли бабы, поставили чугуны воды и принялись за работу. Одна из двух баб была Степанида, которая только что отняла своего мальчика и напросилась через конторщика, к которому она бегала теперь, в поломойки. Ей хотелось хорошенько рассмотреть новую барыню. Степанида жила по-старому одна, без мужа, и шалила, как она шалила прежде с стариком Данилой, поймавшим ее с дровами, потом с барином, теперь с молодым малым — конторщиком. Об барине она вовсе и не думала. «У него теперь жена есть, — думала она. — А лестно посмотреть барыню, ее завендье, хорошо, говорят, убрано».

Евгений, с тех пор как встретил ее с ребенком, не видал ее. На поденную она не ходила, так как была с ребенком, а он редко проходил по деревне. В это утро, накануне троицына дня, Евгений рано, в пятом часу, встал и уехал на паровое поле, где должны были рассыпать фосфориты, и вышел из дома, пока еще бабы не входили в него, а возились у печи с котлами.

Веселый, довольный и голодный, Евгений возвращался к завтраку. Он слез с лошади у калитки и, отдав ее проходившему садовнику, постегивая хлыстом высокую траву, повторяя, как это часто бывает, произнесенную фразу, шел к дому. Фраза, которую он повторял, была: «Фосфориты оправдают», — что, перед кем — он не знал и не думал.

На лужку колотили ковер. Мебель была вынесена.

«Матушки! какую Лиза затеяла перечистку. Фосфориты оправдают. Вот так хозяйка. Хозяюшка! Да, хозяйюшка, — сказал он сам себе, живо представив себе ее в белом капоте, с сияющим от радости лицом, какое у нее почти всегда было, когда он смотрел на нее. — Да, надо переменить сапоги, а то фосфориты оправдают, то есть пахнет навозом, а хозяйюшка-то-с в таком положении. Отчего в таком положении? Да, растет там в

ней маленький Иртенев новый, — подумал он. — Да, фосфориты оправдают». И, улыбаясь своим мыслям, ткнул рукой дверь в свою комнату.

Но не успел он надавить на дверь, как она сама отворилась, и нос с носом он столкнулся с шедшей ему навстречу с ведром, подоткнутой, босоногой и с высоко засученными рукавами бабой. Он посторонился, чтобы пропустить бабу, она тоже посторонилась, поправляя верхом мокрой руки сбившийся платок.

— Иди, иди, я не пойду, коли вы... — начал было Евгений и вдруг, узнав ее, остановился.

Она, улыбаясь глазами, весело взглянула на него. И, обдернув паневу, вышла из двери.

«Что за вздор?.. Что такое?.. Не может быть», — хмурясь и отряхиваясь, как от мухи, говорил себе Евгений, недовольный тем, что он заметил ее. Он был недоволен тем, что заметил ее, а вместе с тем не мог оторвать от ее покачивающегося ловкой, сильной походкой босых ног тела, от ее рук, плеч, красивых складок рубахи и красной паневы, высоко подоткнутой над ее белыми икрами.

«Да что же я смотрю, — сказал он себе, опуская глаза, чтоб не видеть ее. — Да, надо взойти все-таки, взять сапоги другие». И он повернулся назад к себе в комнату; но не успел пройти пяти шагов, как, сам не зная как и по чьему приказу, опять оглянулся, чтобы еще раз увидеть ее. Она заходила за угол и в то же мгновение тоже оглянулась на него.

«Ах, что я делаю, — вскрикнул он в душе. — Она может подумать. Даже наверно она уже подумала».

Он вошел в свою мокрую комнату. Другая баба, старая, худая, была там и мыла еще. Евгений прошел на цыпочках через грязные лужи к стенке, где стояли сапоги, и хотел выходить, когда баба тоже вышла.

«Эта вышла, и придет та, Степанида — одна», — вдруг начал в нем рассуждать кто-то.

«Боже мой! Что я думаю, что я делаю!» Он схватил сапоги и побежал с ними в переднюю, там надел их, обчистился и вышел на террасу, где уж сидели обе мамы за кофе. Лиза, очевидно, ждала его и вошла на террасу из другой двери вместе с ним.

«Боже мой, если бы она, считающая меня таким честным, чистым, невинным, если бы она знала!» — подумал он.

Лиза, как всегда, с сияющим лицом встретила его. Но нынче она что-то особенно показалась ему бледной, желтой и длинной, слабой.

Х

За кофеем, как и часто случалось, шел тот особенный дамский разговор, в котором логической связи не было никакой, но который, очевидно, чем-то связывался, потому что шел непрерывно.

Обе дамы пикировались, и Лиза искусно лавировала между ними.

— Мне так досадно, что не успели вымыть твою комнату до твоего приезда, — сказала она мужу. — А так хочется все перебрать.

— Ну как ты, спала после меня?

— Да, я спала, мне хорошо.

— Как может быть хорошо женщине в ее положении в эту невыносимую жару, когда окна на солнце, — сказала Варвара Алексеевна, ее мать. — И без жалюзи или маркиз. У меня всегда маркизы.

— Да ведь здесь тень с десяти часов, — сказала Марья Павловна.

— От этого и лихорадка. От сырости, — сказала Варвара Алексеевна, не замечая того, что она говорит прямо противное тому, что говорила сейчас. — Мой доктор говорил всегда, что нельзя никогда определить болезнь, не зная характера больной. А уж он знает, потому что это первый доктор, и мы платим ему сто рублей. Покойный муж не признавал докторов, но для меня никогда он ничего не жалел.

— Как же может мужчина жалеть для женщины, когда жизнь ее и ребенка зависит, может быть...

— Да, когда есть средства, то жена может не зависеть от мужа. Хорошая жена покоряется мужу, — сказала Варвара Алексеевна, — но только Лиза слишком еще слаба после своей болезни.

— Да нет, мама, я себя прекрасно чувствую. Что ж кипяченых сливок вам не подали?

— Мне не надо. Я могу и с сырыми.

— Я спрашивала у Варвары Алексеевны. Она отказалась, — сказала Марья Павловна, как будто оправдываясь.

— Да нет, я не хочу нынче. — И, как будто чтоб прекратить неприятный разговор и великодушно уступая, Варвара Алексеевна обратилась к Евгению: — Ну что, рассыпали фосфориты?

Лиза побежала за сливками.

— Да я не хочу, не хочу.

— Лиза! Лиза! тише, — сказала Марья Павловна. — Ей вредны эти быстрые движения.

— Ничего не вредно, если есть спокойствие душевное, — сказала, как будто на что-то намекая, Варвара Алексеевна, хотя и сама знала, что слова ее не могли ни на что намекать.

Лиза вернулась со сливками. Евгений пил свой кофе и угрюмо слушал. Он привык к этим разговорам, но нынче его особенно раздражала бессмысленность его. Ему хотелось обдумать то, что случилось с ним, а этот лепет мешал ему. Напившись кофе, Варвара Алексеевна так и ушла не в духе. Остались одни Лиза, Евгений и Марья Павловна. И разговор шел прстой и приятный. Но чуткая любовью Лиза тотчас же заметила, что что-то мучает Евгения, и спросила его, не было ли чего неприятного. Он не приготовился к этому вопросу и немного замялся, отвечая, что ничего. И этот ответ еще больше заставил задуматься Лизу. Что что-то мучало и очень мучало его, ей было так же очевидно, как то, что муха попала в молоко, но он не говорил, что же это такое было.

XI

После завтрака все разошлись. Евгений, по заведенному порядку, пошел к себе в кабинет. Он не стал ни читать, ни писать письма, а сел и стал курить одну папиросу за другою, думая. Его страшно удивило и огорчило это неожиданно проявившееся в нем скверное

чувство, от которого он считал себя свободным, с тех пор как женился. Он ни разу с тех пор не испытывал этого чувства ни к ней, к той женщине, которую он знал, ни к какой бы то ни было женщине, кроме как к своей жене. Он в душе много раз радовался этому своему освобождению, и вот вдруг эта случайность, такая, казалось бы, ничтожная, открыла ему то, что он не свободен. Его мучало теперь не то, что он опять подчинился этому чувству, что он желает ее, — этого он и думать не хотел, — а то, что чувство это живо в нем и что надо стоять настороже против него. В том, что он подавит это чувство, в душе его не было и сомнения.

У него было одно неотвеченное письмо и бумага, которую надо было составить. Он сел за письменный стол и взялся за работу. Окончив ее и совсем забыв то, что его встревожило, он вышел, чтобы пройти на конюшню. И опять как на беду, по несчастной ли случайности, или нарочно, только он вышел на крыльцо, из-за угла вышла красная панева и красный платок и, махая руками и перекачиваясь, прошла мимо него. Мало того, что прошла, она пробежала, миновав его, как бы играючи, и догнала товарку.

Опять яркий полдень, крапива, зады Даниловой караулки и в тени кленов ее улыбающееся лицо, кусающее листья, восстали в его воображении.

«Нет, это невозможно так оставить», — сказал он себе и, подождав того, чтобы бабы скрылись из виду, пошел в контору. Был самый обед, и он надеялся застать еще приказчика. Так и случилось. Приказчик только что проснулся. Он стоял в конторе, потягиваясь, зевал, глядя на скотника, что-то ему говорившего.

— Василий Николаевич!

— Что прикажете?

— Мне поговорить с вами.

— Что прикажете?

— Да вот кончите.

— Разве не принесешь? — сказал Василий Николаевич скотнику.

— Тяжело, Василий Николаевич.

— Что это? — спросил Евгений.

— Да отелилась в поле корова. Ну ладно, я сейчас велю запрячь лошаадь. Вели Николаю Лысуху запрячь, хоть в дроги.

Скотник ушел.

— Вот видите ли, — краснея и чувствуя это, начал Евгений. — Вот видите ли, Василий Николаевич. Тут, пока я был холостой, были у меня грехи... Вы, может быть, слышали...

Василий Николаевич улыбался глазами и, очевидно жалея барина, сказал:

— Это насчет Степашки?

— Ну да. Так вот что. Пожалуйста, пожалуйста, не берите вы ее на поденную в дом. Вы понимаете, неприятно очень мне...

— Да это, видно, Ваня-конторщик распорядился.

— Так пожалуйста... Ну так как же, рассыпят остальное? — сказал Евгений, чтобы скрыть свой конфуз.

— Да вот поеду сейчас.

Так и кончилось это. И Евгений успокоился, надеясь, что как он прожил год, не выдав ее, так будет и теперь. «Кроме того, Василий скажет Ивану-конторщику, Иван скажет ей, и она поймет, что я не хочу этого», — говорил себе Евгений и радовался тому, что он взял на себя и сказал Василью, как ни трудно это было ему. «Да все лучше, все лучше, чем это сомнение, этот стыд». Он содрогался при одном воспоминании об этом преступлении мыслью.

XII

Нравственное усилие, которое он сделал, чтобы, преодолев стыд, сказать Василью Николаевичу, успокоило Евгения. Ему казалось, что теперь все кончено. И Лиза тотчас же заметила, что он совсем спокоен и даже радостнее обыкновенного. «Верно, его огорчала эта пикировка между мамашами. В самом деле, тяжело, в особенности ему с его чувствительностью и благородством, слышать всегда эти недружелюбные и дурного тона намеки на что-то», — думала Лиза.

Следующий день был троицын. Погода была прекрасная, и бабы, по обыкновению, проходя в лес зави-

вать венки, подошли к барскому дому и стали петь и плясать. Марья Павловна и Варвара Алексеевна вышли в нарядных платьях с зонтиками на крыльцо и подошли к хороводу. С ними же вместе вышел в китайском сюртучке обрюзгший блудник и пьяница дядюшка, живший это лето у Евгения.

Как всегда, был один пестрый, яркий цветами кружок молодых баб и девок центром всего, а вокруг него с разных сторон, как оторвавшиеся и вращающиеся за ним планеты и спутники, то девчата, держась рука с рукой, шурша новым ситцем расстегаев, то малые ребята, фыркающие чему-то и бегающие взад и вперед друг за другом, то ребята взрослые, в синих и черных поддевках и картузах и красных рубахах, с неперестающим плеваньем шелухи семечек, то дворовые или посторонние, издаലെка поглядывающие на хоровод. Обе барыни подошли к самому кругу и вслед за ними Лиза, в голубом платье и таких же лентах на голове, с широкими рукавами, из которых виднелись ее длинные белые руки с угловатыми локтями.

Евгению не хотелось выходить, но смешно было скрываться. Он вышел тоже с папиросой на крыльцо, раскланялся с ребятами и мужиками и заговорил с одним из них. Бабы между тем орали во всю мочь плясовую и подщелкивали и подхлопывали в ладони и плясали.

— Барыня зовут, — сказал малый, подходя к не слыхавшему зова жены Евгению. Лиза звала его посмотреть на пляску, на одну из плясавших баб, которая ей особенно нравилась. Это была Степаша. Она была в желтом расстегае, и в плисовой безрукавке, и в шелковом платке, широкая, энергическая, румяная, веселая. Должно быть, она хорошо плясала. Он ничего не видал.

— Да, да, — сказал он, снимая и надевая пенсне. — Да, да, — говорил он. «Стало быть, нельзя мне избавиться от нее», — думал он.

Он не смотрел на нее, потому что боялся ее привлекательности, и именно от этого то, что он мельком видел в ней, казалось ему особенно привлекательным. Кроме того, он видел по блеснувшему ее взгляду, что

она видит его и видит то, что он любит ее. Он постоял, сколько нужно было для приличия, и, увидав, что Варвара Алексеевна подозвала ее и что-то нескладно, фальшиво, называя ее милочкой, говорила с ней, повернулся и отошел. Он отошел и вернулся в дом. Он ушел, чтобы не видеть ее, но, войдя на верхний этаж, он, сам не зная как и зачем, подошел к окну и все время, пока бабы были у крыльца, стоял у окна и смотрел, смотрел на нее, упивался ею.

Он сбежал, пока никто не мог его видеть, и пошел тихим шагом на балкон и, на балконе закулив папиросу, как будто гуляя, пошел в сад по тому направлению, по которому она пошла. Он не сделал двух шагов в аллее, как за деревьями мелькнула плисовая безрукавка на розовом расстеге и красный платок. Она шла куда-то с другой бабой. «Куда-то они шли?»

И вдруг страстная похоть обожгла его, как рукой схватила за сердце. Евгений, как будто по чьей-то чуждой ему воле, оглянулся и пошел к ней.

— Евгений Иваныч, Евгений Иваныч! Я к вашей милости, — заговорил сзади голос, и Евгений, увидав старика Самохина, который рыл у него колодец, очнулся и, быстро повернувшись, пошел к Самохину. Разговаривая с ним, он повернулся боком и увидал, что они с бабой прошли вниз, очевидно к колодцу или под предлогом колодца, и потом, побыв там недолго, побежали к хорооводу.

XIII

Поговорив с Самохиным, Евгений вернулся в дом убитый, точно совершивший преступление. Во-первых, она поняла его, она думала, что он хочет видеть ее, и она желает этого. Во-вторых, эта другая баба — эта Анна Прохорова, — очевидно, знает про это.

Главное же то, что он чувствовал, что он побежден, что у него нет своей воли, есть другая сила, двигающая им; что нынче он спасся только по счастью, но не нынче, так завтра, так послезавтра он все-таки погибнет.

«Да, погибнет, — он иначе не понимал этого, — изменить своей молодой, любящей жене в деревне с ба-

бой, на виду всех, разве это не была погибель, страшная погибель, после которой нельзя было жить больше? Нет, надо, надо принять меры».

«Боже мой, боже мой! Что же мне делать? Неужели я так и погибну? — говорил он себе. — Разве нельзя принять мер? Да надо же что-нибудь сделать. Не думать об ней, — приказывал он себе. — Не думать!» — и тотчас же он начинал думать, и видел ее перед собой, и видел кленовую тень.

Он вспомнил, что читал про старца, который от соблазна перед женщиной, на которую должен был наложить руку, чтоб лечить ее, положил другую руку на жаровню и сжег пальцы. Он вспомнил это. «Да, я готов сжечь пальцы лучше, чем погибнуть». И он, оглянувшись, что никого нет в комнате, зажег спичку и положил палец в огонь. «Ну, думай о ней теперь», — иронически обратился он к себе. Ему стало больно, он отдернул закопченный палец, бросил спичку и сам засмеялся над собой. «Какой вздор. Не это надо делать. А надо принять меры, чтобы не видать ее — уехать самому или ее удалить. Да, удалить! Предложить ее мужу денег, чтоб он уехал в город или в другое село. Узнают, будут говорить про это. Ну что же, все лучше, чем эта опасность. Да, надо сделать это», — говорил он себе и все, не спуская глаз, смотрел на нее. «Куда это она пошла?» — вдруг спросил он себя. Она, как ему показалось, видела его у окна и теперь, взглянув на него, взялась рукой с какой-то бабой, пошла к саду, бойко размахивая рукой. Сам не зная зачем, почему, все ради своих мыслей, он пошел в контору.

Василий Николаевич, в нарядном сертуке, напомаженный, сидел за чаем с женой и гостьей в ковровом платке.

— Как бы мне, Василий Николаевич, поговорить.

— Можно. Пожалуйста. Мы отпили.

— Нет, пойдемте со мной лучше.

— Сейчас, только дай картуз возьму. Ты, Таня, самовар-то прикрой, — сказал Василий Николаевич, весело выходя.

Евгению показалось, что он был выпивши, но что же делать; может, это к лучшему, он участливее взойдет в его положение,

— Я, Василий Николаевич, опять о том же, — сказал Евгений, — об этой женщине.

— Так что же. Я приказал, чтоб отнюдь не брать.

— Да нет, я вообще вот что думаю и вот о чем хотел с вами посоветоваться. Нельзя ли их удалить, все семейство удалить?

— Куда ж их удалишь? — недовольно и насмешливо, как показалось Евгению, сказал Василий.

— Да я так думал, что дать им денег или даже земли в Колтовском, только бы не было ее тут.

— Да как же удалишь? Куда он пойдет с своего корня? Да и на что вам? Что она вам мешает?

— Ах, Василий Николаевич, вы поймите, что жене это ужасно будет узнать.

— Да кто же ей скажет?

— Да как же жить под этим страхом? Да и вообще это тяжело.

— И чего вы беспокоитесь, право? Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто богу не грешен, царю не виноват?

— Все-таки лучше бы удалить. Вы не можете поговорить с мужем?

— Да нечего говорить. Эх, Евгений Иванович, что вы это? И все прошло и забылось. Чего не бывает? А кто же теперь про вас скажет худое? Ведь вы в виду.

— Но вы все-таки скажите.

— Хорошо, я поговорю.

Хотя он и знал вперед, что из этого ничего не выйдет, разговор этот несколько успокоил Евгения. Он, главнсе, почувствовал, что он от волнения преувеличил опасность.

Разве он шел на свидание с ней? Оно и невозможно. Он просто шел пройтись по саду, а она случайно выбежала туда.

XIV.

В этот же самый троицын день, после обеда, Лиза, гуляя по саду и выходя из него на луг, куда повел ее муж, чтобы показать клевер, переходя маленькую канавку, оступилась и упала. Она упала мягко на бок, но

охнула, и в лице ее муж увидал не только испуг, но боль. Он хотел поднять ее, но она отвела его руку.

— Нет, погоди немного, Евгений, — сказала она, слабо улыбаясь и снизу как-то, как ему показалось, с виноватым видом глядя на него. — Просто нога подвернулась.

— Вот я всегда говорю, — заговорила Варвара Алексеевна. — Разве можно в таком положении прыгать через канавы?

— Да нет же, мама, ничего. Я сейчас встану.

Она встала с помощью мужа, но в ту же минуту она побледнела, и на лице ее выразился испуг.

— Да, мне нехорошо, — и она шепнула что-то матери.

— Ах, боже мой, что наделали! Я говорила не ходить, — кричала Варвара Алексеевна. — Погодите, я пришло людей. Ей не надо ходить. Ее надо снести.

— Ты не боишься, Лиза? Я снесу тебя, — сказал Евгений, обхватив ее левой рукой. — Обойми мне шею. Вот так.

И он, нагнувшись, подхватил ее под ноги правой рукой и поднял. — Никогда он не мог забыть после это страдальческое и вместе блаженное выражение, которое было на ее лице.

— Тебе тяжело, милый, — говорила она, улыбаясь. — Мама-то бежит, скажи ей!

И она пригнулась к нему и поцеловала. Ей, очевидно, хотелось, чтобы и мама видела, как он несет ее.

Евгений крикнул Варваре Алексеевне, чтоб она не торопилась, что он донесет. Варвара Алексеевна остановилась и начала кричать еще пуще.

— Ты уронишь ее, непременно уронишь. Хочешь погубить ее. Нет в тебе совести.

— Да я прекрасно несу.

— Не хочу я, не могу я видеть, как ты моришь мою дочь. — И она забежала за угол аллеи.

— Ничего, это пройдет, — говорила Лиза, улыбаясь.

— Да только бы не было последствий, как тот раз.

— Нет, я не об этом. Это ничего, а я о мамá. Ты устал, отдохни.

Но хотя ему и тяжело было, Евгений с гордой радостью донес свою ношу до дому и не передал ее гор-

ничной и повару, которых нашла и выслала им навстречу Варвара Алексеевна. Он донес ее до спальни и положил на постель.

— Ну, ты поди, — сказала она и, притянув к себе его руку, поцеловала ее. — Мы с Аннушкой справимся.

Марья Павловна прибежала тоже из флигеля. Лизу раздели и уложили в постель. Евгений сидел в гостиной с книгой в руке, дожидаясь. Варвара Алексеевна прошла мимо него с таким укоризненным, мрачным видом, что ему сделалось страшно.

— Ну что? — спросил он.

— Что? Что же спрашивать? То самое, чего вы хотели, вероятно, заставляя жену прыгать через рвы.

— Варвара Алексеевна! — вскрикнул он. — Это невыносимо. Если вы хотите мучать людей и отравлять им жизнь, — он хотел сказать: то поезжайте куда-нибудь в другое место, но удержался. — Как вам не больно это?

— Теперь поздно.

И она, победоносно встряхнув чепцом, прошла в дверь.

Падение действительно было дурное. Нога подвернулась неловко, и была опасность того, что опять будет выкидыш. Все знали, что делать ничего нельзя, что надо только лежать спокойно, но все-таки решили послать за доктором.

«Многоуважаемый Николай Семенович, — написал Евгений врачу, — вы так всегда добры были к нам, что, надеюсь, не откажете приехать помочь жене. Она в...» и т. д. Написав письмо, он пошел в конюшню распорядиться лошадьми и экипажем. Надо было приготовить одних лошадей, чтобы привезти, других — увезти. Где хозяйство не на большую ногу, все это не сразу можно устроить, а надо обдумать. Наладив все сам и отправив кучера, он вернулся домой в десятом часу. Жена лежала и говорила, что ей прекрасно и ничего не болит; но Варвара Алексеевна сидела за лампой, заслоненной от Лизы нотами, и вязала большое красное одеяло с таким видом, который ясно говорил, что после того, что было, миру быть не может. «А что бы кто ни делал, я по крайней мере исполнила свою обязанность».

Евгений видел это, но, чтобы сделать вид, что он не

замечает, старался иметь веселый и беспечный вид, рассказывал, как он собрал лошадей и как кобыла Кавушка отлично пошла на левой пристяжке.

— Да, разумеется, самое время выезжать лошадей, когда нужна помощь. Вероятно, и доктора также свалят в канаву, — сказала Варвара Алексеевна, из-под пенсне взглядывая на вязанье, подводя его под самую лампу.

— Да ведь надо же было кого-нибудь послать. А я сделал как лучше.

— Да я очень хорошо помню, как меня мчали ваши лошади под поезд.

Это была ее давнишняя выдумка, и теперь Евгений имел неосторожность сказать, что это не совсем так было.

— Недаром я всегда говорю, и князю сколько раз говорила, что тяжелее всего жить с людьми неправдивыми, неискренними; я все перенесу, но только не это.

— Ведь если кому больнее всех, то уж, верно, мне, — сказал Евгений.

— Да это и видно.

— Что?

— Ничего, я петли считаю.

Евгений стоял в это время у постели, и Лиза смотрела на него и одной из влажных рук, лежавших сверх одеяла, поймала его руку и пожала. «Переноси ее для меня. Ведь она не помешает нам любить друг друга», — говорил ее взгляд.

— Не буду. Это так, — прошептал он и поцеловал ее влажную длинную руку и потом милые глаза, которые закрывались, пока он целовал их.

— Неужели опять то же? — сказал он. — Как ты чувствуешь?

— Страшно сказать, чтоб не ошибиться, но чувство у меня такое, что он жив и будет жив, — сказала она, глядя на свой живот.

— Ах, страшно, страшно и думать.

Несмотря на настояния Лизы, чтоб он ушел, Евгений провел ночь с нею, засыпая только одним глазом и готовый служить ей. Но ночь она провела хорошо и, если бы не было послано за доктором, может быть и встала бы.

К обеду приехал доктор и, разумеется, сказал, что, хотя повторные явления и могут вызывать опасения, но,

собственно говоря, положительного указания нет, но так как нет и противупоказания, то можно, с одной стороны, полагать, с другой же стороны, тоже можно полагать. И потому надо лежать, и хотя я и не люблю прописывать, но все-таки это принимать и лежать. Кроме того, доктор прочел еще Варваре Алексеевне лекцию о женской анатомии, причем Варвара Алексеевна значительно кивала головой. Получив гонорар, как и обыкновенно в самую заднюю часть ладони, доктор уехал, а больная осталась лежать на неделю.

XV

Большую часть времени Евгений проводил у постели жены, служил ей, говорил с ней, читал с ней и, что было труднее всего, без ропота переносил нападки Варвары Алексеевны и даже сумел из этих нападков сделать предмет шутки.

Но он не мог сидеть дома. Во-первых, жена посылала его, говоря, что он заболел, если будет сидеть все с нею, а во-вторых, хозяйство все шло так, что на каждом шагу требовало его присутствия. Он не мог сидеть дома, а был в поле, в лесу, в саду, на гумне, и везде не мысль только, а живой образ Степаниды преследовал его так, что он редко только забывал про нее. Но это было бы ничего; он, может быть, сумел бы преодолеть это чувство, но хуже всего было то, что он прежде жил, месяцами не видя ее, теперь же беспрестанно видел и встречал ее. Она, очевидно, поняла, что он хочет возобновить сношения с нею, и старалась попадаться ему. Ни им, ни ею не было сказано ничего, и оттого и он и она не шли прямо на свиданье, а старались только сходить.

Место, где можно было сойтись, это был лес, куда бабы ходили с мешками за травой для коров. И Евгений знал это. и потому каждый день проходил мимо этого леса. Каждый день он говорил себе, что он не пойдет, и каждый день кончалось тем, что он направлялся к лесу и, услышав звук голосов, останавливаясь за кустом, с замиранием сердца выглядывал, не она ли это.

Зачем ему нужно было знать, не она ли это? Он не знал. Если бы это была она и одна, он не пошел бы к ней, — так он думал, — он убежал бы; но ему нужно было видеть ее. Один раз он встретил ее: в то время как он входил в лес, она выходила из него с другими двумя бабами и тяжелым мешком, полным травы, на спине. Немного раньше — и он бы, может быть, столкнулся с нею в лесу. Теперь же ей невозможно было на виду других баб вернуться к нему в лес. Но, несмотря на сознаваемую им эту невозможность, он долго, рискуя обратиться этим на себя внимание других баб, стоял за кустом орешника. Разумеется, она не вернулась, но он простоял здесь долго. И, боже мой, с какой прелестью рисовало ему ее его воображение. И это было не один раз, а пятый, шестой раз. И что дальше, то сильнее. Никогда она так привлекательна не казалась ему. Да и не то что привлекательна; никогда она так вполне не владела им.

Он чувствовал, что терял волю над собой, становился почти помешанным. Строгость его к себе не ослаблялась ни на волос; напротив, он видел всю мерзость своих желаний, даже поступков, потому что хождение его по лесу был поступок. Он знал, что стоило ему столкнуться с ней где-нибудь близко, в темноте, если бы можно прикоснуться к ней, и он отдастся своему чувству. Он знал, что только стыд перед людьми, перед ней и перед собой держал его. И он знал, что он искал условий, в которых бы не был замечен этот стыд, — темноты или такого прикосновения, при котором стыд этот заглушится животной страстью. И потому он знал, что он мерзкий преступник, и презирал и ненавидел себя всеми силами души. Он ненавидел себя потому, что все еще не сдавался. Каждый день он молился богу о том, чтобы он подкрепил, спас его от гибели, каждый день он решал, что отныне он не сделает ни одного шага, не оглянется на нее, забудет ее. Каждый день он придумывал средства, чтобы избавиться от этого наваждения, и употреблял эти средства.

Но все было напрасно.

Одно из средств было постоянное занятие; другое было усиленная физическая работа и пост; третье было

представление себе ясное того стыда, который обрушится на его голову, когда все узнают это — жена, теща, люди. Он все это делал, и ему казалось, что он побеждает, но приходило время, полдень, время прежних свиданий и время, когда он ее встретил за травой, и он шел в лес.

Так прошли мучительные пять дней. Он только видал ее издалека, но ни разу не сошелся с нею.

XVI

Лиза понемногу поправлялась, ходила и беспокоилась той переменной, которая произошла в ее муже и которой она не понимала.

Варвара Алексеевна уехала на время, из чужих гостей только дядюшка. Марья Павловна, как всегда, была дома.

В таком полусумасшедшем состоянии находился Евгений, когда случились, как это часто бывает после июньских гроз, июньские проливные дожди, продолжавшиеся два дня. Дожди отбили от всех работ. Даже навоз бросили возить от сырости и грязи. Народ сидел по домам. Пастухи мучались с скотиной и, наконец, пригнали ее домой. Коровы и овцы ходили по выгону и разбегались по усадьбам. Бабы, босые и покрытые платками, шлепая по грязи, бросились разыскивать разбежавшихся коров. Ручьи текли везде по дорогам, все листья, вся трава были полны водой, из желобов текли, не умолкая, ручьи в пузырящиеся лужи. Евгений сидел дома с женой, которая была особенно скучна нынче. Она несколько раз допрашивала Евгения о причине его недовольства, он с досадой отвечал, что ничего нет. И она перестала спрашивать, но огорчилась.

Они сидели после завтрака в гостиной. Дядюшка рассказывал сотый раз свои выдумки про своих великосветских знакомых. Лиза вязала кофточку и вздыхала, жалуясь на погоду и на боль в пояснице. Дядюшка посоветовал ей лечь, а сам попросил вина. В доме Евгению было ужасно скучно. Все было слабое, скучающее. Он читал книгу и курил, но ничего не понимал.

— Да, надо пройтись посмотреть терки, вчера привезли, — сказал он. Он встал и пошел.

— Ты возьми зонтик.

— Да нет, у меня кожан. Да и я только до варков.

Он надел сапоги, кожан и пошел к заводу; но не прошел он двадцати шагов, как навстречу ему попала она в высоко над белыми икрами подоткнутой паневе. Она шла, придерживая руками шаль, которой были закутаны ее голова и плечи.

— Что ты? — спросил он, в первую минуту не узнав ее. Когда он узнал, было уже поздно. Она остановилась и, улыбаясь, долго поглядела на него.

— Теленку ищут. Куда же это вы в ненастье-то? — сказала она, точно каждый день видала его.

— Приходи в шалаш, — вдруг, сам не зная как, сказал он. Точно кто-то другой из него сказал эти слова.

Она закусила платок, кивнула глазами и побежала туда, куда шла, — в сад, к шалашу, а он продолжал свой путь с намереньем завернуть за сиреневым кустом и идти туда же.

— Барин, — слышался ему сзади голос. — Барыня зовут, на минутку просят зайти.

Это был Миша, их слуга.

«Боже мой, второй раз ты спасаешь меня», — подумал Евгений и тотчас же вернулся. Жена напоминала ему, что он обещал в обед снести лекарство больной женщине, так вот она просила его взять его.

Пока собирали лекарство, прошло минут пять. Потом выйдя с лекарством, он не решился идти в шалаш, чтобы его не увидели из дома. Но как только вышел из вида, он тотчас повернул и пошел к шалашу. Он уже видел в воображении своем ее посередине шалаша, весело улыбающуюся; но ее не было, и в шалаше ничего не было, что бы доказывало, что она была. Он уже подумал, что она не приходила и не слышала и не поняла его слов. Он пробурчал их себе под нос, как бы боясь, чтобы она услышала их. «Или, может быть, и не хотела прийти? И с чего он выдумал, что она так и бросится к нему? У нее есть свой муж; только я один такой мерзавец, что у меня жена, и хорошая, а я бегаю за чужою». Так он думал, сидя в шалаше, протекшем в одном месте

и капающем с своей соломы. «А что бы за счастье было, если бы она пришла. Одни здесь в этот дождь. Хоть бы раз опять обнять ее, а потом будь что будет. Ах да, — вспомнил он, — если была, то по следам можно найти». Он взглянул на землю пробитой к шалашу и не заросшей травой тропинки, и свежий след босой ноги, еще покотившейся, был на ней. «Да, она была. Но теперь кончено. Прямо, где ни увижу, пойду к ней. Ночью пойду к ней». Он долго сидел в шалаше и вышел из него измученный и убитый. Он снес лекарство, вернулся домой и лег у себя в комнате, дожидаясь обеда.

XVII

Перед обедом Лиза пришла к нему и, все придумывая, что бы могло быть причиною его неудовольствия, стала говорить ему, что она боится, что ему неприятно, что ее хотят везти в Москву родить, и что она решила, что останется здесь. И ни за что не поедет в Москву. Он знал, как она боялась и самих родов и того, чтобы не родить нехорошего ребенка, и потому не мог не умилиться, видя, как легко она всем жертвовала из любви к нему. Все было так хорошо, радостно, чисто в доме; а в душе его было грязно, мерзко, ужасно. Весь вечер Евгений мучался тем, что он знал, что, несмотря на свое искреннее отвращение к своей слабости, несмотря на твердое намерение перервать, завтра будет то же самое.

— Нет, это невозможно, — говорил он себе, ходя взад и вперед по своей комнате. — Ведь должно же быть какое-нибудь средство против этого. Боже мой! что делать?

Кто-то на иностранный манер постучался в дверь. Это, он знал, был дядюшка.

— Взойдите, — сказал он.

Дядюшка пришел самопроизвольно послем от жены.

— Ты знаешь ли, что в самом деле я замечаю в тебе перемену, — сказал он, — и Лизу, я понимаю, как это мучает. Я понимаю, что тебе тяжело оставлять все начатое и прекрасное дело, но что ты хочешь, que veux tu? Я бы советовал вам ехать. Покойней будет и тебе и ей.

И знаешь ли, мой совет ехать в Крым. Климат акушер там прекрасный, и в самый виноградный сезон вы попадете.

— Дядюшка, — вдруг заговорил Евгений, — можете вы соблюсти мой секрет, ужасный для меня секрет, постыдный секрет?

— Помилуй, неужели ты сомневаешься во мне?

— Дядюшка! Вы можете мне помочь. Не то что помочь, спасти меня, — сказал Евгений. И мысль о том, что он откроет свою тайну дядюшке, которого он не уважал, мысль о том, что он покажется ему в самом невыгодном свете, унизится перед ним, была ему приятна. Он чувствовал себя мерзким, виноватым, и ему хотелось наказать себя.

— Говори, мой друг, ты знаешь, как я тебя любил, — заговорил дядюшка, видимо очень довольный и тем, что есть секрет, и что секрет постыдный, и что секрет этот ему сообщат, и что он может быть полезен.

— Прежде всего я должен сказать, что я мерзавец и негодяй, подлец, именно подлец.

— Ну, что ты, — надуваясь горлом, начал дядюшка.

— Да как же не мерзавец, когда я, Лизин муж, Лизин! — надо ведь знать ее чистоту, любовь, — когда я, ее муж, хочу изменить ей с бабой?

— То есть отчего же ты хочешь? Ты не изменил ей?

— Да, то есть все равно что изменил, потому что это не от меня зависело. Я готов был. Мне помешали, а то я теперь бы... теперь бы. Я не знаю, чтобы я сделал.

— Но позволь, ты объясни мне...

— Ну, да вот. Когда я был холостым, я имел глупость войти в сношения с женщиной здесь, из нашей деревни. То есть, как я встречался с ней в лесу, в поле...

— И хорошенькая? — сказал дядюшка.

Евгений поморщился от этого вопроса, но ему так нужна была помощь внешняя, что он как будто не слышал его и продолжал:

— Ну, я думал, что это так, что я перерву и все кончится. Я и перервал еще до женитьбы и почти год и не видал и не думал о ней, — Евгению самому странно было себя слушать, слушать описание своего состояния, — потом вдруг, уж я не знаю отчего, — право, иногда веришь в привороты, — я увидал ее, и червь залез

мне в сердце — гложет меня. Я ругаю себя, понимая весь ужас своего поступка, то есть того, который я всякую минуту могу сделать, и сам иду на это, и если не сделал, то только бог меня спасал. Вчера я шел к ней, когда Лиза позвала меня.

— Как, в дождь?

— Да, я измучался, дядюшка, и решил открыться вам и просить вашей помощи.

— Да, разумеется, в своем именье это нехорошо. Узнают. Я понимаю, что Лиза слаба, надо жалеть ее, но зачем в своем именье?

Опять Евгений постарался не слышать того, что говорил дядюшка, и приступил скорее к сущности дела.

— Да вы спасите меня от себя. Я вас вот о чем прошу. Нынче мне помешали случайно, но завтра, в другой раз мне не помешают. И она знает теперь. Не пускайте меня одного.

— Да, положим, — сказал дядюшка. — Но неужели ты так влюблен?

— Ах, совсем не то. Это не то, это какая-то сила ухватила меня и держит. Я не знаю, что делать. Может быть, я окрепну, тогда...

— Ну вот и выходит по-моему, — сказал дядюшка. — Поедьте-ка в Крым.

— Да, да, поедьте, а пока я буду с вами, буду говорить вам.

XVIII

То, что Евгений доверил дядюшке свою тайну и, главное, те мучения совести и стыда, которые он пережил после того дождливого дня, отрезвили его. Поездка в Ялту была решена через неделю. В эту неделю Евгений ездил в город доставать денег на поездку, распорядился из дома и конторы по хозяйству, опять стал весел и близок с женою и стал нравственно оживать.

Так, ни разу после того дождливого дня не видав Степаниду, он уехал с женою в Крым. В Крыму они провели прекрасно два месяца. Евгению было столько новых впечатлений, что все прежнее стерлось, ему казалось, совсем из его воспоминания. В Крыму они встре-

тили прежних знакомых и особенно сблизилась с ними; кроме того, сделали новые знакомства. Жизнь в Крыму для Евгения была постоянным праздником и, кроме того, еще была поучительна и полезна для него. Они сблизилась там с бывшим губернским предводителем их же губернии, с умным, либеральным человеком, который полюбил Евгения и образовывал его и привлек на свою сторону. В конце августа Лиза родила прекрасную, здоровую девочку, и родила неожиданно очень легко.

В сентябре Иртеневы поехали домой уже сам-четверт, с ребенком и кормилицей, так как Лиза не могла кормить. Совершенно свободный от прежних ужасов, Евгений вернулся к себе совсем новым и счастливым человеком. Пережив все то, что переживают мужья при родах, он еще сильнее полюбил жену. Чувство к ребенку, когда он его брал на руки, было смешное, новое, очень приятное, точно щекотное чувство. Еще новое в его жизни теперь было то, что, кроме занятия хозяйством, в его душе благодаря сближению с Думчиным (бывший предводитель) возник новый интерес земский, отчасти честолюбивый, отчасти сознания долга. В октябре должно было быть экстренное собрание, в котором его должны были выбрать. Приехав домой, он раз съездил в город, другой раз к Думчину.

О мучениях соблазна и борьбы он забыл и думать и с трудом мог восстановить их в своем воображении. Это представлялось ему чем-то вроде припадка сумасшествия, которому он подвергся.

До такой степени теперь он чувствовал себя свободным от этого, что он даже не побоялся спросить при первом случае, когда они остались одни, у приказчика. Так как он уж говорил с ним об этом, ему не совестно было спросить.

— Ну что, Пчельников Сидор все не живет дома? — спросил он.

— Нет, все в городе.

— А баба его?

— Да пустая бабенка! Теперь с Зиновеем путается. Совсем заболталась.

«Ну и прекрасно, — подумал Евгений. — Как удивительно мне все равно и как я изменился».

Совершилось все, чего желал Евгений. Именье осталось за ним, завод пошел, выход свекловицы был прекрасный, и доход ожидался большой; жена благополучно родила, и теща уехала, и его выбрали единогласно.

Евгений после избрания возвращался домой из города. Его поздравляли, он должен был благодарить. И он обедал и выпил бокалов пять шампанского. Со всем новые планы жизни теперь представились ему. Он ехал домой и думал о них. Было бабье лето. Прекрасная дорога, яркое солнце. Подъезжая к дому, Евгений думал о том, как он вследствие этого избрания займет в народе именно то положение, о котором он всегда мечтал, то есть такое, в котором он в состоянии будет служить ему не одним производством, которое даст работу, но прямым влиянием. Он представлял себе, как об нем через три года будут судить его же и другие крестьяне. «Вот и этот», — думал он, проезжая в это время по деревне и глядя на мужика и бабу, которые шли ему поперек дороги с полным ушатом. Они остановились, пропуская тарантас. Мужик был старик Пчельников, баба была Степанида. Евгений взглянул на нее, узнал ее и с радостью почувствовал, что он остался совершенно спокойным. Она была все так же миловидна, но его это не тронуло нисколько. Он приехал домой. Жена встретила на крыльце. Был чудный вечер.

— Ну что, можно поздравить? — сказал дядюшка.

— Да, выбрали.

— Ну и прекрасно. Спрыснуть надо.

На другое утро Евгений поехал по хозяйству, которое он запустил. На хуторе молотилка новая работала. Рассматривая ее работу, Евгений ходил между баб, стараясь не замечать их, но как он ни старался, он раза два заметил черные глаза и красный платок Степаниды, носившей солому. Раза два он покосился на нее и почувствовал, что опять что-то, но не мог дать себе отчета. Только на другой день, когда он опять поехал на гумно хутора и пробыл там два часа, чего совсем не нужно

было, не переставая глазами ласкать знакомый красивый образ молодой женщины, он почувствовал, что он погиб, погиб совсем, безвозвратно. Опять эти мученья, опять весь этот ужас и страх. И нет спасенья.

То, чего он ожидал, то и случилось с ним. На другой день вечером он, сам не зная как, очутился у ее задворков, против ее сенного сарая, где один раз осенью у них было свиданье. Он, как будто гуляя, остановился тут, закуривая папироску. Баба-соседка увидала его, и он, проходя назад, услышал как она говорила кому-то: — Иди, дожидается, сейчас умереть, стоит. Иди, дура!

Он видел, как баба — она — побежала к сараю, но ему нельзя уже было вернуться, потому что его встретил мужик, и он пошел домой.

XX

Когда он пришел в гостиную, все ему показалось дико и неестественно. Утром он встал еще бодрый, с решением бросить, забыть, не позволять себе думать. Но, сам не замечая как, он все утро не только не интересовался делами, но старался освободиться от них. То, что прежде важно было, радовало его, было теперь ничтожно. Он бессознательно старался освободиться от дел. Ему казалось, что нужно освободиться для того, чтобы обсудить, обдумать. И он освободился и остался один. Но как только остался один, так он пошел бродить в сад, в лес. И все места эти были загажены воспоминаниями, воспоминаниями, захватывающими его. И он почувствовал, что он ходит в саду и говорит себе, что обдумывает что-то, а он ничего не обдумывает, а безумно, безосновательно ждет ее, ждет того, что она каким-то чудом поймет, как он желает ее, и возьмет и придет сюда или куда-нибудь туда, где никто не увидит, или ночью, когда не будет луны, и никто, даже она сама, не увидит, в такую ночь она придет, и он коснется ее тела...

«Да, вот и перервал, когда захотел, — говорил он себе. — Да, вот и для здоровья сошелся с чистой, здоро-

вой женщиной! Нет, видно, нельзя так играть с ней. Я думал, что я ее взял, а она взяла меня, взяла и не пустила. Ведь я думал, что я свободен, а я не был свободен. Я обманывал себя, когда женился. Все было вздор, обман. С тех пор как я сошелся с ней, я испытал новое чувство, настоящее чувство мужа. Да, мне надо было жить с ней.

Да, две жизни возможны для меня; одна та, которую я начал с Лизой: служба, хозяйство, ребенок, уважение людей. Если эта жизнь, то надо, чтоб ее, Степаниды, не было. Надо услать ее, как я говорил, или уничтожить ее, чтоб ее не было. А другая жизнь — это тут же. Отнять ее у мужа, дать ему денег, забыть про стыд и позор и жить с ней. Но тогда надо, чтоб Лизы не было и Мими (ребенка). Нет, что же, ребенок не мешает, но чтоб Лизы не было, чтоб она уехала. Чтоб она узнала, прокляла и уехала. Узнала, что я променял ее на бабу, что я обманщик, подлец. Нет, это слишком ужасно! Этого нельзя. Да, но может и так быть, — продолжал он думать, — может так быть. Лиза заболает да умрет. Умрет, и тогда все будет прекрасно.

Прекрасно! О негодяй! Нет, уж если умирать, то ей. Кабы она умерла, Степанида, как бы хорошо было.

Да, вот как отравляют или убивают жен или любовниц. Взять револьвер и пойти вызвать и, вместо объятий, в грудь. И кончено.

Ведь она черт. Прямо черт. Ведь она против воли моей завладела мною. Убить? да. Только два выхода: убить жену или ее. Потому что так жить нельзя¹. Нельзя. Надо обдумать и предвидеть. Если остаться так, как есть, то что будет?

Будет то, что я опять себе скажу, что я не хочу, что я брошу, но я только скажу, а буду вечером на задворках, и она знает, и она придет. И или люди узнают и скажут жене, или я сам скажу ей, потому что не могу я лгать, не могу я так жить. Не могу. Узнается. Все узнают, и Параша, и кузнец. Ну и что же, разве можно жить так?

¹ С этого места начинается вариант конца повести.

Нельзя. Только два выхода: жену убить или ее. Да еще...

Ах, да, третий есть: себя, — сказал он тихо вслух, и вдруг мороз пробежал у него по коже. — Да, себя, тогда не нужно их убивать». Ему стало страшно именно потому, что он чувствовал, что только этот выход возможен. «Револьвер есть. Неужели я убью себя? Вот чего не думал никогда. Как это странно будет».

Он вернулся к себе в комнату и тотчас открыл шкаф, где был револьвер. Но не успел он открыть его, как вошла жена.

XXI

Он накинул газету на револьвер.

— Опять то же, — с испугом сказала она, взглянув на него.

— Что то же?

— То же ужасное выражение, которое было прежде, когда ты не хотел мне сказать. Геня, голубчик, скажи мне. Я вижу, ты мучаешься. Скажи мне, тебе легче будет. Что бы ни было, все лучше этих твоих страданий. Ведь я знаю, что ничего дурного.

— Ты знаешь? Пока.

— Скажи, скажи, скажи. Не пушу тебя.

Он улыбнулся жалкой улыбкой.

«Сказать? Нет, это невозможно. Да и нечего говорить».

Может быть, он сказал бы ей, но в это время вошла кормилица, спрашивая, можно ли идти гулять. Лиза вышла одеть ребенка.

— Так ты скажешь. Я сейчас приду.

— Да, может быть...

Она никогда не могла забыть улыбки страдальческой, с которой он сказал это. Она вышла.

Поспешно, крадучись, как разбойник, он схватил револьвер, вынул из чехла. «Он заряжен, да, но давно, и одного заряда недостает. Ну, что будет».

Он приставил к виску, замялся было, но как только вспомнил Степаниду, решение не видеть, борьбу, со-

блазн, падение, опять борьбу, так вздрогнул от ужаса. «Нет, лучше это». И пожал гашетку.

Когда Лиза вбежала в комнату, — она только что успела спуститься с балкона, — он лежал ничком на полу, черная, теплая кровь хлестала из раны, и труп еще подрагивал.

Было следствие. Никто не мог понять и объяснить причины самоубийства. Дядюшке даже ни разу не пришло в голову, что причина имела что-нибудь общего с тем признанием, которое два месяца тому назад ему делал Евгений.

Варвара Алексеевна уверяла, что она всегда предсказывала это. Это было видно, когда он спорил. Лиза и Марья Павловна обе никак не могли понять, отчего это случилось, и все-таки не верили тому, что говорили доктора, что он был душевнобольной. Они не могли никак согласиться с этим, потому что знали, что он был более здравомыслящ, чем сотни людей, которых они знали.

И действительно, если Евгений Иртенев был душевнобольной, то все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные — это несомненно те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят.

19 ноября 1889. Ясная Поляна

(ВАРИАНТ КОНЦА ПОВЕСТИ «ДЬЯВОЛ»)¹

...сказал он себе и, подойдя к столу, достал из него револьвер и, осмотрев его — одного заряда не доставало, — положил его в карман штанов.

— Боже мой! что я делаю? — вдруг вскрикнул он, и, сложив руки, он стал молиться. — Господи, помоги мне, избавь меня. Ты знаешь, что я не хочу дурного, но я не могу один. Помоги мне, — говорил он, крестясь на образ.

«Да я могу же владеть собой. Пойду похожу и обдумаю».

Он вышел в переднюю, надел полушубок, калоши и вышел на крыльцо. Не замечая этого, шаги его напра-

¹ См. стр. 269.

вились мимо сада по полевой дороге к хутору. На хуторе все еще гудела молотилка и слышались крики погонщиков-мальчиков. Он вошел в ригу. Она была тут. Он тотчас же увидел ее. Она сгребала колос, и, увидав его, она, смеясь глазами, бойкая, веселая, рысью побежала по раскиданному колосу, ловко сдвигая его. Евгений не хотел, но не мог не смотреть на нее. Он опомнился только, когда она перестала быть видима. Приказчик доложил, что теперь домолачивают слежавшиеся и что от этого дольше и выхода меньше. Евгений подошел к барабану, изредка стучавшему при пропуске плохо распластанных снопов, и спросил приказчика, много ли таких слежавшихся снопов.

— Возов пять будет.

— Так вот что... — начал Евгений и не договорил. Она подошла вплоть к барабану, из-под него выгребая колос, и обожгла его своим смеющимся взглядом.

Взгляд этот говорил о веселой, беззаботной любви между ними, о том, что она знает, что он желает ее, что он приходил к ее сараю, и что она, как всегда, готова жить и веселиться с ним, не думая ни о каких условиях и последствиях. Евгений почувствовал себя в ее власти, но не хотел сдаваться.

Он вспомнил свою молитву и попытался повторить ее. Он стал про себя говорить ее, но тотчас же почувствовал, что это было бесполезно.

Одна мысль теперь поглотила его всего: как незаметно от других назначить ей свидание?

— Если нынче кончим, прикажете начинать новый скирд или уж до завтра? — спросил приказчик.

— Да, да, — отвечал Евгений, невольно направляясь за нею к вороху, к которому она с другой бабой пригребала колос.

«Да неужели я не могу овладеть собой? — говорил он себе. — Неужели я погиб? Господи! Да нет никакого бога. Есть дьявол. И это она. Он овладел мной. А я не хочу, не хочу. Дьявол, да, дьявол».

Он подошел вплоть к ней, вынул из кармана револьвер и раз, два, три раза выстрелил ей в спину. Она побежала и упала на ворох.

— Батюшки! родимые! что ж это? — кричали бабы.

— Нет, я не нечаянно. Я нарочно убил ее, — кричал Евгений. — Посылайте за становым.

Он пришел домой и, ничего не сказав жене, вошел в свой кабинет и заперся.

— Не ходи ко мне, — кричал он жене через дверь, — узнаешь все.

Через час он позвонил и у пришедшего лакея спросил:

— Поди узнай, жива ли Степанида.

Лакей уж знал все и сказал, что померла с час назад.

— Ну и прекрасно. Теперь оставь меня. Когда придет становой или следователь, скажи.

Становой и следователь приехали на другое утро, и Евгений, простившись с женой и ребенком, был отвезен в острог.

Его судили. Это были первые времена суда присяжных. И его признали временно душевнобольным и приговорили только к церковному покаянию.

Он пробыл в остроге девять месяцев и в монастыре месяц.

Он начал пить еще в остроге, продолжал в монастыре и вернулся домой расслабленным, невменяемым алкоголиком.

Варвара Алексеевна уверяла, что она всегда предсказывала это. Это было видно, когда он спорил. Лиза и Марья Павловна обе никак не могли понять, отчего это случилось, и все-таки не верили тому, что говорили доктора, что он был душевнобольной, психопат. Они не могли никак согласиться с этим, потому что знали, что он был более здравомыслящий, чем сотни людей, которых они знали.

И действительно, если Евгений Иртнев был душевнобольной тогда, когда он совершил свое преступление, то все люди такие же душевнобольные, самые же душевнобольные — это несомненно те, которые в других людях видят признаки сумасшествия, которых в себе не видят.

ФРАНСУАЗА

Рассказ по Мопассану

I

3 мая 1882 года из Гавра отплыл в китайские моря трехмачтовый корабль «Богородица-Ветров». Он сдал свой груз в Китае, взял там новый груз, отвез его в Буэнос-Айрес и оттуда повез товары в Бразилию.

Переезды, повреждения, починки, затишья по несколько месяцев, ветры, сгонявшие корабль далеко с дороги; морские приключения и несчастья задерживали его так, что он четыре года проплавал по чужим морям и только 8 мая 1886 года пристал к Марселю с грузом жестяных ящиков с американскими консервами.

Когда вышел корабль из Гавра, на нем были капитан, его помощник и четырнадцать матросов. Во время путешествия один матрос умер, четыре пропали при разных приключениях и только девять воротились во Францию. Вместо выбывших матросов на корабле наняли двух американцев, одного негра и одного шведа, которого нашли в одном кабаке в Сингапуре.

На корабле подобрали паруса и завязали на мачте крест-накрест снасти. Подошел буксирный пароход и, пыхтя, потащил его на линию кораблей. Море было тихо, у берега еле-еле плескался остаток зыби. Корабль вошел в линию, где стояли вдоль набережной бок о бок корабли из всех стран света, и большие, и малые, вся-

ких размеров, форм и оснасток. «Богородица-Ветров» стала между итальянским бригам и английскою галеттой, которые потеснились, чтобы дать место новому товарищу.

Как только капитан разделался с таможенными и портовыми чиновниками, он отпустил половину матросов на всю ночь на берег.

Ночь была теплая, летняя. Марсель был весь освещен, на улицах пахло едой из кухонь, со всех сторон слышались говор, грохот колес и веселые крики.

Матросы с корабля «Богородица-Ветров» месяца четыре не были на суше и теперь, сойдя на берег, робко, по двое шли по городу, как чужие, отвыкшие от городов люди. Они осматривались, обнюхивая улицы, ближайšie к пристани, как будто чего-то искали. Четыре месяца они не видали женщин, и их мучала похоть. Впереди их шел Селестин Дюкло, здоровенный парень и ловкий. Он всегда водил других, когда они сходили на берег. Он умел находить хорошие места, умел и отделаться, когда надо было, и не ввязывался в драки, что частенько бывает с матросами, когда они сходят на берег; но если драка завязывалась, то он не отставал от товарищей и умел постоять за себя.

Долго матросы толкались по темным улицам, которые, как стоки, все спускались к морю и из которых несло тяжелым запахом подвалов и чуланов. Наконец Селестин выбрал один узкий переулок, в котором горели над дверями выпуклые фонари, и вошел в него. Матросы, зубоскаля и напевая, шли за ним. На матровых раскрашенных стеклах фонарей были выписаны огромные цифры. Под низкими потолками дверей сидели на соломенных стульях женщины в фартуках; они выскакивали при виде матросов и, выбегая на середину улицы, загораживали им дорогу и заманивали каждая в свой притон.

Иной раз в глубине сеней нечаянно распахивалась дверь. Из нее показывалась полураздетая девка в грубых бумажных обтянутых штанах, в коротенькой юбке и в бархатном черном нагруднике с позолоченными позументами. «Эй, красавчики, заходите!» — звала она еще издали и иногда выбегала сама, цепляясь за кого-

нибудь из матросов и тащила его изо всех сил к дверям. Она впивалась в него, как паук, когда он волочит муху сильнее себя. Парень, размякший от похоти, упирался слабо, а остальные останавливались и смотрели, что будет; но Селестин Дюкло кричал: «Не здесь, не заходи; дальше!» И парень слушался его голоса и силой вырывался у девки. И матросы шли дальше, провожаемые бранью рассерженной девки. На шум вдоль всего переулка выскакивали другие, накидывались на них и хрипылыми голосами нахваливали свой товар. Так они шли все дальше и дальше. Изредка попадались им навстречу то солдаты, стучавшие шпорами, то поодиночке мещанин или приказчик, пробиравшиеся в знакомое место. В других переулках светились такие же фонари, но матросы шли дальше и дальше, шагая через вонючую жижу, сочившуюся из-под домов, полных женскими телами. Но вот Дюкло остановился около одного дома получше других и повел туда своих ребят.

II

Матросы сидели в большой зале трактира. Каждый из них выбрал себе подругу и уж не расставался с ней весь вечер: такой был обычай в трактире. Три стола были сдвинуты вместе, и матросы прежде всего выпили вместе с девками, потом они поднялись и пошли с ними наверх. Долго и громко стучали толстые башмаки двадцати ног по деревянным ступенькам, пока они все ввалились через узкие двери и разбрелись по спальным комнатам. Из спальных комнат они сходили опять вниз пить, потом опять шли наверх.

Гульба шла в развал. Все полугодичное жалованье пошло за четыре часа разгула. К одиннадцати часам они все были уже пьяны и с налитыми кровью глазами несвязно кричали, сами не зная что. У каждого на коленях сидела девка. Кто пел, кто кричал, кто стучал кулаком по столу, кто лил себе в глотку вино. Селестин Дюкло сидел среди товарищей. Верхом у него на коленке сидела крупная, толстая, краснощекая девка. Он выпил не меньше других, но не был еще совсем пьян;

у него в голове бродили кое-какие мысли. Он разнежился и искал, о чем бы заговорить с своею подружкой. Но мысли приходили ему и тотчас же уходили, и он никак не мог поймать их, вспомнить и высказать.

Он смеялся и говорил:

— Так, так-то... так-то... И давно уж ты здесь?

— Шесть месяцев, — отвечала девка.

Он кивнул головой, как будто одобрял ее за это.

— Ну что же, и хорошо тебе?

Она подумала.

— Привыкла, — сказала она. — Надо же как-нибудь. Все же лучше, чем в прислугах или прачках.

Он одобрительно кивнул головой, как будто и за это он одобрял ее.

— И ты не здешняя?

Она покачала головой в знак того, что не здешняя.

— Дальняя?

Она кивнула.

— А откуда?

Она подумала, как будто припомнила.

— Из Перпиньяна я, — проговорила она.

— Так, так, — проговорил он и замолчал.

— А ты что же, моряк? — спросила теперь она.

— Да, моряки мы.

— Что ж, далеко были?

— Да не близко. Всего насмотрелись.

— Пожалуй, и вокруг света ездили?

— Не то что раз, чуть не два раза объехали.

Она как будто раздумывала, припоминая что-то.

— Я чай, много встречали кораблей? — сказала она.

— А то как же.

— Не попадалась вам «Богородица-Ветров»? Такой корабль есть.

Он удивился, что она назвала его корабль, и вздумал пошутить.

— Как же, на прошлой неделе встретили.

— Правду, в самом деле? — спросила она и поблела.

— Правду.

— Не врешь?

— Ей-богу, — побожился он.

— Ну, а не видал ты там Селестина Дюкло? — спросила она.

— Селестина Дюкло? — повторил он и удивился и испугался даже. Откуда могла она знать его имя?

— А его разве знаешь? — спросил он.

Видно было, что и она чего-то испугалась.

— Нет, не я, а женщина тут одна его знает.

— Какая женщина? Из этого дома?

— Нет, тут поблизости.

— Где же поблизости?

— Да недалеко.

— Кто же она такая?

— Да просто женщина, такая же, как я.

— А зачем же он ей нужен?

— Почему же я знаю. Может, землячка его.

Они пытливо смотрели прямо в глаза друг другу.

— Хотелось бы мне повидаться с этой женщиной, — сказал он.

— А зачем? Сказать что хочешь?

— Сказать...

— Что сказать?

— Сказать, что видел Селестина Дюкло.

— А ты видел Селестина Дюкло? И жив он, здоров?

— Здоров. А что?

Она замолчала, опять собираясь с мыслями, и потом тихо сказала:

— А куда же идет «Богородица-Ветров»?

— Куда? В Марсель.

— Правду?! — вскрикнула она.

— Правду.

— И ты знаешь Дюкло?

— Да ведь сказал, что знаю.

Она подумала.

— Так, так. Это хорошо, — тихонько сказала она.

— Да зачем он тебе?

— А коли увидишь его, ты ему скажи... Нет, не надо.

— Да что?

— Нет, ничего.

Он смотрел на нее и тревожился все больше и больше.

— Да ты-то знаешь его? — спросил он.

— Нет, не знаю.

— Так зачем же он тебе?

Она, не отвечая, вдруг вскочила и побежала к конторке, за которой сидела хозяйка, взяла лимон, разрежала его, надавила соку в стакан, потом налила туда воды и подала Селестину.

— На, выпей-ка, — сказала она и села, как и прежде сидела, ему на колени.

— Это зачем? — спросил он, взяв от нее стакан.

— Чтоб хмель прошел. Потом скажу. Пей.

Он выпил и утер рукавом губы.

— Ну, говори, я слушаю.

— Да ты не скажешь ему, что меня видел, не скажешь, от кого слышал то, что скажу?

— Ну хорошо, не скажу.

— Побожись!

Он побожился.

— Ей-богу?

— Ей-богу.

— Так ты ему скажи, что его отец умер и мать померла, брат тоже помер. Горячка была. В один месяц все трое померли.

Дюкло почувствовал, что вся кровь его стеснилась у сердца. Несколько минут просидел он молча, не зная, что сказать, потом выговорил:

— И ты верно знаешь?

— Верно.

— Кто ж тебе сказал?

Она положила руки ему на плечи и посмотрела прямо в глаза.

— Побожись, что не разболтаешь.

— Ну, побожился. Ей-богу.

— Я сестра ему.

— Франсуаза! — вскрикнул он.

Она пристально посмотрела на него и тихо-тихо пошевелила губами, почти не выпуская слов:

— Так это ты, Селестин!!

Они не шевелились, замерли, как были, смотря в глаза друг другу.

А вокруг них остальные орали пьяными голосами. Звон стаканов, стук ладонями и каблуками и пронзительный визг женщин перемешивались с гамом песен.

— Как же это так? — тихо, так тихо, что даже она едва-едва разобрала его слова, проговорил он.

Глаза ее вдруг налились слезами.

— Да так, померли. Все трое в один месяц, — продолжала она. — Что ж мне было делать? Осталась я одна. В аптеку, да к доктору, за похороны тронх... продала, что было вещей, расплатилась и осталась в чем была. Поступила в прислуги к барину Кашо... помнишь, хромой такой? Мне только что пятнадцать лет минуло, мне ведь и четырнадцати еще не было, когда ты-то уехал. С ним согрешила... Дура ведь наша сестра. Потом в няньки поступила к нотариусу, он тоже. Сначала взял на содержание, жила на квартире. Да недолго. Бросил он меня, я три дня не евши жила, никто не берет, и поступила вот сюда, как и прочие.

Она говорила, и слезы ручьем текли у ней из глаз, из носа, мочили щеки и вливались в рот.

— Что ж это мы наделали! — проговорил он.

— Я думала, и ты тоже умер, — сказала она сквозь слезы. — Разве это от меня, — прошептала она.

— Как же ты меня не узнала? — также шепотом сказал он.

— Я не знаю, я не виновата, — продолжала она и еще пуще заплакала.

— Разве я мог узнать тебя? Разве ты такая была, когда я уехал? Ты-то как не узнала?

Она с отчаянием махнула рукой.

— Ах! я их столько, этих мужчин, вижу, что они мне все на одно лицо.

Сердце его сжималось так больно и так сильно, что ему хотелось кричать и реветь, как маленькому мальчику, когда его бьют.

Он поднялся, отстранил ее от себя и, схватив своими большими матросскими лапами ее голову, пристально стал вглядываться в ее лицо.

Мало-помалу он узнал в ней, наконец, ту маленькую, тоненькую и веселенькую девочку, которую он оставил дома с теми, кому она закрыла глаза.

— Да, ты Франсуаза! сестра! — проговорил он. И вдруг рыдания, тяжелые рыдания мужчины, похожие на икоту пьяницы, поднялись в его горле. Он отпустил ее голову, ударил по столу так, что стаканы опрокинулись и разлетелись вдребезги, и закричал диким голосом.

Товарищи его обратились к нему и устали на него.

— Вишь, как надулся, — сказал один.

— Будет орать-то, — сказал другой.

— Эй! Дюкло! Что орешь? Идем опять наверх, — сказал третий, одной рукой дергая Селестина за рукав, а другой обнимая свою хохотавшую, раскрасневшуюся, с блестящими черными глазами подругу в шелковом розовом открытом лифе.

Дюкло вдруг замолк и, затаив дыхание, устал на товарищей. Потом с тем странным и решительным выражением, с которым, бывало, вступал в драку, он, шатаясь, подошел к матросу, обнимавшему девку, и ударил рукой между им и девкой, разделяя их.

— Прочь! разве не видишь, она сестра тебе! Все они кому-нибудь да сестры. Вот и эта, сестра Франсуаза. Ха-ха-ха-ха!.. — зарыдал он рыданиями, похожими на хохот, и он зашатался, поднял руки и грянулся лицом на пол и стал кататься по полу, колотясь о него и руками и ногами, хрипя, как умирающий.

— Надо его уложить спать, — сказал один из товарищей, — а то как бы на улице не засадили его.

И они подняли Селестина и втащили наверх в комнату Франсуазы и уложили его на ее постель.

ДОРОГО СТОИТ

Быль

Рассказ по Мопассану

Есть между Францией и Италией, на берегу Средиземного моря, маленькое, крошечное царство. Называется это царство Монако. В царстве этом жителей меньше, чем в большом селе, всего семь тысяч, а земли столько, что не хватит по десятине на душу. Но царек в царстве есть настоящий. Есть у этого царька и дворец, и придворные, и министры, и архиереи, и генералы, и войско.

Немного войска, всего шестьдесят человек, но все-таки войско. Доходов у царька мало. Налог есть, как и везде, и на табак, и на вино, и на водку, и подушные; и хоть пьют и курят, но народа мало, и нечем бы царьку кормить своих придворных и чиновников и самому прокормиться, кабы не было у него особого дохода. А особый доход у него в царстве с игорного заведения — рулетки. Люди играют, проигрывают, выигрывают, а содержателю всегда барыш. А с дохода содержатель царьку платит большие деньги. А большие деньги потому платит, что осталось такое игорное заведение теперь только одно во всей Европе. Прежде были также игорные заведения у маленьких немецких князьков, но их лет десять тому назад запретили. А запретили за то, что от игорных заведений много бед бывало. Придет какой-нибудь, начнет играть, зарвется,

спустит все, что есть, и даже чужие деньги, а потом с горя либо топится, либо стреляется. Немцы своим князькам запретили, а монахскому царьку запретить некому: у него одного осталось.

И с тех пор все охотники поиграть к нему едут, у него проигрываются, а ему барыш. От трудов праведных не наживешь палат каменных. Знает и монахский царек, что дело это скверное, да как же быть-то? Жить надо. Ведь и с водки и с табаку кормиться не лучше. Так и живет этот царек, царствует, денежки огребает и ведет у себя во дворце все порядки, как у настоящих больших королей. Так же коронуется и выходы делает, и награды раздает, и казнит, и милует, и так же у него парады, и советы, и законы, и суды. Все как и у настоящих королей. Одно — что все маленькое.

И вот случилось раз, лет пять тому назад, у короля этого в царстве смертоубийство. Народ в царстве смирный, и прежде таких дел не бывало. Собрались судьи, всё честь честью, стали судить, все как должно. И судьи, и прокуроры, и присяжные, и адвокаты. Судили, судили и присудили по закону отрубить преступнику голову. Хорошо. Представили королю. Прочел король приговор, утвердил. Казнить так казнить. Одна беда: нет у них в царстве ни гильотины, чтоб голову рубить, ни палача. Подумали, подумали министры и решили написать французскому правительству запрос: могут ли французы выслать им на время машину и мастера, чтобы отсечь преступнику голову, и, если можно, чтоб уведомили, сколько понадобится на это дело расходов. Послали бумагу. Через неделю получают ответ: прислать машину и палача можно, расходу за все шестнадцать тысяч франков. Доложили царьку. Подумал, подумал царек — шестнадцать тысяч франков! «Не стоит, говорит, негодяй этих денег. Нельзя ли как подешевле? А то шестнадцать тысяч франков — ведь это значит по два франка с лишком налога наложить на каждого жителя. Тяжело покажется. Как бы не взбунтовались». Собрали совет — как делу помочь? Решили послать с тем же к итальянскому королю. Французское правительство — республика, царей не уважает, а король итальянский все-таки свой брат,

авось дешевле возьмет. Написали; получают скоро ответ. Пишет итальянское правительство, что и машину и мастера они пришлют с удовольствием. А что стоит все со всем, с проездом, будет двенадцать тысяч франков. Дешевле, а все дорого. Опять не стоит мерзавец денег таких. Выходит опять без малого по два франка на человека надо накладывать. Опять собрался совет. Думали, думали — нельзя ли как подешевле? Не возьмется ли из солдат кто по-домашнему отрубить голову? Позвали генерала. «Что, не найдется ли солдат какой, чтобы отрубить голову? Все равно ведь на войне убивают. Солдат на то ведь и готовят». Поговорил генерал с солдатами — не возьмется ли кто? Не взялись солдаты. «Нет, говорят, мы этого не умеем и не учились».

Как быть? Опять думали, думали, собрали комитет, комиссию, подкомиссию. Передумали. Надо, говорят, смертную казнь заменить тюрьмой вечной. И милосердие покажет царь, и расходов меньше. Согласился царек, и так и решили. Одно горе — такой тюрьмы особенной нет, чтобы запереть на вечное время. Есть кутузки, так, легонькие, куда на время сажают, а прочной тюрьмы, чтобы навечно запереть, — нет такой. Ну, все-таки приискали помещение. Посадили молодца. Приставили сторожа.

Сторож и караулит и за едой для преступника на кухню во дворец ходит. Сидит так молодец шесть месяцев, сидит год. Стал царек сверять в конце года расходы и приходы, видит: на содержанье преступника новый расход, да и не малый. Сторож особый да пища. В год шестьсот франков обошлось. А малый молодой, здоровый, пожалуй лет пятьдесят проживет. Сочти-ка, во что станет. Расход большой. Нельзя так. Позвал царек министров: «Придумайте, говорит, как бы нам с этим негодяем подешевле разделаться. А то он нам так дорого станет». Собрались министры, думали, думали. Один и говорит: «Вот что, господа, — по-моему, отставить сторожа». А другой говорит: «Да ведь он уйдет». — «А уйдет, и пес с ним». Доложили царьку. Согласился и царь. Отставили сторожа. Смотрят, что будет. Только видят: пришло время обедать, вышел преступник, поискал сторожа, не нашел и пошел на кухню

королевскую себе за обедом. Забрал, что дали, вернулся в тюрьму, запер за собой дверь и сидит. На-завтра то же. За пиццей себе ходит, а уходит — не уходит. Как быть? Подумали. Надо, говорят, ему прямо сказать, что не нужен он нам. Пускай уходит. Хорошо. Призывает его к себе министр юстиции и говорит: «Отчего вы, говорит, не уходите? Сторожа при вас нет. Можете свободно уйти, и царь не обидится». — «Царь-то, говорит, не обидится, да мне-то идти некуда. Куда я пойду? Вы меня приговором осрамили, меня никто не возьмет теперь, я от всех дел отстал. Вы, говорит, со мной неправильно поступаете. Так делать не годится. Ну, приговорили вы меня к смертной казни, хорошо. Надо было вам меня казнить, вы не казнили. Это раз. Я не стал спорить. Потом приговорили вы меня к вечной тюрьме и сторожа приставили, чтоб он мне пищу носил, потом отняли у меня сторожа. Это два. Опять я не стал спорить. Сам ходил за едой. Теперь вы говорите: уходи. Нет, вы как хотите, а я никуда не пойду».

Как быть? Собрали опять совет. Что делать? Не уходит. Подумали, подумали. Надо ему пенсион назначить. Без этого не отделаешься от него. Доложили царьку. «Нечего делать, говорит, хоть как-нибудь с ним разделаться». Назначили ему шестьсот франков, объявили ему. «Ну, пожалуй, говорит, если будете верно платить, пожалуй уйду».

Так и порешили. Получил он треть вперед, простился со всеми и выехал из владений царька. Всего четверть часа езды по железной дороге. Выехал, поселился поблизости, купил землицы, развел огород, садик и живет припеваючи. Ездит в сроки получать пенсион. Получит, зайдет в игорный, поставит франка дватри, иногда выиграет, иногда проиграет и сдет к себе домой. Живет смирно, хорошо.

Хорошо, что грех случился с ним не там, где не жалеют расходов ни на то, чтобы отрубить голову человеку, ни на вечные тюрьмы.

КАРМА¹

Посылаю вам переведенную мною из американского журнала «Open Court» буддийскую сказочку под заглавием «Карма». Сказочка эта очень понравилась мне и своей наивностью, и своей глубиной. Особенно хорошо в ней разъяснение той, часто с разных сторон в последнее время затемняемой истины, что избавление от зла и приобретение блага добывается только своим усилием, что нет и не может быть такого приспособления, посредством которого, помимо своего личного усилия, достигалось бы свое или общее благо. Разъяснение это в особенности хорошо тем, что тут же показывается и то, что благо отдельного человека только тогда истинное благо, когда оно благо общее. Как только разбойник, вылезавший из ада, пожелал блага себе одному, так его благо перестало быть благом, и он оборвался. Сказочка эта как бы с новой стороны освещает две основные, открытые христианством, истины: о том, что жизнь только в отречении от личности — кто погубит душу, тот обретет ее, — и что благо людей только в их единении с богом и через бога между собою: «Как

¹ «Карма» есть буддийское верование, состоящее в том, что не только склад характера каждого человека, но и вся судьба в этой жизни есть последствие его поступков в предшествующей жизни и что добро или зло нашей будущей жизни точно так же будет зависеть от тех наших усилий избежать зла и совершения добра, которые мы сделали в этой. (Прим. Л. Н. Толстого.)

ты во мне и я в тебе, так и они да будут в нас едино...»
Иоан. XVII, 21.

Я читал эту сказочку детям, и она нравилась им. Среди больших же после чтения ее всегда возникали разговоры о самых важных вопросах жизни. И мне кажется, что это очень хорошая рекомендация.

Р. С. Письмо это для печати.

Л. Толстой

Панду, богатый ювелир браминской касты, ехал с своим слугой в Бенарес. Догнав по пути монаха почтенного вида, который шел по тому же направлению, он подумал сам с собой: «Этот монах имеет благородный и святой вид. Общение с добрыми людьми приносит счастье; если он также идет в Бенарес, я приглашу его ехать со мной в моей колеснице». И, поклонившись монаху, он спросил его, куда он идет, и, узнав, что монах, имя которого было Нарада, идет также в Бенарес, он пригласил его в свою колесницу.

— Благодарю вас за вашу доброту, — сказал монах брамину, — я, действительно, измучен продолжительным путешествием. Не имея собственности, я не могу вознаградить вас деньгами, но может случиться, что я буду в состоянии воздать вам каким-либо духовным сокровищем из богатства знания, которое я приобрел, следуя учению Сакия Муни, блаженного великого Будды, учителя человечества.

Они поехали вместе в колеснице, и Панду дорогою слушал с удовольствием поучительные речи Нарада. Проехав один час, они подъехали к месту, где дорога была размыта с обеих сторон и телега земледельца с сломанным колесом загоразивала путь.

Девала, владетель телеги, ехал в Бенарес, чтобы продать свой рис, и торопился поспеть до зари следующего утра. Если бы он опоздал днем, покупатели риса могли уже уехать из города, скупив нужное им количество риса.

Когда ювелир увидал, что он не может продолжать путь, если телега земледельца не будет сдвинута, он рассердился и приказал Магадуге, рабу своему, сдвинуть телегу в сторону, так, чтобы колесница могла про-

ехать. Земледелец противился, потому что воз его лежал так близко к обрыву, что мог рассыпаться, если его тронуть, но брамин не хотел слушать земледельца и приказал своему слуге сбросить воз с рисом. Магадута, необыкновенно сильный человек, находивший удовольствие в оскорблении людей, повиновался, прежде чем монах мог вступиться, и сбросил воз. Когда Панду проехал и хотел продолжать свой путь, монах выскочил из его колесницы и сказал:

— Извините меня, господин, за то, что я покидаю вас. Благодарю вас за то, что вы по своей доброте позволили мне проехать один час в вашей колеснице. Я был измучен, когда вы посадили меня, но теперь благодаря вашей любезности я отдохнул. Признав же в этом земледельце воплощение одного из ваших предков, я не могу ничем лучше вознаградить вас за вашу доброту, как тем, чтобы помочь ему в его несчастье.

Брамин взглянул с удивлением на монаха.

— Вы говорите, что этот земледелец есть воплощение одного из моих предков; этого не может быть.

— Я знаю, — отвечал монах, — что вам неизвестны те сложные и значительные связи, которые соединяют вас с судьбою этого земледельца. Но от слепого нельзя ожидать того, чтобы он видел, и потому я сожалею о том, что вы вредите сами себе, и постараюсь защитить вас от тех ран, которые вы собираетесь нанести себе.

Богатый купец не привык к тому, чтобы его укоряли; чувствуя же, что слова монаха, хотя и сказанные с большой добротой, содержали в себе язвительный упрек, он приказал слуге своему тотчас же ехать далее.

Монах поздоровался с Девалой-земледельцем и стал помогать ему в починке его телеги и в том, чтобы подбрать рассыпавшийся рис. Дело шло быстро, и Девала подумал:

«Этот монах, должно быть, святой человек, — ему как будто помогают невидимые духи. Спрошу его, чем я заслужил жестокое со мной обращение гордого брамина».

И он сказал:

— Почтенный господин! не можете ли вы сказать мне, за что я потерпел несправедливость от человека, которому я никогда не сделал ничего худого?

Монах сказал:

— Любезный друг, вы не потерпели несправедливости, но только потерпели в теперешнем существовании то, что вы совершили над этим брамином в прежней жизни. И я не ошибусь, сказавши, что даже и теперь вы бы сделали над брамином то же самое, что он сделал с вами, если бы были на его месте и имели такого же сильного слугу.

Земледелец признался, что если бы он имел власть, то не раскаялся бы, поступив с другим человеком, загородившим ему дорогу, так же, как брамин поступил с ним.

Рис был убран в воз, и монах с земледельцем приближались уже к Бенаресу, когда лошадь вдруг шархнула в сторону.

— Змея, змея! — воскликнул земледелец.

Но монах, пристально взглянув на предмет, испугавший лошадь, соскочил с телеги и увидел, что это был кошелек, полный золота.

«Никто, кроме богатого ювелира, не мог потерять этот кошелек», — подумал он и, взяв кошелек, подал его земледельцу, сказав:

— Возьмите этот кошелек и, когда будете в Бенаресе, подъезжайте к гостинице, которую я укажу вам, спросите брамина Панду и отдайте кошелек. Он будет извиняться перед вами за грубость своего поступка, но вы скажите ему, что вы простили его и желаете ему успеха во всех его предприятиях, потому что, верьте мне, чем больше будут его успехи, тем лучше это будет для вас. Ваша судьба во многом зависит от его судьбы. Если бы Панду спросил у вас объяснений, то пошлите его в монастырь, где он всегда найдет меня в готовности помочь ему советом, если совет нужен ему.

Панду между тем приехал в Бенарес и встретил Малмеку, своего торгового приятеля, богатого банкира.

— Я погиб, — сказал Малмека, — и не могу делать никаких дел, если нынче же не куплю воз лучшего риса для царской кухни. Есть в Бенаресе мой враг банкир, который, узнав то, что я сделал условие с царским дворецким о том, что я доставляю ему сегодня утром воз риса, желая погубить меня, скупил весь рис в Бена-

ресе. Царский дворецкий не освободит меня от условия, и завтра я пропал, если Кришна не пошлет мне ангела с неба.

В то время как Малмека жаловался на свое несчастье, Панду хватился своего кошелька. Обыскав свою колесницу и не найдя его, он заподозрил своего раба Магадуту и призвал полицейских, обвинил его и, велев привязать его, жестоко мучил, чтобы вынудить от него признание. Раб кричал, страдая:

— Я невиновен, отпустите меня! Я не могу переносить этих мук! Я совершенно невинен в этом преступлении и страдаю теперь за грехи других! О, если бы я мог выпросить прощение у того земледельца, которому я сделал зло ради моего хозяина! Мучения эти, верно, служат наказанием за мою жестокость.

В то время как полицейские еще продолжали бить раба, земледелец подъехал к гостинице и, к великому удивлению всех, подал кошелек. Раба тотчас же освободили из рук его мучителей, но, будучи недоволен своим хозяином, он убежал от него и присоединился к шайке разбойников, живших в горах. Когда же Малмека услышал, что земледелец может продать самого лучшего рису, годного для царского стола, он тотчас же купил весь воз за тройную цену, а Панду, радуясь в сердце своем возвращению денег, тотчас же поспешил в монастырь, чтобы получить от монаха те объяснения, которые он обещал ему.

Нарада сказал:

— Я бы мог дать вам объяснение, но, зная, что вы не способны понять духовную истину, я предпочитаю молчание. Однако я дам вам общий совет: обращайтесь с каждым человеком, которого вы встретите, так же, как с самим собой, служите ему так же, как вы желали бы, чтобы вам служили. Таким образом, вы посете семья добрых дел, и богатая жатва их не минует вас.

— О монах! дайте мне объяснение, — сказал Панду, — и мне легче будет тогда следовать вашему совету.

И монах сказал:

— Слушайте же, я дам вам ключ к тайне: если вы и не поймете ее, верьте тому, что я скажу вам. Считать

себя отдельным существом есть обман, и тот, кто направляет свой ум на то, чтобы исполнять волю этого отдельного существа, следует за ложным светом, который приведет его в бездну греха. То, что мы считаем себя отдельными существами, происходит оттого, что покрывало Майи ослепляет наши глаза и мешает нам видеть неразрывную связь с нашими ближними, мешает нам проследить наше единство с душами других существ. Немногие знают эту истину. Пусть следующие слова будут вашим талисманом:

«Тот, кто вредит другим, делает зло себе.

Тот, кто помогает другим, делает добро себе.

Перестаньте считать себя отдельным существом — и вы вступите на путь истины.

Для того, чье зрение омрачено покрывалом Майи, весь мир кажется разрезанным на бесчисленные личности. И такой человек не может понимать значения всеобъемлющей любви ко всему живому».

Панду отвечал:

— Ваши слова, почтенный господин, имеют глубокое значение, и я запомню их. Я сделал небольшое добро, которое мне ничего не стоило, для бедного монаха во время моей поездки в Бенарес, и вот как благодетельны оказались его последствия. Я много обязан вам, потому что без вас я не только потерял бы свой кошелек, но не мог бы делать в Бенаресе тех торговых дел, которые значительно увеличили мое состояние. Кроме того, ваша заботливость и прибытие воза риса содействовали благосостоянию моего друга Малмеки. Если бы все люди познали истину ваших правил, насколько лучше бы был наш мир, как уменьшилось бы зло в нем и возвысилось общее благосостояние! Я желал бы, чтобы истина Будды была понята всеми, и потому я хочу основать монастырь в моей родине Колшамби и приглашаю вас посетить меня с тем, чтобы я мог посвятить это место для братства учеников Будды.

Прошли годы, и основанный Панду монастырь Колшамби сделался местом собрания мудрых монахов и стал известным как центр просвещения для народа.

В это время соседний царь, услышав о красоте драгоценных украшений, приготовляемых Панду, послал к нему своего казначея, чтобы заказать корону чистого золота, украшенную самыми драгоценными камнями Индии.

Когда Панду окончил эту работу, он поехал в столицу царя и, надеясь делать там торговые дела, взял с собой большой запас золота. Караван, везший его драгоценности, был охраняем вооруженными людьми, но когда он достиг гор, то разбойники, с Магадудой, ставшим атаманом их, во главе, напали на него, побили охрану и захватили все драгоценные камни и золото. Сам Панду едва спасся. Это несчастье было большим ударом для благосостояния Панду: богатство его значительно уменьшилось.

Панду был очень огорчен, но переносил свои несчастья без ропота; он думал: «Я заслужил эти потери грехами, совершенными мною в моей прежней жизни. Я в молодости был жесток с народом; и если я теперь пожинаю плоды своих дурных дел, то мне нельзя жаловаться».

Так как он стал много добрее ко всем существам, то несчастья его послужили только к очищению его сердца.

Опять прошли годы, и случилось, что Пантака, молодой монах и ученик Нарады, путешествуя в горах Колшамби, попал в руки разбойников. Так как у него не было никакой собственности, атаман разбойников крепко избил его и отпустил.

На следующее утро Пантака, идя через лес, услышал шум битвы и, придя на этот шум, увидел много разбойников, которые с бешенством нападали на своего атамана Магадуду.

Магадута, как лев, окруженный собаками, отбивался от них и убил многих из нападавших. Но врагов его было слишком много, и под конец он был побежден и упал на землю замертво, покрытый ранами.

Как только разбойники ушли, молодой монах подошел к лежавшим, желая подать помощь раненым. Но все разбойники были уже мертвы, только в начальнике их оставалось немного жизни. Монах тотчас же напра-

вился к ручейку, бежавшему недалеко, принес свежей воды в своем кувшине и подал умирающему.

Магадута открыл глаза и, скрипя зубами, сказал:

— Где эти неблагодарные собаки, которых я столько раз водил к победе и успеху? Без меня они скоро погибнут, как затравленные охотником шакалы.

— Не думайте о ваших товарищах и участниках вашей грешной жизни, — сказал Пантака, — но подумайте о вашей душе и воспользуйтесь в последний час той возможностью спасенья, которая представляется вам. Вот вам вода для питья, дайте я перевяжу ваши раны. Может быть, мне и удастся спасти вашу жизнь.

— Это бесполезно, — отвечал Магадута, — я приговорен; негодяи смертельно ранили меня. Неблагодарные подлецы! Они били меня теми ударами, которым я научил их.

— Вы пожинаете то, что посеяли, — продолжал монах. — Если бы вы учили своих товарищей делам добра, вы бы и получили от них добрые поступки. Но вы учили их убийству, и потому вы через свои дела убиты их рукою.

— Ваша правда, — отвечал атаман разбойников. — я заслужил свою участь, но как тяжел мой жребий тем, что я должен пожать плод всех моих дурных дел в будущих существованиях. Научите меня, святой отец, что я могу сделать, чтобы облегчить мою жизнь от грехов, которые давят меня, как скала, наваленная мне на грудь.

И Пантака сказал:

— Искорените ваши грешные желания, уничтожьте злые страсти и наполните свою душу добротой ко всем существам.

Атаман сказал:

— Я делал много зла и не делал добра. Как могу я выпутаться из той сети горя, которую я связал из злых желаний моего сердца? Моя карма повлечет меня в ад, я никогда не буду в состоянии вступить на путь спасения.

И монах сказал:

— Да, ваша карма пожнет в будущих воплощениях плоды тех семян, которые вы посеяли. Для делателя

дурных дел нет избавления от последствий своих дурных поступков. Но не отчаивайтесь: всякий человек может спастись, но только с тем условием, чтобы он искоренил из себя заблуждение личности. Как пример этого, я расскажу вам историю великого разбойника Кандаты, который умер нераскаянным и вновь родился дьяволом в аду, где он мучился за свои дурные дела самыми ужасными страданиями. Он был уже в аду много лет и не мог избавиться от своего бедственного положения, когда Будда явился на земле и достиг блаженного состояния просветления. В это достопамятное время луч света попал и в ад, возбудив во всех демонах жизнь и надежду, и разбойник Кандата громко закричал: «О Будда блаженный, сжался надо мной! Я страшно страдаю; и хотя я делал зло, я желаю теперь идти по пути праведности. Но я не могу выпутаться из сети горя; помоги мне, господи, сжался надо мной!» Закон кармы таков, что злые дела ведут к гибели.

Когда Будда услышал просьбу страдающего в аду демона, он послал к нему паука на паутине, и паук сказал: «Схватись за мою паутину и вылезай по ней из ада». Когда паук исчез из вида, Кандата схватился за паутину и стал вылезать по ней. Паутина была так крепка, что не обрывалась, и он поднимался по ней все выше и выше. Вдруг он почувствовал, что нить стала дрожать и колебаться, потому что за ним начинали лезть по паутине и другие страдальцы. Кандата испугался; он видел тонкость паутины и видел, что она растягивается от увеличившейся тяжести. Но паутина все еще держала его. Кандата перед этим смотрел только вверх, теперь же он посмотрел вниз и увидел, что за ним лезла по паутине бесчисленная толпа жителей ада. «Как может эта тонкая нить вынести тяжесть всех этих людей», — подумал он и, испугавшись, громко закричал: «Пустите паутину, она моя!» И вдруг паутина оборвалась, и Кандата упал назад в ад. Заблуждение личности еще жило в Кандате. Он не знал чудесной силы искреннего стремления вверх для того, чтобы вступить на путь праведности. Стремление это тонко, как паутина, но оно поднимет миллионы людей, и чем больше будет людей лезть по паутине, тем легче будет каждому из них. Но

как только в сердце человека возникнет мысль, что паутина эта моя, что благо праведности принадлежит мне одному и что пусть никто не разделяет его со мной, то нить обрывается, и ты падаешь назад в прежнее состояние отдельной личности; отдельность же личности есть проклятие, а единение есть благословение. Что такое ад? Ад есть не что иное, как себялюбие, а нирвана есть жизнь общая...

— Дайте же мне ухватиться за паутину, — сказал умирающий атаман разбойников Магадута, когда монах кончил свой рассказ, — и я выберусь из пучины ада.

Магадута пробыл несколько минут в молчании, собираясь с мыслями, потом он продолжал:

— Выслушайте меня, я признаюсь вам. Я был слугою Панду, ювелира из Колшамби. Но после того, как он несправедливо истязал меня, я убежал от него и стал атаманом разбойников. Несколько времени тому назад я узнал от моих разведчиков, что он проезжает через горы, и я ограбил его, отнял у него большую часть его состояния. Подите теперь к нему и скажите ему, что я простил его от всего сердца за оскорбление, которое он несправедливо нанес мне, и прошу его простить меня за то, что я ограбил его. Когда я жил с ним, сердце его было жестоко как камень, и я научился от него его себялюбию. Я слышал, что он теперь стал добродушен и что на него указывают, как на образец доброты и справедливости. Я не хочу оставаться в долгу у него; поэтому скажите ему, что я сохранил золотую корону, которую он сделал для царя, и все его сокровища и спрятал их в подземелье. Только два разбойника знали это место, и теперь они оба мертвые; пусть Панду возьмет с собою вооруженных людей и придет к этому месту и возьмет назад ту собственность, которой я лишил его.

После этого Магадута рассказал, где было подземелье, и умер на руках Пантаки.

Как скоро молодой монах Пантака вернулся в Колшамби, он пошел к ювелиру и рассказал ему обо всем, что случилось в лесу.

И Панду пошел с вооруженными людьми к подземелью и взял из него все сокровища, которые атаман спрятал в нем. И они с почестью похоронили атамана и

его убитых товарищей, и Пантака над могилой, рассуждая о словах Будды, сказал следующее:

«Личность делает зло, личность же и страдает от него.

Личность воздерживается от зла, и личность очищается.

Чистота и нечистота принадлежат личности: никто не может очистить другого.

Человек сам должен сделать усилие; Будды только проповедники».

«Наша карма, — сказал еще монах Пантака, — не есть произведение Шивары, или Браммы, или Индры, или какого-нибудь из богов, — наша карма есть следствие наших поступков.

Моя деятельность есть утроба, которая носит меня, есть наследство, которое достается мне, есть проклятие моих злых дел и благословение моей праведности. Моя деятельность есть единственное средство моего спасения».

Панду привез назад в Колшамби все свои сокровища, и, с умеренностью пользуясь своим столь неожиданно возвращенным богатством, он спокойно и счастливо прожил свою остальную жизнь, и когда он умирал, уже в преклонных летах, и все его сыновья, дочери и внуки собрались около него, он сказал им:

— Милые дети, не осуждайте других в своих неудачах. Ищите причины ваших бед в самих себе. И если вы не ослеплены тщеславием, вы найдете ее, а найдя ее, вы сумеете избавиться от зла. Лекарство от ваших бед в вас самих. Пусть ваш умственный взор никогда не покрывается покровом Майи.. Помните те слова, которые были талисманом моей жизни:

«Тот, кто делает больно другому, делает зло себе.

Тот, кто помогает другому, помогает себе.

Пусть исчезнет обман личности — и вы вступите на путь праведности».

СОН МОЛОДОГО ЦАРЯ

Молодой царь только что вступил на царство. Пять недель он не переставая работал так, как работают цари, выслушивая доклады, подписывая бумаги, принимая послов и представляющихся сановников и делая смотры войскам. И он устал и, как измученный в жару путешественник жаждет воды и отдохновения, жаждал хоть одного дня без представлений, речей, смотров, хоть нескольких часов свободы и простой человеческой жизни, которые он мог бы прожить для себя с молодой красавицей, умной женой, с которой он обвенчался только месяц тому назад.

Был рождественский сочельник. Молодой царь к этому вечеру устроил себе полный отдых. Накануне этого дня он до поздней ночи работал над бумагами, оставленными ему министрами, утром присутствовал на молебствии и военном празднике, до обеда принимал являвшихся к нему и потом еще слушал доклады министров и утвердил много важных дел. С министром финансов он утвердил изменение пошлины на заграничные товары, которое должно было дать прибавление многих миллионов дохода, утвердил продажу от казны вина в нескольких частях государства и постановление о праве продажи вина в больших базарных селах, что тоже должно увеличить главный доход государства — с вина, утвердил и новый золотой заем, нужный для конверсии. С министром юстиции он утвердил докладывавшееся

ему сложное дело о наследстве баронов Шатен-Шнидеров и правила о применении 1836 статьи уголовного закона, о наказании бродяг. С министром внутренних дел утвердил циркуляр о взыскании недоимок, подписал указ о мерах пресечения сектантства и о продолжении охраны в тех губерниях, в которых она была введена. С военным министром решил назначение нового корпусного командира и о призыве новобранцев, о взыскании за нарушение дисциплины. И только к обеду освободился. Но свобода не была полная, потому что обедало несколько сановников, с которыми надо было говорить не то, что хотелось, а то, что требовалось.

Наконец скучный обед кончился, все разъехались. Молодая царица пошла в свои комнаты снять то платье, в котором она обедала, и хотела тотчас же прийти к нему.

Пройдя мимо вытянувшихся камер-лакеев в свою комнату, сбросив тяжелый мундир и надев куртку, молодой царь почувствовал не только радость освобождения, но какое-то особенное умиление от сознания свободы и жизни, счастливой, здоровой, молодой жизни и молодой любви. Он вскочил с ногами на отоманку, оперся головой на руку и стал смотреть на матовое стекло лампы, и вдруг он почувствовал то, что не испытывал с детства, радость засыпанья и непреодолимую сонливость. «Сейчас придет жена, а я засну. Не надо спать», — подумал он и вместе опустил руку с локтя, подставил ладонь под щеку, голова улеглась в теплую ладонь, поправился, и стало так хорошо, хорошо, что только одного он желал: чтобы что-нибудь не нарушило его состояния. И с ним случилось то, что случается каждый день со всеми нами, — то, что он заснул, сам не зная, как и когда, то есть независимо от своей воли перешел от одного сознания в другое, не желая его и не жалея того, из которого он вышел. Он заснул крепким — мертвым сном.

Долго ли он спал, он не помнит, но вдруг тихое покачиванье руки, державшей его за плечо, разбудило его. «Она — милая, — подумал он. — Как стыдно, что я заснул».

Но это была не она. Перед открытыми его и шурящими от света глазами стояла не она, та милая красавица, которую он ждал увидеть, а он. Кто был этот он, он не знал, но его не удивило нисколько присутствие этого никогда не виданного им лица. Ему казалось, что он давно знает его, и мало того, что знает, — любит его, верит ему так же, как самому себе. Он ждал любимую жену, и вместо нее пришел к нему никогда не виденный человек, и молодой царь не только не испугался, не огорчился, но принял это как что-то естественное и должное.

— Пойдем, — шепотом, без всякого звука голоса сказал пришедший.

— Да, да, пойдем, — сказал молодой царь, не зная куда, но зная, что он должен, не может не покоряться требованию пришедшего.

— Как же мы пойдем? — спросил молодой царь.

— А вот так.

И пришедший наложил свою руку на голову царя, и царь почувствовал, что он мгновенно потерял сознание.

Долго ли, коротко ли он был в этом положении, царь не мог сообразить, но когда он очнулся, он увидел себя в открытом поле на широком рубеже. С одной стороны, с правой, тянулись картофельные поля с выбранной и сложенной в кучи, почерневшей от морозов ботвой вперемежку с озимой зеленью пшеницы, вдали виднелась деревенька, покрытая черепицами, налево были озимые поля и жнивье. Все было пусто, только по черте виднелась далеко впереди черная фигура человека с винтовкой за спиной и собачкой у ног. Там же, где увидел себя молодой царь, рядом с ним, сидел, у его ног почти, молодой русский солдат с зеленым околышем и тоже с винтовкой за плечами и загибал бумажный крючок, готовясь сыпать в него табак. Солдат, очевидно, не видел ни царя, ни его спутника и не слышал их. Когда царь над самым солдатом спросил: «Где мы?» и спутник ответил: «На прусской границе», — солдат даже не оглянулся.

Но вдруг раздался выстрел далеко впереди, солдат вскочил и, увидав двух бегущих согнувшихся человек,

поспешно засунул свой табак в карман и побежал за беглецами. «Стой, убью», — закричал солдат. Бегущие оглянулись на бегу и что-то крикнули — очевидно, ругательство или насмешку. «А, проклятый», — крикнул солдат, остановился, выставил немного ногу вперед, приложился, поднял правую руку, что-то быстро сделал с прицелом, опять приложился, повел по бегущему и, очевидно, выстрелил, хотя и не слышно было звука. «Верно, бездымный порох», — подумал царь и, взглянув на бегущего, увидал, что он быстрее засеменял ногами, больше и больше стал нагибаться, совсем упал на четвереньки, пополз и остановился. Бежавший товарищ и бывший впереди его вернулся назад, подбежал к упавшему, что-то сделал над ним и побежал дальше.

— Что это? — спросил царь.

— Это пограничная стража соблюдает закон о пошлинах. Человек этот убит для того, чтобы не было ущерба доходу государства.

— Разве он убит?

Спутник опять прикоснулся к голове царя, опять он потерял сознание и когда очнулся, то увидал себя в небольшой комнате — это был пост, — где на полу лежал труп человека с седеющей редкой бородой, горбатым носом и очень выпуклыми, закрытыми веками глазами, руки у него были раскинуты, ноги босые, с толстым, грязным большим пальцем, ступни под прямым углом торчали кверху. В боку человека была рана, и вся суконная рваная куртка и синяя рубаха были залиты засохшей, почерневшей, только кое-где краснеющей кровью. Женщина, увязанная платком так, что почти не видно было ее лица, стояла у стены, неподвижно смотрела на горбатый нос, на торчащие ступни и выпуклые яблоки глаз и равномерно после довольно долгих промежутков втягивала в себя воздух, сопли и слезы и опять замирала. Девочка тринадцати лет, красоточка, стояла, открыв ротик и выпучив глаза, рядом с матерью. Мальчишка лет шести, держась за юбку матери, не спуская глаз, смотрел на мертвого отца.

Из соседней двери вышли чиновник, офицер, доктор и писец с бумагами. За ними шел солдат, тот, который

убил. Он вошел бойко вслед за начальством, но как только он увидел мертвеца, он вдруг побледнел, щеки его задергались, и он опустил голову и замер. Когда же чиновник спросил его, тот ли это человек, который бежал через границу и в которого он стрелял, он не мог ответить. Его зубы зашлепали, подбородок запрыгал. «Так то-то-чно», — проговорил он, и так и не мог сказать, как хотел: так точно, ваше высокоблагородие.

Чиновники переглянулись между собою и стали что-то записывать.

— А вот благодетельные действия того же положения:

В нелепо-роскошной комнате сидели за вином два человека: один старый, седой, другой молодой еврей. Молодой держал пачку денег и торговался. Он покупал контрабандный товар.

— Ведь вам недорого стало, — сказал он, улыбаясь.

— Да, а риск...

— Да, это ужасно, — сказал молодой царь, — но что же делать? Ведь это необходимо.

Спутник ничего не ответил и опять только сказал: «Пойдем», — и опять наложил руку.

Когда он очнулся, он был в каком-то доме в небольшой комнатке, освещенной лампой с абажуром. За столом сидела женщина и шила, мальчик лет восьми, с ногами на кресле, повалившись на стол, рисовал, студент читал вслух. В комнату шумно вошли отец и дочь.

— Вот ты подписал указ о продаже вина, — сказал спутник.

— Ну что? — спросила жена.

— Едва ли он останется жив.

— Да что же?

— Опоили вином.

— Да не может быть! — вскрикнул сын. — Ваньку Морощкина, да ведь ему девять лет.

— Что же ты сделал? — спросила жена мужа.

— Сделал, что можно было: дал рвотное, поставил горчичники. Все признаки белой горячки.

— Да в доме-то все, все пьяные, одна Анисья еще кое-как держится, тоже пьяна, но не совсем, — сказала дочь.

— Что же твое общество трезвости? — сказал студент сестре.

— Да что же можно сделать, когда их со всех сторон спаивают. Папа хотел закрыть кабак, — оказывается, что нельзя по закону. Но мало того, когда я убеждала Василья Ермилина, что стыдно держать кабак, спаивать народ, он мне отвечал, и, очевидно, с гордостью, что срезал меня при народе: «А как же патент дается с орлом от государя императора. Коли бы плохое дело было, не было бы на то царского указа».

— Ужасно. Вся деревня третий день пьяна. И это праздник. Страшно подумать. Доказано, что вино никогда не полезно, всегда вредно, доказано, что это яд, доказано, что 0,99 преступлений совершаются от пьянства, доказано, что в странах, где прекращено пьянство, как в Швеции, у нас в Финляндии, тотчас поднялась и нравственность и благосостояние и что все это можно сделать нравственным влиянием. И у нас та сила, которая имеет высшее влияние, правительство, царь, чиновники, распространяют пьянство, главный доход получают с пьянства народа, сами пьют. Пьют тосты за здоровье. «Пью за здоровье полка!» и т. п. Попы, архиереи пьют.

Спутник опять притронулся рукой до молодого царя, и опять он забылся и, когда проснулся, увидел себя в избе. С красным лицом и налитыми кровью глазами с опущенными зрачками, сорокалетний мужик бешено молотил руками по лицу старика. Старик закрывался одной рукой, другой же, вцепившись за бороду, не выпускал ее.

— Ты отца бить.

— А мне все одно в Сибирь, убью.

Женщины выли. В избу вломилось пьяное начальство и разняло отца с сыном. У сына была вырвана борода, у отца сломана рука. В сенях пьяная девка отдавалась пьяному старому мужику.

— Это звери, — сказал молодой царь.

— Нет, это дети.

Опять прикосновение руки, и опять молодой царь очнулся еще в новом месте. Место это была камера мирового судьи. Мировой судья — жирный, плешивый человек, с висящим двойным подбородком, в цепи, только что встал и читал громким голосом свое решение. Толпа мужиков стояла за решеткой. Оборванная женщина сидела на лавочке и не встала. Сторож толкнул ее.

— Заснула. Встань.

Женщина встала.

— По указу его императорского величества, — читал мировой свое решение. Дело было в том, что эта самая женщина, проходя мимо гумна помещика, унесла полснопа овса. Мировой судья приговорил ее к двум месяцам тюрьмы. Тут же сидел тот самый помещик, у которого был украден овес. Когда судья объявил перерыв, помещик подошел к судье и пожал ему руку. Судья что-то поговорил с ним. Следующее дело было дело о самоваре... Потом о порубке.

В окружном суде шло дело о крестьянах, отогнавших станового.

Опять забвение и пробуждение в деревне, голодные, холодные ребята корчемщицы и любовник, у порубщика, и надрывная работа жены мужика, отпихнувшего станового.

Опять новая картина: в Сибири в остроге секут плетьюми бродягу.

Вот следствие прямое распоряжений по министерству юстиции.

Опять забвение, и новая картина. Еврейская семья часовщика за то, что он беден, выгоняется. Жиденята режут. Исаак не может переварить, что рядом оставляют. Полицеймейстер берет взятку, берет и губернатор тонкую взятку.

Вот собирают подати. Продажа в деревне коровы. Взятки эти же исправника с фабриканта, который не платит.

А вот волостной суд и исполнение суда — розги.

— Илья Васильевич, нельзя ли избавить?

— Нет.

Заплакал.

— Христос терпел и нам велел.

Штундистов разгоняют. Не венчают и не хоронят лютеранина. А вот распоряжение проезда царского. На грязи, холоду, без пищи сидят и ругаются. А вот распоряжение по учреждениям императрицы Марии: разврат воспитательных домов. А вот памятник церковного воровства. А вот усиленная охрана. Обыск, женщины. Высылка, пересыльный замок. А вот виселица за убийство приказчика. А вот следствия военных распоряжений. Несут мундир и смеются. Набор. Берут последних кормильцев и оставляют миллионерам для прокормления родителей их сыновей. Университетских, учителей, музыкантов освобождают, а даровитых, поэтических берут.

А вот солдатки с их распутством, а вот солдаты с их распутством и разносом сифилиса.

И вот он бежит. И вот его судят. Судят за то, что ударил офицера, оскорбившего его мать. Казнят. А этих судят за то, что не стреляли. А бежавшего — в дисциплинарный, и там секут на смерть. А вот этого за ничто секут и сыпят солью — и он умирает. А вот деньги солдатские, — пить, распутничать, карты и гордость...

А вот общий уровень благосостояния народа: заморыши дети, вырождающиеся племена, жилье с животными, непрестанная, тупая работа, покорность и уныние.

И вот они, министры, губернаторы, — только корыстолюбие, честолюбие, тщеславие и желание приобрести важность и запугать.

— Да где ж люди?

— А вот они где.

Вот в ссылках одинокие, замершие или озлобленные. Вот на каторге, где секут женщин. Келья одиночная, — заключенная в Шлиссельбурге, сходящая с ума. Вот другая женщина, девушка с регулами, во власти солдат.

— И их много?

— Десятки тысяч лучших людей. Одни здесь, другие загублены ложным, убийственным воспитанием, желание сделать из них таких людей, каких нам надо. Тех

не делают, а какие бы они были — портят. Как если бы из ростков ржи мы бы хотели сделать ростки гречихи, мы разрывали бы перо и губили бы рожь, и не получали бы гречихи. И так гибнет вся надежда мира, все молодое подрастающее поколение. Но горе тому, кто соблазнит единого из малых сих, горе за одного, и на твоей совести, твоим именем соблазняют миллионы их, соблазняют всех тех, над которыми ты имеешь власть.

— Но что же мне делать? — с отчаянием вскрикнул царь. — Ведь я не хочу никого мучать, сечь, развращать, убивать, — я хочу добра всем людям; если я себе хочу счастья, то я не меньше счастья желаю всем людям. И неужели я ответствен за все то, что делается моим именем. Что же мне делать? Как мне избавиться от этой ответственности? Что мне делать? Не может быть, чтобы я был ответствен за все это. Если бы я чувствовал себя ответственным за 1/100, я сейчас же застрелился [бы], потому что так жить нельзя. Чем я могу прекратить все это зло? Оно связано с существованием государства. А я стою во главе его. Как мне быть? Убить себя? Или уйти? Но тогда я не исполню своей обязанности. Боже мой, боже мой, помоги мне.

И он заплакал и проснулся в слезах.

«Как хорошо, что это было во сне», — было первой его мыслью. Но когда он стал вспоминать все, что он видел, и стал проверять это с действительностью, он увидал, что вопрос, возникший в нем во сне, оставался наяву тем же важным и столь же неразрешенным вопросом. В первый раз молодой царь почувствовал всю ответственность, которая лежала на нем, и ужаснулся перед нею.

И он перестал уже думать о молодой царице и о радости предстоящего вечера, а весь был поглощен неразрешимым представившимся ему вопросом: как быть?

В беспокойстве он встал и вышел в соседнюю комнату. Там старый придворный, сотрудник и друг его покойного отца, стоял посредине комнаты, разговаривая с молодой царицей, шедшей к своему мужу. Молодой царь остановился с ними и рассказал, обращаясь преимущественно к старому придворному, то, что он видел во сне, и свои сомнения.

— Все это очень хорошо и доказывает только несравненную высоту вашей души, — сказал старый придворный. — Простите меня, я буду говорить прямо: вы слишком хороши, чтобы быть царем, и вы преувеличиваете свою ответственность. Во-первых, все не совсем так, как вы себе представляете, народ не беден, а благоденствует, а кто беден, тот сам виноват. Наказаны виновные, а если есть неизбежные ошибки, то это, как удар грома, — случай или воля бога. И ответственность на вас только одна та, чтобы исполнять мужественно свое дело и держать ту власть, которая дана вам. Вы хотите добра вашим подданным, и бог видит это, а то, что есть невольные ошибки, на это есть молитва, и бог будет руководить и простит вас. А главное то, что и прощать нечего, потому что людей с такими необычайными достоинствами, как вы и ваш родитель, не было и не будет. И потому от вас мы просим одного: живите и отвечайте на нашу беспредельную преданность и любовь своими милостями, и все, кроме негодяев, не заслуживающих счастья, будут счастливы.

— А ты как думаешь? — спросил молодой царь жену.

— Я думаю не так, — сказала молодая умная женщина, воспитанная в свободной стране. — Я рада этому твоему сну, я думаю так же, как и ты, что ответственность, лежащая на тебе, ужасна. Я часто мучалась этим. И мне кажется, что средство снять с себя хотя не всю, но ту, которая непосильна тебе, ответственность, есть очень легкое. Надо передать большую часть власти, которую ты не в силах прилагать, народу, его представителям, и оставить себе только ту высшую власть, которая дает общее направление делам.

Не успела договорить своей речи царица, как старый придворный поторопился горячо возражать ей, и начался учтивый, но горячий спор.

Молодой царь сначала слушал их, но потом перестал слышать то, что они говорили, и внимал только одному голосу того самого спутника, в его сне, который внятно заговорил теперь в его сердце.

— Ты не только царь, — говорил этот голос, — ты гораздо больше царя, ты человек, то есть существо,

нынче пришедшее в этот мир и завтра могущее исчезнуть. Кроме тех обязанностей твоих царских, о которых вот они говорят теперь, у тебя есть более прямые и ничем не могущие быть отмененными обязанности человеческие, обязанности не царя перед подданными (это случайная обязанность), а обязанности вечные, обязанность человека перед богом, обязанность перед своей душой, спасением ее и служением богу, установлением в мире его царства... Ты не можешь действовать по тому, что было и что будет, а только по тому, что ты должен делать.

И он проснулся. Жена будила его.

Какой из тех трех путей избрал молодой царь, будет рассказано через пятьдесят лет.

ТРИ ПРИТЧИ

ПЕРВАЯ ПРИТЧА

Выросла сорная трава на хорошем лугу. И, чтобы избавиться от нее, владельцы луга скашивали ее, а сорная трава от этого только умножалась. И вот добрый и мудрый хозяин посетил владельцев луга и в числе других поучений, которые он давал им, сказал и о том, что не надо косить сорную траву, так как она только больше расплодится от этого, а надо вырывать ее с корнем.

Но или потому, что владельцы луга не заметили в числе других предписаний доброго хозяина предписания о том, чтобы не косить сорной травы, а вырывать ее, или потому, что не поняли его, или потому, что по своим расчетам не хотели исполнить этого, но вышло так, что предписание о том, чтобы не косить сорной травы, а вырывать ее, не исполнялось, как будто его никогда и не было, и люди продолжали косить сорную траву и размножать ее. И хотя в последующие года и бывали люди, которые напоминали владельцам луга предписание доброго и мудрого хозяина, но их не слушали и продолжали поступать по-прежнему, так что скашивать сорную траву, как только она показывалась, сделалось не только обыкновением, но даже священным преданием, и луг все больше и больше засорялся. И дошло дело до того, что в лугу стали одни сорные травы, и люди плакались на это и придумывали всякие средства для поправления дела, но не употребляли только

одного того, которое давно уже было предложено им добрым и мудрым хозяином. И вот случилось в последнее время одному человеку, видевшему то жалкое положение, в котором находился луг, и нашедшему в забытых предписаниях хозяина правило о том, чтобы не косить сорную траву, а вырывать ее с корнем, — случилось этому человеку напомнить владельцам луга о том, что они поступали неразумно и что неразумие это уже давно указано было добрым и мудрым хозяином.

И что же? вместо того чтобы проверить справедливость напоминания этого человека и в случае верности его перестать косить сорную траву или в случае неверности его доказать ему несправедливость его напоминания или признать предписания доброго и мудрого хозяина неосновательными и для себя необязательными, владельцы луга не сделали ни того, ни другого, ни третьего, а обиделись на напоминание того человека и стали бранить его. Они называли его безумным гордецом, вообразившим себе, что он один из всех понял предписание хозяина, другие злостным жетолкователем и клеветником, третьи, забыв о том, что он говорил не свое, но напоминал только предписания почитаемого всеми мудрого хозяина, называли его зловредным человеком, желающим развести дурную траву и лишить людей их луга. «Он говорит, что не надо косить траву, а если мы не будем уничтожать траву, — говорили они, нарочно умалчивая о том, что человек говорил не о том, что не надо уничтожать сорную траву, а о том, что надо не косить, а вырывать ее, — то сорная трава разрастется и уже совсем погубит наш луг. И зачем нам тогда дан луг, если мы должны воспитывать в нем сорную траву?» И мнение о том, что человек этот или безумец, или лжеистолкователь, или имеет целью вред людей, до такой степени утвердилось, что его все бранили и все смеялись над ним. И сколько ни разъяснял этот человек, что он не только не желает разводить сорную траву, но, напротив, считает, что в уничтожении дурной травы состоит одно из главных занятий земледельца, как и понимал это добрый и мудрый хозяин, слова которого он только напоминает, — сколько он ни говорил этого, его не слушали, потому что окончательно решено было, что

человек этот или безумный гордец, превратно толкующий слова мудрого и доброго хозяина, или злодей, призывающий людей не к уничтожению сорных трав, а к защите и возвращению их.

То же самое случилось со мной, когда я указал на предписание евангельского учения о непротивлении злу насилием. Правило это было проповедано Христом и после него во все времена и всеми его истинными учениками. Но потому ли, что они не заметили этого правила, или потому, что они не поняли его, или потому, что исполнение этого правила показалось им слишком трудным, — чем дальше проходило времени, тем более забывалось это правило, тем более и более удалялся склад жизни людей от этого правила, и наконец дошло дело до того, до чего дошло теперь, — до того, что правило это уже стало казаться людям чем-то новым, неслыханным, странным и даже безумным. И со мною случилось то же самое, что случилось с тем человеком, который указал людям на давнишнее предписание доброго и мудрого хозяина о том, что сорную траву не надо косить, а надо вырывать с корнем.

Как владельцы луга, умышленно умолчав о том, что совет состоял не в том, чтобы не уничтожать дурную траву, а в том, чтобы уничтожать ее разумным образом, сказали: не будем слушать этого человека — он безумец, он велит не косить дурных трав, а велит разводить их, — так и на мои слова о том, что, для того чтобы по учению Христа уничтожить зло, надо не противиться ему насилием, а с корнем уничтожать его любовью, сказали: не будем слушать его, он безумец: он советует не противиться злу, для того чтобы зло задавило нас.

Я говорил, что по учению Христа зло не может быть искоренено злом, что всякое противление злу насилием только увеличивает зло, что по учению Христа зло искореняется добром: «благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас, творите добро ненавидящим вас, любите врагов ваших, и не будет у вас врага»¹. Я говорил, что по учению Христа вся

¹ Учение XII апостолов. (Прим. Л. Н. Толстого.)

жизнь человека есть борьба со злом, противление злу разумом и любовью, но что из всех средств противления злу Христос исключает одно неразумное средство противления злу насилием, состоящее в том, чтобы бороться со злом злом же.

И эти слова мои были поняты так, что я говорю, будто Христос учил тому, что не надо противиться злу. И все те, чья жизнь построена на насилии и кому поэтому дорого насилие, охотно приняли такое перетолкование моих слов и вместе с ним и слов Христа, и было признано, что учение о непротивлении злу есть учение неверное, нелепое, безбожное и зловерное. И люди спокойно продолжают под видом уничтожения зла производить и увеличивать его.

ВТОРАЯ ПРИТЧА

Торговали люди мукою, маслом, молоком и всякими съестными припасами. И один перед другим, желая получить побольше барышей и поскорее разбогатеть, стали эти люди все больше и больше подмешивать разных дешевых и вредных примесей в свои товары: в муку сыпали отруби и известку, в масло пускали маргарин, в молоко — воду и мел. И до тех пор, пока товары эти не доходили до потребителей, все шло хорошо: оптовые торговцы продавали розничным и розничные продавали мелочным.

Много было амбаров, лавок, и торговля, казалось, шла очень успешно. И купцы были довольны. Но городским потребителям, тем, которые не производили сами своего продовольствия и потому должны были покупать его, было очень неприятно и вредно.

Мука была дурная, дурное было и масло и молоко, но так как на рынках в городах не было других, кроме подмешанных товаров, то городские потребители продолжали брать эти товары и в дурном вкусе их и в своем нездоровье обвиняли себя и дурное приготовление пищи, а купцы продолжали всё в большем и большем количестве подмешивать посторонние дешевые вещества к съестным припасам.

Так продолжалось довольно долго; городские жители все страдали, и никто не решался высказать своего недовольства.

И случилось одной хозяйке, всегда питавшейся и кормившей свою семью домашними припасами, приехать в город. Хозяйка эта всю свою жизнь занималась приготовлением пищи и хотя и не была знаменитой поварихой, но хорошо умела печь хлебы и вкусно варить обеды.

Купила эта хозяйка в городе припасов и стала печь и варить. Хлебы не выпеклись, а развалились. Лепешки на маргариновом масле оказались невкусными. Поставила хозяйка молоко, сливки не настоялись. Хозяйка тотчас же догадалась, что припасы нехороши. Она осмотрела их, и ее догадка подтвердилась: в муке она нашла известку, в масле — маргарин, в молоке — мел. Увидав, что все припасы обманные, хозяйка пошла на базар и стала громко обличать купцов и требовать от них или того, чтобы они держали в своих лавках хорошие, питательные, непорченные товары, или чтобы перестали торговать и закрыли свои лавочки. Но купцы не обратили никакого внимания на хозяйку и сказали ей, что товары у них первый сорт, что весь город уже сколько лет покупает у них и что они даже имеют медали, и показали ей медали на вывесках. Но хозяйка не унялась.

— Мне не медали нужно, — сказала она, — а здоровая пища, такая, чтобы у меня и у детей от нее животы не болели.

— Верно, ты, матушка, и муки и масла настоящего и не видала, — сказали ей купцы, указывая на засыпанную в лакированные закрома белую на вид, чистую муку, на желтое подобие масла, лежащее в красивых чашках, и на белую жидкость в блестящих прозрачных сосудах.

— Нельзя мне не знать, — отвечала хозяйка, — потому что я всю жизнь только то и делала, что сама готовила и ела вместе с детьми. Товары ваши порченные. Вот вам доказательство, — говорила она, показывая на испорченный хлеб, маргарин в лепешках и отстой в молоке. — Ваши товары надо все в реку бросить или

сжечь и наместо их завести хорошие! — И хозяйка не переставая, стоя перед лавками, кричала все одно подходившим покупателям, и покупатели начинали смущаться.

Тогда, видя, что эта дерзкая хозяйка может повредить их торговле, купцы сказали покупателям:

— Вот посмотрите, господа, какая шальная эта баба. Она хочет людей с голоду уморить. Велит все съестные припасы потопить или сжечь. Что же вы будете есть, коли мы ее послушаемся и не будем продавать вам пищи? Не слушайте ее: она — грубая деревенщина и не знает толка в припасах, а нападает на нас только из зависти. Она бедна и хочет, чтобы и все были так же бедны, как она.

Так говорили купцы собравшейся толпе, нарочно умалчивая о том, что женщина хочет не уничтожать припасы, а дурные заменить хорошими.

И тогда толпа напала на женщину и начала ругать ее. И сколько женщина ни уверяла всех, что она не уничтожить хочет съестные припасы, что она, напротив, всю жизнь только тем и занималась, что кормила и сама кормилась, но что она хочет только того, чтобы те люди, которые берут на себя продовольствие людей, не отравляли их вредными веществами под видом пищи; но сколько она ни говорила и что она ни говорила, ее не слушали, потому что было решено, что она хочет лишить людей необходимой для них пищи.

То же случилось со мной по отношению к науке и искусству нашего времени. Я всю жизнь питался этой пищей и — хорошо ли, дурно — старался и других, кого мог, питать ею. И так как это для меня пища, а не предмет торговли или роскоши, то я несомненно знаю, когда пища есть пища и когда только подобна ей. И вот, когда я попробовал той пищи, которая стала продаваться в наше время на умственном базаре под видом науки и искусства, и попробовал питать ею любимых людей, я увидел, что большая часть этой пищи не настоящая. И когда я сказал, что та наука и то искусство, которыми торгуют на умственном базаре, маргариновые или, по крайней мере, с большими подмешками чуждых истинной науке и истинному искусству

веществ и что знаю я это, потому что купленные мною на умственном базаре продукты оказались неудобосъедаемыми ни для меня, ни для близких мне людей, не только неудобосъедаемыми, но прямо вредными, то на меня стали кричать и ухать и внушать мне, что это происходит оттого, что я не учен и не умею обращаться с такими высокими предметами. Когда же я стал доказывать то, что сами торговцы этим умственным товаром обличают беспрестанно друг друга в обмане; когда я напомнил то, что во все времена под именем науки и искусства предлагалось людям много вредного и плохого и что потому и в наше время предстоит та же опасность, что дело это не шуточное, что отрава духовная во много раз опаснее отравы телесной и что поэтому надо с величайшим вниманием исследовать те духовные продукты, которые предлагаются нам в виде пищи, и старательно откидывать все поддельное и вредное, — когда я стал говорить это, никто, никто, ни один человек ни в одной статье или книге не возразил мне на эти доводы, а изо всех лавок закричали, как на ту женщину: «Он безумец! он хочет уничтожить науку и искусство, то, чем мы живем. Бойтесь его и не слушайте! Пожалуйте к нам, к нам! У нас самый последний заграничный товар».

ТРЕТЬЯ ПРИТЧА

Шли путники. И случилось им сбиться с дороги, так что приходилось идти уже не по ровному месту, а по болоту, кустам, колючкам и валежнику, загораживавшим им путь, и двигаться становилось все тяжелее и тяжелее.

Тогда путники разделились на две партии: одна решила не останавливаясь идти все прямо по тому направлению, по которому она шла сейчас, уверяя себя и других в том, что они не сбились с настоящего направления и все-таки придут к цели путешествия; другая партия решила, что так как направление, по которому они идут теперь, очевидно неверное, — иначе они бы уже пришли к цели путешествия, — то надо искать

дорогу, а для того, чтобы отыскать ее, нужно не останавливаясь двигаться как можно быстрее во всех направлениях. Все путники разделились между этими двумя мнениями: одни решили идти все прямо, другие решили ходить по всем направлениям, но нашелся один человек, который, не согласившись ни с тем, ни с другим мнением, сказал, что, прежде чем идти по тому направлению, по которому уже шли, или начать двигаться быстро по всем направлениям, надеясь, что мы этим способом найдем настоящее, нужно, прежде всего, остановиться и обдумать свое положение и потом уже, обдумав его, предпринять то или другое. Но путники были так возбуждены движением, были так испуганы своим положением, так хотелось им утешать себя надеждой на то, что они не заблудились, а только на короткое время сбились с дороги и сейчас опять найдут ее, так, главное, им хотелось движением заглушить свой страх, что мнение это встречено было всеобщим негодованием, упреками и насмешками людей как первого, так и второго направления.

— Это совет слабости, трусости, лени, — говорили одни.

— Хорошо средство дойти до цели путешествия, состоящее в том, чтобы сидеть на месте и не двигаться! — говорили другие.

— На то мы люди и на то нам даны силы, чтобы бороться и трудиться, побеждая препятствия, а не малодушно покоряться им, — говорили третьи.

И сколько ни говорил отделившийся от большинства человек о том, что, двигаясь по ложному направлению, не изменяя его, мы наверное не приближаемся, а удаляемся от своей цели, и что точно так же мы не достигнем цели, если будем метаться из стороны в сторону, что единственное средство достигнуть цели состоит в том, чтобы, сообразив по солнцу или по звездам, какое направление приведет нас к нашей цели, и избрав его, идти по нем, но что для того, чтобы это сделать, нужно прежде всего остановиться, остановиться не затем, чтобы стоять, а затем, чтобы найти настоящий путь и потом уже неуклонно идти по нем, и что для того и для другого нужно первое остано-

виться и опомниться, — сколько он ни говорил этого, его не слушали.

И первая часть путников пошла вперед по направлению, по которому она шла, вторая же часть стала метаться из стороны в сторону, но ни та, ни другая не только не приблизилась к цели, но и не выбралась из кустов и колючек и блуждает до сих пор.

Точь-точь то же самое случилось со мной, когда я попытался высказать сомнение в том, что путь, по которому мы забрели в темный лес рабочего вопроса и в засасывающее нас болото не могущих иметь конца вооружений народов, есть не вполне тот путь, по которому нам надо идти, что очень может быть, что мы сбились с дороги, и что поэтому не остановиться ли нам на время в том движении, которое очевидно ложно, не сообразить ли прежде всего по тем общим и вечным началам истины, открытой нам, по тому ли направлению мы идем, по которому намеревались идти? Никто не ответил на этот вопрос, ни один не сказал: мы не ошиблись в направлении и не блуждаем, мы в этом уверены потому-то и потому-то. Ни один человек не сказал и того, что, может быть, и точно мы ошиблись, но что у нас есть средство несомненное, не прекращая нашего движения, поправить нашу ошибку. Никто не сказал ни того, ни другого. А все рассердились, обиделись и поспешили заглушить дружным говором мой одиночный голос. «Мы и так ленивы и отстали. А тут проповедь лени, праздности, неделания!» Некоторые прибавили даже: ничегонеделания. «Не слушайте его, — вперед за нами!» — закричали как те, которые считают, что спасение в том, чтобы, не изменяя его, идти по раз избранному направлению, какое бы оно ни было, так и те, которые считают, что спасение в том, чтобы метаться по всем направлениям.

— Что стоять? Что думать? Скорее вперед! Все само собой делается!

Люди сбились с пути и страдают от этого. Казалось бы, первое и главное усилие энергии, которое следует сделать, должно бы быть направлено не на усиление того движения, которое завлекло нас в то ложное положение, в котором мы находимся, а на остановку его.

Казалось бы, ясно то, что, только остановившись, мы можем хоть сколько-нибудь понять свое положение и найти то направление, в котором мы должны идти, для того чтобы прийти к истинному благу не одного человека, не одного разряда людей, а истинному общему благу человечества, к которому стремятся все люди и отдельно каждое сердце человеческое. И что же? Люди придумывают все возможное, но только не то одно, что может спасти, и если и не спасти их, то хотя облегчить их положение, именно то, чтобы хоть на минуту остановиться и не продолжать усиливать своей ложной деятельностью свои бедствия. Люди чувствуют бедственность своего положения и делают все возможное для избавления себя от него, но только того одного, что наверное облегчит их положение, они ни за что не хотят сделать, и совет сделать это больше всего раздражает их.

Если бы можно было еще сомневаться в том, что мы заблудились, то это отношение к совету одуматься очевиднее всего доказывает, как безнадежно мы заблудились и как велико наше отчаяние.

ХОЗЯИН И РАБОТНИК

I

Это было в семидесятых годах, на другой день после зимнего Николы. В приходе был праздник, и деревенскому дворнику, купцу второй гильдии Василию Андреичу Брехунову, нельзя было отлучиться: надо было быть в церкви, — он был церковный староста, — и дома надо было принять и угостить родных и знакомых. Но вот последние гости уехали, и Василий Андреич стал собираться тотчас же ехать к соседнему помещику для покупки у него давно уже приторговываемой роши. Василий Андреич торопился ехать, чтобы городские купцы не отбили у него эту выгодную покупку. Молодой помещик просил за рошу десять тысяч только потому, что Василий Андреич давал за нее семь. Семь же тысяч составляли только одну треть настоящей стоимости роши. Василий Андреич, может быть, выторговал бы и еще, так как лес находился в его округе, и между ним и деревенскими уездными купцами уже давно был установлен порядок, по которому один купец не повышал цены в округе другого, но Василий Андреич узнал, что губернские лесоторговцы хотели ехать торговать Горячкинскую рошу, и он решил тотчас же ехать и покончить дело с помещиком. И потому, как только отошел праздник, он достал из сундука свои семьсот рублей, добавил к ним находящихся у него

церковных две тысячи триста, так чтобы составилось три тысячи рублей, и, старательно перечтя их и уложив в бумажник, собрался ехать.

Работник Никита, один в этот день не пьяный из работников Василия Андреича, побежал запрягать. Никита не был пьян в этот день потому, что он был пьяница, и теперь, с заговен, во время которых он пропил с себя поддевку и кожаные сапоги, он зарекся пить и не пил второй месяц; не пил и теперь, несмотря на соблазн везде распиваемого вина в первые два дня праздника.

Никита был пятидесятилетний мужик из ближней деревни, нехозяин, как про него говорили, большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях. Везде его ценили за его трудолюбие, ловкость и силу в работе, главное — за добрый, приятный характер; но нигде он не уживался, потому что раза два в год, а то и чаще, запивал, и тогда, кроме того что пропивал все с себя, становился еще буен и придиричив. Василий Андреич тоже несколько раз прогонял его, но потом спясть брал, дорожа его честностью, любовью к животным и, главное, дешевизной. Василий Андреич платил Никите не восемьдесят рублей, сколько стоил такой работник, а рублей сорок, которые выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки.

Жена Никиты, Марфа, когда-то бывшая красивая бойкая баба, хозяйничала дома с подростком-малым и двумя девками и не звала Никиту жить домой, во-первых, потому, что уже лет двадцать жила с бондарем, мужиком из чужой деревни, который стоял у них в доме; а во-вторых, потому, что, хотя она и помыкала мужем, как хотела, когда он был трезв, она боялась его, как огня, когда он напивался. Один раз, напившись пьян дома, Никита, вероятно чтобы выместить жене за все свое трезвое смирение, взломал ее сундук, достал самые драгоценные ее наряды и, взяв топор, на обрубке изрубил в мелкую крошку все ее сарафаны и платья. Зажитое Никитой жалованье все отдавалось его жене, и Никита не противоречил этому. Так и теперь, за два дня до праздника, Марфа приезжала к

Василию Андреичу и забрала у него белой муки, чаю, сахару и осьмуху вина, всего рубля на три, да еще взяла пять рублей деньгами и благодарила за это, как за особую милость, тогда как по самой дешевой цене за Василием Андреичем было рублей двадцать.

— Мы разве с тобой уговоры какие делали? — говорил Василий Андреич Никите. — Нужно — бери, проживешь. У меня не как у людей: подожди, да расчеты, да штрафы. Мы по чести. Ты мне служишь, и я тебя не оставляю.

И, говоря это, Василий Андреич был искренно уверен, что он благодетельствует Никите: так убедительно он умел говорить и так все зависящие от его денег люди, начиная с Никиты, поддерживали его в этом убеждении, что он не обманывает, а благодетельствует их.

— Да я понимаю, Василий Андреич; кажется, служу, стараюсь, как отцу родному. Я очень хорошо понимаю, — отвечал Никита, очень хорошо понимая, что Василий Андреич обманывает его, но вместе с тем чувствуя, что нечего и пытаться разъяснить с ним свои расчеты, а надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают.

Теперь, получив приказание хозяина запрягать, Никита, как всегда, весело и охотно, бодрым и легким шагом своих гусем шагающих ног пошел в сарай, снял там с гвоздя тяжелую ременную с кистью узду и, погромыхивая баранчиками удил, пошел к затворенному хлеву, в котором отдельно стояла та лошадь, которую велел запрягать Василий Андреич.

— Что, соскучился, соскучился, дурачок? — говорил Никита, отвечая на слабое приветственное ржанье, с которым встретил его среднего роста ладный, несколько вислозадый, караковый, мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке. — Но, но! поспеешь, дай прежде напою, — говорил он с лошадью совершенно так, как говорят с понимающими слова существами, и, обмахнув полой жирную с желобком посредине, разъединную и засыпанную пылью спину, он надел на красивую молодую голову жеребца узду, выпростал ему уши и челку и, скинув оброть, повел поить.

Осторожно выбравшись из высоко занавоженного хлева, Мухортый заиграл и взбрыкнул, притворяясь, что хочет задней ногой ударить рысью бежавшего с ним к колодцу Никиту.

— Балуй, балуй, шельмец! — приговаривал Никита, знавший ту осторожность, с которой Мухортый скидывал задней ногой только так, чтобы коснуться его засаленного полушубка, но не ударить, и особенно любивший эту замашку.

Напившись студеной воды, лошадь вздохнула, пошевеливая мокрыми крепкими губами, с которых капали с усов в корыто прозрачные капли, и замерла, как будто задумавшись; потом вдруг громко фыркнула.

— Не хочешь, не надо, так и знать будем; уж больше не проси, — сказал Никита, совершенно серьезно и обстоятельно разъясняя свое поведение Мухортому; и опять побежал к сараю, подергивая за повод взбрыкивающую и на весь двор потрескивающую веселую молодую лошадь.

Работников никого не было; был только один чужой, пришедший на праздник кухаркин муж.

— Поди спроси, душа милая, — сказал ему Никита, — какие сани велить запрягать: пошевни али махонькие?

Кухаркин муж пошел в железом крытый на высоком фундаменте дом и скоро вернулся с известием, что велено впрягать махонькие. Никита в это время уже надел хомут, подвязал седелку, обитую гвоздиками, и, в одной руке неся легкую крашеную дугу, а в другой ведя лошадь, подходил к двум стоявшим под сараем саням.

— В махонькие так в махонькие, — сказал он и ввел в оглобли умную лошадь, все время притворявшуюся, что она хочет кусать его, и с помощью кухаркина мужа стал запрягать.

Когда все было почти готово и оставалось только завожжать, Никита послал кухаркина мужа в сарай за соломой и в амбар за веретем.

— Вот и ладно. Но, но, не топырься! — говорил Никита, уминая в санях принесенную кухаркиным мужем свежеемолоченную овсяную солому. — А теперь

вот давай дерюжку так постелим, а сверху веретье. Вот так-то, вот так-то и хорошо будет сидеть, — говорил он, делая то, что говорил, — подтыкая веретье сверх соломы со всех сторон вокруг сиденья.

— Вот спасибо, душа милая, — сказал Никита кухаркину мужу, — вдвоем все спорее. — И, разобрав ременные с кольцом на соединенном конце вожжи, Никита присел на облучок и тронул просившую хода добрую лошадь по мерзлому навозу двора к воротам.

— Дядя Микит, дядюшка, а дядюшка! — закричал сзади его тоненьким голоском торопливо выбежавший из сеней на двор семилетний мальчик в черном полушубочке, новых белых валенках и теплой шапке. — Меня посади, — просил он, на ходу застегивая свой полушубочек.

— Ну, ну, беги, голубок, — сказал Никита и, оставив, посадил просиявшего от радости хозяйского бледного, худенького мальчика и выехал на улицу.

Был час третий. Было морозно — градусов десять, пасмурно и ветрено. Половина неба была закрыта низкой темной тучей. Но на дворе было тихо. На улице же ветер был заметнее: с крыши соседнего сарая мело снег, и на углу, у бани, укрутило. Едва только Никита выехал в ворота и завернул лошадь к крыльцу, как и Василий Андреич, с папироской во рту, в крытом овчинном тулупе, туго и низко подпоясанный кушаком, вышел из сеней на повизгивающее под его кожей обшитыми валенками, утоптанное снегом, высокое крыльцо и остановился. Затянувшись остатком папироски, он бросил ее под ноги и наступил на нее и, выпуская через усы дым и косясь на выезжавшую лошадь, стал заправлять с обеих сторон своего румяного, бритого, кроме усов, лица углы воротника тулупа мехом внутрь, так чтобы мех не потел от дыханья.

— Вишь ты, прокурат какой, поспел уж! — сказал он, увидав сынишку в санях. Василий Андреич был возбужден выпитым с гостями вином и потому еще более, чем обыкновенно, доволен всем тем, что ему принадлежало, и всем тем, что он делал. Вид своего сына, которого он всегда в мыслях называл наследником, до-

ставлял ему теперь большое удовольствие; он, щурясь и оскаливая длинные зубы, смотрел на него.

Закутанная по голове и плечам шерстяным платком, так что только глаза ее были видны, беременная, бледная и худая жена Василия Андреича, провожая его, стояла за ним в сенях.

— Право, Никиту бы взял, — говорила она, робко выступая из-за двери.

Василий Андреич ничего не отвечал и на слова ее, которые были ему, очевидно, неприятны, сердито нахмурился и плюнул.

— С деньгами поедешь, — продолжала тем же жалобным голосом жена. — Да и погода не поднялась бы, право, ей-богу.

— Что ж я, иль дороги не знаю, что мне непременно провожатого нужно? — проговорил Василий Андреич с тем неестественным напряжением губ, с которым он обыкновенно говорил с продавцами и покупателями, с особенной отчетливостью выговаривая каждый слог.

— Ну, право, взял бы. Богом тебя прошу! — повторила жена, перекутывая платок на другую сторону.

— Вот как банный лист пристала... Ну куда я его возьму?

— Что ж, Василий Андреич, я готов, — весело сказал Никита. — Только лошадям корма бы без меня дали, — прибавил он, обращаясь к хозяйке.

— Я посмотрю, Никитушка, Семену велю, — сказала хозяйка.

— Так что ж, ехать, что ли, Василий Андреич? — сказал Никита, ожидая.

— Да уж, видно, уважить старуху. Только коли ехать, поди одень дипломат какой потеплее, — выговаривал Василий Андреич, опять улыбаясь и подмигивая глазом на прорванный под мышками и в спине и в подоле бахромой разорванный, засаленный и свалявшийся, всего видавший полушубок Никиты.

— Эй, душа милая, выдь поддержи лошадь! — крикнул Никита во двор кухаркину мужу.

— Я сам, я сам! — запищал мальчик, вынимая зазябшие красные ручонки из карманов и хватаясь ими за холодные ременные вожжи.

— Только не больно охорашивай дипломат-то свой, поживей! — крикнул Василий Андреич, зубоскаля на Никиту.

— Одним пыхом, батюшка Василий Андреич, — проговорил Никита и, быстро мелькая носками внутрь своими старыми, подшитыми войлочными подметками валенками, побежал во двор и в рабочую избу.

— Ну-ка, Аринушка, халат давай мой с печи — с хозяином ехать! — проговорил Никита, вбегая в избу и снимая кушак с гвоздя.

Работница, выпавшаяся после обеда и теперь ставившая самовар для мужа, весело встретила Никиту и, зараженная его поспешностью, так же как он, быстро зашевелилась и достала с печи сушившийся там плохонький, проношенный суконный кафтан и начала поспешно отряхивать и разминать его.

— То-то тебе с хозяином просторно гулять будет, — сказал Никита кухарке, всегда из добродушной учтивости что-нибудь да говоривший человеку, когда оставался с ним с глазу на глаз.

И, обведя вокруг себя узенький свалывшийся кушачок, он втянул в себя и так тощее брюхо и затянулся по полушубку что было силы.

— Вот так-то, — сказал он после этого, обращаясь уже не к кухарке, а к кушаку, засовывая его концы за пояс, — так не выскочишь, — и, приподняв и опустив плечи, чтобы была развязность в руках, он надел сверху халат, тоже напружил спину, чтобы рукам вольно было, подбил под мышками и достал с полки рукавицы. — Ну вот и ладно.

— Ты бы, Степаныч, ноги-то перебул, — сказала кухарка, — а то сапоги худые.

Никита остановился, как бы вспомнив.

— Надо бы... Ну да сойти и так, недалече!

И он побежал на двор.

— Не холодно тебе будет, Никитушка? — сказала хозяйка, когда он подошел к саням.

— Чего холодно, тепло вовсе, — отвечал Никита, оправляя солому в головашках саней, чтобы закрыть ею ноги, и засовывая ненужный для доброй лошади кнут под солому.

Василий Андреич уже сидел в санях, наполняя своей одетою в двух шубах спиною почти весь гнутый задок саней, и тотчас же, взяв вожжи, тронул лошадь. Никита на ходу примостился спереди с левой стороны и высунул одну ногу.

II

Добрый жеребец с легким скрипом полозьев сдвинул сани и бойкой ходю тронулся по накатанной в поселке морозной дороге.

— Ты куда прицепился? Дай сюда кнут, Микита! — крикнул Василий Андреич, очевидно радуясь на наследника, который примостился было сзади на полозьях. — Я тебя! Беги к мамаше, сукин сын!

Мальчик соскочил. Мухортый прибавил иноходи и, заекав, перешел на рысь.

Кресты, в которых стоял дом Василия Андреича, состояли из шести домов. Как только они выехали за последнюю кузнецову избу, они тотчас же заметили, что ветер гораздо сильнее, чем они думали. Дороги уже почти не видно было. След полозьев тотчас же заметало, и дорогу можно было отличить только потому, что она была выше остального места. По всему полю кружило, и не видно было той черты, где сходится земля с небом. Телятинский лес, всегда хорошо видный, только изредка смутно чернел через снежную пыль. Ветер дул с левой стороны, заворачивая упорно в одну сторону гриву на крутой, наеденной шее Мухортого, и сворачивал набок его простым узлом подвязанный пушистый хвост. Длинный воротник Никиты, сидевшего со стороны ветра, прижимался к его лицу и носу.

— Бегу ей настоящего нет, снежно, — сказал Василий Андреич, гордясь своей хорошей лошадью. — Я раз в Пашутино ездил на нем же, так он в полчаса доставил.

— Чаго? — спросил, не расслышав из-за воротника, Никита.

— В Пашутино, говорю, в полчаса доехал, — прокричал Василий Андреич.

— Что и говорить, лошадь добрая! — сказал Никита.

Они помолчали. Но Василию Андреичу хотелось говорить.

— Что ж, хозяйке-то, я чай, наказывал бондаря не поить? — заговорил тем же громким голосом Василий Андреич, столь уверенный в том, что Никите должно быть лестно поговорить с таким значительным и умным человеком, как он, и столь довольный своей шуткой, что ему и в голову не приходило, что разговор этот может быть неприятен Никите.

Никита опять не расслышал относимый ветром звук слов хозяина.

Василий Андреич повторил своим громким, отчетливым голосом свою шутку о бондаре.

— Бог с ними, Василий Андреич, я не вникаю в эти дела. Мне чтобы малого она не обижала, а то бог с ней.

— Это так, — сказал Василий Андреич. — Ну, а что ж, лошадь-то будешь покупать к весне? — начал он новый предмет разговора.

— Да не миновать, — отвечал Никита, отворотив воротник кафтана и перегнувшись к хозяину.

Теперь уж разговор был интересен Никите, и он желал все слышать.

— Малый возрос, надо самому пахать, и то все наймали, — сказал он.

— Что же, берите бескостречного, дорого не положу! — прокричал Василий Андреич, чувствуя себя возбужденным и вследствие этого нападая на любимое, поглощавшее все его умственные силы, занятие — барышничество.

— А то рубликов пятнадцать дадите, я на конной куплю, — сказал Никита, знавший, что красная цена бескостречному, которого хочет ему сбыть Василий Андреич, рублей семь, а что Василий Андреич, отдав ему эту лошадь, будет считать ее рублей в двадцать пять, и тогда за полгода не увидишь от него денег.

— Лошадь хорошая. Я тебе желаю, как самому себе. По совести, Брехунов никакого человека не обидит. Пускай мое пропадает, а не то чтобы как другие. По чести, — прокричал он своим тем голосом, которым он заговаривал зубы своим продавцам и покупателям. — Лошадь настоящая!

— Как есть, — сказал Никита, вздохнув, и, убедившись, что слушать больше нечего, пустил рукой воротник, который тотчас же закрыл ему ухо и лицо.

С полчаса они ехали молча. Ветер продувал Никите бок и руку, где шуба была прорвана.

Он пожимался и дышал в воротник, закрывавший ему рот, и ему всему было не холодно.

— Что, как думаешь, на Карамышево поедем али прямо? — спросил Василий Андреич.

На Карамышево езда была по более бойкой дороге, уставленной хорошими вешками в два ряда, но — дальше. Прямо было ближе, но дорога была мало езжена и вешек не было или были плохонькие, занесенные.

Никита подумал немного.

— На Карамышево хоть и подальше, да ездовитее, — проговорил он.

— Да ведь прямо только лошину проехать не сбиться, а там лесом хорошо, — сказал Василий Андреич, которому хотелось ехать прямо.

— Воля ваша, — сказал Никита и опять пустил воротник.

Василий Андреич так и сделал и, отъехав с полверсты, у высокой, мотающейся от ветра дубовой ветки с сухими, кой-где державшимися на ней листьями, свернул влево.

Ветер с поворота стал им почти встречный. И сверху пошел снежок. Василий Андреич правил, надувал щеки и пускал дух себе снизу в усы. Никита дремал.

Они молча проехали так минут десять. Вдруг Василий Андреич заговорил что-то.

— Чаго? — спросил Никита, открывая глаза.

Василий Андреич не отвечал и изгибался, оглядываясь назад и вперед перед лошадью. Лошадь, закурчавившаяся от пота в пахах и на шее, шла шагом.

— Чаго ты, говорю? — повторил Никита.

— Чаго, чаго! — передразнил его Василий Андреич сердито. — Вешек не видать! Должно, сбились!

— Так стой же, я дорогу погляжу, — сказал Никита и, легко соскочив с саней и достав кнут из-под соломы, пошел влево и с той стороны, с которой сидел.

Снег в этом году был неглубокий, так что везде была дорога, но все-таки кое-где он был по колено и засыпался Никите в сапог. Никита ходил, щупал ногами и кнутом, но дороги нигде не было.

— Ну что? — сказал Василий Андреич, когда Никита подошел опять к саням.

— С этой стороны нету дороги. Надо в ту сторону пойти походить.

— Вон что-то впереди чернеет, ты туда дойди погляди, — сказал Василий Андреич.

Никита пошел и туда, подошел к тому, что чернелось, — это чернелась земля, насыпавшаяся с оголенных озимей сверх снега и окрасившая снег черным. Походив и справа, Никита вернулся к саням, обил с себя снег, вытряхнул его из сапога и сел в сани.

— Вправо ехать надо, — сказал он решительно. — Ветер мне в левый бок был, а теперь прямо в морду. Пошел вправо! — решительно сказал он.

Василий Андреич послушал его и взял вправо. Но дороги все не было. Они проехали так несколько времени. Ветер не уменьшался, и пошел снежок.

— А мы, Василий Андреич, видно, вовсе сбились, — вдруг сказал как будто с удовольствием Никита. — Это что? — сказал он, указывая на черную картофельную ботву, торчавшую из-под снега.

Василий Андреич остановил уже вспотевшую и тяжело водившую крутыми боками лошадь.

— А что? — спросил он.

— А то, что мы на захаровском поле. Вон куда заехали!

— Вре? — откликнулся Василий Андреич.

— Не вру я, Василий Андреич, а правду говорю, — сказал Никита, — и по саням слышно — по картофелищу едем; а вон и кучи, — ботву свозили. Захаровское заводское поле.

— Вишь ты, куда сбились! — сказал Василий Андреич. — Как же быть-то?

— А надо прямо брать, вот и все, куда-нибудь да выедем, — сказал Никита. — Не в Захаровку, так на барский хутор выедем.

Василий Андреич послушался и пустил лошадь, как велел Никита. Они ехали так довольно долго. Иногда они выезжали на оголенные зелены, и сани гремели по колчам мерзлой земли. Иногда выезжали на жнивье, то на озимое, то на яровое, по которым из-под снега виднелись мотавшиеся от ветра полыни и соломины; иногда въезжали в глубокий и везде одинаково белый ровный снег, сверху которого уже ничего не было видно.

Снег шел сверху и иногда поднимался снизу. Лошадь, очевидно, утомилась, вся закурчавилась и заиндевела от пота и шла шагом. Вдруг она оборвалась и села в водомоину или в канаву. Василий Андреич хотел остановить, но Никита закричал на него:

— Чего держать! Заехали — выезжать надо. Но, миленький! но! но, родной! — закричал он веселым голосом на лошадь, выскакивая из саней и сам увязая в канаве.

Лошадь рванулась и тотчас же выбралась на мерзлую насыпь. Очевидно, это была копаная канава.

— Где ж это мы? — сказал Василий Андреич.

— А вот узнаем! — отвечал Никита. — Трогай знай, куда-нибудь выедем.

— А ведь это, должно, Горячкинский лес? — сказал Василий Андреич, указывая на что-то черное, показавшееся из-за снега впереди их.

— Вот подъедем, увидим, какой такой лес, — сказал Никита.

Никита видел, что со стороны черневшегося чего-то неслись сухие продолговатые листья лозины, и потому знал, что это не лес, а жильё, но не хотел говорить. И действительно, не проехали они еще и десяти саженьей после канавы, как перед ними зачернелись, очевидно, деревья, и послышался какой-то новый унылый звук. Никита угадал верно: это был не лес, а ряд высоких лозин, с кое-где трепавшимися еще на них листьями. Лозины, очевидно, были обсажены по канаве гумна.

Подъехав к уныло гудевшим на ветру лозинам, лошадь вдруг поднялась передними ногами выше саней, выбралась и задними на возвышение, повернула влево и перестала утопать в снегу по колена. Это была дорога.

— Вот и приехали, — сказал Никита, — а незнамо куда.

Лошадь, не сбиваясь, пошла по занесенной дороге, и не проехали они по ней сорока сажений, как зачернелась прямая полоса плетня риги под толсто засыпанной снегом крышей, с которой не переставая сыпался снег. Миновав ригу, дорога повернула по ветру, и они въехали в сугроб. Но впереди виднелся проулок между двумя домами, так что, очевидно, сугроб надуло на дороге, и надо было переехать его. И действительно, переехав сугроб, они въехали в улицу. У крайнего двора на веревке отчаянно трепалось от ветра развешанное замерзшее белье: рубахи, одна красная, одна белая, портки, онучи и юбка. Белая рубаха особенно отчаянно рвалась, махая своими рукавами.

— Вишь, баба ленивая, а либо умирает, белье к празднику не собрала, — сказал Никита, глядя на мотавшиеся рубахи.

III

В начале улицы еще было ветрено, и дорога была заметена, но в середине деревни стало тихо, тепло и весело. У одного двора лаяла собака, у другого баба, закрывшись с головой поддевкой, прибежала откуда-то и зашла в дверь избы, остановившись на пороге, чтобы поглядеть на проезжающих. Из середины деревни слышались песни девок.

В деревне, казалось, и ветра, и снега, и мороза было меньше.

— А ведь это Гришкино, — сказал Василий Андреич.

— Оно и есть, — отвечал Никита.

И действительно, это было Гришкино. Выходило так, что они сбились влево и проехали верст восемь не совсем в том направлении, которое им нужно было, но все-таки подвинулись к месту своего назначения. До Горячкина от Гришкина было верст пять.

В середине деревни они наткнулись на высокого человека, шедшего посередине улицы.

— Кто едет? — крикнул этот человек, останавливая лошадь, и, тотчас же узнав Василия Андреича, схватился за оглоблю и, перебирая по ней руками, дошел до саней и сел на облучок.

Это был знакомый Василию Андреичу мужик Исай, известный в округе за первого конокрада.

— А! Василий Андреич! Куда же это вас бог несет? — сказал Исай, обдавая Никиту запахом выпитой водки.

— Да мы в Горячкино было.

— Вона куда заехали! Вам бы на Малахово надо.

— Мало, что надо, да не потрафили, — сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.

— Лошадка-то добрая, — сказал Исай, оглядывая лошадь и затягивая ей привычным движением под самую репицу ослабший узел завязанного густого хвоста.

— Что же, ночевать, что ли?

— Не, брат, обязательно ехать надо.

— Нужно, видно. А это чей? А! Никита Степаныч!

— А то кто же? — отвечал Никита. — А вот как бы, душа милая, нам тут не сбиться опять.

— Где же тут сбиться! Поворачивай назад, по улице прямо, а там, как выедешь, все прямо. Влево не бери. Выедешь на большак, а тогда — вправо.

— Поворот-то с большака где? По летнему или по зимнему? — спросил Никита.

— По зимнему. Сейчас, как выедешь, кустики, насупротив кустиков еще вешка большая дубовая, кудрявая стоит, — тут и есть.

Василий Андреич повернул лошадь назад и поехал слободой.

— А то ночевали бы! — прокричал им сзади Исай.

Но Василий Андреич не отвечал ему и потрогивал лошадь: пять верст ровной дороги, из которых две были лесом, казалось, легко проехать, тем более что ветер как будто затих и снег переставал.

Проехав опять улицей по накатанной и черневшей кое-где свежим навозом дороге и миновав двор с бельем, у которого белая рубаха уже сорвалась и висела на

одном мерзлом рукаве, они опять выехали к страшно гудевшим лозинам и опять очутились в открытом поле. Метель не только не стихала, но, казалось, еще усилилась. Дорога вся была заметена, и можно было знать, что не сбился, только по вешкам. Но и вешки впереди трудно было рассматривать, потому что ветер был встречный.

Василий Андреич щурился, нагибал голову и разглядывал вешки, но больше пускал лошадь, надеясь на нее. И лошадь действительно не сбивалась и шла, поворачивая то вправо, то влево по извилинам дороги, которую она чуяла под ногами, так что, несмотря на то, что снег сверху усилился и усилился ветер, вешки продолжали быть видны то справа, то слева.

Так проехали они минут десять, как вдруг прямо перед лошадью показалось что-то черное, двигавшееся в косой сетке гонимого ветром снега. Это были попутчики. Мухортый совсем догнал их и стучал ногами об кресла впереди едущих саней.

— Объезжай... а-а-й... передом! — кричали из саней.

Василий Андреич стал объезжать. В санях сидели три мужика и баба. Очевидно, это ехали гости с праздника. Один мужик хлестал засыпанный снегом зад лошаденки хворостиной. Двое, махая руками, кричали что-то в передке. Укутанная баба, вся засыпанная снегом, не шевелясь, сидела, нахохлившись, в задке саней.

— Чьи будете? — закричал Василий Андреич.

— А-а-а... ские! — только слышно было.

— Чьи, говорю?

— А-а-а-ские! — изо всех сил закричал один из мужиков, но все-таки нельзя было расслышать какие.

— Вали! Не сдавай! — кричал другой, не переставая молотить хворостиной по лошаденке.

— От праздника, видно?

— Пошел, пошел! Вали, Семка! Объезжай! Вали!

Сани стукнулись друг о друга отводами, чуть не зацепились, расцепились, и мужицкие сани стали отставать.

Косматая, вся засыпанная снегом, брюхастая лошаденка, тяжело дыша под низкой дугой, очевидно из последних сил тщетно стараясь убежать от ударившей ее

хворостины, ковыляла своими коротенькими ногами по глубокому снегу, подкидывая их под себя. Морда, очевидно молодая, с подтянутой, как у рыбы, нижней губой, с расширенными ноздрями и прижатыми от страха ушами, подержалась несколько секунд подле плеча Никиты, потом стала отставать.

— Вино-то что делает, — сказал Никита. — На отделку замучили лошаденку. Азиаты как есть!

Несколько минут слышны были сопенье ноздрей замученной лошаденки и пьяные крики мужиков, потом затихло сопенье, потом замолкли и крики. И кругом опять ничего не стало слышно, кроме свистящего около ушей ветра и изредка слабого скрипа полозьев по сдутым местам дороги.

Встреча эта развеселила и ободрила Василия Андреича, и он смелее, не разбирая вешек, погнал лошадь, надеясь на нее.

Никите делать было нечего, и, как всегда, когда он находился в таком положении, он дремал, наверстывая много недоспанного времени. Вдруг лошадь остановилась, и Никита чуть не упал, клюнув вперед носом.

— А ведь мы опять неладно едем, — сказал Василий Андреич.

— А что?

— Да вешек не видать. Должно, опять сбились с дороги.

— А сбились с дороги, поискать надо, — коротко сказал Никита, встал и опять, легко шагая своими внутрь вывернутыми ступнями, пошел ходить по снегу.

Он долго ходил, скрываясь из вида, опять показываясь и опять скрываясь, и, наконец, вернулся.

— Нет тут дороги, может, впереди где, — сказал он, садясь на сани.

Начинало уже заметно смеркаться. Метель не усиливалась, но и не слабела.

— Хоть бы тех мужиков услышать, — сказал Василий Андреич.

— Да, вишь, не догнали, должно далеко сбились. А може, и они сбились, — сказал Никита.

— Куда же ехать-то? — сказал Василий Андреич.

— А пустить лошадь надо, — сказал Никита. — Он привести. Давай вожжи.

Василий Андреич отдал вожжи тем более охотно, что руги его в теплых перчатках начинали зябнуть.

Никита взял вожжи и только держал их, стараясь не шевелить ими, радуясь на ум своего любимца. Действительно, умная лошадь, повертывая то в одну, то в другую сторону то одно, то другое ухо, стала поворачивать.

— Только не говорить, — приговаривал Никита. — Вишь, что делает! Иди, иди знай! Так, так.

Ветер стал дуть взад, стало теплее.

— И умен же, — продолжал радоваться на лошадь Никита. — Киргизенок — тот силен, а глуп. А этот, гляди, что ушами делает. Никакого телеграфа не надо, за версту чуеть.

И не прошло еще получаса, как впереди действительно зачернело что-то: лес ли, деревня, и с правой стороны показались опять вешки. Очевидно, они опять выехали на дорогу.

— А ведь это опять Гришкино, — вдруг проговорил Никита.

Действительно, теперь слева у них была та самая рига, с которой несло снег, и дальше та же веревка с замерзшим бельем, рубахами и портками, которые все так же отчаянно трепались от ветра.

Опять они въехали в улицу, опять стало тихо, тепло, весело, опять стала видна навозная дорога, опять слышались голоса, песни, опять залаяла собака. Уже настолько смерклось, что в некоторых окнах засветились огни.

Посередине улицы Василий Андреич повернул лошадь к большому, в две кирпичные связи, дому и оставил ее у крыльца.

Никита подошел к занесенному освещенному окну, в свете которого блестели перепархивающие снежинки, и постучал кнутовищем.

— Кто там? — откликнулся голос на призыв Никиты.

— С Крестов, Брехуновы, милый человек, — отвечал Никита. — Выдь-ка на час!

От окна отошли, и через минуты две — слышно было — отлипла дверь в сенях, потом стукнула щеколда в наружной двери, и, придерживая дверь от ветра, высунулся высокий старый с белой бородой мужик в накинутах полушубке сверх белой праздничной рубахи и за ним малый в красной рубахе и кожаных сапогах.

— Ты, что ли, Андреич? — сказал старик.

— Да вот заплутали, брат, — сказал Василий Андреич, — хотели в Горячкино, да вот к вам попали. Отъехали, опять заплутали.

— Вишь, как сбились, — сказал старик. — Петрушка, поди отвори ворота! — обратился он к малому в красной рубахе.

— Это можно, — отвечал малый веселым голосом и побежал в сени.

— Да мы, брат, не ночевать, — сказал Василий Андреич.

— Куда ехать — ночное время, ночуй!

— И рад бы ночевать, да ехать надо. Дела, брат, нельзя.

— Ну, погрейся по крайности, прямо к самовару, — сказал старик.

— Погреться — это можно, — сказал Василий Андреич, — темнее не будет, а месяц взойдет — посветлеет. Зайдем, что ль, погреемся, Микит?

— Ну, что ж, и погреться можно, — сказал Никита, сильно перезябший и очень желавший отогреть в тепле свои зазябшие члены.

Василий Андреич пошел со стариком в избу, а Никита въехал в отворенные Петрушкой ворота и, по указанию его, вдвинул лошадь под навес сарая. Сарай был поднавощенный, и высокая дуга зацепила за перемет. Уж усевшиеся на перемете куры с петухом что-то недовольно заквахтали и пощипались лапками по перемету. Встревоженные овцы, топая копытами по мерзлому навозу, шарахнулись в сторону. Собака, отчаянно взвизгивая, с испугом и злостью пощеньячи заливалась-лаяла на чужого.

Никита поговорил со всеми: извинился перед курами, успокоил их, что больше не потревожит, упрекнул овец за то, что они пугаются, сами не зная чего, и не

переставая усовещивал собачонку, в то время как привязывал лошадь.

— Вот так-то и ладно будеть, — сказал он, оклопывая с себя снег. — Вишь, заливаешься! — прибавил он на собаку. — Да будеть тебе! Ну, буде, глупая, буде. Только себя беспокоишь, — говорил он. — Не воры, свои...

— А это, как сказано, три домашние советника, — сказал малый, закидывая сильной рукой под навес оставшиеся снаружи санки.

— Это как же советники? — сказал Никита.

— А так в Пульсоне напечатывано: вор подкрадывается к дому, собака лает, — не зевай, значит, смотри. Петух поет — значит, вставай. Кошка умывается — значит, дорогой гость, приготовься угостить его, — проговорил малый, улыбаясь.

Петруха был грамотный и знал почти наизусть имевшуюся у него единственную книгу Паульсона и любил, особенно когда он был немного выпивши, как нынче, приводить из нее казавшиеся ему подходящими к случаю изречения.

— Это точно, — сказал Никита.

— Прозяб, я чай, дядюшка? — прибавил Петруха.

— Да, есть-таки, — сказал Никита, и они пошли через двор и сени в избу.

IV

Двор, в который заехал Василий Андреич, был один из самых богатых в деревне. Семья держала пять наделов и принанимала еще землю на стороне. Лошадей во дворе было шесть, три коровы, два подтелка, штук двадцать овец. Всех семейных во дворе было двадцать две души: четыре сына женатых, шестеро внуков, из которых один Петруха был женатый, два правнука, трое сирот и четыре снохи с ребятами. Это был один из редких домов, оставшихся еще неделенными; но и в нем уже шла глухая внутренняя, как всегда начавшаяся между баб, работа раздора, которая неминуемо должна была скоро привести к разделу. Два сына жили в Москве в водовозах, один был в солдатах. Дома теперь были

старик, старуха, второй сын — хозяин и старший сын, приехавший из Москвы на праздник, и все бабы и дети; кроме домашних, был еще гость-сосед и кум.

Над столом в избе висела с верхним щитком лампа, ярко освещавшая под собой чайную посуду, бутылку с водкой, закуску и кирпичные стены, в красном углу увешанные иконами и по обе стороны их картинами. На первом месте сидел за столом в одном черном полушубке Василий Андренч, обсасывая свои замерзшие усы и оглядывая кругом народ и избу своими выпуклыми и ястребиными глазами. Кроме Василия Андреича, за столом сидел лысый белобородый старик хозяин в белой домотканой рубахе; рядом с ним, в тонкой ситцевой рубахе, с здоровенной спиной и плечами, — сын, приехавший из Москвы на праздник, и еще другой сын, широкоплечий — старший брат, хозяйничавший в доме, и худощавый рыжий мужик — сосед.

Мужики, выпив и закусив, только что собирались пить чай, и самовар уже гудел, стоя на полу у печки. На полатях и на печке виднелись ребята. На нарах сидела баба над люлькою. Старушка хозяйка, с покрытым во всех направлениях мелкими морщинками, морщившими даже ее губы, лицом, ухаживала за Василием Андренчем.

В то время как Никита входил в избу, она, налив в толстого стекла стаканчик водки, подносила его гостю.

— Не обессудь, Василий Андреич, нельзя, поздравить надо, — говорила она. — Выкушай, касатик.

Вид и запах водки, особенно теперь, когда он перезяб и уморился, сильно смутили Никиту. Он нахмурился и, отряхнув шапку и кафтан от снега, стал против образов и, как бы не видя никого, три раза перекрестился и поклонился образам, потом, обернувшись к хозяину-старика, поклонился сперва ему, потом всем бывшим за столом, потом бабам, стоявшим около печки, и, проговоря: «С праздником», — стал раздеваться, не глядя на стол.

— Ну и заиндевел же ты, дядя, — сказал старший брат, глядя на запушенное снегом лицо, глаза и бороду Никиты.

Никита снял кафтан, еще отряхнул его, повесил к печи и подошел к столу. Ему тоже предложили водки. Была минута мучительной борьбы: он чуть не взял стаканчик и не опрокинул в рот душистую светлую влагу; но он взглянул на Василия Андреича, вспомнил зарок, вспомнил пропитые сапоги, вспомнил бондаря, вспомнил малого, которому он обещал к весне купить лошадь, вздохнул и отказался.

— Не пью, благодарим покорно, — сказал он, нахмурившись, и присел ко второму окну на лавку.

— Что же так? — сказал старший брат.

— Не пью, да и не пью, — сказал Никита, не поднимая глаз, косясь на свои жиденькие усы и бороду и оттаивая с них сосульки.

— Ему не годится, — сказал Василий Андреич, закусывая баранкой выпитый стаканчик.

— Ну, так чайку, — сказала ласковая старушка. — Я чай, изыаб, сердечный. Что вы, бабы, с самоваром копаетесь?

— Готов, — отвечала молодайка и, обмахнув занавеской уходивший прикрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол.

Между тем Василий Андреич рассказывал, как они сбились, как два раза возвращались в ту же деревню, как плутали, как встретили пьяных. Хозяева дивились, объясняли, где и почему они сбились и кто были пьяные, которых они встретили, и учили, как надо ехать.

— Тут до Молчановки малый ребенок доедет, только потрафить на повороте с большака, — куст тут видать. А вы не доехали! — говорил сосед.

— А то ночевали бы. Бабы постеляют, — уговаривала старушка.

— Утречком поехали бы, разлюбезное дело, — подтверждал старик.

— Нельзя, брат, дела! — сказал Василий Андреич. — Час упустишь, годом не наверстаешь, — добавил он, вспоминая о роще и о купцах, которые могли перебить у него эту покупку. — Доедем ведь? — обратился он к Никите.

Никита долго не отвечал, все как будто озабоченный оттаиванием бороды и усов.

— Не сбиться бы опять, — сказал он мрачно.

Никита был мрачен потому, что ему страстно хотелось водки, и одно, что могло затушить это желание, был чай, а чая еще ему не предлагали.

— Да ведь только до поворота бы доехать, а там уж не собьемся; лесом до самого места, — сказал Василий Андреич.

— Дело ваше, Василий Андреич; ехать так ехать, — сказал Никита, принимая подаваемый ему стакан чаю.

— Напьемся чайку, да и марш.

Никита ничего не сказал, но только покачал головой и, осторожно вылив чай на блюдечко, стал греть о пар свои, с всегда напухшими от работы пальцами, руки. Потом, откусив крошечный кусочек сахару, он поклонился хозяевам и проговорил:

— Будьте здоровы, — и потянул в себя согревающую жидкость.

— Кабы проводил кто до поворота, — сказал Василий Андреич.

— Что же, это можно, — сказал старший сын. — Петруха запряжет, да и проводит до поворота.

— Так запрягай, брат. А уж я поблагодарю.

— И, чего ты, касатик! — сказала ласковая старушка. — Мы рады душой.

— Петруха, иди запряги кобылу, — сказал старший брат.

— Это можно, — сказал Петруха, улыбаясь, и тотчас же, сорвав с гвоздя шапку, побежал запрягать.

Пока закладывали лошадь, разговор перешел на то, на чем он остановился в то время, как Василий Андреич подъехал к окну. Старик жаловался соседу-старосте на третьего сына, не приславшего ему ничего к празднику, а жене приславшего французский платок.

— Отбивается народ молодой от рук, — говорил старик.

— Как отбивается-то, — сказал кум-сосед, — сладу нет! Больно умны стали. Вон Демочкин — так отцу руку сломал. Все от большого ума, видно.

Никита вслушивался, всматривался в лица и, очевидно, желал тоже принять участие в разговоре, но был весь поглощен чаем и только одобрительно кивал голо-

вой. Он выпивал стакан за стаканом, и ему становилось все теплее и теплее, и приятнее и приятнее. Разговор продолжался долго все об одном и том же, о вреде разделов; и разговор, очевидно, был не отвлеченный, а дело шло о разделе в этом доме, — разделе, которого требовал второй сын, тут же сидевший и угрюмо молчавший. Очевидно, это было больное место, и вопрос этот занимал всех домашних, но они из приличия при чужих не разбирали своего частного дела. Но, наконец, старик не выдержал и со слезами в голосе заговорил о том, что делиться он не даст, пока жив, что дом у него слава богу, а разделить — все по миру пойдут.

— Вот как Матвеевы, — сказал сосед. — Был дом настоящий, а разделили — ни у кого ничего нет.

— Так-то и ты хочешь, — обратился старик к сыну.

Сын ничего не отвечал, и наступило неловкое молчание. Молчание это перервал Петруха, уже заложивший лошадь и вернувшийся за несколько минут перед этим в избу и все время улыбающийся.

— Так-то у Пульсона есть басня, — сказал он, — дал родитель сыновьям веник сломать. Сразу не сломали, а по пруту — легко. Так и это, — сказал он, улыбаясь во весь рот. — Готово! — прибавил он.

— А готово, так поедем, — сказал Василий Андреич. — А насчет дележу ты, дедушка, не сдавайся. Ты наживал, ты и хозяин. Мировому подай. Он порядок укажет.

— Так фордыбачить, так фордыбачить, — плаксивым голосом говорил все свое старик, — что нет с ним ладов. Как осатанел ровно!

Никита между тем, допив пятый стакан чаю, все-таки не перевернул его, а положил боком, надеясь, что ему нальют еще шестой. Но воды в самоваре уже не было, и хозяйка не налила ему еще, да и Василий Андреич стал одеваться. Нечего было делать. Никита тоже встал, положил назад в сахарницу свой обкусанный со всех сторон кусочек сахара, обер полою мокрое от пота лицо и пошел надевать халат.

Одевшись, он тяжело вздохнул и, поблагодарив хозяев и простившись с ними, вышел из теплой, светлой горницы в темные, холодные, гудевшие от рвавшегося в

них ветра и занесенные снегом через щели дрожавших дверей сени и оттуда — на темный двор.

Петруха в шубе стоял с своею лошадыю посередине двора и говорил, улыбаясь, стихи из Паульсона. Он говорил: «Буря с мглою небо скроить, вихри снежные крутить, аж как зверь, она завоить, аж заплачет, как дитё».

Никита одобрительно покачивал головой и разбирал вожжи.

Старик, провожая Василия Андреича, вынес фонарь в сени и хотел осветить ему, но фонарь тотчас же задуло. И на дворе даже заметно было, что метель разыгралась еще сильнее.

«Ну, уж погодка, — подумал Василий Андреич, — пожалуй, и не доедешь, да нельзя, дела! Да и собрался уж, и лошадь хозяйская запряжена. Доедем, бог даст!»

Хозяин-старик тоже думал, что не следовало ехать, но он уже уговаривал остаться, его не послушали. Больше просить нечего. «Может, я от старости так робею, а они доедут, — думал он. — Да и по крайности спать ляжем вовремя. Без хлопот».

Петруха же и не думал об опасности: он так знал дорогу и всю местность, а кроме того, стишок о том, как «вихри снежные крутить», бодрил его тем, что совершенно выражал то, что происходило на дворе. Никите же вовсе не хотелось ехать, но он уже давно привык не иметь своей воли и служить другим, так что никто не удержал отъезжающих.

V

Василий Андреич подошел к саням, с трудом разбирая в темноте, где они, влез в них и взял вожжи.

— Пошел передом! — крикнул он.

Петруха, стоя на коленках в розвальнях, пустил свою лошадь. Мухортый, уже давно ржавший, чуя впереди себя кобылу, рванулся за нею, и они выехали на улицу. Опять поехали слободой и той же дорогой, мимо того же двора с развешанным замерзшим бельем, которого теперь уже не видно было; мимо того же сарая, который

уже был занесен почти до крыши и с которого сыпался бесконечный снег; мимо тех же мрачно шумящих, свистящих и гнущихся лозин и опять въехали в то снежное, сверху и снизу бушевавшее море. Ветер был так силен, что когда он был вбок и седоки парусили против него, то он накренивал набок санки и сбивал лошадь в сторону. Петруха ехал развалистой рысцой своей доброй кобылы впереди и бодро покрикивал. Мухортый рвался за нею.

Проехав так минут десять, Петруха обернулся и что-то прокричал. Ни Василий Андреич, ни Никита не слышали от ветра, но догадались, что они приехали к повороту. Действительно, Петруха поворотил направо, и ветер, бывший вбок, опять стал навстречу, и справа, сквозь снег, завиднелось что-то черное. Это был кустик на повороте.

— Ну, с богом!

— Спасибо, Петруха!

— Буря небо мглою скроить, — прокричал Петруха и скрылся.

— Вишь, стихотворец какой, — проговорил Василий Андреич и тронул вожжами.

— Да, молодец хороший, мужик настоящий, — сказал Никита.

Поехали дальше.

Никита, укутавшись и вжав голову в плечи, так что небольшая борода его облегла ему шею, сидел молча, стараясь не потерять набранное в избе за чаем тепло. Перед собою он видел прямые линии оглобель, беспрестанно обманывавшие его и казавшиеся ему накатанной дорогой, колеблющийся зад лошади с заворачиваемым в одну сторону подвязанным узлом хвостом и дальше, впереди, высокую дугу и качавшуюся голову и шею лошади с развевающейся гривой. Изредка ему попадались в глаза вешки, так что он знал, что ехали пока по дороге, и ему делать было нечего.

Василий Андреич правил, предоставляя лошади самой держаться дороги. Но Мухортый, несмотря на то, что вздохнул в деревне, бежал неохотно и как будто сворачивал с дороги, так что Василий Андреич несколько раз поправлял его.

«Вот справа одна вешка, вот другая, вот и третья, — считал Василий Андреич, — а вот впереди и лес», — подумал он, вглядываясь во что-то чернеющее впереди его. Но то, что показалось ему лесом, был только куст. Куст проехали, проехали еще сажень двадцать. — четвертой вешки не было, и леса не было. «Должен сейчас быть лес», — думал Василий Андреич и, возбужденный вином и чаем, не останавливаясь, потрогивал вожжами, и покорное, доброе животное слушалось и то иноходью, то небольшою рысцой бежало туда, куда его посылали, хотя и знало, что его посылают совсем не туда, куда надо. Прошло минут десять, леса все не было.

— А ведь мы опять сбились! — сказал Василий Андреич, останавливая лошадь.

Никита молча вылез из саней и, придерживая свой халат, то липнувший к нему по ветру, то отворачивающийся и слезающий с него, пошел лазить по снегу; пошел в одну сторону, пошел в другую. Раза три он скрывался совсем из вида. Наконец он вернулся и взял вожжи из рук Василия Андреича.

— Вправо ехать надо, — сказал он строго и решительно, поворачивая лошадь.

— Ну, вправо, так вправо пошел, — сказал Василий Андреич, отдавая вожжи и засовывая озябшие руки в рукава.

Никита не отвечал.

— Ну, дружок, потрудись, — крикнул он на лошадь; но лошадь, несмотря на потряхивание вожжей, шла только шагом.

Снег был кое-где по колено, и сани подергивались рывом с каждым движением лошади.

Никита достал кнут, висевший на передке, и стегнул. Добрая, непривычная к кнуту лошадь рванулась, пошла рысью, но тотчас же опять перешла на иноходь и шаг. Так проехали минут пять. Было так темно и так курило сверху и снизу, что дуги иногда не было видно. Сани, казалось иногда, стояли на месте, и поле бежало назад. Вдруг лошадь круто остановилась, очевидно чуя что-то неладное перед собой. Никита опять легко выскочил, бросая вожжи, и пошел вперед лошади, чтобы посмотреть, чего она остановилась; но только что он хотел

ступить шаг перед лошадыю, как ноги его поскользнулись и он покатился под какую-то кручь.

— Тпру, тпру, тпру, — говорил он себе, падая и стараясь остановиться, но не мог удержаться и остановился, только врезавшись ногами в нанесенный внизу оврага толстый слой снега.

Нависший с края кручи сугроб, растревоженный падением Никиты, насыпался на него и засыпал ему снегу за шиворот...

— Эко ты как! — укоризненно проговорил Никита, обращаясь к сугробу и оврагу и вытряхивая снег из-за воротника.

— Никита, а Никит! — кричал Василий Андреич сверху.

Но Никита не откликался.

Ему некогда было: он отряхался, потом отыскивал кнут, который выронил, когда скатился под кручу. Найдя кнут, он полез было прямо назад, где скатился, но влезть не было возможности; он скатывался назад, так что должен был низом пойти искать выхода кверху. Сажени на три от того места, где он скатился, он с трудом вылез на четвереньках на гору и пошел по краю оврага к тому месту, где должна была быть лошадь. Лошади и саней он не видал; но так как он шел на ветер, он, прежде чем увидал их, услышал крики Василия Андреича и ржанье Мухортого, звавших его.

— Иду, иду, чего гогочешь! — проговорил он.

Только совсем уже дойдя до саней, он увидал лошадь и стоявшего возле них Василия Андреича, казавшегося огромным.

— Куда, к дьяволу, запропастился? Назад ехать надо. Хоть в Гришкино вернемся, — сердито стал выговаривать Никите хозяин.

— И рад бы вернулся, Василий Андреич, да куда ехать-то? Тут овражище такой, что попади туда — и не выберешься. Я туда засветил так, что насилу выдрался.

— Что же, не стоять же тут? Куда-нибудь надо же ехать, — сказал Василий Андреич.

Никита ничего не отвечал. Он сел на сани задом к ветру, разулся и вытряхнул снег, набившийся ему в са-

поги, и, достав соломки, старательно заткнул ею изнутри дыру в левом сапоге.

Василий Андреич молчал, как бы предоставив теперь уже все Никите. Переобувшись, Никита убрал ноги в сани, надел опять рукавицы, взял вожжи и повернул лошадь вдоль оврага. Но не проехали они и ста шагов, как лошадь опять уперлась. Перед ней опять был овраг.

Никита опять вылез и опять пошел лазить по снегу. Довольно долго он ходил. Наконец появился с противоположной стороны, с которой он пошел.

— Андреич, жив? — крикнул он.

— Здесь! — откликнулся Василий Андреич. — Ну, что?

— Да не разберешь никак. Темно. Овраги какие-то. Надо опять на ветер ехать.

Опять поехали, опять ходил Никита, лазая по снегу. Опять садился, опять лазил и, наконец, запыхавшись, остановился у саней.

— Ну, что? — спросил Василий Андреич.

— Да что, вымотался я весь! Да и лошадь становится.

— Так что же делать?

— Да вот, постой.

Никита опять ушел и скоро вернулся.

— Держи за мной, — сказал он, заходя перед лошадью.

Василий Андреич уже не приказывал ничего, а покорно делал то, что говорил ему Никита.

— Сюда, за мной! — закричал Никита, отходя быстро вправо и хватая за вожжу Мухортого и направляя его куда-то книзу в сугроб.

Лошадь сначала уперлась, но потом рванулась, надеясь проскочить сугроб, но не осилила и села в него по комут.

— Вылезай! — закричал Никита на Василия Андреича, продолжавшего сидеть в санях, и, подхватив под одну оглоблю, стал надвигать сани на лошадь. — Трудненько, брат, — обратился он к Мухортому, — да что же делать, понатужься! Но, но, немного! — крикнул он.

Лошадь рванулась раз, другой, но все-таки не выбралась и опять села, как будто что-то обдумывала.

— Что же, брат, так неладно, — усовещивал Никита Мухортого. — Ну, еще!

Опять Никита потащил за оглоблю с своей стороны; Василий Андреич делал то же с другой. Лошадь пошевелила головой, потом вдруг рванулась.

— Ну! но! не потонешь небось! — кричал Никита.

Прыжок, другой, третий, и, наконец, лошадь выбралась из сугроба и остановилась, тяжело дыша и отряхиваясь. Никита хотел вести дальше, но Василий Андреич так запыхался в своих двух шубах, что не мог идти и повалился в сани.

— Дай вздохнуть, — сказал он, распуская платок, которым он повязал в деревне воротник шубы.

— Тут ничего, ты лежи, — сказал Никита, — я проведу, — и с Василием Андреичем в санях провел лошадь под уздцы вниз шагов десять и потом немного вверх и остановился.

Место, на котором остановился Никита, было не в ложине, где бы снег, сметаемый с бугров и оставаясь, мог совсем засыпать их, но оно все-таки отчасти было защищено краем оврага от ветра. Были минуты, когда ветер как будто немного стихал, но это продолжалось недолго, и как будто для того, чтобы наверстать этот отдых, буря налетала после этого с удесятеренной силой, еще злее рвала и крутила. Такой порыв ветра ударил в ту минуту, как Василий Андреич, отдышавшись, вылез из саней и подошел к Никите, чтобы поговорить о том, что делать. Оба невольно пригнулись и подождали говорить, пока пройдет ярость порыва. Мухортый тоже недовольно прижимал уши и тряс головой. Как только немного прошел порыв ветра, Никита, сняв рукавицы и заткнув их за кушак, подышав в руки, стал отвязывать с дуги поводок.

— Ты что ж это делаешь? — спросил Василий Андреич.

— Отпрягаю, что ж еще делать? Мочи моей нет, — как бы извиняясь, отвечал Никита.

— А разве не выедем куда?

— Не выедем, только лошадь замучаем. Ведь он, сердечный, не в себе стал, — сказал Никита, указывая на покорно стоящую, на все готовую и тяжело носив-

шую крутыми и мокрыми боками лошадь. — Ночевать надо, — повторил он, точно как будто собирался ночевать на постоялом дворе, и стал развязывать сунюнь.

Клеши раскочились.

— А не замерзнем мы? — сказал Василий Андреич.

— Что ж? И замерзнешь — не откажешься, — сказал Никита.

VI

Василию Андреичу в своих двух шубах было совсем тепло, особенно после того, как он повозился в сугробе; но мороз пробежал у него по спине, когда он понял, что действительно надо ночевать здесь. Чтобы успокоиться, он сел в сани и стал доставать папиросы и спички.

Никита между тем распрягал лошадь. Он развязал подбрюшник, чресседельник, развожжал, снял гуж, вывернул дугу и, не переставая разговаривать с лошадью, ободрял ее.

— Ну, выходи, выходи, — говорил он, выводя ее из оглобель. — Да вот привяжем тебя тут. Соломки подложу да размуждаю, — говорил он, делая то, что говорил. — Закусишь, тебе все веселее будет.

Но Мухортый, очевидно, не успокаивался речами Никиты и был тревожен; он переступал с ноги на ногу, жался к саням, становясь задом к ветру, и терся головой о рукав Никиты.

Как будто только для того, чтобы не отказать Никите в его угощении соломой, которую Никита подсунул ему под храп, Мухортый раз порывисто схватил пук соломы из саней, но тотчас же решил, что теперь дело не до соломы, бросил ее, и ветер мгновенно растрепал солому, унес ее и засыпал снегом.

— Теперь примету сделаем, — сказал Никита, повернув сани лицом к ветру, и, связав оглобли чресседельником, он поднял их вверх и притянул к передку. — Вот как занесет нас, добрые люди по оглоблям увидят, откопают, — сказал Никита, похлопывая рукавицами и надевая их. — Так-то старики учили.

Василий Андреич между тем, распустив шубу и закрываясь полами ее, тер одну серную спичку за другой

о стальную коробку, но руки у него дрожали, и загоравшиеся спички одна за другою, то еще не разгоревшись, то в самую ту минуту, как он подносил ее к папиросе, задувались ветром. Наконец одна спичка вся загорелась и осветила на мгновение мех его шубы, его руку с золотым перстнем на загнутом внутрь указательном пальце и засыпанную снегом, выбившуюся из-под веретья овсяную солому, и папироса загорелась. Раз два он жадно потянул, проглотил, выпустил сквозь усы дым, хотел еще затянуться, но табак с огнем сорвало и унесло туда же, куда и солому.

Но и эти несколько глотков табачного дыма развеселили Василия Андреича,

— Ночевать так ночевать! — сказал он решительно.

— погоди же ты, я еще флаг сделаю, — сказал он, поднимая платок, который он, сняв с воротника, бросил было в сани, и, сняв перчатки, стал в передке саней и, вытягиваясь, чтоб достать до чресседельника, тугим узлом привязал к нему платок подле оглобли.

Платок тотчас же отчаянно затрепался, то прилипая к оглобле, то вдруг отдуваясь, натягиваясь и шелкая.

— Вишь, как ловко, — сказал Василий Андреич, любясь на свою работу, опускаясь в сани. — Теплее бы вместе, да вдвоем не усядемся, — сказал он.

— Я место найду, — отвечал Никита, — только лошадь укрыть надо, а то вопреки сердечный. Пустика, — прибавил он и, подойдя к саням, потянул из-под Василия Андреича веретье.

И, достав веретье, он сложил его вдвое и, скинув прежде шлею и сняв седелку, покрыл им Мухортого.

— Все теплее тебе будет, дурачок, — говорил он, надевая опять на лошадь сверх веретья седелку и шлею. — А не нужна вам дерюжка будет? Да соломки мне дайте, — сказал Никита, окончив это дело и опять подойдя к саням.

И, забрав и то и другое из-под Василия Андреича, Никита зашел за спинку саней, выкопал себе там, в снегу, ямку, положил в нее соломы и, нахлобучив шапку и закутавшись кафтаном и сверху покрывшись дерюжкой, сел на посланную солому, прислонясь к лубочному задку саней, защищавшему его от ветра и снега.

Василий Андреич неодобрительно покачал головой на то, что делал Никита, как он вообще не одобрял необразованность и глупость мужицкую, и стал уstraиваться на ночь.

Он разровнял оставшуюся солому по санкам, подложил погуше себе под бок и, засунув руки в рукава, приладился головой в угол саней, к передку, защищавшему его от ветра.

Спать ему не хотелось. Он лежал и думал: думал все о том же одном, что составляло единственную цель, смысл, радость и гордость его жизни, — о том, сколько он нажил и может еще нажить денег; сколько другие, ему известные люди, нажили и имеют денег, и как эти другие наживали и наживают деньги, и как он, так же как и они, может нажить еще очень много денег. Покупка Горячкинского леса составляла для него дело огромной важности. Он надеялся на этом лесе пожить сразу, может быть, десятком тысяч. И он стал в мыслях расценивать виденную им осенью рошу, в которой он на двух десятинах пересчитал все деревья.

«Дуб на полозья пойдет. Срубы сами собой. Да дров сажен тридцать все станет на десятине, — говорил он себе. — С десятины на худой конец по двести с четвертной останется. Пятьдесят шесть десятин, пятьдесят шесть сотен, да пятьдесят шесть сотен, да пятьдесят шесть десятков, да еще пятьдесят шесть десятков, да пятьдесят шесть пятков». Он видел, что выходило за двенадцать тысяч, но без счетов не мог смекнуть ровно сколько. «Десяти тысяч все-таки не дам, а тысяч восемь, да чтоб за вычетом полян. Землемера помажу — сотню, а то полторы; он мне десятин пять полян намеряет. И за восемь отдаст. Сейчас три тысячи в зубы. Небось размякнет, — думал он, ощупывая предплечьем руки бу-мажник в кармане. — И как сбились с поворота, бог ее знает! Должен бы тут быть лес и сторожка. Собак бы слышно. Так не лают, проклятые, когда их нужно». Он отстранил воротник от уха и стал прислушиваться; слышен был все тот же свист ветра, в оглоблях трепанье и щелканье платка и стеганье по лубку саней падающего снега. Он закрылся опять.

«Кабы знать, ночевать бы остаться. Ну, да все одно, доедем и завтра. Только день лишний. В такую погоду и те не поедут». И он вспомнил, что к девятому надо получить за валухов с мясника деньги. «Хотел сам приехать; не застанет меня — жена не сумеет деньги взять. Очень уж необразованна. Обхождения настоящего не знает», — продолжал он думать, вспоминая, как она не умела обойтись со становым, бывшим вчера на празднике у него в гостях. «Известно — женщина! Где она что видала? При родителях какой наш дом был? Так себе, деревенский мужик богатый: рушка да постоянный двор — и все имущество в том. А я что в пятнадцать лет сделал? Лавка, два кабака, мельница, ссыпка, два имения в аренде, дом с амбаром под железной крышей, — вспоминал он с гордостью. — Не то, что при родителе! Нынче кто в округе гремит? Брехунов.

А почему так? Потому — дело помню, стараюсь, не так, как другие — лежни али глупостями занимаются. А я ночи не сплю. Метель не метель — еду. Ну и дело делается. Они думают, так, шутя денежки наживают. Нет, ты потрудись да голову поломай. Вот так-то заночуй в поле да ночи не спи. Как подушка от думы в головах ворочается, — размышлял он с гордостью. — Думают, что в люди выходят по счастью. Вон, Мироновы в миллионах теперь. А почему? Трудись. Бог и даст. Только бы дал бог здоровья».

И мысль о том, что и он может быть таким же миллионщиком, как Миронов, который взялся с ничего, так взволновала Василия Андреича, что он почувствовал потребность поговорить с кем-нибудь. Но говорить не с кем было... Кабы доехать до Горячкина, он был поговорил с помещиком, вставил бы ему очки.

«Ишь ты, дует как! Занесет так, что и не выберемся утром!» — подумал он, прислушиваясь к порыву ветра, который дул в передок, нагибая его, и сек его лубок снегом. Он приподнялся и оглянулся: в белой колеблющейся темноте видна была только чернеющая голова Мухортого и его спина, покрытая развевающимся веретем, и густой завязанный хвост; кругом же со всех сторон, спереди, сзади, была везде одна и та же однообразная белая колеблющаяся тьма, иногда как будто

чуть-чуть просветляющаяся, иногда еще больше сгущающаяся.

«И напрасно послушался я Никиту, — думал он. — Ехать бы надо, все бы выехали куда-нибудь. Хоть назад бы доехали в Гришкино, ночевали бы у Тараса. А то вот сиди ночь целую. Да что, бишь, хорошего было? Да, что за труды бог дает, а не лодырям, лежебокам али дуракам. Да и покурить надо!» Он сел, достал папиросочницу, лег брюхом вниз, закрывая полый от ветра огонь, но ветер находил ход и тушил спички одну за другой. Наконец он ухитрился зажечь одну и закурил. То, что он добился своего, очень обрадовало его. Хотя папироску выкурил больше ветер, чем он, он все-таки затянулся раза три, и ему опять стало веселей. Он опять привалился к задку, укутался и опять начал вспоминать, мечтать и совершенно неожиданно вдруг потерял сознание и задремал.

Но вдруг точно что-то толкнуло и разбудило его. Мухортый ли это дернул из-под него солому, или это внутри его что-то всколыхнуло его — только он проснулся, и сердце у него стало стучать так быстро и так сильно, что ему показалось, что сани трясутся под ним. Он открыл глаза. Вокруг него было все то же, но только казалось светлее. «Светает, — подумал он, — должно, и до утра недолго». Но тотчас же он вспомнил, что светлее стало только оттого, что месяц взошел. Он приподнялся, оглядел сначала лошадь. Мухортый стоял все задом к ветру и весь трясся. Засыпанное снегом веретье заворотилось одной стороной, шлея съехала набок, и засыпанная снегом голова с развевающимися челкой и гривой были теперь виднее. Василий Андреич перегнулся к задку и заглянул за него. Никита сидел все в том же положении, в каком он сел. Дерюжка, которою он прикрывался, и ноги его были густо засыпаны снегом. «Не замерз бы мужик; плоха одежонка на нем. Еще ответишь за него. То-то народ бестолковый. Истинно необразованность», — подумал Василий Андреич и хотел было снять с лошади веретье и накрыть Никиту, но холодно было вставать и ворочаться, и лошадь боялся, как бы не застыла. «И на что я его взял? Все ее глупость одна!» — подумал Василий Андреич,

вспоминая немилую жену, и опять перевалился на свое прежнее место к передку саней. «Так-то дядюшка раз всю ночь в снегу просидел, — вспомнил он, — и ничего. Ну, а Севастьяна-то откопали, — тут же представился ему другой случай, — так тот помер, закоченел весь, как туша мороженная.

Остался бы в Гришкином ночевать, ничего бы не было». И, старательно запахнувшись, так чтобы тепло меха нигде не пропадало даром, а везде — и в шее, и в коленях, и в ступнях — грело его, он закрыл глаза, стараясь опять заснуть. Но сколько он ни старался теперь, он не мог уже забыться, а, напротив, чувствовал себя совершенно бодрым и оживленным. Опять он начал считать барыши, долги за людьми, опять стал хвастаться сам перед собой и радоваться на себя и на свое положение, — но все теперь постоянно прерывалось подкрадывающимся страхом и досадной мыслью о том, зачем он не остался ночевать в Гришкином. «То ли дело: лежал бы на лавке, тепло». Он несколько раз переворачивался, укладывался, стараясь найти более ловкое и защищенное от ветра положение, но все ему казалось неловко; он опять приподнимался, переменял положение, укутывал ноги, закрывал глаза и затихал. Но или скрюченные ноги в крепких валеных сапогах начинали ныть, или продувало где-нибудь, и он, полежав недолго, опять с досадой на себя вспоминал о том, как бы он теперь мог спокойно лежать в теплой избе в Гришкином, и опять поднимался, ворочался, кутался, и опять укладывался.

Раз Василью Андреичу почудилось, что он слышит дальний крик петухов. Он обрадовался, отворотил шубу и стал напряженно слушать, но сколько он ни напрягал слух, ничего не слышно было, кроме звука ветра, свиставшего в оглоблях и трепавшего платок, и снега, стегавшего об лубок саней.

Никита как сел с вечера, так и сидел все время, не шевелясь и даже не отвечая на обращения Василия Андреича, который раза два окликал его. «Ему и горюшка мало, спит, должно», — с досадой думал Василий Андреич, заглядывая через задок саней на густо засыпанного снегом Никиту.



Василий Андреич вставал и ложился раз двадцать. Ему казалось, что конца не будет этой ночи. «Теперь уже, должно быть, близко к утру, — подумал он раз, поднимаясь и оглядываясь. — Дай посмотрю на часы. Озябнешь раскрываться. Ну, да коли узнаю, что к утру дело, все веселее будет. Запрягать станем». Василий Андреич в глубине души знал, что не может быть еще утро, но он все сильнее и сильнее начинал робеть и хотел в одно и то же время и проверить и обмануть себя. Он осторожно распустил крючки полушубка и, засунув руку за пазуху, долго копался, пока достал до жилетки. Насилу-насилу вытащил он свои серебряные с эмалевыми цветками часы и стал смотреть. Без огня ничего не видно было. Он опять лег ничком на локти и на колени, так же, как когда закуривал, достал спички и стал зажигать. Теперь он аккуратнее взялся за дело и, ошупав пальцами спичку с самым большим количеством фосфора, он с первого раза зажег ее. Подсунув циферблат под свет, он взглянул и глазами своим не верил... Было всего десять минут первого. Еще вся ночь была впереди.

«Ох, длинна ночь!» — подумал Василий Андреич, чувствуя, как мороз пробежал ему по спине, и, застегнувшись опять и укрывшись, он прижался к углу саней, собираясь терпеливо ждать. Вдруг из-за однообразного шума ветра он явственно услышал какой-то новый, живой звук. Звук равномерно усиливался и, дойдя до совершенной явственности, так же равномерно стал ослабевать. Не было никакого сомнения, что это был волк. И волк этот выл так недалеко, что по ветру ясно было слышно, как он, ворочая челюстями, изменял звуки своего голоса. Василий Андреич откинул воротник и внимательно слушал. Мухортый также напряженно слушал, поводя ушами, и, когда волк кончил свое колено, переставил ноги и предостерегающе фыркнул. После этого Василий Андреич уж никак не мог не только заснуть, но и успокоиться. Сколько он ни старался думать о своих расчетах, делах и о своей славе и своем достоинстве и богатстве, страх все больше и больше завладевал им, и над всеми мыслями преобладала и ко

всем мыслям примешивалась мысль о том, зачем он не остался ночевать в Гришкине.

«Бог с ним, с лесом, без него дел, слава богу. Эх, ночевать бы! — говорил он себе. — Говорят, пьяные-то замерзают, — подумал он. — А я выпил». И, прислушиваясь к своему ощущению, он чувствовал, что начинал дрожать, сам не зная, от чего он дрожит — от холода или от страха. Он пробовал закрыться и лежать, как прежде, но уже не мог этого сделать. Он не мог оставаться на месте, ему хотелось встать, предпринять что-нибудь, с тем чтобы заглушить поднимающийся в нем страх, против которого он чувствовал себя бессильным. Он опять достал папироски и спички, но спичек уже оставалось только три, и все худшие. Все три ошмурыгались не загоревшись.

«А, черт тебя дери, проклятая, провались ты!» — обругал он сам не зная кого и швырнул смятую папироску. Хотел швырнуть и спичечницу, но остановил движение руки и сунул ее в карман. На него нашло такое беспокойство, что он не мог больше оставаться на месте. Он вылез из саней и, став задом к ветру, начал туго и низко вновь перепоясываться.

«Что лежать-то, смерти дожидаться! Сесть верхом — да и марш, — вдруг пришло ему в голову. — Верхом лошадь не станет. Ему, — подумал он на Никиту, — все равно умирать! Какая его жизнь! Ему и жизни не жалко, а мне, слава богу, есть чем пожить...»

И он, отвязав лошадь, перекинул ей поводья на шею и хотел вскочить на нее, но шубы и сапоги были так тяжелы, что он сорвался. Тогда он встал на сани и хотел с саней сесть. Но сани покачнулись под его тяжестью, и он опять оборвался. Наконец в третий раз он подвинул лошадь к саням и, осторожно став на край их, добился-таки того, что лег брюхом поперек спины лошади. Полежав так, он посунулся вперед раз, два и, наконец, перекинул ногу через спину лошади и уселся, упираясь ступнями ног на долевой ремень шлеи. Толчок пошатнувшихся саней разбудил Никиту, и он приподнялся, и Василию Андрейчу показалось, что он говорит что-то.

— Слушай вас, дураков! Что ж, пропадать так, ни за что? — крикнул Василий Андреич и, подправляя под колена развевающиеся полы шубы, повернул лошадь и погнал ее прочь от саней по тому направлению, в котором он предполагал, что должен быть лес и сторожка.

VII

Никита, с тех пор как сел, покрывшись дерюжкой, за задком саней, сидел неподвижно. Он, как и все люди, живущие с природой и знающие нужду, был терпелив и мог спокойно ждать часы, дни даже, не испытывая ни беспокойства, ни раздражения. Он слышал, как хозяин звал его, но не откликнулся, потому что не хотел шевелиться и откликаться. Хотя ему еще было тепло от выпитого чая и оттого, что он много двигался, лазая по сугробам, он знал, что тепла этого хватит ненадолго, а что согреться движением он уже будет не в силах, потому что чувствовал себя так же усталым, как чувствует себя лошадь, когда она становится, не может, несмотря ни на какой кнут, идти дальше, и хозяин видит, что надо кормить, чтобы она вновь могла работать. Одна нога его в прорванном сапоге остыла, и он уже не чувал на ней большого пальца. И, кроме того, всему телу его становилось все холоднее и холоднее. Мысль о том, что он может и даже по всем вероятностям должен умереть в эту ночь, пришла ему, но мысль эта показалась ему ни особенно неприятной, ни особенно страшной. Не особенно неприятна показалась ему эта мысль потому, что вся его жизнь не была постоянным праздником, а, напротив, была непрерывающей службой, от которой он начинал уставать. Не особенно же страшна была эта мысль потому, что, кроме тех хозяев, как Василий Андреич, которым он служил здесь, он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь, и знал, что и умирая он останется во власти этого же хозяина, а что хозяин этот не обидит. «Жаль бросать обжитое, привычное? Ну, да что же делать, и к новому привыкать надо».

«Грехи? — подумал он и вспомнил свое пьянство, пропитые деньги, обиды жене, ругательства, нехождение в церковь, несоблюдение постов и все то, за что выговаривал ему поп на исповеди. — Известно, грехи. Да что же, разве я сам их на себя напустил? Таким, видно, меня бог сделал. Ну, и грехи! Куда ж денешься?»

Так он подумал сначала о том, что может случиться с ним в эту ночь, и потом уже не возвращался к этим мыслям и отдался тем воспоминаниям, которые сами собой приходили ему в голову. То он вспоминал приезд Марфы, и пьянство рабочих, и свои отказы от вина, то теперешнюю поездку, и Тарасову избу, и разговоры о дележах, то о своем малом, и о Мухортом, который угреется теперь под попоной, то о хозяине, который скрипит теперь санями, ворочаясь в них. «Тоже, я чай, сердечный, сам не рад, что поехал, — думал он. — От такого житья помирать не хочется. Не то, что наш брат». И все эти воспоминания стали переплетаться, мешаться в его голове, и он заснул.

Когда же Василий Андреич, садясь на лошадь, покачнул сани, и задок, на который Никита упирался спиной, совсем отдернулся, и его полозом ударило в спину, он проснулся и волей-неволей принужден был изменить свое положение. С трудом выпрямляя ноги и осыпая с них снег, он поднялся, и тотчас же мучительный холод пронизал все его тело. Поняв, в чем дело, он хотел, чтобы Василий Андреич оставил ему ненужное теперь для лошади веретье, чтобы укрыться им, и закричал ему об этом.

Но Василий Андреич не остановился и скрылся в снежной пыли.

Оставшись один, Никита задумался на минуту, что ему делать. Идти искать жилья он чувствовал себя не в силах. Сесть на старое место уже нельзя было — оно все было засыпано снегом. И в санях, он чувствовал, что не согреется, потому что ему нечем было покрыться, его же кафтан и шуба теперь совсем не грели его. Ему было так холодно, как будто он был в одной рубахе. Ему стало жутко. «Батюшка, отец небесный!» — проговорил он, и сознание того, что он не один, а кто-то слышит его и не оставит, успокоило его. Он глубоко вздохнул и, не

снимая с головы дерюжки, влез в сани и лег в них на место хозяина.

Но и в санях он никак не мог согреться. Сначала он дрожал всем телом, потом дрожь прошла, и он понемногу стал терять сознание. Умирал он или засыпал — он не знал, но чувствовал себя одинаково готовым на то и на другое.

VIII

Между тем Василий Андреич и ногами и концами повода гнал лошадь туда, где он почему-то предположил лес и сторожку. Снег слепил ему глаза, а ветер, казалось, хотел остановить его, но он, нагнувшись вперед и беспрестанно запахивая шубу и подвертывая ее между собой и мешавшей ему сидеть холодной седелкой, не переставая гнал лошадь. Лошадь хотя с трудом, но покорно шла иноходью туда, куда он посылал ее.

Минут пять он ехал, как ему казалось, все прямо, ничего не видя, кроме головы лошади и белой пустыни, и ничего не слыша, кроме свиста ветра около ушей лошади и воротника своей шубы.

Вдруг перед ним зачернелось что-то. Сердце радостно забилося в нем, и он поехал на это черное, уже видя в нем стены домов деревни. Но черное это было не неподвижно, а все шевелилось, и было не деревня, а выросший на меже высокий чернобыльник, торчавший изпод снега и отчаянно мотавшийся под напором гнущего его все в одну сторону и свистевшего в нем ветра. И почему-то вид этого чернобыльника, мучимого немилосердным ветром, заставил содрогнуться Василия Андреича, и он поспешно стал погонять лошадь, не замечая того, что, подъезжая к чернобыльнику, он совершенно изменил прежнее направление и теперь гнал лошадь совсем уже в другую сторону, все-таки воображая, что он едет в ту сторону, где должна была быть сторожка. Но лошадь все воротила вправо, и потому он все время сворачивал ее влево.

Опять впереди его зачернелось что-то. Он обрадовался, уверенный, что теперь это уже наверно деревня. Но это была опять межа, поросшая чернобыльником.

Опять так же отчаянно трепался сухой бурьян, наводя почему-то страх на Василия Андреича. Но мало того, что это был такой же бурьян, — подле него шел конный, заносимый ветром след. Василий Андреич остановился, нагнулся, пригляделся: это был лошадиный, слегка занесенный след и не мог быть ничей иной, как его собственный. Он, очевидно, кружился и на небольшом пространстве. «Пропаду я так!» — подумал он, но, чтобы не поддаваться страху, он еще усиленнее стал погонять лошадь, вглядываясь в белую снежную мглу, в которой ему показывались как будто светящиеся точки, тотчас же исчезающие, как только он вглядывался в них. Раз ему показалось, что он слышит лай собак или вой волков, но звуки эти были так слабы и неопределенны, что он не знал, слышит ли он что, или это только чудится ему, и он, остановившись, стал напряженно прислушиваться.

Вдруг какой-то страшный, оглушающий крик раздался около его ушей, и все задрожало и затрепетало под ним. Василий Андреич схватился за шею лошади, но и шея лошади вся тряслась, и страшный крик стал еще ужаснее. Несколько секунд Василий Андреич не мог опомниться и понять, что случилось. А случилось только то, что Мухортый, ободряя ли себя, или призывая кого на помощь, заржал своим громким, залившимся голосом. «Тьфу ты пропасть! напугал как, проклятый!» — сказал себе Василий Андреич. Но и поняв истинную причину страха, он не мог уже разогнать его.

«Надо одуматься, остепениться», — говорил он себе и вместе с тем не мог удержаться и все гнал лошадь, не замечая того, что он ехал теперь уже по ветру, а не против него. Тело его, особенно в шагу, где оно было открыто и касалось седелки, зябло и болело, руки и ноги его дрожали, и дыхание было прерывисто. Он видит, что пропадает среди этой ужасной снежной пустыни, и не видит никакого средства спасения.

Вдруг лошадь куда-то ухнула под ним и, завязши в сугробе, стала биться и падать на бок. Василий Андреич соскочил с нее, при соскакивании сдернув набок шлею, на которую опиралась его нога, и свернув седелку, за которую держался, соскакивая. Как только

Василий Андреич соскочил с нее, лошадь справилась, рванулась вперед, сделала прыжок, другой и, опять заржавши и таща за собой волочившееся веретье и шлею, скрылась из вида, оставив Василия Андреича одного в сугробе. Василий Андреич бросился за нею, но снег был так глубок и шубы на нем так тяжелы, что, увязая каждой ногой выше колена, он, сделав не более двадцати шагов, запыхался и остановился. «Роща, валухи, аренда, лавка, кабаки, железом крытый дом и амбар, наследник, — подумал он, — как же это все останется? Что ж это такое? Не может быть!» — мелькнуло у него в голове. И почему-то ему вспомнился мотавшийся от ветра чернобыльник, мимо которого он проезжал два раза, и на него нашел такой ужас, что он не верил в действительность того, что с ним было. Он подумал: «Не во сне ли все это?» — и хотел проснуться, но просыпаться некуда было. Это был действительный снег, который хлестал ему лицо и засыпал его и охлаждал его правую руку, с которой он потерял перчатку, и это была действительная пустыня, та, в которой он теперь оставался один, как тот чернобыльник, ожидая неминуемой, скорой и бессмысленной смерти.

«Царица небесная, святителю отче Миколае, воздержания учителю», — вспомнил он вчерашние молебны и образ с черным ликом в золотой ризе и свечи, которые он продавал к этому образу и которые тотчас приносили ему назад и которые он чуть обгоревшие прятал в ящик. И он стал просить этого самого Николая-чудотворца, чтобы он спас его, обещал ему молебен и свечи. Но тут же он ясно, несомненно понял, что этот лик, риза, свечи, священник, молебны — все это было очень важно и нужно там, в церкви, но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи. «Надо не унывать, — подумал он. — Надо идти по следам лошади, а то и те занесет, — пришло ему в голову. — Она выведет, а то и поймаю. Только не торопиться, а то зарьяешь и хуже пропадешь». Но, несмотря на намерение идти тихо, он бросился вперед и бежал, беспрестанно падая, поднимаясь и опять падая. След лошади уже становился чуть заме-

тен в тех местах, где снег был неглубок. «Пропал я, — подумал Василий Андреич, — потеряю и след, и лошади не догоню». Но в ту же минуту, взглянув вперед, он увидал что-то черное. Это был Мухортый и не только один Мухортый, но и сани и оглобли с платком. Мухортый, со сбитой набок шлеей и веретьем, стоял теперь не на прежнем месте, а ближе к оглоблям и мотал головой, которую заступленный повод притягивал ему книзу. Оказалось, что завяз Василий Андреич в той самой лошадине, в которой они завязали еще с Никитой, что лошадь везла его назад к саням и что соскочил он с нее не больше пятидесяти шагов от того места, где были сани.

IX

Довалившись до саней, Василий Андреич схватился за них и долго стоял так неподвижно, стараясь успокоиться и отдышаться. На прежнем месте Никиты не было, но в санях лежало что-то, занесенное уже снегом, и Василий Андреич догадался, что это был Никита. Страх Василия Андреича теперь совершенно прошел, и если он боялся чего, то только того ужасного состояния страха, который он испытал на лошади, и в особенности тогда, когда один остался в сугробе. Надо было во что бы то ни стало не допустить до себя этот страх, а чтобы не допустить его, надо было делать что-нибудь, чем-нибудь заняться. И потому первое, что он сделал, было то, что он, став задом к ветру, распустил шубу. Потом, как только он немного отдышался, он вытряхнул снег из сапог, из левой перчатки, правая была безнадежно потеряна и, должно быть, уже где-нибудь на две четверти под снегом; потом он вновь туго и низко, как он подтягивался, когда выходил из лавки покупать с возов привозимый мужиками хлеб, затянулся кушаком и приготовился к деятельности. Первое дело, которое представилось ему, было то, чтобы выпростать ногу лошади. Василий Андреич и сделал это и, освободив повод, привязал Мухортного опять к железной скобе у передка к старому месту и стал заходить сзади лошади, чтобы оправить на ней шлею, седелку и веретье; но в это

время он увидел, что в санях зашевелилось что-то и из-под снега, которым она была засыпана, поднялась голова Никиты. Очевидно, с большим усилием, замерзавший уже Никита приподнялся и сел и как-то странно, точно отгоняя мух, махая перед носом рукой. Он махал рукой и говорил что-то, как показалось Василию Андреичу, призывая его. Василий Андреич оставил веретье, не поправив его, и подошел к саням.

— Чего ты? — спросил он. — Чего говоришь?

— Поми-ми-мираю я, вот что, — с трудом, прерывистым голосом выговорил Никита. — Зажитое малому отдай али бабе, все равно.

— А что ж, аль зазяб? — спросил Василий Андреич.

— Чую, смерть моя... прости, Христа ради... — сказал Никита плачущим голосом, все продолжая, точно обмахивая мух, махать перед лицом руками.

Василий Андреич с полминуты постоял молча и неподвижно, потом вдруг с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке, он отступил шаг назад, засучил рукава шубы и обеими руками принялся выгребать снег с Никиты и из саней. Выгребши снег, Василий Андреич поспешно распоясался, расправил шубу и, толкнув Никиту, лег на него, покрывая его не только своей шубой, но и всем своим теплым, разгоряченным телом. Заправив руками полы шубы между лубком саней и Никитой и коленками ног прихватив ее подол, Василий Андреич лежал так ничком, упершись головой в лубок передка, и теперь уже не слышал ни движения лошади, ни свиста бури, а только прислушивался к дыханию Никиты. Никита сначала долго лежал неподвижно, потом громко вздохнул и пошевелился.

— А вот то-то, а ты говоришь — помираешь. Лежи, грейся, мы вот как... — начал было Василий Андреич.

Но дальше он, к своему великому удивлению, не мог говорить, потому что слезы ему выступили на глаза и нижняя челюсть быстро запрыгала. Он перестал говорить и только глотал то, что подступало ему к горлу. «Настращался я, видно, ослаб вовсе», — подумал он на себя. Но слабость эта его не только не была ему

неприятна, но доставляла ему какую-то особенную, не испытанную еще никогда радость.

«Мы вот как», — говорил он себе, испытывая какое-то особенное торжественное умиление. Довольно долго он лежал так молча, вытирая глаза о мех шубы и подбирая под колена все заворачиваемую ветром правую полу шубы.

Но ему так страстно захотелось сказать кому-нибудь про свое радостное состояние.

— Микита! — сказал он.

— Хорошо, тепло, — откликнулось ему снизу.

— Так-то, брат, пропал было я. И ты бы замерз, и я бы...

Но тут опять у него задрожали скулы, и глаза его опять наполнились слезами, и он не мог дальше говорить.

«Ну, ничего, — подумал он. — Я сам про себя знаю, что́ знаю».

И он замолк. Так он лежал долго.

Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху от шубы; только руки, которыми он придерживал полы шубы по бокам Никиты, и ноги, с которых ветер беспрестанно сворачивал шубу, начинали зябнуть. Особенно зябла правая рука без перчатки. Но он не думал ни о своих ногах, ни о руках, а думал только о том, как бы отогреть лежащего под собой мужика.

Несколько раз он взглядывал на лошадь и видел, что спина ее раскрыта и веретье с шлеею лежат на снегу, что надо бы встать и покрыть лошадь, но он не мог решиться ни на минуту оставить Никиту и нарушить то радостное состояние, в котором он находился. Страха он теперь не испытывал никакого.

«Небось, не вывернется», — говорил он сам себе про то, что он отогреет мужика, с тем же хвастовством, с которым он говорил про свои покупки и продажи.

Так пролежал Василий Андрейч час и другой и третий, но он не видал, как проходило время. Сначала в воображении его носились впечатления метели, оглобель и лошади под дугой, трясущихся перед глазами, и вспоминалось о Никите, лежащем под ним; потом стали примешиваться воспоминания о празднике, жене, становом,

свечном ящике и опять о Никите, лежащем под этим ящиком; потом стали представляться мужики, продающие и покупающие, и белые стены, и дома, крытые железом, под которыми лежал Никита; потом все это смешалось, одно вошло в другое, и, как цвета радуги, соединяющиеся в один белый свет, все разные впечатления сошлись в одно ничто, и он заснул. Он спал долго, без снов, но перед рассветом опять появились сновидения. Представилось ему, что стоит он будто у свечного ящика и Тихонова баба требует у него пятикопеечную свечу к празднику, и он хочет взять свечу и дать ей, но руки не поднимаются, а зажаты в карманах. Хочет он обойти ящик, и ноги не движутся, а калоши, новые, чищенные, приросли к каменному полу, и их не поднимешь и из них не вынешь. И вдруг свечной ящик становится не свечным ящиком, а постелью, и Василий Андреич видит себя лежащим на брюхе на свечном ящике, то есть на своей постели, в своем доме. И лежит он на постели и не может встать, а встать ему надо, потому что сейчас зайдет за ним Иван Матвейч, становой, и с Иваном Матвейчем надо идти либо торговать рошу, либо поправить шлею на Мухортом. И спрашивает он у жены: «Что же, Миколавна, не заходил?» — «Нет, говорит, не заходил». И слышит он, что подъезжает кто-то к крыльцу. Должно, он. Нет, мимо. «Миколавна, а Миколавна, что ж, все нету?» — «Нету». И он лежит на постели и все не может встать, и все ждет, и ожидание это и жутко и радостно. И вдруг радость совершается: приходит тот, кого он ждал, и это уж не Иван Матвейч, становой, а кто-то другой, но тот самый, кого он ждет. Он пришел и зовет его, и этот, тот, кто зовет его, тот самый, который кликнул его и велел ему лечь на Никиту. И Василий Андреич рад, что этот кто-то пришел за ним. «Иду!» — кричит он радостно, и крик этот будит его. И он просыпается, но просыпается совсем уже не тем, каким он заснул. Он хочет встать — и не может, хочет двинуть рукой — не может, ногой — тоже не может. Хочет повернуть головой — и того не может. И он удивляется; но несколько не огорчается этим. Он понимает, что это смерть, и несколько не огорчается и этим. И он

вспоминает, что Никита лежит под ним и что он угрелся и жив, и ему кажется, что он — Никита, а Никита — он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите. Он напрягает слух и слышит дыханье, даже слабый храп Никиты. «Жив Никита, значит, жив и я», — с торжеством говорит он себе.

И он вспоминает про деньги, про лавку, дом, покупки, продажи и миллионы Мироновых; ему трудно понять, зачем этот человек, которого звали Василием Брежуновым, занимался всем тем, чем он занимался. «Что ж, ведь он не знал, в чем дело, — думает он про Василья Брежунова. — Не знал, так теперь знаю. Теперь уж без ошибки. *Теперь знаю*». И опять слышит он зов того, кто уже окликал его. «Иду, иду!» — радостно, умиленно говорит все существо его. И он чувствует, что он свободен и ничто уж больше не держит его.

И больше уже ничего не видел и не слышал и не чувствовал в этом мире Василий Андреич.

Кругом все так же курило. Те же вихри снега крутились, засыпали шубу мертвого Василия Андреича, и всего трясущегося Мухортого, и чуть видные уже сани, и в глубине их лежащего под мертвым уже хозяином угревшегося Никиту.

Х

Перед утром проснулся Никита. Разбудил его опять начавший пробираться его спину холод. Приснилось ему, что он едет с мельницы с возом хозяйской муки и, переезжая ручей, взял мимо моста и завязил воз. И видит он, что он подлез под воз и поднимает его, расправляя спину. Но удивительное дело! Воз не двигается и прилип ему к спине, и он не может ни поднять воза, ни уйти из-под него. Всю поясницу раздавило. Да и холодный же! Видно, вылезать надо. «Да будет, — говорит он кому-то тому, кто давит ему возом спину. — Вынимай мешки!» Но воз все холоднее и холоднее давит его, и вдруг стучает что-то особенное, и он просыпается совсем и вспоминает все. Холодный воз — это мертвый замерзший хозяин, лежащий на нем. А стукнул это Мухортый, ударивший два раза копытом о сани.

— Андреич, а Андреич! — осторожно, уже предчувствуя истину, окликает Никита хозяина, напряживая спину.

Но Андреич не отзывается, и брюхо его и ноги — крепкие и холодные и тяжелые, как гири.

«Кончился, должно. Царство небесное!» — думает Никита.

Он повертывает голову, прокапывает перед собою снег рукою и открывает глаза. Светло; так же свистит ветер в оглоблях, и так же сыплется снег, с тою только разницею, что уже не стегает о лубок саней, а беззвучно засыпает сани и лошадь все выше и выше, и ни движенья, ни дыханья лошади не слышно больше. «Замерз, должно, и он», — думает Никита про Мухортого. И действительно, те удары копыт о сани, которые разбудили Никиту, были предсмертные усилия удержаться на ногах уже совсем застывшего Мухортого.

«Господи, батюшка, видно, и меня зовешь, — говорит себе Никита. — Твоя святая воля. А жутко. Ну, да двух смертей не бывать, а одной не миновать. Только поскорее бы...» И он опять прячет руку, закрывая глаза, и забывается, вполне уверенный, что теперь он уже на верное и совсем умирает.

Уже в обед на другой день мужики откопали лопатами Василия Андреича и Никиту в тридцати сажнях от дороги и в полуверсте от деревни.

Снег нанесло выше саней, но оглобли и платок на них были еще видны. Мухортый по брюхо в снегу, с сбившимися со спины шлеей и веретьем, стоял весь белый, прижав мертвую голову к закостенелому кадыку; ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндевели и тоже обмерзли точно слезами. Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем голько кости да кожа. Василий Андреич застыл, как мороженная туша, и как были у него расставлены ноги, так, раскорячившись, его и отвалили с Никиты. Ястребиные выпуклые глаза его обмерзли, и раскрытый рот его под подстриженными усами был набит снегом. Никита же был жив, хотя и весь обмороженный. Когда Никиту разбудили, он был уверен, что теперь он уже умер и что то, что с ним теперь делается, происходит уже не на этом, а на том свете. Но когда он услышал

кричащих мужиков, откапывавших его в сваливших с него закоченевшего Василия Андреича, он сначала удивился, что на том свете так же кричат мужики и такое же тело, но когда понял, что он еще здесь, на этом свете, он скорее огорчился этим, чем обрадовался, особенно когда почувствовал, что у него пальцы на обеих ногах оторожены.

Пролежал Никита в больнице два месяца. Три пальца ему отняли, а остальные зажили, так что он мог работать, и еще двадцать лет продолжал жить — сначала в работниках, а потом, под старость, в караульщиках. Помер он только в нынешнем году дома, как желал, под святыми и с зажженной восковой свечкой в руках. Перед смертью он просил прощенья у своей старухи и простил ее за бондаря; простился и с малым и с внучатами и умер, истинно радуясь тому, что избавляет своей смертью сына и сноху от обузы лишнего хлеба и сам уже по-настоящему переходит из этой наскучившей ему жизни в ту иную жизнь, которая с каждым годом и часом становилась ему все понятнее и заманчивее. Лучше или хуже ему там, где он, после этой настоящей смерти, проснулся? разочаровался ли он, или нашел там то самое, что ожидал? — мы все скоро узнаем.

ОТЕЦ СЕРГИЙ

I

В Петербурге в сороковых годах случилось удивившее всех событие: красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель-адъютантство, и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей Фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение свое сестре и уехал в монастырь, с намерением поступить в него монахом. Событие казалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его; для самого же князя Степана Касатского все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе.

Отец Степана Касатского, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было двенадцать лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить воли покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники.

Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и

по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронгу и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб: целым блюдом котлет пустил в эконома, бросился на офицера, и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его наверно бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал эконома.

Восемнадцать лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель-адъютантство. И Касатский сильно желал этого не только из честолюбия, но, главное, потому, что еще со времен корпуса страстно, именно страстно, любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, — а он часто ездил к ним, — когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпяченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касатский испытывал восторг влюбленного, такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг к Николаю Павловичу был сильнее. Хотелось показать ему свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь, всем собой ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно-величественно обращаясь с ними. После последней истории Касатского с офицером Николаем Павловичем ничего не сказал Касатскому, но, когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его

и, нахмурившись, погрозил пальцем и потом, уезжая, сказал:

— Знайте, что все мне известно, но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь.

Он показал на сердце.

Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом, сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтоб они верно служили ему и отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты, а Касатский, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами.

Когда Касатский вышел в полк, мать его переехала с дочерью сначала в Москву, а потом в деревню. Касатский отдал сестре половину состояния. То, что оставалось у него, было только достаточно для того, чтобы содержать себя в том роскошном полку, в котором он служил.

С внешней стороны Касатский казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру, но внутри его шла сложная и напряженная работа. Работа с самого его детства шла, по-видимому, самая разнообразная, но, в сущности, все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивление людей. Было ли это ученье, науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам, так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским, как русским; так он потом, занявшись шахматами, добился того, что, еще будучи в корпусе, стал отлично играть.

Кроме общего призвания жизни, которое состояло в служении царю и отечеству, у него всегда была поставлена какая-нибудь цель, и, как бы ничтожна она ни была, он отдавался ей весь и жил только для нее до тех пор, пока не достигал ее. Но как только он достигал назначенной цели, так другая тотчас же вырастала в его сознании и сменяла прежнюю. Это-то стремление отли-

читься и, для того чтобы отличиться, достигнуть поставленной цели, наполняло его жизнь. Так, по выходе в офицеры, он задался целью наивозможнейшего совершенства в знании службы и очень скоро стал образцовым офицером, хотя и опять с тем недостатком неудержимой вспыльчивости, которая и на службе вовлекла его в дурные и вредные для успеха поступки. Потом, почувствовав раз в светском разговоре свой недостаток общего образования, задался мыслью пополнить его и засел за книги, и добился того, чего хотел. Потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском обществе, выучился отлично танцевать и очень скоро достиг того, что был зван на все великосветские балы и на некоторые вечера. Но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им.

Высшее общество тогда состояло, да, я думаю, всегда и везде состоит из четырех сортов людей: из 1) людей богатых и придворных; из 2) небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе; 3) из богатых людей, подделывающихся к придворным, и 4) из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касатский не принадлежал к первым. Касатский был охотно принимаем в последние два круга. Даже вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света — и неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги, и что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой; с ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои и он не свой. И Касатский захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, — и он дожидался этого, — или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сблизиться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касатский не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой, она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в

нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе.

Касатский сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкости, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери и дочери. Он был очень влюблен и ослеплен и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича.

II

За две недели до назначенного дня свадьбы Касатский сидел в Царском Селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день. Жених с невестой походили по саду и сели на лавочке в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела, то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью, осторожностью говорил с ней, каждым своим жестом, словом боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Касатский принадлежал к тем людям сороковых годов, которых уже нет нынче, к людям, которые, сознательно допуская для себя и внутренне не осуждая нечистоту в половом отношении, требовали от жены идеальной, небесной чистоты, и эту самую небесную чистоту признавали в каждой девушке своего круга, и так относились к ним. В таком взгляде было много неверного и вредного в той распушенности, которую позволяли себе мужчины, но по отношению женщин такой взгляд, резко отличающийся от взгляда теперешних молодых людей, видящих в каждой девушке ищущую себе дружку самку, — такой взгляд был, я думаю, полезен. Девушки, видя такое обоготворение, старались и быть более или менее богинями. Такого взгляда на женщин держался и Касатский и так смотрел на свою невесту. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте, напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недостижимое.

Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю.

— Я только теперь узнал все то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это ты, — сказал он, робко улыбаясь, — дала мне это!

Он был в том периоде, когда «ты» еще не сделалось привычно, и ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты» этому ангелу.

— Я себя узнал благодаря... тебе, узнал, что я лучше, чем я думал.

— Я давно это знаю. Я за то-то и полюбила вас.

Соловей зашелкал вблизи, свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка.

Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел.

— Вы знаете, ты знаешь, ну, все равно. Я сблизился с тобой не бескорыстно, я хотел установить связи с светом, но потом... Как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердись на меня за это?

Она не отвечала и только тронула рукой его руку.

Он понял, что это значило: «Нет, не сержусь».

— Да, ты вот сказала... — он замялся, ему показалось это слишком дерзко, — ты сказала, что полюбила меня, но, прости меня, я верю, но что-то, кроме этого, есть, что тебя тревожит и мешает. Что это?

«Да, теперь или никогда, — подумала она. — Все равно он узнает. Но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно!»

И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая и, если бы не императорство, не променяла бы этого на того.

— Послушайте. Я не могу быть неправдива. Я должна сказать все. Вы спрашиваете, что? То, что я любила.

Она положила свою руку на его умоляющим жестом.

Он молчал.

— Вы хотите знать, кого? Да, его, государя.

— Мы все любим его, я воображаю, вы в институте...

— Нет, после. Это было увлечение, но потом прошло. Но я должна сказать...

— Ну, так что же?

— Нет, я не просто.

Она закрыла лицо руками.

— Как? Вы отделись ему?

Она молчала.

— Любовницей?

Она молчала.

Он вскочил и бледный как смерть, с трясущимися скулами, стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его.

— Боже мой, что я сделала, Стива!

— Не трогайте, не трогайте меня. О, как больно!

Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать.

— Вы что, князь? Я... — Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо.

— Вы знали это и мной хотели прикрыть их. Если бы вы не были женщины, — вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею, и, повернувшись, убежал.

Если бы тот, кто был любовником его невесты, был бы частный человек, он убил бы его, но это был обожаемый царь.

На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню.

Лето он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь и поступил в него монахом.

Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его.

Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше его. И она понимала его верно. Поступая в мо-

нахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому в то время, как он служил, и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала сестра его Варенька, руководило им. В нем было и другое, истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководило им. Разочарование в Мэри (невесте), которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию, а отчаяние куда? — к богу, к вере детской, которая никогда не нарушалась в нем.

III

В день покрова Касатский поступил в монастырь.

Игумен монастыря был дворянин, ученый писатель и старец, то есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии, монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик известного старца Амвросия, ученика Макария, ученика старца Леонида, ученика Паисия Величковского. Этому игумну подчинился, как своему старцу, Касатский.

Кроме того чувства сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касатский в монастыре, Касатский, так же как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным: трудящимся всегда, воздержным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. В особенности последнее качество, или совершенство, облегчало ему жизнь. Если многие требования монашеской жизни в монастыре, близком к столице и многопосещаемом, не нравились ему, соблазняя его, все это уничтожалось по-

слушанием: не мое дело рассуждать, мое дело нести назначенное послушание, будет ли то стояние у мощей, пение на клиросе, или ведение счетов по гостинице. Всякая возможность сомнений в чем бы то ни было устранялась тем же послушанием старцу. Не будь послушания, он бы тяготился и продолжительностью и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, и дурными свойствами братии, но теперь все это не только радостно переносилось, но составляло в жизни утешение и поддержку. «Не знаю, зачем надо слышать несколько раз в день те же молитвы, но знаю, что это нужно. А зная, что это нужно, нахожу радость в них». Старец сказал ему, что как нужна материальная пища для поддержания жизни, так нужна духовная пища — молитва церковная — для поддержания духовной жизни. Он верил в это, и действительно служба церковная, на которую он с трудом поднимался иногда поутру, давала ему несомненное успокоение и радость. Радость давало сознание смирения и несомненности поступков, всех определенных старцем. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении своей воли, во все большем и большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение свое он все отдал в монастырь и не жалел его, лени у него не было. Смирение перед низшими было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко далась ему. Старец в особенности предостерегал его от этого греха, но Касатский радовался, что был свободен от него.

Мучало его только воспоминание о невесте. И не только воспоминание, но представление живое о том, что могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую, покаявшуюся жену.

В хорошие минуты Касатского не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед

ним, он переставал не то что верить в то, чем жил, но переставал видеть это, не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминание и — ужасно сказать — раскаяние в своем обращении охватывало его.

Спасенье в этом положении было послушание — работа и весь занятой день молитвой. Он, как обыкновенно, молился, клал поклоны, даже больше обыкновенного молился, но молился телом, души не было. И это продолжалось день, иногда два и потом само проходило. Но день этот или два были ужасны. Касатский чувствовал, что он не в своей и не в божьей власти, а в чьей-то чужой. И все, что он мог делать и делал в эти времена, было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще за все это время Касатский жил не по своей воле, а по воле старца, и в этом послушании было особенное спокойствие.

Так прожил Касатский в первом монастыре, куда поступил, семь лет. В конце третьего года был пострижен в иеромонахи с именем Сергия. Пострижение было важным внутренним событием для Сергия. Он и прежде испытывал великое утешение и подъем духовный, когда причащался; теперь же, когда ему случалось служить самому, совершение проскомидии приводило его в восторженное, умиленное состояние. Но потом чувство это все более и более притуплялось, и когда один раз ему случилось служить в том подавленном состоянии духа, в котором он бывал, он почувствовал, что и это пройдет. И действительно, чувство это ослабело, но осталась привычка.

Вообще на седьмой год своей жизни в монастыре Сергию стало скучно. Все то, чему надо было учиться, все то, чего надо было достигнуть, — он достиг, и больше делать было нечего.

Но зато состояние усыпления становилось все сильнее и сильнее. За это время он узнал о смерти своей матери и о выходе замуж Мэри. Оба известия он принял равнодушно. Все внимание, все интересы его были сосредоточены на своей внутренней жизни.

На четвертом году его монашества архиерей особенно обласкал его, и старец сказал ему, что он не должен

будет отказываться, если его назначат на высшие должности. И тогда монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкий к столице монастырь. Он хотел отказаться, но старец велел ему принять назначение. Он принял назначение, простился с старцем и переехал в другой монастырь.

Переход этот в столичный монастырь был важным событием в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все силы Сергия были направлены на это.

В прежнем монастыре соблазн женский мало мучал Сергия, здесь же соблазн этот поднялся с страшной силой и дошел до того, что получил даже определенную форму. Была известная своим дурным поведением барыня, которая начала заискивать в Сергии. Она заговорила с ним и просила его посетить ее. Сергей отказал строго, но ужаснулся определенности своего желания. Он так испугался, что написал о том старцу, но мало того, чтобы окоротить себя, призвал своего молодого послушника и, покоряя стыд, признался ему в своей слабости, прося его следить за ним и не пускать его никуда, кроме служб и послушаний.

Кроме того, великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, был в высшей степени антипатичен Сергию. Как ни бился с собой Сергей, он не мог преодолеть этой антипатии. Он смирялся, но в глубине души не переставал осуждать. И дурное чувство это разразилось.

Это было уже на второй год пребывания его в новом монастыре. И случилось это вот как. В покров всенощная шла в большой церкви. Много было приезжего народа. Служил сам игумен. Отец Сергей стоял на обычном своем месте и молился, то есть находился в том состоянии борьбы, в котором он всегда находился во время служб, особенно в большой церкви, когда он не служил сам. Борьба состояла в том, что его раздражали посетители, господа, особенно дамы. Он старался не видеть их, не замечать всего того, что делалось: не видеть того, как солдат провожал их, расталкивая народ, как дамы показывали друг другу монахов — часто его даже

и известного красавца монаха. Он старался, выдвинув как бы шоры своему вниманию, не видеть ничего, кроме блеска свечей у иконостаса, иконы и служащих; не слышать ничего, кроме петых и произносимых слов молитв, и не испытывать никакого другого чувства, кроме того самозабвения в сознании исполнения должного, которое он испытывал всегда, слушая и повторяя вперед столько раз слышанные молитвы.

Так он стоял, кланялся, крестился там, где это нужно было, и боролся, отдаваясь то холодному осуждению, то сознательно вызываемому замиранию мыслей и чувств, когда ризничий, отец Никодим, тоже великое искушение для отца Сергия, — Никодим, которого он невольно упрекал в подделыванье и лести к игумну, — подошел к нему и, поклонившись перегибающимся надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь. Отец Сергий обдернул мантию, надел клобук и пошел осторожно через толпу.

— Lise, regardez à droite, c'est lui ¹, — послышался ему женский голос.

— Où, où? Il n'est pas tellement beau ².

Он знал, что это говорили про него. Он слышал и, как всегда в минуты искушений, твердил слова: «И не введи нас во искушение», — и, опустив голову и глаза, прошел мимо амвона и, обойдя канонархов в стихарях, проходивших в это время мимо иконостаса, вошел в северные двери. Войдя в алтарь, он, по обычаю, крестно поклонился, перегибаясь надвое, перед иконой, потом поднял голову и взглянул на игумна, которого фигуру рядом с другой блестящей чем-то фигурой он видел углом глаза, не обращаясь к ним.

Игумен стоял в облачении у стены, выпростав короткие пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом, и, растирая галун ризы, улыбаясь, говорил что-то с военным в генеральском свитском мундире с вензелями и аксельбантами, которые сейчас рассмотрел отец Сергий своим привычным военным глазом. Генерал этот был бывший полковой командир их полка. Теперь

¹ Лиза, взгляни направо, это он (франц.).

² Где, где? Он не так уж красив (франц.).

он, очевидно, занимал важное положение, и отец Сергей тотчас же заметил, что игумен знает это и рад этому, и оттого так сияет его красное толстое лицо с лысиной. Это оскорбило и огорчило отца Сергия, и чувство это еще усилилось, когда он услышал от игумна, что вызов его, отца Сергия, ни на что другое не был нужен, как на то, чтобы удовлетворить любопытству генерала увидеть своего прежнего сослуживца, как он выразился.

— Очень рад видеть вас в ангельском образе, — сказал генерал, протягивая руку, — надеюсь, что вы не забыли старого товарища.

Все лицо игумна, среди седин красное и улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард — все это взорвало отца Сергия. Он поклонился еще раз игумну и сказал:

— Ваше преподобие изволили звать меня? — И он остановился, всем выражением лица и позы спрашивая: зачем?

Игумен сказал:

— Да, повидаться с генералом.

— Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов, — сказал он, бледнея и с трясущимися губами. — За что же вы здесь подвергаете меня им? Во время молитвы и в храме божием.

— Иди, иди, — вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен.

На другой день отец Сергей просил прощенья у игумна и братии за свою гордость, но вместе с тем после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить этот монастырь, и написал об этом письмо старцу, умоляя его разрешить ему перейти назад в монастырь старца. Он писал, что чувствует свою слабость и неспособность бороться один против соблазнов без помощи старца. И каялся в своем грехе гордости. С следующей почтой пришло письмо от старца, в котором тот писал ему, что причиной всему его гордость. Старец разъяснял ему, что его вспышка гнева произошла оттого, что он смирился, отказавшись от духовных почестей, не ради бога, а ради своей гордости, что вот, мол,

я какой, ни в чем не нуждаюсь. От этого он и не мог перенести поступка игумна. Я всем пренебрег для бога, а меня показывают, как зверя. «Если бы ты пренебрег славой для бога, ты бы снес. Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я о тебе, чадо Сергей, и молился, и вот что о тебе бог внушил мне: живи по-прежнему и покорись. В это время стало известно, что в скиту помер святой жизни затворник Илларион. Он жил там восемнадцать лет. Игумен тамбинский спрашивал, нет ли брата, который хотел бы жить там. А тут твое письмо. Ступай к отцу Паисию в Тамбинский монастырь, я напишу ему, а ты просись занять Илларионову келью. Не то чтобы ты мог заменить Иллариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да благословит тебя бог».

Сергий послушался старца, показал его письмо игумну и, испросив его позволения, отдав свою келью и все свои вещи монастырю, уехал в Тамбинскую пустынь.

В Тамбинской пустыни настоятель, прекрасный хозяин, из купцов, принял просто и спокойно Сергия и поместил его в келье Иллариона, дав сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергия, оставив его одного. Келья была пещера, выкопанная в горе. В ней был и похоронен Илларион. В задней пещере был похоронен Илларион, в ближней была ниша для спанья, с соломенным матрацем, столик и полка с иконами и книгами. У двери наружной, которая запиралась, была полка; на эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря.

И отец Сергей стал затворником.

IV

На масленице шестого года жизни Сергия в затворе из соседнего города, после блинов с вином, собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая — помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертая была

разводная жена, красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками.

Погода была прекрасная, дорога как пол. Проехали верст десять за городом, остановились, и началось совещание, куда ехать: назад или дальше.

— Да куда ведет эта дорога? — спросила Маковкина, разводная жена, красавица.

— В Тамбино, отсюда двенадцать верст, — сказал адвокат, ухаживавший за Маковкиной.

— Ну, а потом?

— А потом на Л. через монастырь.

— Там, где отец Сергей этот живет?

— Да.

— Касатский? Этот красавец пустынный?

— Да.

— Медам! Господа! Едемте к Касатскому. В Тамбине отдохнем, закусим.

— Но мы не успеем ночевать домой.

— Ничего, ночуем у Касатского.

— Положим, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина.

— Нет, я у Касатского буду ночевать.

— Ну, уж это даже с вашим всемогуществом невозможно.

— Невозможно? Пари.

— Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите.

— А discrétion¹.

— А вы тоже!

— Ну, да. Едемте.

Ямщикам поднесли вина. Сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами. Дамы закутались в белые собачьи шубы. Ямщики поспорили, кому ехать передом, и один, молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крикнул, — и залились колокольчики, и завизжали полозья.

Сани чуть подрагивали и покачивались, пристяжная ровно и весело скакала с своим круто подвязанным хвостом над наборной шлеей, ровная, масляная дорога быстро убегала назад, ямщик ухарски пошевеливал вож-

¹ По усмотрению (франц.).

жами, адвокат, офицер, сидя напротив, что-то вразили с соседкой Маковкиной, а она сама, завернувшись туго в шубу, сидела неподвижно и думала: «Все одно и то же, и все гадкое: красные, глянцевиные лица с запахом вина и табаку, те же речи, те же мысли, и все вертится около самой гадости. И все они довольны и уверены, что так надо, и могут так продолжать жить до смерти. Я не могу. Мне скучно. Мне нужно что-нибудь такое, что бы все это расстроило, перевернуло. Ну, хоть бы как те, в Саратове, кажется, поехали и замерзли. Ну, что бы наши сделали? Как бы вели себя? Да наверно подло. Каждый бы за себя. Да и я тоже подло вела бы себя. Но я по крайней мере хороша. Они-то знают это. Ну, а этот монах? Неужели он этого уже не понимает? Неправда. Это одно они понимают. Как осенью с этим кадетом. И какой он дурак был...»

— Иван Николаич! — сказала она.

— Что прикажете?

— Да ему сколько лет?

— Кому?

— Да Касатскому.

— Кажется, лет за сорок.

— И что же, он принимает всех?

— Всех, но не всегда.

— Закройте мне ноги. Не так. Какой вы неловкий!

Ну, еще, еще, вот так. А ног моих жать не нужно.

Так они доехали до леса, где стояла келья.

Она вышла и велела им уехать. Они отговаривали ее, но она рассердилась и велела уезжать. Тогда сани уехали, а она, в своей белой собачьей шубе, пошла по дорожке. Адвокат слез и остался смотреть.

V

Отец Сергей жил шестой год в затворе. Ему было сорок девять лет. Жизнь его была трудная. Не трудами поста и молитвы, это были не труды, а внутренней борьбой, которой он никак не ожидал. Источников борьбы было два: сомнение и плотская похоть. И оба врага всегда поднимались вместе. Ему казалось, что это были

два разные врага, тогда как это был один и тот же. Как только уничтожалось сомнение, так уничтожалась похоть. Но он думал, что это два разные дьявола, и боролся с ними порознь.

«Боже мой! боже мой! — думал он. — За что не даешь ты мне веры. Да, похоть, да, с нею боролись святой Антоний и другие, но вера. Они имели ее, а у меня вот минуты, часы, дни, когда нет ее. Зачем весь мир, вся прелесть его, если он греховен и надо отречься от него? Зачем ты сделал этот соблазн? Соблазн? Но не соблазн ли то, что я хочу уйти от радостей мира и что-то готовлю там, где ничего нет, может быть. — Сказал он себе и ужаснулся, омерзился на самого себя. — Гадина! Гадина! Хочешь быть святым», — начал он бранить себя. И стал на молитву. Но только что он начал молиться, как ему живо представился он сам, каким он бывал в монастыре: в клобуке, в мантии, в величественном виде. И он покачал головой. «Нет, это не то. Это обман. Но других я обману, а не себя и не бога. Не величественный я человек, а жалкий, смешной». И он откинул полы рясы и посмотрел на свои жалкие ноги в подштанниках. И улыбнулся.

Потом он опустил полы и стал читать молитвы, креститься и кланяться. «Неужели одр сей мне гроб будет?» — читал он. И как бы дьявол какой шепнул ему: «Одр одинокий и то гроб. Ложь». И он увидел в воображении плечи вдовы, с которой он жил. Он отряхнулся и продолжал читать. Прочтя правила, он взял Евангелие, раскрыл его и напал на место, которое он часто твердил и знал наизусть: «Верую, господи, помоги моему неверию». Он убрал назад все выступающие сомнения. Как устанавливают предмет неустойчивого равновесия, он установил опять свою веру на колеблющейся ножке и осторожно отступил от нее, чтобы не толкнуть и не завалить ее. Шоры выдвинулись опять, и он успокоился. Он повторил свою детскую молитву: «Господи, возьми, возьми меня», — и ему не только легко, но радостно-умиленно стало. Он перекрестился и лег на свою постилочку на узенькой скамье, положив под голову летнюю ряску. И он заснул. В легком сне ему казалось, что он слышал колокольчики. Он не знал,

наяву ли это было, или во сне. Но вот из сна его разбудил стук в его двери. Он поднялся, не веря себе. Но стук повторился. Да, это был стук близкий, в его двери, и женский голос.

«Боже мой! Да неужели правда то, что я читал в житиях, что дьявол принимает вид женщины... Да, это голос женщины. И голос нежный, робкий и милый! Тьфу! — он плюнул. — Нет, мне кажется», — сказал он и отошел к углу, перед которым стоял аналойчик, и опустился на колена тем привычным правильным движением, в котором, в движении в самом, он находил утешение и удовольствие. Он опустился, волосы повисли ему на лицо, и прижал оголявшийся уже лоб к сырой, холодной полосухе. (В полу дуло.)

...читал он псалом, который, ему говорил старичок отец Пимен, помогал от наваждения. Он легко поднял на сильных нервных ногах свое исхудалое легкое тело и хотел продолжать читать дальше, но не читал, а невольно напрягал слух, чтобы слышать. Ему хотелось слышать. Было совсем тихо. Те же капли с крыши падали в кадучку, поставленную под угол. На дворе была мга, туман, съедавший снег. Было тихо, тихо. И вдруг зашуршало у окна, и явственно голос — тот же нежный, робкий голос, такой голос, который мог принадлежать только привлекательной женщине, проговорил:

— Пустите. Ради Христа...

Казалось, вся кровь прилила к сердцу и остановилась. Он не мог вздохнуть. «Да воскреснет бог и расточатся врази...»

— Да я не дьявол... — и слышно было, что улыбались уста, говорившие это. — Я не дьявол, я просто грешная женщина, заблудилась — не в переносном, а в прямом смысле (она засмеялась), измерзла и прошу приюта...

Он приложил лицо к стеклу. Лампадка отсвечивала и светилась везде в стекле. Он приставил ладони к обеим сторонам лица и вгляделся. Туман, мга, дерево, а вот направо. Она. Да, она, женщина в шубе с белой длинной шерстью, в шапке, с милым, милым, добрым испуганным лицом, тут, в двух вершках от его лица, пригнувшись к нему. Глаза их встретились и узнали друг друга. Не то чтобы они видели когда друг друга:



они никогда не видались, но во взгляде, которым они обменялись, они (особенно он) почувствовали, что они знают друг друга, понятны друг другу. Сомневаться после этого взгляда в том, что это был дьявол, а не простая, добрая, милая, робкая женщина, нельзя было.

— Кто вы? Зачем вы? — сказал он.

— Да отоприте же, — с капризным самовластьем сказала она. — Я замерзла. Говорю вам, заблудилась.

— Да ведь я монах, отшельник.

— Ну, так и отоприте. А то хотите, чтоб я замерзла под окном, пока вы будете молиться.

— Да как вы...

— Не съем же я вас. Ради бога, пустите. Я озыбла наконец.

Ей самой становилось жутко. Она сказала это плачущим почти голосом.

Он отошел от окна, взглянул на икону Христа в терновом венке. «Господи, помоги мне, господи, помоги мне», — проговорил он, крестясь и кланяясь в пояс, и подошел к двери, отворил ее в сенцы. В сенях ошупал крючок и стал откидывать его. С той стороны он слышал шаги. Она от окна переходила к двери. «Ай!» — вдруг вскрикнула она. Он понял, что она ногой попала в лужу, натекшую у порога. Руки его дрожали, и он никак не мог поднять натянутый дверью крючок.

— Да что же вы, пустите же. Я вся измокла. Я замерзла. Вы об спасении души думаете, а я замерзла.

Он натянул дверь к себе, поднял крючок и, не рассчитав толчок, сунул дверь внаружу так, что толкнул ее.

— Ах, извините! — сказал он, вдруг совершенно перенесясь в давнишнее, привычное обращение с дамами.

Она улыбнулась, услышав это «извините». «Ну, он не так еще страшен», — подумала она.

— Ничего, ничего. Вы простите меня, — сказала она, проходя мимо его. — Я бы никогда не решилась. Но такой особенный случай.

— Пожалуйста, — проговорил он, пропуская ее мимо. Сильный запах, давно не слышанный им, тонких духов поразил его. Она прошла через сени в горницу. Он захлопнул наружную дверь, не накидывая крючка, прошел сени и вошел в горницу.

«Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя грешного, господи, помилуй мя грешного», — не переставая молился он не только внутренне, но и невольно наружно шевеля губами.

— Пожалуйте, — сказал он.

Она стояла посреди комнаты, с нее текло на пол, и разглядывала его. Глаза ее смеялись.

— Простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но видите, в каком я положении. Произошло это оттого, что мы из города поехали кататься, и я побилась об заклад, что дойду одна от Воробьевки до города, но тут сбилась с дороги и вот, если бы не набрела на вашу келью... — начала она лгать. Но лицо его смущало ее, так что она не могла продолжать и замолчала. Она ожидала его совсем не таким. Он был не такой красавец, каким она воображала его, но он был прекрасен в ее глазах. Вьющиеся с проседью волосы головы и бороды, правильный тонкий нос и, как угли, горящие глаза, когда он прямо взглядывал, поразили ее.

Он видел, что она лжет.

— Да, так, — сказал он, взглянув на нее и опять опуская глаза. — Я пройду сюда, а вы располагайтесь.

И он, сняв лампочку, зажег свечу и, низко поклонившись ей, вышел в каморочку за перегородкой, и она слышала, как он что-то стал двигать там. «Вероятно, запирается чем-нибудь от меня», — подумала она, улыбнувшись, и, скинув собачью белую ротонду, стала снимать шапку, зацепившуюся за волоса, и вязаный платок, бывший под ней. Она вовсе не промокла, когда стояла под окном, и говорила про это только как предлог, чтоб он пустил ее. Но у двери она, точно, попала в лужу, и левая нога была мокра до икры, и ботинок и ботик полон воды. Она села на его койку — доску, только покрытую ковриком, — и стала разуваться. Келейка эта казалась ей прелестной. Узенькая, аршина в три горенка, длишой аршина четыре, была чиста, как стеклышко. В горенке была только койка, на которой она сидела, над ней полочка с книгами. В углу аналойчик. У двери гвозди, шуба и ряса. Над аналойчиком образ Христа в терновом венке и лампадка. Пахло странно: маслом, потом и землей. Все нравилось ей. Даже этот запах.

Мокрые ноги, особенно одна, беспокоили ее, и она поспешно стала разуваться, не переставая улыбаться, радуясь не столько тому, что она достигла своей цели, сколько тому, что она видела, что смутила его — этого прелестного, поразительного, странного, привлекательного мужчину. «Ну, не ответил, ну что же за беда», — сказала она себе.

— Отец Сергей! Отец Сергей! Так ведь вас звать?

— Что вам надо? — отвечал тихий голос.

— Вы, пожалуйста, простите меня, что я нарушила ваше уединение. Но, право, я не могла иначе. Я бы прямо заболела. Да и теперь я не знаю. Я вся мокрая, ноги как лед.

— Простите меня, — отвечал тихий голос, — я ничем не могу служить.

— Я бы ни за что не потревожила вас. Я только до рассвета.

Он не отвечал. И она слышала, что он шепчет что-то, — очевидно, молится.

— Вы не взойдете сюда? — спросила она, улыбаясь. — А то мне надо раздеться, чтобы высушиться.

Он не отвечал, продолжая за стеной ровным голосом читать молитвы.

«Да, это человек», — думала она, с трудом стаскивая шлепающий ботинок. Она тянула его и не могла, и ей смешно это стало. И она чуть слышно смеялась, но, зная, что он слышит ее смех и что смех этот подействует на него именно так, как она этого хотела, она засмеялась громче, и смех этот, веселый, натуральный, добрый, действительно подействовал на него, и именно так, как она этого хотела.

«Да, такого человека можно полюбить. Эти глаза. И это простое, благородное и — как он ни бормочи молитвы — и страстное лицо! — думала она. — Нас, женщин, не обманешь. Еще когда он придвинул лицо к стеклу и увидал меня, и понял, и узнал. В глазах блеснуло и припечаталось. Он полюбил, пожелал меня. Да, пожелал», — говорила она, сняв, наконец, ботинок и ботинок и принимаясь за чулки. Чтобы снять их, эти длинные чулки на ластиках, надо было поднять юбки. Ей советно стало, и она проговорила:

— Не входите.

Но из-за стены не было никакого ответа. Продолжалось равномерное бормотание и еще звуки движения. «Верно, он кланяется в землю, — думала она. — Но не отклоняется он, — проговорила она. — Он обо мне думает. Так же, как я об нем. С тем же чувством думает он об этих ногах», — говорила она, сдернув мокрые чулки и ступая босыми ногами по койке и поджимая их под себя. Она посидела так недолго, обхватив колени руками и задумчиво глядя перед собой. «Да эта пустыня, эта тишина. И никто никогда не узнал бы...»

Она встала, снесла чулки к печке, повесила их на отдушник. Какой-то особенный был отдушник. Она повертела его и потом, легко ступая босыми ногами, вернулась на койку и опять села на нее с ногами. За стеной совсем затихло. Она посмотрела на крошечные часы, висевшие у нее на шее. Было два часа. «Наши должны подъехать около трех». Оставалось не больше часа.

«Что ж, я так просижу тут одна. Что за вздор! Не хочу я. Сейчас позову его».

— Отец Сергей! Отец Сергей! Сергей Дмитрич. Князь Касатский!

За дверью было тихо.

— Послушайте, это жестоко. Я бы не звала вас. Если бы мне не нужно было. Я больна. Я не знаю, что со мною, — заговорила она страдающим голосом. — Ох, ох! — застонала она, падая на койку. И странное дело, она точно чувствовала, что она изнемогает, вся изнемогает, что все болит у нее и что ее трясет дрожь, лихорадка.

— Послушайте, помогите мне. Я не знаю, что со мной. Ох! Ох! — Она расстегнула плагье, открыла грудь и закинула обнаженные по локоть руки. — Ох! ох!

Все это время он стоял в своем чулане и молился. Прочтя все вечерние молитвы, он теперь стоял неподвижно, устремив глаза на кончик носа, и творил умную молитву, духом повторяя: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя».

Но он все слышал. Он слышал, как она шуршала шелковой тканью, снимая платье, как она ступала босыми ногами по полу; он слышал, как она терла себе

рукой ноги. Он чувствовал, что он слаб и что всякую минуту может погибнуть, и потому не переставая молился. Он испытывал нечто подобное тому, что должен испытывать тот сказочный герой, который должен был идти не оглядываясь. Так и Сергей слышал, чуял, что опасность, гибель тут, над ним, вокруг него, и он может спастись, только ни на минуту не оглядываясь на нее. Но вдруг желание взглянуть охватило его. В то же мгновение она сказала:

— Послушайте, это бесчеловечно. Я могу умереть.

«Да, я пойду, но так, как делал тот отец, который накладывал одну руку на блудницу, а другую клал в жаровню. Но жаровни нет». Он оглянулся. Лампа. Он выставил палец над огнем и нахмурился, готовясь терпеть, и довольно долго ему казалось, что он не чувствует, но вдруг — он еще не решил, больно ли и насколько, как он сморщился весь и отдернул руку, махая ею. «Нет, я не могу этого».

— Ради бога! Ох, подите ко мне! Я умираю, ох!

«Так что же, я погибну? Так нет же».

— Сейчас я приду к вам, — проговорил он и, отворив свою дверь, не глядя на нее, прошел мимо нее в дверь в сени, где он рубил дрова, ощупал чурбан, на котором он рубил дрова, и топор, прислоненный к стене.

— Сейчас, — сказал он и, взяв топор в правую руку, положил указательный палец левой руки на чурбан, взмахнул топором и ударил по нему ниже второго сустава. Палец отскочил легче, чем отскакивали дрова такой же толщины, перевернулся и шлепнулся на край чурбана и потом на пол.

Он услышал этот звук прежде, чем почувствовал боль. Но не успел он удивиться тому, что боли нет, как он почувствовал жгучую боль и тепло полившейся крови. Он быстро прихватил отрубленный сустав подолом ряссы и, прижав его к бедру, вошел назад в дверь и, остановившись против женщины, опустил глаза, тихо спросил:

— Что вам?

Она взглянула на его побледневшее лицо с дрожащей левой щекой, и вдруг ей стало стыдно. Она вскочила, схватила шубу и, накинув на себя, закуталась в нее.

— Да, мне было больно... я простудилась... я... Отец Сергей... я...

Он поднял на нее глаза, светившиеся тихим радостным светом, и сказал:

— Милая сестра, за что ты хотела погубить свою бессмертную душу? Соблазны должны войти в мир, но горе тому, через кого соблазн входит... Молись, чтобы бог простил нас.

Она слушала его и смотрела на него. Вдруг она услышала капли падающей жидкости. Она взглянула и увидела, как по рясе текла из руки кровь.

— Что вы сделали с рукой? — Она вспомнила звук, который слышала, и, схватив лампаду, выбежала в сени и увидела на полу окровавленный палец. Бледнее его она вернулась и хотела сказать ему; но он тихо прошел в чулан и запер за собой дверь.

— Простите меня, — сказала она. — Чем выкуплю я грех свой?

— Уйди.

— Дайте я перевяжу вам рану.

— Уйди отсюда.

Торопливо и молча оделась она. И готовая, в шубе, сидела, ожидая. С надворья слышались бубенцы.

— Отец Сергей. Простите меня.

— Уйди. Бог простит.

— Отец Сергей. Я переменю свою жизнь. Не оставляйте меня.

— Уйди.

— Простите и благословите меня.

— Во имя отца и сына и святого духа, — слышалось из-за перегородки. — Уйди.

Она зарыдала и вышла из кельи. Адвокат шел ей навстречу.

— Ну, проиграл, нечего делать. Куда ж вы сядете?

— Все равно.

Она села и до дома не сказала ни одного слова.

Через год она была пострижена малым постригом и жила строгой жизнью в монастыре под руководством затворника Арсения, который изредка писал ей письма.

В затворе прожил отец Сергей еще семь лет. Сначала отец Сергей принимал многое из того, что ему приносили: и чай, и сахар, и белый хлеб, и молоко, и одежду, и дрова. Но чем дальше и дальше шло время, тем строже и строже он устанавливал свою жизнь, отказываясь от всего излишнего, и, наконец, дошел до того, что не принимал больше ничего, кроме черного хлеба один раз в неделю. Все то, что приносили ему, он раздавал бедным, приходившим к нему.

Все время свое отец Сергей проводил в келье на молитве или в беседе с посетителями, которых все становилось больше и больше. Выходил отец Сергей только в церковь раза три в год, и за водой, и за дровами, когда была в том нужда.

После пяти лет такой жизни случилось то, ставшее скоро везде известным событие с Маковкиной, ее ночное посещение, совершившаяся в ней после этого перемена и ее поступление в монастырь. С тех пор слава отца Сергия стала увеличиваться. Посетителей стало приходиться все больше и больше, и около его кельи поселились монахи, построилась церковь и гостиница. Слава про отца Сергия, как всегда, преувеличивая его подвиги, шла все дальше и дальше. Стали стекаться к нему издалека и стали приводить к нему болящих, утверждая, что он исцеляет их.

Первое исцеление было на восьмой год его жизни в затворе. Это было исцеление четырнадцатилетнего мальчика, которого привела мать к отцу Сергию с требованием, чтобы он наложил на него руки. Отцу Сергию и в мысль не приходило, чтобы он мог исцелять болящих. Он считал бы такую мысль великим грехом гордости; но мать, приведшая мальчика, неотступно молила его, валялась в ногах, говорила: за что он, исцеляя других, не хочет помочь ее сыну, просила ради Христа. На утверждение отца Сергия, что только бог исцеляет, говорила, что она просит его только наложить руку и помолиться. Отец Сергей отказался и ушел в свою келью. Но на другой день (это было осенью, и уже ночи были холодные) он, выйдя из кельи за водой, угадал опять

ту же мать с своим сыном, четырнадцатилетним бледным, исхудавшим мальчиком, и услышал те же мольбы. Отец Сергей вспомнил притчу о неправедном судье и, прежде не имевши сомнений в том, что он должен отказаться, почувствовал сомнение, а почувствовав сомнение, стал на молитву и молился до тех пор, пока в душе его не возникло решение. Решение было такое, что он должен исполнить требование женщины, что вера ее может спасти ее сына; сам же он, отец Сергей, в этом случае не что иное, как ничтожное орудие, избранное богом.

И, выйдя к матери, отец Сергей исполнил ее желание, положил руку на голову мальчика и стал молиться.

Мать уехала с сыном, и через месяц мальчик выздоровел, и по округе прошла слава о святой целебной силе старца Сергия, как его называли теперь. С тех пор не проходило недели, чтобы к отцу Сергию не приходили, не приезжали больные. И, не отказав одним, он не мог отказывать и другим, и накладывал руку и молился, и исцелялись многие, и слава отца Сергия распространялась дальше и дальше.

Так прошло девять лет в монастыре и тринадцать в уединении. Отец Сергей имел вид старца: борода у него была длинная и седая, но волосы, хотя и редкие, еще черные и курчавые.

VII

Отец Сергей уже несколько недель жил с одной неотступною мыслью: хорошо ли он делал, подчиняясь тому положению, в которое он не столько сам стал, сколько поставили его архимандрит и игумен. Началось это после выздоровевшего четырнадцатилетнего мальчика, с тех пор с каждым месяцем, неделей, днем Сергей чувствовал, как уничтожалась его внутренняя жизнь и заменялась внешней. Точно его выворачивали наружу.

Сергий видел, что он был средством привлечения посетителей и жертвователей к монастырю и что потому монастырские власти обставляли его такими условиями, в которых бы он мог быть наиболее полезен. Ему, например, не давали уже совсем возможности трудиться. Ему припасали все, что ему могло быть нужно, и тре-

бовали от него только того, чтобы он не лишал своего благословения тех посетителей, которые приходили к нему. Для его удобства устроили дни, в которые он принимал. Устроили приемную для мужчин и место, огороженное перилами так, что его не сбивали с ног бросавшиеся к нему посетительницы, — место, где он мог благословлять проходящих. Если говорили, что он нужен был людям, что, исполняя закон Христов любви, он не мог отказывать людям в их требовании видеть его, что удаление от этих людей было бы жестокостью, он не мог не соглашаться с этим, но, по мере того как он отдавался этой жизни, он чувствовал, как внутреннее переходило во внешнее, как иссякал в нем источник воды живой, как то, что он делал, он делал все больше и больше для людей, а не для бога.

Говорил ли он наставления людям, просто благословлял ли, молился ли о болящих, давал ли советы людям о направлении их жизни, выслушивал ли благодарность людей, которым он помог либо исцелением, как ему говорили, либо поучением, он не мог не радоваться этому, не мог не заботиться о последствиях своей деятельности, о влиянии ее на людей. Он думал о том, что он был светильник горящий, и чем больше он чувствовал это, тем больше он чувствовал ослабление, потухание божеского света истины, горящего в нем. «Насколько то, что я делаю, для бога и насколько для людей?» — вот вопрос, который постоянно мучал его и на который он никогда не то что не мог, но не решался ответить себе. Он чувствовал в глубине души, что дьявол подменил всю его деятельность для бога деятельностью для людей. Он чувствовал это потому, что как прежде ему тяжело было, когда его отрывали от его уединения, так ему тяжело было его уединение. Он тяготился посетителями, уставал от них, но в глубине души он радовался им, радовался тем восхвалениям, которыми окружали его.

Было даже время, когда он решил уйти, скрыться. Он даже все обдумал, как это сделать. Он приготовил себе мужицкую рубаху, портки, кафтан и шапку. Он объяснил, что это нужно ему для того, чтобы давать просящим. И он держал это одеяние у себя, придумывая, как он оденется, острижет волосы и уйдет. Сначала

он уедет на поезде, проедет триста верст, сойдет и пойдет по деревням. Он расспрашивал старика солдата, как он ходит, как подают и пускают. Солдат рассказал, как и где лучше подают и пускают, и вот так и хотел сделать отец Сергей. Он даже раз оделся ночью и хотел идти, но он не знал, что хорошо: оставаться или бежать. Сначала он был в нерешительности, потом нерешительность прошла, он привык и покорился дьяволу, и одежда мужицкая только напоминала ему его мысли и чувства.

С каждым днем все больше и больше приходило к нему людей и все меньше и меньше оставалось времени для духовного укрепления и молитвы. Иногда, в светлые минуты, он думал так, что он стал подобен месту, где прежде был ключ. «Был слабый ключ воды живой, который тихо тек из меня, через меня. То была истинная жизнь, когда «она» (он всегда с восторгом вспоминал эту ночь и ее. Теперь мать Агнию) соблазняла его. Она вкусила той чистой воды. Но с тех пор не успевает набраться вода, как жаждущие приходят, теснятся, отбивая друг друга. И они затолкли все, осталась одна грязь». Так думал он в редкие светлые минуты; но самое обыкновенное состояние его было: усталость и умиление перед собой за эту усталость.

Была весна, канун праздника преполовения. Отец Сергей служил всенощную в своей пещерной церкви. Народу было столько, сколько могло поместиться, человек двадцать. Это всё были господа и купцы — богатые. Отец Сергей пускал всех, но эту выборку делали монах, приставленный к нему, и дежурный, присылаемый ежедневно к его затвору из монастыря. Толпа народа, человек в восемьдесят странников, в особенности баб, толпилась наружи, ожидая выхода отца Сергея и его благословения. Отец Сергей служил и, когда он вышел, славя... к гробу своего предшественника, он пошатнулся и упал бы, если бы стоявший за ним купец и за ним монах, служивший за дьякона, не подхватили его.

— Что с вами? Батюшка! Отец Сергей! Голубчик! Господи! — заговорили голоса женщин, — Как платок стали.

Но отец Сергей тотчас же оправился и, хотя и очень бледный, отстранил от себя купца и дьякона и продолжал петь. Отец Серапион, дьякон, и причетники, и барыня Софья Ивановна, жившая всегда при затворе и ухаживавшая за отцом Сергием, стали просить его прекратить службу.

— Ничего, ничего,— улыбаясь чуть заметно под своими усами, проговорил отец Сергей,— не прерывайте службу.

«Да, так святые делают», — подумал он.

— Святой! Ангел божий! — услышался ему тотчас же сзади его голос Софьи Ивановны и еще того купца, который поддержал его. Он не послушался уговоров и продолжал служить. Опять теснясь, все прошли коридорчиками назад к маленькой церкви, и там, хотя немного и сократив ее, отец Сергей дослужил всенощную.

Тотчас после службы отец Сергей благословил бывших тут и вышел на лавочку под вяз у входа в пещеры. Он хотел отдохнуть, подышать свежим воздухом, чувствовал, что ему это необходимо, но только что он вышел, как толпа народа бросилась к нему, прося благословенья и спрашивая советов и помощи. Тут были странницы, всегда ходящие от святого места к святому месту, от старца к старцу и всегда умиляющиеся перед всякой святыней и всяким старцем. Отец Сергей знал этот обычный, самый нерелигиозный, холодный, условный тип; тут были странники, большей частью из отставных солдат, отбившиеся от оседлой жизни, бедствующие и большей частью запивающие старики, шляющиеся из монастыря в монастырь, только чтобы кормиться; тут были и серые крестьяне и крестьянки с своими эгоистическими требованиями исцеления или разрешения сомнений о самых практических делах: о выдаче дочери, о найме лавочки, о покупке земли или о снятии с себя греха заспанного или прижитого ребенка. Все это было давно знакомо и неинтересно отцу Сергию. Он знал, что от этих лиц он ничего не узнает нового, что лица эти не вызовут в нем никакого религиозного чувства, но он любил видеть их, как толпу, которой он, его благословение, его слово было нужно и дорого, и потому он и тяготился этой толпой, и она вместе

с тем была приятна ему. Отец Серапион стал было отгонять их, говоря, что отец Сергей устал, но он, вспомнив при том слова Евангелия: «Не мешайте им (детям) приходиться ко мне» — и умилившись на себя при этом воспоминании, сказал, чтобы их пустили.

Он встал, подошел к перильцам, около которых они толпились, и стал благословлять их и отвечать на их вопросы голосом, слабостью звука которого он сам умилялся. Но, несмотря на желание, принять их всех он не мог: опять у него потемнело в глазах, он пошатнулся и схватился за перила. Опять он почувствовал прилив к голове и сначала побледнел, а потом вдруг вспыхнул.

— Да, видно, до завтра. Я не могу нынче, — сказал он и, благословив вообще всех, пошел к лавочке. Купец опять подхватил его и довел за руку и посадил.

— Отец! — слышалось в толпе. — Отец! Батюшка! Не покинь ты нас. Пропали мы без тебя!

Купец, усадив отца Сергея на лавочку под вязом, взял на себя обязанность полицейскую и очень решительно взялся прогонять народ. Правда, он говорил тихо, так что отец Сергей не мог слышать его, но говорил решительно и сердито:

— Убирайтесь, убирайтесь. Благословил, ну, чего же вам еще? Марш. А то, право, шею намну. Ну, ну! Ты, тетка, черные онучи, ступай, ступай. Ты куда лезешь? Сказано, шабаш. Что завтра бог даст, а нынче весь отошел.

— Батюшка, только из глазка на личико его взглянуть, — говорила старушка.

— Я те взгляну, куда лезешь?

Отец Сергей заметил, что купец что-то строго действует, и слабым голосом сказал келейнику, чтоб он не гнал народ. Отец Сергей знал, что он все-таки прогонит, и очень желал остаться один и отдохнуть, но послал келейника сказать, чтобы произвести впечатление.

— Хорошо, хорошо. Я не гошю, я усовещиваю, — отвечал купец, — ведь они ради доконать человека. У них жалости ведь нет, они только себя помнят. Нельзя, сказано. Иди. Завтра.

И купец прогнал всех.

Купец усердствовал и потому, что он любил порядок и любил гонять народ, помыкать им, и главное потому,

что отец Сергей ему нужен был. Он был вдовец, и у него была единственная дочь, больная, не шедшая замуж, и он за тысячу четыреста верст привез ее к отцу Сергию, чтобы отец Сергей излечил ее. Он лечил эту дочь за два года ее болезни уж в разных местах. Сначала в губернском университетском городе в клинике — не помогли; потом возил ее к мужику в Самарскую губернию — немножко полегчало; потом возил к московскому доктору, заплатил много денег — ничего не помог. Теперь ему сказали, что отец Сергей излечивает, и вот он привез ее. Так что, когда купец разогнал весь народ, он подошел к отцу Сергию и, став без всяких приготовлений на колени, громким голосом сказал:

— Отец святой, благослови дочь мою болящую исцелить от боли недуга. Дерзаю прибегнуть к святым стопам твоим. — И он сложил горсточкой руку на руку. Все это он сделал и сказал так, как будто он делал нечто ясно и твердо определенное законом и обычаем, как будто именно так, а не каким-либо иным способом надо и должно просить об исцелении дочери. Он сделал это с такою уверенностью, что даже и отцу Сергию показалось, что все это именно так и должно говорить и делать. Но он все-таки велел ему встать и рассказать, в чем дело. Купец рассказал, что дочь его, девица двадцати двух лет, заболела два года тому назад, после скоропостижной смерти матери, ахнула, как он говорит, и с тех пор повредилась. И вот он привез ее за тысячу четыреста верст, и она ждет в гостинице, когда отец Сергей прикажет привести ее. Днем она не ходит, боится света, а может выходить только после заката солнца.

— Что же, она очень слаба? — сказал отец Сергей.

— Нет, слабости она особой не имеет и корпусна, а только нерастениха, как доктор сказывал. Если бы нынче приказал, отец Сергей, привести ее, я бы духом слетал. Отец святой, оживите сердце родителя; восстановите род его — молитвами своими спасите болящую дочь его.

И купец опять с размаха упал на колени и, склонившись боком головой над двумя руками горсточкой, замер. Отец Сергей опять велел ему встать и, подумав о том, как тяжела его деятельность и как, несмотря на

то, он покорно несет ее, тяжело вздохнул и, помолчав несколько секунд, сказал:

— Хорошо, приведите ее вечером. Я помолюсь о ней, но теперь я устал. — И он закрыл глаза. — Я пришло тогда.

Купец, на цыпочках ступая по песку, отчего сапоги только громче скрипели, удалился, и отец Сергей остался один.

Вся жизнь отца Сергея была полна службами и посетителями, но нынче был особенно трудный день. Утром был приезжий важный сановник, долго беседовавший с ним; после него была барыня с сыном. Сын этот был молодой профессор, неверующий, которого мать, горячо верующая и преданная отцу Сергию, привезла сюда и упросила отца Сергея поговорить с ним. Разговор был очень тяжелый. Молодой человек, очевидно, не желал вступать в спор с монахом, соглашался с ним во всем, как с человеком слабым, но отец Сергей видел, что молодой человек не верит и что, несмотря на то, ему хорошо, легко и спокойно. Отец Сергей с неудовольствием вспоминал теперь этот разговор.

— Покушать, батюшка, — сказал келейник.

— Да, что-нибудь принесите.

Келейник ушел в келейку, построенную в десяти шагах от входа в пещеры, а отец Сергей остался один.

Давно уже прошло то время, когда отец Сергей жил один и сам все делал для себя, и питался одной просвирой и хлебом. Уже давно ему доказали, что он не имеет права пренебрегать своим здоровьем, и его питали постными, но здоровыми кушаньями. Он употреблял их мало, но гораздо больше, чем прежде, и часто ел с особенным удовольствием, а не так, как прежде, с отвращением и сознанием греха. Так это было и теперь. Он поел кашку, выпил чашку чая и съел половину белого хлеба.

Келейник ушел, и он остался один на лавочке под вязом.

Был чудный майский вечер, лист только что разлопушился на березах, осинах, вязах, черемухах и дубах. Черемуховые кусты за вязом были в полном цвету и еще не осыпались. Соловьи, один совсем близко и другие два или три вверху в кустах у реки, щелкали и зали-

вались. С реки слышалось далеко пенье возвращавшихся, верно с работы, рабочих; солнце зашло за лес и брызгало разбившимися лучами сквозь зелень. Вся сторона эта была светло-зеленая, другая, с вязом, была темная. Жуки летали и хлопались и падали.

После ужина отец Сергей стал творить умственную молитву: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас», — а потом стал читать псалом, и вдруг, среди псалма, откуда ни возьмись, воробей слетел с куста на землю и, чиликая и попрыгивая, подскочил к нему, испугался чего-то и улетел. Он читал молитву, в которой говорил о своем отречении от мира, и торопился поскорее прочесть ее, чтобы послать за купцом с больною дочерью: она интересовала его. Она интересовала его тем, что это было развлечение, новое лицо, тем, что и отец ее и она считали его угодником, таким, чья молитва исполнялась. Он отрекался от этого, но он в глубине души сам считал себя таким.

Он часто удивлялся тому, как это случилось, что ему, Степану Касатскому, довелось быть таким необыкновенным угодником и прямо чудотворцем, но то, что он был такой, не было никакого сомнения: он не мог не верить тем чудесам, которые он сам видел, начиная с расслабленного мальчика и до последней старушки, получившей зрение по его молитве.

Как ни странно это было, это было так. Так купцова дочь интересовала его тем, что она была новое лицо, что она имела веру в него, и тем еще, что предстояло опять на ней подтвердить свою силу исцеления и свою славу. «За тысячу верст приезжают, в газетах пишут, государь знает, в Европе, в неверующей Европе знают», — думал он. И вдруг ему стало совестно своего тщеславия, и он стал опять молиться богу. «Господи, царю небесный, утешителю, душе истины, приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, блаже, души наша. Очисти от скверны славы людской, обуревающей меня», — повторил он и вспомнил, сколько раз он молился об этом и как тщетны были до сих пор в этом отношении его молитвы: молитва его делала чудеса для других, но для себя он не мог выпросить у бога освобождения от этой ничтожной страсти.

Он вспомнил молитвы свои в первое время затвора, когда он молился о даровании ему чистоты, смирения и любви, и о том, как ему казалось тогда, что бог услышал его молитвы, он был чист и отрубил себе палец, и он поднял сморщенный сборками отрезок пальца и поцеловал его; ему казалось, что он и был смиренен тогда, когда он постоянно гадок был себе своей греховностью, и ему казалось, что он имел тогда и любовь, когда вспоминал, с каким умилением он встретил тогда старика, зашедшего к нему, пьяного солдата, требовавшего денег, и ее. Но теперь? И он спросил себя: любит ли он кого, любит ли Софью Ивановну, отца Серапиона, испытал ли он чувство любви ко всем этим лицам, бывшим у него нынче, к этому ученому юноше, с которым он так поучительно беседовал, заботясь только о том, чтобы показать ему свой ум и не отсталость от образования. Ему приятно, нужна любовь от них, но к ним любви он не чувствовал. Не было у него теперь любви, не было и смирения, не было и чистоты.

Ему было приятно узнать, что купцовой дочери двадцать два года, и хотелось знать, красива ли она. И, спрашивая о ее слабости, он именно хотел знать, имеет ли она женскую прелесть, или нет.

«Неужели я так пал? — подумал он. — Господи, помоги мне, восстанови меня, господь и бог мой». И он сложил руки и стал молиться. Соловьи заливались. Жук налетел на него и пополз по затылку. Он сбросил его. «Да есть ли он? Что, как я стучусь у запертого снаружи дома... Замок на двери, и я мог бы видеть его. Замок этот — соловьи, жуки, природа. Юноша прав, может быть». И он стал громко молиться, и долго молился, до тех пор пока мысли эти исчезли и он почувствовал себя опять спокойным и уверенным. Он позвонил в колокольчик и вышедшему келейнику сказал, что пускай купец этот с дочерью придет теперь.

Купец привел под руку дочь, провел ее в келью и тотчас же ушел.

Дочь была белокурая, чрезвычайно белая, бледная, полная, чрезвычайно короткая девушка, с испуганным детским лицом и очень развитыми женскими формами. Отец Сергей остался на лавочке у входа. Когда прохо-

дила девушка и остановилась подле него и он благословил ее, он сам ужаснулся на себя, как он осмотрел ее тело. Она прошла, а он чувствовал себя ужаленным. По лицу ее он увидел, что она чувственна и слабоумна. Он встал и вошел в келью. Она сидела на табурете, дожидаясь его.

Когда он взошел, она встала.

— Я к папаше хочу, — сказала она.

— Не бойся, — сказал он. — Что у тебя болит?

— Все у меня болит, — сказала она, и вдруг лицо ее осветилось улыбкой.

— Ты будешь здорова, — сказал он. — Молись.

— Что молиться, я молилась, ничего не помогает. —

И она все улыбалась. — Вот вы помолитесь да руки на меня наложите. Я во сне вас видела.

— Как видела?

— Видела, что вы вот так ручку наложили мне на грудь. — Она взяла его руку и прижала ее к своей груди. — Вот сюда.

Он отдал ей свою правую руку.

— Как тебя звать? — спросил он, дрожа всем телом и чувствуя, что он побежден, что похоть ушла уже изпод руководства.

— Марья. А что?

Она взяла руку и поцеловала ее, а потом одной рукой обвила его за пояс и прижимала к себе.

— Что ты? — сказал он. — Марья. Ты дьявол.

— Ну, авось ничего.

И она, обнимая его, села с ним на кровать.

На рассвете он вышел на крыльцо.

«Неужели все это было? Отец придет. Она расскажет. Она дьявол. Да что же я сделаю? Вот он, тот топор, которым я рубил палец». Он схватил топор и пошел в келью.

Келейник встретил его.

— Дров прикажете нарубить? Пожалуйте топор.

Он отдал топор. Вошел в келью. Она лежала и спала. С ужасом взглянул он на нее. Прошел в келью, снял мужицкое платье, оделся, взял ножницы, обстриг

волосы и вышел по тропинке под гору к реке, у которой он не был четыре года.

Вдоль реки шла дорога; он пошел по ней и прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, к обрыву.

Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца. Все было серо и мрачно, и тянул с запада холодный предрассветный ветер. «Да, надо кончить. Нет бога. Как покончить? Броситься? Умею плавать, не утонешь. Повеситься? Да, вот кушак, на суку». Это показалось так возможно и близко, что он ужаснулся. Хотел, как обыкновенно в минуты отчаяния, помолиться. Но молиться некому было. Бога не было. Он лежал, облокотившись на руку. И вдруг он почувствовал такую потребность сна, что не мог держать больше голову рукой, а вытянул руку, положил на нее голову и тотчас же заснул. Но сон этот продолжался только мгновение; он тотчас же просыпается и начинает не то видеть во сне, не то вспоминать.

И вот видит он себя почти ребенком, в доме матери в деревне. И к ним подъезжает коляска, и из коляски выходят: дядя Николай Сергеевич, с огромной, лопатой, черной бородой, и с ним худенькая девочка Пашенька, с большими кроткими глазами и жалким, робким лицом. И вот им, в их компанию мальчиков, приводят эту Пашеньку. И надо с ней играть, а скучно. Она глупая. Кончается тем, что ее поднимают на смех, заставляют ее показывать, как она умеет плавать. Она ложится на пол и показывает на сухом. И все хохочут и делают ее дурой. И она видит это и краснеет пятнами и становится жалкой, такой жалкой, что совестно и что никогда забыть нельзя этой ее кривой, доброй, покорной улыбки. И вспоминает Сергей, когда он видел ее после этого. Видел он ее долго потом, перед поступлением его в монахи. Она была замужем за каким-то помещиком, промотавшим все ее состояние и бившим ее. У нее было двое детей: сын и дочь. Сын умер маленьким.

Сергей вспоминал, как он видел ее несчастной. Потом он видел ее в монастыре вдовой. Она была такая же — не сказать глупая, но безвкусная, ничтожная и

жалкая. Она приезжала с дочерью и ее женихом. И они были уже бедны. Потом он слышал, что она живет где-то в уездном городе и что она очень бедна. «И зачем я думаю о ней? — спрашивал он себя. Но не мог перестать думать о ней. — Где она? Что с ней? Так ли она все несчастна, как была тогда, когда показывала, как плавают, по полу? Да что мне об ней думать? Что я? Кончить надо».

И опять ему страшно стало, и опять, чтобы спастись от этой мысли, он стал думать о Пашеньке.

Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул. И во сне он увидел ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение».

Он проснулся и, решив, что это было виденье от бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. Он знал город, в котором она живет, — это было за триста верст, — и пошел туда.

VIII

Пашенька уж давно была не Пашенька, а старая, высохшая, сморщенная Прасковья Михайловна, теща неудачника, пьющего чиновника Маврикьева. Жила она в том уездном городе, в котором зять имел последнее место, и там кормила семью: и дочь, и самого больного, неврастеника-зятя, и пятерых внучат. А кормила она тем, что давала уроки музыки купцовым дочкам, по пятьдесят за час. В день было иногда четыре, иногда пять часов, так что в месяц зарабатывалось около шестидесяти рублей. Тем и жили покамест, ожидая места. С просьбами о месте Прасковья Михайловна послала письма ко всем своим родным и знакомым, в том числе и к Сергию. Но письмо это не застало его.

Была суббота, и Прасковья Михайловна сама замешивала сдобный хлеб с изюмом, который так хорошо делал еще крепостной повар у ее папаша. Прасковья Михайловна хотела завтра к празднику угостить внучат.

Маша, дочь ее, нянчилась с меньшим, старшие, мальчик и девочка, были в школе. Сам зять не спал ночь и теперь заснул. Прасковья Михайловна долго не спала вчера, стараясь смягчить гнев дочери на мужа.

Она видела, что зять — слабое существо, не мог говорить и жить иначе, и видела, что упреки ему от жены не помогут, и она все силы употребляла, чтобы смягчить их, чтоб не было упреков, не было зла. Она не могла физически почти переносить недобрые отношения между людьми. Ей так ясно было, что от этого ничто не может стать лучше, а все будет хуже. Да этого даже она не думала, она просто страдала от вида злобы, как от дурного запаха, резкого шума, ударов по телу.

Она только что самодовольно учила Лукерью, как замешивать опару, когда Миша, шестилетний внук, в фартучке, на кривых ножках, в штопаных чулочках, прибежал в кухню с испуганным лицом.

— Бабушка, старик страшный тебя ищет.

Лукерья выглянула.

— И то, странник какой-то, барыня.

Прасковья Михайловна обтерла свои худые локти один о другой и руки об фартук и пошла было в дом за кошельком подать пять копеек, но потом вспомнила, что нет меньше гривенника, и решила подать хлеба и вернулась к шкапу, но вдруг покраснела, вспомнив, что она пожалела, и, приказав Лукерье отрезать ломоть, сама пошла сверх того за гривенником. «Вот тебе наказанье, — сказала она себе, — вдвое подай».

Она подала, извиняясь, и то и другое страннику, и когда подавала, не только уж не гордилась своей щедростью, а, напротив, устыдилась, что подает так мало. Такой значительный вид был у странника.

Несмотря на то, что он триста верст прошел Христовым именем, и оборвался, и похудел, и почернел, волосы у него были обстрижены, шапка мужицкая и сапоги такие же, несмотря на то, что он смиренно кланялся, у Сергия был все тот же значительный вид, который так привлекал к нему. Но Прасковья Михайловна не узнала его. Она и не могла узнать его, не выдав его почти тридцать лет.

— Не взыщите, батюшка. Может, поесть хотите?

Он взял хлеб и деньги. И Прасковья Михайловна удивилась, что он не уходит, а смотрит на нее.

— Пашенька. Я к тебе пришел. Прими меня.

И черные прекрасные глаза пристально и просительно смотрели на нее и заблестели выступившими слезами. И под седеющими усами жалостно дрогнули губы.

Прасковья Михайловна схватилась за высохшую грудь, открыла рот и замерла спустившимися зрачками на лице странника.

— Да не может быть! Степа! Сергей! Отец Сергей.

— Да, он самый,— тихо проговорил Сергей.— Только не Сергей, не отец Сергей, а великий грешник Степан Касатский, погибший, великий грешник. Прими, помоги мне.

— Да не может быть, да как же вы это так смирились? Да пойдемте же.

Она протянула руку; но он не взял ее и пошел за нею.

Но куда вести? Квартирка была маленькая. Сначала была отведена комнатка крошечная, почти чуланчик, для нее, но потом и этот чуланчик она отдала дочери. И теперь там сидела Маша, укачивая грудного.

— Сядьте сюда, сейчас, — сказала она Сергию, укаывая на лавку в кухне.

Сергий тотчас же сел и снял, очевидно уж привычным жестом, сначала с одного, потом с другого плеча сумку.

— Боже мой, боже мой, как смирился, батюшка! Какая слава и вдруг так...

Сергий не отвечал и только кротко улыбнулся, укладывая подле себя сумку.

— Маша, это знаешь кто?

И Прасковья Михайловна шепотом рассказала дочери, кто был Сергей, и они вместе вынесли и постель и люльку из чулана, опростав его для Сергия.

Прасковья Михайловна провела Сергия в каморку.

— Вот тут отдохните. Не взыщите. А мне идти надо.

— Куда?

— Уроки у меня тут, совестно и говорить — музыке учу.

— Музыке — это хорошо. Только одно, Прасковья Михайловна, я ведь к вам за делом пришел. Когда я могу поговорить с вами?

— За счастье почту. Вечером можно?

— Можно, только еще просьба: не говорите обо мне, кто я. Я только вам открылся. Никто не знает, куда я ушел. Так надо.

— Ах, а я сказала дочери.

— Ну, попросите ее не говорить.

Сергий снял сапоги, лег и тотчас же заснул после бессонной ночи и сорока верст ходу.

Когда Прасковья Михайловна вернулась, Сергей сидел в своей каморке и ждал ее. Он не выходил к обеду, а поел супу и каши, которые принесла ему туда Лукерья.

— Что же ты раньше пришла обещанного? — сказал Сергей. — Теперь можно поговорить?

— И за что мне такое счастье, что такой посетитель? Я уж пропустила урок. После... Я мечтала все съездить к вам, писала вам, и вдруг такое счастье.

— Пашенька! Пожалуйста, слова, которые я скажу тебе сейчас, прими как исповедь, как слова, которые я в смертный час говорю перед богом. Пашенька! Я не святой человек, даже не простой, рядовой человек: я грешник, грязный, гадкий, заблудший, гордый грешник, хуже, не знаю, всех ли, но хуже самых худых людей.

Пашенька смотрела сначала выпучив глаза; она верила. Потом, когда она вполне поверила, она тронула рукой его руку и, жалостно улыбаясь, сказала:

— Стива, может быть, ты преувеличиваешь?

— Нет, Пашенька. Я блудник, я убийца, я богохульник и обманщик.

— Боже мой! Что ж это? — проговорила Прасковья Михайловна.

— Но надо жить. И я, который думал, что все знаю, который учил других, как жить, — я ничего не знаю, и я тебя прошу научить.

— Что ты, Стива. Ты смеешься. За что вы всегда смеетесь надо мной?

— Ну, хорошо, я смеюсь; только скажи мне, как ты живешь и как прожила жизнь?

— Я? Да я прожила самую гадкую, скверную жизнь, и теперь бог наказывает меня, и поделом, и живу так дурно, так дурно...

— Как же ты вышла замуж? Как жила с мужем?

— Все было дурно. Вышла — влюбилась самым гадким манером. Папа не желал этого. Я ни на что не посмотрела, вышла. И замужем, вместо того чтобы помогать мужу, я мучила его ревностью, которую не могла в себе победить.

— Он пил, я слышал.

— Да, но я-то не умела успокоить его. Упрекала его. А ведь это болезнь. Он не мог удержаться, а я теперь вспоминаю, как я не давала ему. И у нас были ужасные сцены.

И она смотрела прекрасными, страдающими при воспоминании глазами на Касатского.

Касатский вспоминал, как ему рассказывали, что муж бил Пашеньку. И Касатский видел теперь, глядя на ее худую, высохшую шею с выдающимися жилами за ушами и пучком редких полуседых, полурусых волос, как будто видел, как это происходило.

— Потом я осталась одна с двумя детьми и без всяких средств.

— Да ведь у вас было именье.

— Это еще при Васе мы продали и всё... прожили. Надо было жить, а я ничего не умела — как все мы, барышни. Но я особенно плоха, беспомощна была. Так проживали последнее, я учила детей — сама немножко подучилась. А тут Митя заболел, уже в четвертом классе, и бог взял его. Манечка полюбила Ваню — зятя. И что ж, он хороший, но только несчастный. Он больной.

— Мамаша, — перебила ее речь дочь. — Возьмите Мишу, не могу я разорваться.

Прасковья Михайловна вздрогнула, встала и, быстро ступая в своих стоптанных башмаках, вышла в дверь и тотчас же вернулась с двухлетним мальчиком на руках, который валился назад и схватился ручонками за ее косынку.

— Да, так на чем я остановилась? Ну вот, было

у него место тут хороше — и начальник такой милый, но Ваня не мог и вышел в отставку.

— Чем же он болен?

— Неврастенией, это ужасная болезнь. Мы советовались, но надо бы ехать, но средств нет. Но я все надеюсь, что так пройдет. Особенных болей у него нет, но...

— Лукерья! — слышался его голос, сердитый и слабый. — Всегда ушлют куда-нибудь, когда ее нужно. Мамаша!..

— Сейчас, — опять перебила себя Прасковья Михайловна. — Он не обедал еще. Он не может с нами.

Она вышла, что-то устроила там и вернулась, обтирая загорелые худые руки.

— Так вот и живу. И всё жалуемся, и всё недовольны, а, слава богу, внуки все славные, здоровые, и жить еще можно. Да что про меня говорить.

— Ну, чем же вы живете?

— А немножко я вырабатываю. Вот я скучала музыкой, а теперь как она мне пригодилась.

Она держала маленькую руку на комодце, у которого сидела, и, как упражнения, перебирала худыми пальцами.

— Что же вам платят за уроки?

— Платят и рубль, и пятьдесят копеек, есть и тридцать копеек. Они все такие добрые ко мне.

— И что же, успехи делают? — чуть улыбаясь глазами, спросил Касатский.

Прасковья Михайловна не поверила сразу серьезности вопроса и вопросительно взглянула ему в глаза.

— Делают и успехи. Одна славная девочка есть, мясника дочь. Добрая, хорошая девочка. Вот если бы я была порядочная женщина, то, разумеется, по папашиним связям, я бы могла найти место зятю. А то я ничего не умела и вот довела их всех до этого.

— Да, да, — говорил Касатский, наклоняя голову — Ну, а как вы, Пашенька, в церковной жизни участвуете? — спросил он.

— Ах, не говорите. Уж так дурно, так запустила, с детьми говею и бываю в церкви, а то по месяцам не бываю. Детей посылаю.

— А отчего же не бываете сами?

— Да правду сказать, — она покраснела, — да обрванной идти совестно перед дочерью, внучатами, а новенького нет. Да просто леньюсь.

— Ну, а дома молитесь?

— Молюсь, да что за молитва, так, машинально. Знаю, что не так надо, да нет настоящего чувства, только и есть, что знаешь всю свою гадость...

— Да, да, так, так, — как бы одобряя, подговаривал Касатский.

— Сейчас, сейчас, — ответила она на зов зятя и, поправив на голове косичку, вышла из комнаты.

На этот раз она долго не возвращалась. Когда она вернулась, Касатский сидел в том же положении, опершись локтями на колена и опустив голову. Но сумка его была надета на спину.

Когда она вошла с жестяной, без колпака, лампочкой, он поднял на нее свои прекрасные, усталые глаза и глубоко, глубоко вздохнул.

— Я им не сказала, кто вы, — начала она робко, — а только сказала, что странник из благородных и что я знала. Пойдемте в столовую, чаю.

— Нет...

— Ну, я сюда принесу.

— Нет, ничего не надо. Спаси тебя бог, Пашенька. Я пойду. Если жалеешь, не говори никому, что видела меня. Богом живым заклинаю тебя: не говори никому. Спасибо тебе. Я бы поклонился тебе в ноги, да знаю, что это смутит тебя. Спасибо, прости Христа ради.

— Благословите.

— Бог благословит. Прости Христа ради.

И он хотел идти, но она не пустила его и принесла ему хлеба, баранок и масла. Он взял все и вышел.

Было темно, и не отошел он двух домов, как она потеряла его из вида и узнала, что он идет, только по тому, что протопопова собака залаяла на него.

«Так вот что значил мой сон. Пашенька именно то, что я должен был быть и чем я не был. Я жил для людей под предлогом бога, она живет для бога, воображая, что она живет для людей. Да, одно доброе дело,

чашка воды, поданная без мысли о награде, дороже благодетельствованных мною для людей. Но ведь была доля искреннего желания служить богу?» — спрашивал он себя, и ответ был: «Да, но все это было загажено, заросло славой людской. Да, нет бога для того, кто жил, как я, для славы людской. Буду искать его».

И он пошел, как шел до Пашеньки, от деревни до деревни, сходясь и расходясь с странниками и странницами и прося Христа ради хлеба и ночлега. Изредка его бранила злая хозяйка, ругал выпивший мужик, но большей частью его кормили, поили, давали даже на дорогу. Его господское обличье располагало некоторых в его пользу. Некоторые, напротив, как бы радовались на то, что вот господин дошел также до нищеты. Но кротость его побеждала всех.

Он часто, находя в доме Евангелие, читал его, и люди всегда, везде все умилялись и удивлялись, как новое и вместе с тем давно знакомое слушали его.

Если удавалось ему послужить людям или советом, или грамотой, или уговором ссорящихся, он не видел благодарности, потому что уходил. И понемногу бог стал проявляться в нем.

Один раз он шел с двумя старушками и солдатом. Барин с барыней на шарабане, запряженном рысаком, и мужчина и дама верховые остановили их. Муж барыни ехал с дочерью верхами, а в шарабане ехала барыня с, очевидно, путешественником-французом.

Они остановили их, чтобы показать ему *les pèlerins*¹, которые, по свойственному русскому народу суеверию, вместо того чтобы работать, ходят из места в место.

Они говорили по-французски, думая, что не понимают их.

— *Demandez leur*, — сказал француз, — *s'ils sont bien sûrs de ce que leur pèlerinage est agréable à dieu*².

Их спросили. Старушки отвечали:

— Как бог примет. Ногами-то были, сердцем будем ли?

¹ странников (франц.).

² Спросите у них, твердо ли они уверены, что их паломничество угодно богу (франц.).

Спросили солдата. Он сказал, что один, деться некуда. Спросили Касатского, кто он?

— Раб божий.

— Qu'est ce qu'il dit? Il ne répond pas¹.

— Il dit qu'il est un serviteur de dieu².

— Cela doit être un fils de prêtre. Il a de la race. Avez-vous de la petite monnaie?³

У француза нашлась мелочь. И он всем роздал по двадцать копеек.

— Mais dites leur que ce n'est pas pour des cierges que je leur donne, mais pour qu'ils se régalent de thé;⁴ чай, чай, — улыбаясь, — pour vous, mon vieux⁵, — сказал он, трепля рукой в перчатке Касатского по плечу.

— Спаси Христос, — ответил Касатский, не надевая шапки и кланяясь своей лысой головой.

И Касатскому особенно радостна была эта встреча, потому что он презрел людское мнение и сделал самое пустое, легкое — взял смиренно двадцать копеек и отдал их товарищу, слепому нищему. Чем меньше имело значения мнение людей, тем сильнее чувствовался бог.

Восемь месяцев проходил так Касатский, на девятом месяце его задержали в губернском городе, в приюте, в котором он ночевал с странниками, и как беспаспортного взяли в часть. На вопросы, где его билет и кто он, он отвечал, что билета у него нет, а что он раб божий. Его причислили к бродягам, судили и сослали в Сибирь.

В Сибири он поселился на заимке у богатого мужика и теперь живет там. Он работает у хозяина в огороде, и учит детей, и ходит за больными.

¹ Что он сказал? Он не отвечает (франц.).

² Он сказал, что он слуга божий (франц.).

³ Должно быть, это сын священника. Чувствуется порода. Есть у вас мелочь? (франц.)

⁴ Скажите им, что я даю им не на свечи, а чтобы они полакомились чаем (франц.).

⁵ вам, дедушка (франц.).

ДВЕ РАЗЛИЧНЫЕ ВЕРСИИ ИСТОРИИ УЛЬЯ С ЛУБОЧНОЙ КРЫШКОЙ

Первая версия [истории] улья с лубочной крышкой была составлена трутнем историографом Прупру. Другая же версия составлена одной из рабочих пчел.

История улья с лубочной крышкой, составленная трутнем, начинается перечислением материалов и источников. Матерьялы и источники следующие: Записки знаменитых трутней. Переписка его высочества трутня Дебе-старшего с его светлостью Куку-младшим. Гоф-фурьерский журнал. Устные предания, песни и романсы трутней. Уголовные и гражданские дела между трутнями и пчелами. Описания путешествий жуков, мошек и трутней чужих ульев. Статистические сведения о количестве меда в различные периоды жизни улья.

История улья с лубочной крышкой историографа Прупру начинается со времени первого роения и появления первых трутней. По описаниям трутня Прупру, время это от 6-го июня до Петрова дня было самым цветущим временем улья с лубочной крышкой. Сила и богатство улья обращали на себя в это время внимание всех других ульев, возбуждали зависть соседей и привлекали к себе знаменитых посетителей. И сам улей находился под особым покровительством самого деда Анисима. Ульи все работали в это время, работали и обитатели улья с лубочной крышкой; но главное отличие и преимущество улья с лубочной крышкой были в том, что он первый успел произвести на свет трутней, составивших его славу и внутренним управлением, и внешними сношениями. Есть и было много ульев неисто-

рических. Они живут, сами не зная о том, — живут и умирают в неизвестности; но не то было в улье с лубочной крышкой. Во втором часу дня, в то время как рабочая пчела, как выучная лошадь, продолжала свою безостановочную, обычную, неизменную работу, таская мед и пергу для детей, в первый раз вылетели трутни. Те, которые видели этот выход, единогласно утверждают, что мир никогда не видел зрелища великолепнее этого. Большие, черные, мохнатые, гладкие трутни, один великолепнее другого, появлялись из летка и, вместо того чтобы, как простая пчела, тотчас же лететь через забор в лес и луга за кормом, тотчас же тут же взвивались кверху, заворачивали кругом и, как орлы, носились над ульями. Зрелище было столь поразительно своей величественностью, что нельзя было без слез умиления созерцать его, но еще более оно было поразительно своим глубоким значением. Вылетев из улья, трутни затрубили каждый свое, излагая каждый свое воззрение на задачи государственного управления и на предстоящие в нем изменения и усовершенствования. Внимание собрания было обращено преимущественно на положение и деятельность рабочей пчелы, которая по общему голосу была признана неудовлетворительной и требующей исправления и наставления. Собрание разделило между собой различные области управления и тотчас же приступило к изложению мер, которые должны были содействовать более правильному труду пчел. Тотчас же были избраны правители, их помощники, помощники помощников: цензоры нравов, наблюдатели, блюстители нравственности, судьи, жрецы, поэты и рассудители, и всем было положено соответствующее содержание и награждение. Избраны были, по мнению избравших и избранных, самые выдающиеся люди. Тут были все светила, вся стая славных орлов, наложивших неизгладимую печать величия на это время. Долго, трубя, кружились они все перед ульями, сталкивая летавших за кормом пчел и не понимавших всего значения того, что для них делалось. Очень часто неблагоприятные пчелы совершенно не понимали всего того, что для них делалось, и выражали между собой даже неудовольствие на деятельность трутней.

На другой день трутни вступили в отправление своих обязанностей. Снаружи казалось, что они делают все то же. Но это только казалось непонимающим. У них шла важная и трудная работа. Вот выписка из дневника одного из главных деятелей: «Я избран единогласно учредителем правильного полета рабочих. Обязанность моя очень трудна и сложна, я понимаю всю ее важность и потому, не жалея своих сил, стараюсь наилучшим образом исполнить ее; но одному это слишком трудно, и потому я пригласил себе в помощники А., тем более что двоюродный [брат] моей тетки просил меня поместить его. Так же я поступил и относительно Б. и Д. и Г. Им тоже нужны будут помощники, так что всех нас в нашем департаменте будет тридцать шесть или тридцать восемь человек. Я заявил в совете о том, что нам для нашей деятельности необходимы два сота с медом. Постановление об этом прошло единогласно, и мы тотчас вступили в исправление своих должностей, ночь же провели на сотах и ели мед. Мед вкусу недурного: но можно надеяться, что при правильной деятельности вкус его еще усовершенствуется, если мой проект будет принят. На другой день я в общем собрании изложил свой проект. «Господа, — сказал я, — нам необходимо обдумать прежде все те мероприятия, при которых нам возможно будет выработать те начала, на которых мы можем составить проект программы наших действий». Мнения разделились. Дебе-старший, председательствующий в совете, предложил голосование. Но вопрос о голосовании оказался недостаточно уясненным, и решено было избрать комиссию, предложив ей разработать вопрос о голосовании и представить к следующему заседанию».

Так же усердно работали и другие деятели, и улей благодаря их трудам благоденствовал все более и более. Каждый день правители-трутни вылетали, кружились, обсуждая и решая важные государственные вопросы, и по ночам возвращались в улей, облепляя соты и подкрепляя свои силы заготовленным для них медом. Благоденствие как их, так и всего улья было полное. Произошла, правда небольшая пертурбация, состоящая в том, что часть рабочей пчелы нашла нужным вдруг почему-то вылететь с маткой из улья и повиснуть на суку ряби-

ны. И такое самовольное действие пчел могло бы нарушить влияние трутней, если бы они не догадались в то самое время, как совершался этот полет, предписать его, так чтобы пчелы не могли думать, что они сделали это по своей воле и без высшего указания правителей. Отрившиеся пчелы были признаны изгнанниками, оставшиеся же в улье пчелы продолжали по-прежнему повиноваться и заботиться о содержании своих правителей. Но к концу августа стали проявляться признаки возмущения. Однажды трутни после пролета явились в соты и, к удивлению, нашли соты занятыми рабочей пчелой, которая не пустила их. Они с негодованием удалились и полетели в другие ульи. Но в других ульях было то же. Их не пускали. Очевидно, погибало все. Трутни сделали последнюю попытку, влетели в свой улей, но пчелы не пустили их наверх, а сбили вниз, где было холодно и не было корма. И так было и на другой, и на третий день. Трутни худели, высыхали и помирали один за другим; ни один из них не унижился до работы для своего пропитания.

Пчелы что-то делали, гудели наверху на сотах, но, как говорят историки-трутни, очевидно погибали в апархии, лишившись своих руководителей.

Неповиновение пчел трутням погубило их. Они погибли. Этим кончалась история улья с лубочной крышкой, написанная трутнями.

История, написанная пчелой, не сходилась с этой историей. В истории, написанной пчелой, значилось, что жизнь улья началась с ранней весны, когда улей был выставлен на солнце, и пчела тотчас же, опорожнившись, полетела на цветущую вербу и, жужжа, осыпала ее, собирая с цветов пергу на лапки и мед в желудки. Жизнь пчелы, по описанию пчелиного историка, была непрерывающей радостью труда. Не переставая расцветали одни цветы за другими и на яблонях, и на кустах, и на полях, и наслаждение трудом соединялось с наслаждением цветущей природой. В улье быстро росли хорошо питаемые черви и рабочих пчел, и трутней, и матки, и наполнились ячейки душистым медом. Было так всего много и так богато, что нужно было найти новое место, и пчелы выпустили на свет трутней, из которых им только один на время был нужен для опло-

дотворения новой матки, и выкормили на всякий случай трех маток, хотя им нужна была только одна. Наступило самое важное время — необходимость разделиться от слишком большого размножения. Работа в это время шла усиленная. И в это-то время появились трутни и стали после полдня трубя летать над ульями. Пчелы и не знали и не думали о том, какое значение приписывали себе трутни, но допускали их праздность и обжорство, потому что думали, во-первых, что один из них понадобится, во-вторых, потому что всего было много и можно было не жалеть добро даже для праздных и ненужных трутней. Вот что в то самое время, когда трутни думали, что управляют пчелами, писала одна пчела в своих записках: «Расходились нынче наши господа. Трубили и кружились без толку над ульями часа четыре и много мешали народу работать. Часа в четыре только убрались. Измучались все, ничего не делая, и тотчас же принялись жрать. Ну да бог с ними. Хватит и на них. Скучно только, что мешают работать».

В конце мая совершилось великое событие: пчелы отпустили старую матку в новое царство, сами же остались с новой оплодотворенной царицей, которая тотчас же стала класть яйца. Зацвела липа, и надо было и кормить детву и, пользуясь коротким цветением, запастись мед на зиму. Цвет был сильный, не омытый дождем, и пчелы набрали много, но и на зиму нужно было много. Трутни же, приписывая себе несвойственное им значение, думая, что они нужны, продолжали пожирать заготовленное рабочими. Так шло некоторое время, но требования внутренние стали более обильны, цвет кончился, остались одни репы, и, не сговариваясь, не решая ничего, пчелы одновременно все перестали пускать трутней к меду, стали сбивать их и даже подсекать дерзких и ненужных. Трутни все были уничтожены, но улей не только не погиб, но в самом цветущем состоянии приготовился к зиме. Наступила зима, пчелы затихли, сели на места, поддерживая тепло в детях, и дожидались опять весны и оляг радости жизни.

РАЗРУШЕНИЕ АДА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕГО

Легенда

I

Это было в то время, когда Христос открывал людям свое учение.

Учение это было так ясно и следование ему было так легко и так очевидно избавляло людей от зла, что нельзя было не принять его, и ничто не могло удержать его распространения по всему свету. И Вельзевул, отец и повелитель всех дьяволов, был встревожен. Он ясно видел, что власть его над людьми кончится навсегда, если только Христос не отречется от своей проповеди. Он был встревожен, но не унывал и подстрекал покорных ему фарисеев и книжников как можно сильнее оскорблять и мучать Христа, а ученикам Христа советовал бежать и оставить его одного. Он надеялся, что приговор к позорной казни, поругания, оставление его всеми учениками и, наконец, самые страдания и казнь сделают то, что Христос в последнюю минуту отречется от своего учения. А отречение уничтожит всю силу учения.

Дело решалось на кресте. И когда Христос возгласил: «Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил», — Вельзевул возликовал. Он схватил приготовленные для Христа оковы и, надев их себе на ноги, прилаживал так, чтобы они не могли быть расторгнуты, когда будут надеты на Христа.

Но вдруг послышались с креста слова: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», и вслед за тем Христос возгласил: «Свершилось!» и испустил дух.

Вельзевул понял, что все для него пропало. Он хотел снять с своих ног оковы и бежать, но не мог двинуться с места. Оковы скипелись на нем и держали его ноги. Он хотел подняться на крыльях, но не мог расправить их. И Вельзевул видел, как Христос в светлом сиянии остановился во вратах ада, видел, как грешники от Адама и до Иуды вышли из ада, видел, как разбежались все дьяволы, видел, как самые стены ада беззвучно распались на все четыре стороны. Он не мог более переносить этого и, пронзительно завизжав, провалился сквозь треснувший пол ада в преисподнюю.

II

Прошло 100 лет, 200, 300 лет.

Вельзевул не считал времени. Он лежал неподвижно в черном мраке и мертвой тишине и старался не думать о том, что было, и все-таки думал и бессильно ненавидел виновника своей гибели.

Но вдруг, — он не помнил и не знал, сколько сот лет прошло с тех пор, — он услышал над собой звуки, похожие на топот ног, стоны, крики, скрежет зубовой.

Вельзевул приподнял голову и стал прислушиваться.

То, чтобы ад мог восстановиться после победы Христа, Вельзевул не мог верить, а между тем топот, стоны, крики и скрежет зубов становились все яснее и яснее.

Вельзевул поднял туловище, подобрал под себя мохнатые, с отросшими копытами ноги (оковы, к удивлению его, сами соскочили с них) и, затрепав свободно раскрывшимися крыльями, засвистал тем призывным свистом, которым он в прежние времена призывал к себе своих слуг и помощников.

Не успел он перевести дыхание, как над головой его разверзлось отверстие, блеснул красный огонь и толпа дьяволов, давя друг друга, высыпалась из отверстия в преисподнюю и, как вороны вокруг падали, расселись кругом Вельзевула.

Дьяволы были большие и маленькие, и толстые и худые, и с длинными и короткими хвостами, и с острыми, прямыми и кривыми рогами.

Один из дьяволов, в накинутой на плечи пелеринке, весь голый и глянцевито-черный, с круглым безбородым, безусым лицом и огромным отвисшим животом, сидел на корточках перед самым лицом Вельзевула и, то закатывая, то опять выкатывая свои огненные глаза, не переставая улыбался, равномерно из стороны в сторону помахивая длинным, тонким хвостом.

III

— Что значит этот шум? — сказал Вельзевул, указывая наверх. — Что там?

— Все то же, что было всегда, — отвечал глянцевитый дьявол в пелеринке.

— Да разве есть грешники? — спросил Вельзевул.

— Много, — отвечал глянцевитый.

— А как же учение того, кого я не хочу называть? — спросил Вельзевул.

Дьявол в пелеринке оскалился так, что открылись его острые зубы, и между всеми дьяволами послышался сдержанный хохот.

— Учение это не мешает нам. Они не верят в него, — сказал дьявол в пелеринке.

— Да ведь учение это явно спасает их от нас, и он засвидетельствовал его своею смертью, — сказал Вельзевул.

— Я переделал его, — сказал дьявол в пелеринке, быстро трепля хвостом по полу.

— Как переделал?

— Так переделал, что люди верят не в его ученье, а в мое, которое они называют его именем.

— Как ты сделал это? — спросил Вельзевул.

— Сделалось это само собой. Я только помогал.

— Расскажи коротко, — сказал Вельзевул.

Дьявол в пелеринке, опустив голову, помолчал, как бы соображая, не торопясь, а потом начал рассказывать:

— Когда случилось то страшное дело, что ад был разрушен и отец и повелитель наш удалился от нас, —

сказал он, — я пошел в те места, где проповедовалось то самое учение, которое чуть было не погубило нас. Мне хотелось увидеть, как живут люди, исполняющие его. И я увидал, что люди, жившие по этому учению, были совершенно счастливы и недоступны нам. Они не сердились друг на друга, не предавались женской прелести и или не женились, или, женившись, имели одну жену, не имели имущества, всё считали общим достоянием, не защищались силою от нападающих и платили добром за зло. И жизнь их была так хороша, что другие люди всё более и более привлекались к ним. Увидав это, я подумал, что все пропало, и хотел уже уходить. Но тут случилось обстоятельство, само по себе ничтожное, но оно мне показалось заслуживающим внимания, и я остался. Случилось то, что между этими людьми одни считали, что надо всем обрезываться и не надо есть идоложертвенное, а другие считали, что этого не нужно и что можно и не обрезываться и есть все. И я стал внушать и тем и другим, что разногласие это очень важно и что ни той, ни другой стороне никак не надо уступать, так как дело касается служения богу. И они поверили мне, и споры ожесточились. И те и другие стали сердиться друг на друга, и тогда я стал внушать и тем и другим, что они могут доказать истинность своего учения чудесами. Как ни очевидно было, что чудеса не могут доказать истинности учения, им так хотелось быть правыми, что они поверили мне, и я устроил им чудеса. Устроить это было нетрудно. Они всему верили, что подтверждало их желание быть одним в истине.

Одни говорили, что на них сошли огненные языки, другие говорили, что они видели самого умершего учителя и многое другое. Они выдумывали то, чего никогда не было, и лгали во имя того, кто называл нас лжецами, не хуже нас, сами не замечая этого. Одни говорили про других: ваши чудеса ненастоящие — наши настоящие, а те говорили про этих: нет, ваши ненастоящие, наши настоящие.

Дело шло хорошо, но я боялся, как бы они не увидели слишком очевидного обмана, и тогда я выдумал церковь. И когда они поверили в церковь, я успокоился: я понял, что мы спасены и ад восстановлен.

— Что такое церковь? — строго спросил Вельзевул, не хотевший верить тому, чтобы слуги его были умнее его.

— А церковь это то, что, когда люди лгут и чувствуют, что им не верят, они всегда, ссылаясь на бога, говорят: *ей-богу, правда то, что я говорю*. Это, собственно, и есть церковь, но только с тою особенностью, что люди, признавшие себя церковью, уверяются, что они уже не могут заблуждаться, и потому, какую бы глупость они ни сказали, уже не могут от нее отречься. Делается же церковь так: люди уверяют себя и других, что учитель их, бог, во избежание того, чтобы открытый им людям закон не был ложно перетолкован, избрал особенных людей, которые одни они или те, кому они передадут эту власть, могут правильно толковать его учение. Так что люди, называющие себя церковью, считают, что они в истине не потому, что то, что они проповедают, есть истина, а потому, что они считают себя едиными законными преемниками учеников учеников учеников и, наконец, учеников самого учителя-бога. Хотя и в этом приеме было то же неудобство, как и в чудесах, а именно то, что люди одновременно могли утверждать каждый про себя, что они члены единой истинной церкви (что всегда и бывало), но выгода этого приема та, что, как скоро люди сказали про себя, что они церковь, и на этом утверждении построили свое учение, то они уже не могут отречься от того, что они сказали, как бы нелепо ни было сказанное и что бы ни говорили другие люди.

— Но отчего же церкви перетолковали учение в нашу пользу? — сказал Вельзевул.

— А сделали они это потому, — продолжал дьявол в пелеринке, — что, признав себя едиными толкователями закона бога и убедив в этом других, люди эти сделались высшими решителями судеб людей и потому получили высшую власть над ними. Получив же эту власть, они, естественно, возгордились и большей частью развратились и тем вызвали против себя негодование и вражду людей. Для борьбы же с своими вра-

гами они, не имея другого орудия, кроме насилия, стали гнать, казнить, жечь всех тех, кто не признавал их власти. Так что они самым своим положением были поставлены в необходимость перетолковать учение в таком смысле, чтобы оно оправдывало и их дурную жизнь, и те жестокости, которые они употребляли против своих врагов. Они так и сделали.

V

— Но ведь учение было так просто и ясно, — сказал Вельзевул, все еще не желая верить тому, чтобы его слуги сделали то, чего он не догадался сделать, — что нельзя было перетолковать его. «Поступай с другим, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Как же перетолковать это?

— А на это они, по моему совету, употребляли различные способы, — сказал дьявол в пелеринке. — У людей есть сказка о том, как добрый волшебник, спасая человека от злого, превращает его в зернышко пшена, и как злой волшебник, превратившись в петуха, готов уже был склевать это зернышко, но добрый волшебник высыпал на зернышко меру зерен. И злой волшебник не мог съесть всех зерен и не мог найти то, какое ему было нужно. То же сделали и они, по моему совету, с учением того, кто учил, что весь закон в том, чтобы делать другому то, что хочешь, чтобы делали тебе, они признали священным изложением закона бога 49 книг и в этих книгах признали всякое слово произведением бога — святого духа. Они высыпали на простую, понятную истину такую кучу мнимых священных истин, что стало невозможно ни принять их все, ни найти в них ту, которая одна нужна людям. Это их первый способ. Второй способ, который они употребляли с успехом более тысячи лет, состоит в том, что они просто убивают, сжигают всех тех, кто хочет открыть истину. Теперь этот способ уже выходит из употребления, но они не бросают его, и хотя и не сжигают уже людей, пытающихся открыть истину, но так клеветают на них, так отравляют им жизнь, что только очень редкие ре-

шают обличать их. Это второй способ. Третий же способ в том, что, признавая себя церковью, следовательно непогрешимыми, они прямо учат, когда им это нужно, противоположному тому, что сказано в писании, предоставляя своим ученикам самим, как они хотят и умеют, выпутываться из этих противоречий. Так, например, сказано в писании: один учитель у вас Христос, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник — Христос, а они говорят: мы одни отцы и мы одни наставники людей. Или сказано: если хочешь молиться, то молись один втайне, и бог услышит тебя, а они учат, что надо молиться в храмах всем вместе, под песни и музыку. Или сказано в писании: не клянитесь никак, а они учат, что всем надо клясться в беспрекословном повиновении властям, чего бы ни требовали эти власти. Или сказано: не убий, а они учат, что можно и должно убивать на войне и по суду. Или еще сказано: учение мое дух и жизнь, питайтесь им, как хлебом. А они учат тому, что если положить кусочки хлеба в вино и сказать над этими кусочками известные слова, то хлеб делается телом, а вино кровью, и что есть этот хлеб и пить это вино очень полезно для спасения души. Люди верят в это и усердно едят эту похлебку и потом, попадая к нам, очень удивляются, что похлебка эта не помогла им, — закончил дьявол в пелеринке, закатил глаза и ослабил до самых ушей.

— Это очень хорошо, — сказал Вельзевул и улыбнулся. И все дьяволы разразились громким хохотом.

VI

— Неужели у вас по-старому блудники, грабители, убийцы? — уже весело спросил Вельзевул.

Дьяволы, тоже развеселившись, заговорили все вдруг, желая выказаться перед Вельзевулом.

— Не по-старому, а больше, чем прежде, — кричал один.

— Блудники не помещаются в прежних отделениях, — визжал другой.

— Грабители теперешние злее прежних, — выкрикивал третий.

— Не наготовимся топлива для убийц, — ревел четвертый.

— Не говорите все вдруг. А пусть отвечает тот, кого я буду спрашивать. Кто заведует блудом, выходи и расскажи, как ты делаешь это теперь с учениками того, кто запретил переменять жен и сказал, что не должно глядеть на женщину с похотью. Кто заведует блудом?

— Я, — отвечал, подползая на задку ближе к Вельзевулу, женоподобный бурый дьявол с обрюзгшим лицом и слюнявым, не переставая жуящим ртом.

Дьявол этот выполз вперед из ряда других, сел на корточки, склонил набок голову и, просунув между ног хвост с кисточкой, начал, помахивая им, певучим голосом говорить так:

— Делаем мы это и по старому приему, употребленному тобою, нашим отцом и повелителем, еще в раю и предавшему в нашу власть весь род человеческий, и по новому церковному способу. По новому церковному способу мы делаем так: мы уверяем людей, что настоящий брак состоит не в том, в чем он действительно состоит, в соединении мужчины с женщиной, а в том, чтобы нарядиться в самые лучшие платья, пойти в большое, устроенное для этого здание и там, надевши на головы особенные, приготовленные для этого шапки, под звуки разных песен обойти три раза вокруг столика. Мы внушаем людям, что только это есть настоящий брак. И люди, уверившись в этом, естественно, считают, что всякое вне этих условий соединение мужчины с женщиной есть простое, ни к чему их не обязывающее удовольствие или удовлетворение гигиенической потребности, и потому, не стесняясь, предаются этому удовольствию.

Женоподобный дьявол склонил обрюзгшую голову на другую сторону и помолчал, как бы ожидая действия своих слов на Вельзевула.

Вельзевул кивнул головой в знак одобрения, и женоподобный дьявол продолжал так:

— Этим способом, не оставляя при этом и прежнего, употребленного в раю способа запрещенного плода и любопытства, — продолжал он, очевидно желая поль-

стить Вельзевулу, — мы достигаем самых лучших успехов. Воображая себе, что они могут устроить себе честный церковный брак и после соединения со многими женщинами, люди переменяют сотни жен и так при этом привыкают к распутству, что делают то же и после церковного брака. Если же им покажутся почему-либо стеснительными некоторые требования, связанные с этим церковным браком, то они устраивают так, что совершается второе хождение вокруг столика, первое же считается недействительным.

Женоподобный дьявол замолчал и, утерев кончиком хвоста слюни, наполнявшие ему рот, склонил на другой бок голову и молча уставился на Вельзевула.

VII

— Просто и хорошо, — сказал Вельзевул. — Одобрю. Кто заведует грабителями?

— Я, — отвечал, выступая, крупный дьявол с большими кривыми рогами, с усами, загнутыми кверху, и огромными, криво приставленными лапами.

Дьявол этот, выползши, как и прежние, вперед и повоенному обеими лапами оправляя усы, дожидался вопроса.

— Тот, кто разрушил ад, — сказал Вельзевул, — учил людей жить, как птицы небесные, и повелевал давать просящему и хотящему взять рубашку отдавать кафтан, и сказал, что для того, чтобы спастись, надо раздать именье. Как же вы вовлекаете в грабеж людей, которые слышали это?

— А мы делаем это, — сказал дьявол с усами, величественно откидывая голову назад, — точно так же, как делал это наш отец и повелитель при избрании Саула на царство. Точно так же, как это было внушено тогда, мы внушаем людям, что вместо того, чтобы им перестать грабить друг друга, им выгоднее позволить грабить себя одному человеку, предоставив ему полную власть надо всем. Нового в нашем способе только то, что для утверждения права грабежа этого одного человека мы ведем этого человека в храм, надеваем на

него особенную шапку, сажаем на высокое кресло, даем ему в руки палочку и шарик, мажем постным маслом и во имя бога и его сына провозглашаем особу этого помазанного маслом человека священной. Так что грабеж, производимый этой особой, считающейся священной, уже ничем не может быть ограничен. И священные особы, и их помощники, и помощники помощников все, не переставая, спокойно и безопасно грабят народ. При этом устанавливаются обыкновенно такие законы и порядки, при которых даже и без помазания праздное меньшинство всегда может безнаказанно грабить трудящееся большинство. Так что в последнее время в некоторых государствах грабеж продолжается и без помазанных так же, как и там, где они есть. Как видит наш отец и повелитель, в сущности, способ, употребляемый нами, есть старый способ. Ново в нем только то, что мы сделали этот способ более общим, более скрытым, более распространенным по пространству и времени и более прочным. Более общим мы сделали этот способ тем, что люди прежде подчинялись по своей воле тому, кого избирали, мы же сделали так, что они теперь совершенно независимо от своего желания подчиняются не тем, кого избирают, а кому попало. Более скрытым мы сделали этот способ тем, что теперь уже ограбляемые, благодаря устройству податей особенных, косвенных, не видят своих грабителей. Более распространен же по пространству этот способ тем, что так называемые христианские народы, не довольствуясь грабежом своих, грабят под разными, самыми странными предлогами, преимущественно под предлогом распространения христианства, и все те чуждые им народы, у которых есть что ограбить. По времени же новый способ этот более распространен, чем прежде, благодаря устройству займов, общественных и государственных: ограбляются теперь не одни живущие, а и будущие поколения. Способ же этот более прочным мы сделали тем, что главные грабители считаются особами священными, и люди не решаются противодействовать им. Стоит только главному грабителю успеть помазаться маслом, и уже он может спокойно грабить, кого и сколько он хочет. Так, одно время в России я, ради

опыта, сажал на царство одну за другою самых гнусных баб, глупых, безграмотных и распутных и не имеющих, по их же законам, никаких прав. Последнюю же, не только распутницу, но преступницу, убившую мужа и законного наследника. И люди только потому, что она была помазана, не вырвали ей ноздри и не секли кнутом, как они делали это со всеми мужеубийцами, но в продолжение тридцати лет рабски покорялись ей, предоставляя ей и ее бесчисленным любовникам грабить не только их имущество, но и свободу людей. Так что в наше время грабежи явные, то есть отнятие силою кошелька, лошади, одежды, составляют едва ли одну миллионную часть всех тех грабежей законных, которые совершаются постоянно людьми, имеющими возможность это делать. В наше время грабежи безнаказанные, скрытые и вообще готовность к грабежу установилась между людьми такая, что главная цель жизни почти всех людей есть грабеж, умеряемый только борьбою грабителей между собою.

VIII

— Что ж, это хорошо, — сказал Вельзевул. — Но убийства? Кто заведует убийством?

— Я, — отвечал, выступая из толпы, красного, кровавого цвета дьявол с торчащими изо рта клыками, острыми рогами и поднятым кверху толстым, неподвижным хвостом.

— Как же ты заставляешь быть убийцами учеников того, кто сказал: не воздавай злом за зло, люби врагов? Как же ты делаешь убийц из этих людей?

— Делаем мы это и по старому способу, — отвечал красный дьявол оглушающим, трещащим голосом, — возбуждая в людях корысть, задор, ненависть, месть, гордость. И так же по старому способу внушаем учителям людей, что лучшее средство отучить людей от убийства состоит в том, чтобы самим учителям публично убивать тех, которые убили. Этот способ не столько дает нам убийц, сколько приготавливает их для нас. Больше же количество давало и дает нам новое учение о непогрешимости церкви, о христианском браке и о хри-

стианском равенстве. Учение о непогрешимости церкви давало нам в прежнее время самое большое количество убийц. Люди, признававшие себя членами непогрешимой церкви, считали, что позволить ложным толкователям учения развращать людей есть преступление и что поэтому убийство таких людей есть угодное богу дело. И они убивали целые населенные пункты и казнили, жгли сотни тысяч людей. При этом смешно то, что те, которые казнили и жгли людей, начинавших понимать истинное учение, считали этих самых опасных для нас людей нашими слугами, то есть слугами дьяволов. Сами же казнившие и жегшие на кострах, действительно бывшие нашими покорными слугами, считали себя святыми исполнителями воли бога. Так это было в старину. В наше же время очень большое количество убийц дает нам учение о христианском браке и о равенстве. Учение о браке дает нам, во-первых, убийства супругов друг другом и матерями детей. Мужья и жены убивают друг друга, когда им кажутся стеснительными некоторые требования закона и обычая церковного брака. Матери же убивают детей большей частью тогда, когда соединения, от которых произошли дети, не признаются браком. Такие убийства совершаются постоянно и равномерно. Убийства же, вызванные христианским учением о равенстве, совершаются периодически, но зато, когда совершаются, то совершаются в очень большом количестве. По учению этому людям внушается, что они все равны перед законом. Люди же ограбленные чувствуют, что это неправда. Они видят, что равенство это перед законом состоит только в том, что грабителям удобно продолжать грабить, им же это неудобно делать, и они возмущаются и нападают на своих грабителей. И тогда начинаются взаимные убийства, которые дают нам сразу иногда десятки тысяч убийц.

IX

— Но убийства на войне? Как вы приводите к ним учеников того, кто признал всех людей сынами одного отца и велел любить врагов?

Красный дьявол оскалился, выпустив изо рта струю огня и дыма, и радостно ударил себя по спине толстым хвостом.

— Делаем мы так: мы внушаем каждому народу, что он, этот народ, есть самый лучший из всех на свете, Deutschland über alles¹, Франция, Англия, Россия über alles, и что этому народу (имя рек) надо властвовать над всеми другими народами. А так как всем народам мы внушали то же самое, то они, постоянно чувствуя себя в опасности от своих соседей, всегда готовятся к защите и озлобляются друг на друга. А чем больше готовится к защите одна сторона и озлобляется за это на своих соседей, тем больше готовятся к защите все остальные и озлобляются друг на друга. Так что теперь все люди, принявшие учение того, кто назвал нас убийцами, все постоянно и преимущественно заняты приготовлениями к убийству и самыми убийствами.

Х

— Что ж, это остроумно, — сказал Вельзевул после недолгого молчания. — Но как же свободные от обмана ученые люди не увидали того, что церковь извратила учение, и не восстановили его?

— А они не могут этого сделать, — самоуверенным голосом сказал, выползая вперед, матово-черный дьявол в мантии, с плоским покатым лбом, безмускульными членами и оттопыренными большими ушами.

— Почему? — строго спросил Вельзевул, недовольный самоуверенным тоном дьявола в мантии.

Не смущаясь окриком Вельзевула, дьявол в мантии не торопясь покойно уселся не на корточки, как другие, а по-восточному, скрестив безмускульные ноги, и начал говорить без запинки, тихим, размеренным голосом:

— Не могут они делать этого, оттого что я постоянно отвлекаю их внимание от того, что они могут и что им нужно знать, и направляю его на то, что им не нужно знать и чего они никогда не узнают.

— Как же ты сделал это?

¹ Германия — превыше всего (нем.).

— Делал и делаю я различно по времени, — отвечал дьявол в мантии. — В старину я внушал людям, что самое важное для них — это знать подробности об отношении между собою лиц троицы, о происхождении Христа, об естествах его, о свойстве бога и т. п. И они много и длинно рассуждали, доказывали, спорили и сердились. И эти рассуждения так занимали их, что они вовсе не думали о том, как им жить. А не думая о том, как им жить, им и не нужно было знать того, что говорил им их учитель о жизни.

Потом, когда они уже так запутались в этих рассуждениях, что сами перестали понимать то, о чем говорили, я внушал одним, что самое важное для них — это изучить и разъяснить все то, что написал человек по имени Аристотель, живший тысячи лет тому назад в Греции; другим внушал, что самое важное для них — это найти такой камень, посредством которого можно бы было делать золото, и такой эликсир, который излечивал бы от всех болезней и делал людей бессмертными. И самые умные и ученые из них все свои умственные силы направили на это.

Тем же, которые не интересовались этим, я внушал, что самое важное — это знать: земля ли вертится вокруг солнца, или солнце вокруг земли? И когда они узнали, что земля вертится, а не солнце, и определили, сколько миллионов верст от солнца до земли, то были очень рады и с тех пор еще усерднее изучают до сих пор расстояния от звезд, хотя и знают, что конца этим расстояниям нет и не может быть, и что самое число звезд бесконечно, и что знать им это совсем не нужно. Кроме того, я внушил им еще и то, что им очень нужно и важно знать, как произошли все звери, все червяки, все растения, все бесконечно малые животные. И хотя им это точно так же совсем не нужно знать и совершенно ясно, что узнать это невозможно, потому что животных так же бесконечно много, как и звезд, они на эти и подобные этим исследования явления материального мира направляют все свои умственные силы и очень удивляются тому, что чем больше они узнают того, что им не нужно знать, тем больше остается не узнанного ими. И хотя очевидно, что по мере их ис-

следований область того, что им остается узнать, становится все шире и шире, предметы исследования все сложнее и сложнее и самые приобретаемые ими знания неприменимые и неприменимые к жизни, это несколько не смущает их, и они, вполне уверенные в важности своих занятий, продолжают исследовать, проповедовать, писать и печатать и переводить с одного языка на другой все свои большей частью ни на что не пригодные исследования и рассуждения, а если изредка и пригодные, то только на потеху меньшинства богатых или на ухудшение положения большинства бедных.

Для того же, чтобы они никогда уже не догадались, что единое нужное для них — это установление законов жизни, которое указано в учении Христа, я внушаю им, что законов духовной жизни они знать не могут и что всякое религиозное учение, в том числе и учение Христа, есть заблуждение и суеверие, а что узнать о том, как им надо жить, они могут из придуманной мною для них науки, называемой социологией, состоящей в изучении того, как различно дурно жили прежние люди. Так что вместо того, чтобы им самим, по учению Христа, постараться жить лучше, они думают, что им надо только изучить жизнь прежних людей, и что они из этого изучения выведут общие законы жизни, и что для того, чтобы жить хорошо, им надо будет только сообразоваться в своей жизни с этими выдуманнами ими законами.

Для того же, чтобы еще больше укрепить их в обмане, я внушаю им нечто подобное учению церкви, а именно то, что существует некоторая преемственность знаний, которая называется наукой, и что утверждения этой науки так же непогрешимы, как и утверждения церкви.

А как только те, которые считаются деятелями науки, уверяются в своей непогрешимости, так они, естественно, провозглашают за несомненные истины самые не только ненужные, но и часто нелепые глупости, от которых они, раз сказавши их, уже не могут отречься.

Вот от этого-то я и говорю, что до тех пор, пока я буду внушать им уважение, подобострастие к той науке, которую я выдумал для них, они никогда не поймут того учения, которое чуть было не погубило нас.

— Очень хорошо. Благодарю, — сказал Вельзевул, и лицо его просияло. — Вы стоите награды, и я достойно награжу вас.

— А нас вы забыли, — закричали в несколько голосов остальные разношерстные, маленькие, большие, кривоногие, толстые, худые дьяволы.

— Вы что делаете? — спросил Вельзевул.

— Я — дьявол технических усовершенствований.

— Я — разделения труда.

— Я — путей сообщения.

— Я — книгопечатания.

— Я — искусства.

— Я — медицины.

— Я — культуры.

— Я — воспитания.

— Я — исправления людей.

— Я — одурманивания.

— Я — благотворительности.

— Я — социализма.

— Я — феминизма, — закричали они все вдруг, теснясь вперед перед лицом Вельзевула.

— Говорите порознь и коротко, — закричал Вельзевул. — Ты, — обратился он к дьяволу технических усовершенствований. — Что ты делаешь?

— Я внушаю людям, что чем больше они сделают вещей и чем скорее они будут делать их, тем это будет для них лучше. И люди, губя свои жизни для производства вещей, делают их все больше и больше, несмотря на то, что вещи эти ненужны тем, которые заставляют их делать, и недоступны тем, которые их делают.

— Хорошо. Ну а ты? — обратился Вельзевул к дьяволу разделения труда.

— Я внушаю людям, что так как делать вещи можно скорее машинами, чем людьми, то надо людей превратить в машины, и они делают это, и люди, превращенные в машины, ненавидят тех, которые сделали это над ними.

— И это хорошо. Ты? — обратился Вельзевул к дьяволу путей сообщения.

— Я внушаю людям, что для их блага им нужно как можно скорее переезжать с места на место. И люди, вместо того, чтобы улучшать свою жизнь каждому на своих местах, проводят большую часть ее в переездах с места на место и очень гордятся тем, что они в час могут проехать пятьдесят верст и больше.

Вельзевул похвалил и этого.

Выступил дьявол книгопечатания. Его дело, как он объяснил, состоит в том, чтобы как можно большему числу людей сообщить все те гадости и глупости, которые делаются и пишутся на свете.

Дьявол искусства объяснил, что он, под видом утешения и возбуждения возвышенных чувств в людях, потворствует их порокам, изображая их в привлекательном виде.

Дьявол медицины объяснил, что их дело состоит в том, чтобы внушать людям, что самое нужное для них дело — это забота о своем теле. А так как забота о своем теле не имеет конца, то люди, заботящиеся с помощью медицины о своем теле, не только забывают о жизни других людей, но и о своей собственной.

Дьявол культуры объяснил, что внушает людям то, что пользование всеми теми делами, которыми заведуют дьяволы технических усовершенствований, разделения труда, путей сообщения, книгопечатания, искусства, медицины, есть нечто вроде добродетели и что человек, пользующийся всем этим, может быть вполне доволен собой и не стараться быть лучше.

Дьявол воспитания объяснил, что он внушает людям, что они могут, живя дурно и даже не зная того, в чем состоит хорошая жизнь, учить детей хорошей жизни.

Дьявол исправления людей объяснил, что он учит людей тому, что, будучи сами порочны, они могут исправлять порочных людей.

Дьявол одурманивания сказал, что он научает людей тому, что вместо того, чтобы избавиться от страданий, производимых дурною жизнью, стараясь жить лучше, им лучше забыться под влиянием одурения вином, табаком, опиумом, морфином.

Дьявол благотворительности сказал, что он, внушая людям то, что, грабя пудами и давая ограбленным золот-

никами, они добродетельны и не нуждаются в усовершенствовании, — он делает их недоступными к добру.

Дьявол социализма хвастался тем, что во имя самого высокого общественного устройства жизни людей он возбуждает вражду сословий.

Дьявол феминизма хвастался тем, что для еще более усовершенствованного устройства жизни он, кроме вражды сословий, возбуждает еще и вражду между полами.

— Я — комфорт, я — моды! — кричали и пищали еще другие дьяволы, подползая к Вельзевулу.

— Неужели вы думаете, что я так стар и глуп, что не понимаю того, что, как скоро учение о жизни ложно, то все, что могло быть вредно нам, все становится нам полезным, — закричал Вельзевул и громко расхохотался. — Довольно. Благодарю всех. — И, всплеснув крыльями, он вскочил на ноги. Дьяволы окружили Вельзевула. На одном конце сцепившихся дьяволов был дьявол в пелеринке — изобретатель церкви, на другом конце — дьявол в мантии, изобретатель науки. Дьяволы эти подали друг другу лапы, и круг замкнулся.

И все дьяволы, хохоча, визжа, свистя и порская, начали, махая и трепля хвостами, кружиться и плясать вокруг Вельзевула. Вельзевул же, расправив крылья и трепля ими, плясал в середине, высоко задирая ноги. Вверху же слышались крики, плач, стоны и скрежет зубов.

НЕЗАКОНЧЕННОЕ

*

НАБРОСКИ

МАТЬ

Я знал Марью Александровну с детства. Случилось так, как это часто случается между молодыми людьми, что между нами были дружеские отношения, никогда ничего похожего на влюбление, если не считать одного вечера, когда они были у нас и играли в «дамы и кавалеры», и она пятнадцатилетней девочкой с красными толстыми руками и черными прекрасными глазами и толстой, длинной черной косой, подействовала на меня так, что я вообразил на один вечер, что влюблен в нее. Но это было только один вечер, а остальное время — все сорок лет нашего знакомства — мы были в тех хороших дружеских отношениях мужчины и женщины, уважающих друг друга, которые особенно приятны, если они совершенно чисты от влюбления, какими были мои отношения с Марьей Александровной.

Дружеские отношения эти доставили мне много приятных минут и многому научили меня. Я не знал женщины, более полно олицетворявшей тип хорошей жены и матери. Многое я понял и узнал от нее, многому научился.

Последний раз я виделся с нею год тому назад, за месяц до ее смерти, которую ни я, ни она не предвидели. Она только что устроилась жить при мужском монастыре одна с своей кухаркой Варварой. Так странно было видеть ее, мать восьми детей и бабуку чуть не полсотни внучат, одинокою женщиной, очевидно

бесповоротно решившей, несмотря на более или менее искренние приглашения к себе детей, доживать свой век одной. Сначала мне показалось необъяснимо ее поселение в монастыре. Я знал ее — не скажу свободомыслие — она никогда не выставляла его, — но смелость и здравомыслие. Полнота чувства, заполнявшего все ее сердце, не давала места суевериям. Знал я ее отвращение ко всякому лицемерию и фарисейству. И вдруг — домик при монастыре, хождение на службы и батюшка, отец Никодим, руководству которого она вполне подчинилась. Все это она делала скромно, умеренно, как будто немного стыдясь этого.

Когда мы свиделись, она, очевидно, избегала разговоров о том, почему она избрала такую жизнь. Но я думаю, что я понял. Она была человек сердца, а по уму совершенный скептик. Но без детей, без забот о них после своей сорокалетней трудовой жизни в семье, ей нужно было на что направить свое чувство. В семьях детей она не нашла этого и решила уединиться, — а при уединении она надеялась найти утешение в том, в чем другие находили его, — в религии. Очевидно, ей было очень тяжело на сердце, но она была горда и за себя и за детей, и только чуть, намеками, показала мне свое положение. Когда я спрашивал о ее детях — я всех знал их, — она отвечала мне неохотно, не осуждая их. Но я видел, какая — не драма, — а сколько разных драм было скрыто в ее сердце.

— Да, Володя очень хорошо устроился, — говорила она мне, — он председателем палаты и купил имение. Да, растут и дети — три мальчика, две девочки, — и она замолчала, нахмурив свои черные брови, очевидно удерживая выражение мысли и отгоняя ее.

— Ну, а Василий?

— Василий все то же, — вы ведь знаете его?

— Все светскость?

— Да, да.

— Тоже дети?

— Трое.

Такого рода разговоры были о всех сыновьях и дочерях. Больше всех она любила говорить о Пете. Это был неудавшийся член семьи, промотавший все, что имел, не

плативший долгов и мучивший больше всех других свою мать. Но она больше всех любила его, сквозь его гадости видя и любя его «золотое сердце», как она говорила.

Увлекалась она разговором только тогда, когда мы касались ее молодого, беззаботного времени, о котором с особенною прелестью воспоминания говорят люди, измученные невысказанными страданиями. Самый же увлекательный разговор наш, вследствие которого я засиделся у нее за двенадцать, и последний мой разговор с нею — трогательный и умильный — был разговор о Петре Никифоровиче. Это был кандидат московского университета — первый учитель ее детей, умерший чухоткой в их же доме, — человек замечательный, имевший на нее большое влияние, и едва ли не единственный человек, которого она после мужа могла полюбить или полюбила, сама не зная этого.

Мы говорили о нем, о его взглядах на жизнь, которые я знал и разделял в то время. Он был — не сказать поклонник Руссо, хотя знал и любил его, но был человеком того же склада ума. Это был человек такой, какими мы представляем себе древних мудрецов. При этом с кротостью и смирением бессознательного христианства. Он был уверен, что он терпеть не может христианского учения, а между тем вся его жизнь была самоотвержением. Ему, очевидно, было скучно жить, если он не мог чем-нибудь жертвовать для кого-нибудь и жертвовать так, чтобы ему было трудно и больно. Только тогда он был доволен. При этом он был невинен, как ребенок, и нежен, как женщина.

В том, что она любила его, могло быть сомнение, но в том, что она была единственной его любовью и божеством, — не могло быть сомнения для того, кто видел его в ее присутствии. Надо было видеть его большие, круглые голубые глаза, как они смотрели на нее и следили за каждым ее движением и отражали в себе всякое выражение ее лица; надо было видеть эту бодрую, слабую фигуру в расходящемся, дурно сшитом пиджачке, как она склонялась и тянулась к тому месту, где была она, чтобы не было в этом никакого сомнения.

Это знал и Алексей Николаевич, ее покойный муж, знал и не смущался, оставляя их по целым вечерам наедине, то есть с ней и с детьми; это знали и дети, любившие и учителя и мать и считавшие естественным, чтобы учитель и мать любили друг друга.

Единственная предосторожность, которую принял Алексей Николаевич против Петра Никифоровича, состояла в том, что он называл его «Петряй Мудрый». Алексей Николаевич любил и уважал Петра Никифоровича, потому что не мог не уважать его за необыкновенную любовь и преданность детям и за необыкновенно высокие нравственные качества, но не мог допустить возможности любви между его женою и Петряем. А между тем я склонен думать, что она любила его. Его смерть была для нее не только большим горем, но и лишением. Были стороны ее души — лучшие, главные, основные, которые потом она уже не открывала никому и которые так и заглохли после его смерти.

Так вот, мы говорили про него и про его взгляды на жизнь, — как он считал, что вся нравственность жизни сводится к тому, чтобы как можно меньше брать от людей и как можно больше давать себя, свою душу, и как для того, чтобы меньше брать, надо держаться первой платоновской добродетели — воздержания: спать на досках, носить один плащ, зимой и летом, есть хлеб с водой и — величайшая роскошь — молоко. (Он жил так, и Марья Александровна считала, что он этим погубил свое здоровье.) А чтобы быть в состоянии давать другим, надо развить в себе духовные силы, из которых главная — любовь, деятельная любовь, служение жизни, улучшение ее. Он так и хотел вести детей, но требования родителей, подчинявшихся обычаям, были другие, и из этого выходило нечто среднее, но и то было хорошо. К счастью, это продолжалось недолго — он прожил у них всего четыре года.

Вспоминала Марья Александровна многие мнения и слова его:

— Да, представьте себе, — говорила она, — я часто читаю теперь духовные поучения, слушаю наставления отца Никодима, и — поверите ли? — она блеснула на меня своими улыбающимися глазами, и я вспомнил ее

обычную смелость суждений, — и поверите ли — как все эти духовные поучения много, много ниже того, что я слышала от Петра Никифоровича. То же, но ниже. А главное — он говорил и делал. Да как делал — горел! И сгорел. Помните, когда у Митечки с Верой была скарлатина — вы еще приезжали тогда, — он ночи просиживал у больных, а днем не откладывал своих занятий с старшими. Это было для него святое дело. А потом, когда заболел мальчик у Варвары, он то же самое делал и ужасно рассердился, когда не хотели перевести ее мальчика в дом. Мне Варвара недавно напомнила, как ему разбил Ваня — мальчик-слуга — бюст, не помню, какого-то мудреца, и он разбил его, и как не знал потом, как загладить свою досаду: и прощения просил, и в цирк посылал. Удивительный был человек! Он говорил, что жить, как мы живем, не стоит, и предлагал мужу отдать всю землю крестьянам, а самим жить трудами. Алексей Никифорович только смеялся. А он серьезно это советовал, считал долгом сказать, до чего он додумался. И был прав. Ну, мы жили, как все живут, ну и что ж? Вот мои дети... Я объездила их всех, кроме Пети, прошлого года. Ну, что же? Разве они счастливы? Но, впрочем, нет, нельзя же все перевернуть, как он хотел. Видно, недаром пал первый человек и грех вошел в мир.

Таков был наш последний разговор. И тут же она сказала мне:

— Многое, многое я передумала в своем одиночестве, не только передумала, но написала. — И она улыбнулась стыдливой улыбкой, придавшей такое милое и жалкое выражение ее старческому лицу. — Записала мои мысли об этом, скорее, мой опыт. Я прежде, давно, девушкой и замужем, вела свой дневник. Потом уже, как началось, лет десять тому назад... — она не сказала, что началось, но я понял, что это касалось ее отношений с взрослыми детьми, столкновение, борьба (она осталась после мужа одна, и состояние было в ее руках), — я не писала больше. И вот теперь, перебирая свои вещи, здесь уж, нашла эти тетрадки, перечитала их, и много там глупого, а много и хорошего, право, —

опять та же улыбка, — и поучительного. Думала сжечь и нет. Посоветовалась с батюшкой, он велел сжечь. Знаете — он не понимает. Это — глупости, я не сожгла.

Я так узнал ее нелогичную какую-то своего рода последовательность в этих словах. Никодима она во всем слушается, поселилась, чтобы быть руководимой им, а вместе с тем суждение его считает глупостью и делает по-своему.

— Так не сожгла, а еще приписала целых две тетради. Здесь одной делать нечего, написала, что думаю обо всем этом. И вот, когда умру — я еще не собираюсь, мать моя жила до девяноста лет, а отец до восьмидесяти, — чтобы тетради передали вам, вы прочтете и решите, есть ли там что нужное. Если есть что нужное, то пусть и другие знают. А то ведь никто этого не знает: мучаемся, мучаемся, страдаем за них, от беременности и до тех пор, пока они начинают заявлять свои права, и все эти бессонные ночи, и муки, и беспокойства, и отчаяние. И все бы это хорошо, коли бы была любовь, кабы они были счастливы. А то и этого нет. Как хотите, а тут что-то не так. Вот я всё записала. Вы прочтите после моей смерти. — Так так?

Я обещался, хотя сказал, что никак не ожидаю пережить ее. На том мы расстались, а через месяц я узнал, что она скончалась. С ней сделалось дурно у всеобщей, она села на складной стул, который был с ней, прислонилась к стене и так умерла. Что-то с сердцем. Я приехал на похороны. Дети почти все собрались, кроме Елены, которая была за границей, и Митечки, — того самого, у которого была скарлатина, который не мог приехать, потому что в это самое время лечился на Кавказе от дурной болезни.

Похороны были богатые, внушившие монахам большее уважение, чем то, которое они испытывали к ней при ее жизни. Вещи, бывшие у ней, разделили между собой больше как сувениры, и мне дали в память нашей дружбы ее малахитовый пресс-папье и шесть старых сафьяновых тетрадей и четыре новых простых учебных тетради, которые она исписала в монастыре «обо всем этом», как она сказала.

В этих тетрадах вся трогательная и поучительная история этой прекрасной и замечательной женщины.

Так как я знал сорок лет ее и ее мужа, и на моих глазах рожались, росли и воспитывались и пережились ее дети, я везде, где это может быть нужно для ясности рассказа, могу дополнить своими воспоминаниями то, что не досказано в ее записках.

Это было в 57 году, только что кончилась кампания.

В доме у Вороновых готовилась свадьба, помолвлена была средняя дочь Варвара за Евграфа Лотухина. Они знались детьми, играли, танцевали вместе, а теперь он вернулся из Севастополя поручиком уланского полка. В самый разгар войны он вышел из министерства, в котором служил, и поступил в полк юнкером. Теперь он вернулся и был в нерешительности, куда поступить. Он относился к военной службе, особенно гвардейской, с презрением и не хотел оставаться в ней в мирное время. Но дядя его звал к себе в адъютанты в Киев. Другой, двоюродный, предлагал место в Константинополе, прежний начальник звал к себе.

Родных, друзей было много, и все любили Евграфа Лотухина. Не то чтобы точно любили, замечали его отсутствие, но любили так, что, когда он входил, все большей частью говорили: «А, Граша! Ну и отлично». Никогда никому он не был в тягость, а приятен был многим и самыми разнообразными способами. И рассказывать, и спеть, и на театре играть. На все он был мастер. А главное, не претенциозный, умный, красивый, понятливый и добродушный.

Пока он приглядывался, куда, к кому поступить, и приглядывался, серьезно взвешивая, несмотря на свою кажущуюся беспечность. Он встретил в Москве Вороновых. Они пригласили его к себе в деревню. Он приехал, пробыл неделю, уехал и через неделю опять приехал и сделал предложение. Его с радостью приняли. Это была хорошая партия. И он стал женихом.

— Да ничего особенно радостного нет, — говорил отец Воронов жене, стоявшей у его стола и жалобно смотревшей на него. — Добрый! Добрый! Не в доброту

дело, а он уже поживший, и очень, я знаю эту лотухинскую породу, да и что же он? Ничего, кроме добрых намерений, — служба. А то, что мы дадим, не обеспечит.

— Но они любят друг друга. И он так откровенен, просто мил, — говорила она, тихая, кроткая.

— Да, разумеется, Феников ничего, они все такие, но я лучшего желал для Вари. Эта такая прямая, нежная натура. Лучшего можно бы желать для нее. Ну, да что делать. Пойдем.

И они вышли.

Нынче, 1857. 3 мая. Начинаю новый дневник. Старый давно не писала, да и то, что писала, было не то: много лишнего копанья в себе, много чувствительного и просто глупого — влюбленье в Иван Захарыча, желанье прославиться, уйти в монастырь. Я сейчас перечла много и милого пятнадцати-шестнадцатилетнего. Теперь другое, двадцать лет, и я люблю, точно люблю, не восхищаясь собою, не подзадоривая себя, с страхом, что это не настоящее, что это не так, как любят по настоящему, что я недостаточно люблю; а, напротив, с страхом, что это *настоящее*, роковое, что я слишком люблю и не могу, не могу... не любить. И мне страшно. Что-то серьезное, торжественное связано с ним, с его лицом, с его звуком голоса, с его каждым словом, несмотря на то, что он весел и все смеется и все умеет так перевернуть, что выйдет грациозно, умно и смешно. Всем смешно, и мне смешно, смешно и вместе с тем торжественно. Встретятся наши глаза, углубятся друг в друга, дальше, дальше, и страшно, и я вижу, что и ему тоже.

Но опишу все по порядку. Он сын Анны Павловны Лутковской, родня и Облонским и Микашиным. Старший брат его, известный Лутковской, герой севастопольский, и он, Петр — мой, — да, мой, — были в Севастополе, но только для того, чтобы не быть дома, когда люди гибнут там. Он выше честолюбия. После кампании он тотчас же вышел в отставку и служил чем-то в Петербурге, а теперь приехал в нашу губернию и

в комитете. Он молод, но его ценят и любят. К нам его привез Миша. Он сразу стал своим у нас. Мама полюбила его и приласкала, папа, как всегда к женихам, с некоторой холодностью принял его. Он сейчас стал ухаживать за Надей, как ухаживают за пятнадцатилетней девочкой, но я сразу в глубине души решила, что это я; но сама себе не смела признаться. Он часто стал ездить к нам, и с первых же дней, хотя ничего не было сказано, я знала, что все кончено, что это он.

Вчера, уезжая, он пожал мне руку. Мы были на площадке лестницы. Не знаю отчего, я почувствовала, что покраснела. Он взглянул на меня и так же, еще больше, покраснел и так растерялся, что повернулся, побежал вниз, уронил шляпу, поднял ее и остановился на крыльце. Я вошла наверх, смотрела в окно. Лошадей ему подали, но он не садился. Я заглянула на крыльцо, он стоял и не садился, заправляя рукой свою бороду в рот и кусая ее. Я боялась, чтобы он не оглянулся, и отстранилась от окна; но в эту самую минуту я услышала его шаги по лестнице наверх. Он быстро, смело бежал. Как я узнала, я не знаю, но я подошла к двери и остановилась, ожидая. Сердце не билось, стояло и радостно и мучительно давило мне грудь.

Почем я знала, но я знала. Ведь могло же случиться, что он, вбежав, сказал бы: «Виноват, я забыл папиросы», или что-нибудь подобное. Ведь могло же это случиться. Что бы со мной было, если бы это случилось. Но нет, этого не могло случиться. Случилось то, что должно было быть. Лицо его было и восторженно, и робко, и решительно, и радостно. Глаза блестели, щека дрожала. Он был в пальто и держал шляпу в руке. Никого не было тут, все были на террасе.

— Варвара Николаевна, — сказал он, останавливаясь на последней ступеньке. — Лучше уж заодно, сразу, чем мучаться, может быть, и вас тревожить...

Как мне было тяжело, мучительно, радостно. Эти милые глаза, этот славный лоб, эти дрожащие, так привыкшие улыбаться губы. И эта робость во всей энергической, сильной фигуре. Я почувствовала, что мне подступают рыдания к горлу. Он увидал, вероятно, выражение моего лица.

— Варвара Николаевна, ведь вы знаете, что я хочу сказать вам, сами. Да?

— Не знаю, — начала было я. — Нет, знаю.

— Да? — сказал он. — Вы знаете, о чем я хочу и не смею просить вас... — Он замялся и потом вдруг как будто рассердился на себя. — Да ну, что будет, то будет. Можете вы полюбить меня, как я вас люблю, быть женой? Нет? Да?

Я не могла говорить, радость захватила мне горло. Я протянула руку. Он взял ее и поцеловал.

— Неужели да? Точно? Да? Ведь вы знали, я давно мучаюсь. Так я не уеду.

— Нет, нет.

И я сказала, что люблю его, и мы поцеловались, и мне странно, и скорей неприятен, чем приятен, был этот поцелуй куда-то попавших губ. И он пошел, отослал лошадей, а я побежала к мама. Она пошла к папа, и он вышел. Все кончилось, и мы жених с невестой, и он уехал во втором часу ночи и завтра приедет, и свадьба будет через месяц. Он хотел через неделю, но мама настояла.

Папа был в первую минуту как будто недоволен. Не то что недоволен, но грустен, ненатурален, — я знаю его. Точно он не нравится ему. Этого я не могу понять. Не мне одной, не потому, что я его невеста, [он нравится], но такой ясности, благородства, главное, правдивости и чистоты, которые написаны на всем его существе, нельзя найти большей. Видно, что что на душе у него, то и на языке. Ему нечего скрывать. И скрывает он только свои высокие черты. Про свое севастопольскоехождение он не хочет, не любит говорить, про Мишу тоже, он покраснел, когда я заговорила.

Благодарю тебя, господи! Ничего, ничего не хочу больше.

Лотухин уехал в Москву готовиться к свадьбе. Он остановился у Шевалье и тут же столкнулся на лестнице с Сушевым.

— А, Граша! Правда, что ты женишься?

— Правда.

— Ну, поздравляю. Я их знаю. Милая семья. И твою невесту знаю. Красавица... Так обедаем вместе.

И они обедали, выпили одну, а потом и другую бутылку.

— Ну, поедем. Пройдешься, а то что же делать?

И они поехали в Эрмитаж, тогда только что открывшийся.

Только что они подошли к театру — Анночка. Анночка не знала, да если бы и знала, что он женится, не изменила бы своего поведения и еще радостнее улыбнулась бы своими ямочками.

— Да, ну, скучный какой, пойдем.

И она взяла его под руку.

— Смотри, — сказал сзади Суцев.

— Сейчас, сейчас.

Лотухин прошел с ней до театра и сдал ее Василию, которого встретил тут же.

«Нет, нехорошо. Еду домой. И зачем я приехал».

Несмотря на задерживанье, он уехал один домой. Дома в номере он выпил стакана два зельтерской воды и сел за стол сводить свои счета. Утром он ездил по делам, занимать деньги. Брат не дал ему. И он занял у ростовщика. Он сидел, делая расчеты. И с неприятным чувством вспоминал Анночку и то, что надо было отказаться от нее. И гордился тем, что он отказался. Он вынул портрет Вари: полная, стройная, румяная, сильная русская красавица. Полюбовавшись и поставив перед собой, он продолжал работу счетов.

Вдруг в коридоре он услышал голос Анночки и Суцева. Он вел ее прямо к его двери.

— Граша! Что же это ты сделал?

И она вошла к нему...

На другое утро Лотухин пришел пить чай к Суцеву и упрекал его.

— Ты понимаешь, что это могло бы страшно огорчить ее.

— Ну, еще бы. Будь спокоен. Я нем, как рыба.

7 мая. Граша вернулся из Москвы. Все та же светлая, детская душа, я вижу, что его мучает то, что он не богат для меня, только для меня. Вечером зашел разговор о детях, о наших будущих детях. Я не могу верить, чтоб у меня были дети, а хоть дитя. Не может быть. Я умерла бы от счастья. Да если бы они были, как бы я успела любить их и его. Это нельзя вместе. Ну, да что будет, то будет.

Через месяц была свадьба. К осени Евграф Матвееч получил место в министерстве, и они переехали в Петербург. В сентябре она узнала, что она беременна, и в марте Варвара Николаевна родила первого сына.

Первые роды, как и большей частью бывает, были неожиданные, бестолковые именно потому, что всё все хотели предвидеть и все вышло совсем навыворот.

КТО ПРАВ?

Аще не будете как дети, не увидите в царствии божие.

Была половина октября. К земскому начальнику в одном из черноземных уездов заехала по дороге в Петербург, где она обыкновенно проводила зиму, сестра его жены с мужем и дочерью. Они приехали в двенадцать и теперь, в третьем часу, после поданного им не в урочное время чая, ожидая обеда, сидели все порознь, мужья, жены и дети, по отдельным комнатам.

Приезд сестры был не совсем удобен для жены земского начальника только тем, что почти совпал с днем, назначенным земским начальником для псовой охоты в его лесу. Еще с ранней осени важный князь, большой охотник, державший большую охоту в том же уезде и участке, просился в места земского начальника, и нельзя было отказать, и вот нынче, в тот же день, как приехал свояк, приходила охота, и должен был приехать сам князь.

Охота пришла, но князя еще не было, и было неизвестно даже, приедет ли он, или нет, и если приедет, то останется ли ночевать, или только проведет вечер.

Мужчины были в кабинете. Хозяин, подвижный, красивый, элегантный сложением и манерами мужчина, с густой шапкой волос, зачесанных кверху, и маленькой бородкой, ходил взволнованно по ковру кабинета из угла в угол и, не бросая папироски, горячо говорил.

Гость-свояк, пухлый, тяжелый человек с расплывающимся в кресле телом, сидел у письменного стола, поглаживая прорезной слоновый нож, и, иронически улыбаясь глазами, возражал сдержанным тоном. Между свояками не было любви, и каждый, говоря про другого, должен был удерживаться, чтобы не говорить все худое, которое так и просилось на ум. Казалось бы, делить им было нечего, и, в сущности, оба были совершенно одинакового мира, воспитания и воззрений на мир. Оба были помещики (приезжий, Владимир Иванович Спесивцев, был только более богат, чем земский начальник, Анатолий Дмитриевич Лыжин). Оба служили: приезжий — в Петербурге, в министерстве государственных имуществ, занимая место члена совета, хозяин — земским начальником в голодающей губернии. Оба были либеральны, индифферентны в религиозном отношении, оба считали необходимым соблюдать *decorum*¹ и не выделяться от других. Оба жили внешним образом хорошо с своими женами, оба были отцами семейств: у Владимира Ивановича было два сына — в пажеском корпусе и правоведении — восемнадцати и тринадцати лет, и дочь Вера, шестнадцати лет, которая теперь была вместе с ними за границей и вместе с ними возвращалась; у Анатолия Дмитриевича была старшая дочь пятнадцати лет и три мальчика. Спорить им, казалось, было не о чем, а между тем надо было им делать усилия над собой, чтобы соглашаться, о каком бы предмете ни заговорили.

— Совсем нет. Я признаю в принципе, — говорил Анатолий Дмитриевич, — что выборное начало более обеспечивает общество, но тут вопрос другой, тут вопрос о том в данном случае, имею ли я право отказаться, дав возможность крепостнику-негодяю занять это место и сечь мужиков.

— Да какое же это признание выборного начала, когда вы занимаете место, заменившее выборное, и вступаете в него по назначению? — сказал Владимир Иванович.

— Законы пишу не я.

¹ внешнее приличие (лат.).

— Я, признаюсь, не могу допустить, — тихо улыбаясь, отвечал Владимир Иванович, — чтобы... — он хотел сказать: «уважающий себя человек», но замялся, — чтобы человек в наши времена мог толковать о том, например, сечь или не сечь, то есть стегать березовыми лозами по пояснице взрослых людей и отцов семейств. Есть такие дела, которые нужно не брать на себя...

— Нет, должно, — возвышая голос, сказал Анатолий Дмитриевич. Его раздражило и это умолчание, и смысл самой речи, и более всего эта манера Владимира Ивановича спокойно острить. Когда Владимир Иванович говорил о хлестании березовыми лозами, он открыл уже рот, чтобы сказать неприятное, но, вспомнив, что он хозяин и тот только что приехал, сдержался и, подойдя к столу, напряженно давил в раковине-пепельнице окурки папиросы. — Нет, должно. Не должно белоручничать. Я знаю, что должно, потому что знаю, что делаю это не для себя.

Он вспомнил в это время о жалованье, которое было очень нужно ему, и еще более рассердился и даже вошел в пафос.

— Если бы мы все отступились, то все места заняли бы разные негодяи, и погибло бы все сделанное в шестидесятых годах. Нет, Владимир Иванович, не будемте говорить лучше.

— Ну, не будемте, — спокойно улыбаясь, сказал Владимир Иванович, — это покойнее, — и положил ножик. — Какой славный этот лось у вас, — сказал он, указывая на выделанную голову.

— Да, я это убил прошлого года. — И сейчас же вспомнилось Анатолию Дмитриевичу опять неприятное, то, что Владимир Иванович ничего не понимал в охоте и смеялся над ней. В это время вошел лакей и принес конверт из земства. Анатолий Дмитриевич распечатал.

— Позовите Петра Семеновича. Да нет, я сам пойду, — сказал он, подумав о том, как приятно избавиться от tête-à-tête¹ со свояком. — Извините, Владимир Иванович. — И он вышел.

¹ пребывания с глазу на глаз (франц.).

Владимир Иванович, как только ушел Анатолий Дмитриевич, тотчас же перестал улыбаться глазами. Он, очевидно, делал это, только чтобы дразнить своего свояка, и стал серьезно смотреть перед собой. «А впрочем, что мне за дело? — подумал он. — Не люблю только эту важность и этот пошлый либерализм, шестидесятые годы. *Il s'en soucie comme de l'an quarante*¹. И куда она могла их деть?» — стал он думать о ящике сигар, которые, он помнил, что он отдал жене, но которых нигде не оказалось. Вспомнил он при этом про жену, как она настояла-таки, чтобы заехать к сестре. «Она решительно стала особенно молодиться после Рима и этого дурацкого Ордини. А препротивно... Что же не зовут к обеду? Пора бы! Едва ли будет хороший обед! Россея!» И, как всегда, ему стало тяжело, как всегда бывало, когда он оставался один с собою. Он поспешно встал и взял книжку со стола. Это был календарь. Он перелистовал и стал читать некролог неизвестного ему генерала.

«Противное существо! — думал Анатолий Дмитриевич, идя по коридору. — То есть не противное. Он ничего, но мне тяжело с ним. Какой-то тон снисходительный, всезнающий. Не могу с ним. Эта самоуверенность. Надеюсь, ненадолго. Ну, да бог с ним».

— Анатоль, это ты? — окликнула его жена из двери своей комнаты, мимо которой он проходил. Он остановился. Маленькая миловидная женщина с ямочками и улыбками в глазах и губах и вьющимися вокруг головы волосами высунулась к нему. — Что ты?

Он хотел войти к ней.

— Не входи, Маня раздета.

— Что ты?

— Матреша (это экономка) приготовила им в угловой. А вдруг как князь останется ночевать? Пускай Владимир ляжет в кабинете. Маня со мной. Тогда угловую можно отдать князю.

Анатолий Дмитриевич поморщился.

— Князь не останется ночевать.

¹ Его это так же интересует, как прошлогодний снег (франц.).

Варя, его жена, знала его отношения к свояку и знала, что поморщился он от мысли, что свояк будет в кабинете.

— Да ведь недолго. Ужасно ты нетерпим.

— Нисколько я не нетерпим, — с досадой пробурчал Анатолий Дмитриевич. — Вечно твои замечания.

— Отчего же я могу стесниться, а ты на две ночи не можешь уступить своего кабинета?

— Ах, да я не об этом. Я очень рад отдать кабинет. Я только... — и, не сказав, что он только, он пошел к секретарю.

В это время Матреша с двумя подсвечниками и чистым бельем, сопровождаемая мальчиком, несшим лохань и рукомойник, вышла из двери. Варвара Николаевна, стоявшая в дверях, остановила ее.

— Матреша! мы передумали. Не в угловой, а Марья Николаевна будет со мной рядом. А князю в угловой. Вы уже постелили?

— У меня все готово. Вы бы прежде сказали, — проворчала Матреша.

— Так пожалуйста. — И Варвара Николаевна ушла в дверь.

Матреша остановилась и долго стояла, Васька тоже стоял сзади.

— Куда ж нести, Матрена Петровна? — спросил он.

— В омут. Тьфу! — сказала Матрена Петровна и, повернувшись, топая, пошла назад по коридору, соображая, как все переключивать и перестилать.

Маня, то есть приезжая Марья Николаевна, жена Владимира Ивановича, сидела в белой кофте, обшитой кружевами, перед зеркалом туалета сестры и расчесывала свои длинные еще, хотя и жидкие волосы.

— Так я и прошу его об одном, — продолжала она начатый разговор с младшей сестрой, — чтобы он сам вел хозяйство, если он находит, что я много расходую. Ведь это невозможно.

Варвара Николаевна ничего не сказала, но подумала, что Владимир прав, потому что она знала непрактичность и способность увлекаться своей сестры.

— Так ты и отдай ему.

— Ах! Это невозможно. Мы пробовали. Начинается такая мелочность, такое *économie de bouts de chandelles*...¹ и потом ни мне, ни Вере, — Вера была ее шестнадцатилетняя дочь, — невозможно за каждой мелочью ходить к нему.

— А Вера *est dépensière*?²

— Нет, не очень. Но, как все девочки, не знает цены деньгам. Просила лошадь верховую, потому что у Лили есть. А в Ницце держать лошадь, ты знаешь, что это стоит, *gruma, ça coûte les yeux de la tête*³.

— А что, Лили все не выходит замуж? — спросила Варвара Николаевна, — и Марья Николаевна, не замечая того, что они говорили о совсем другом, тотчас же начала рассказывать про Лили, про ее кокетство и про то, отчего она не выходит замуж. При этом Варвара Николаевна рассказала про себя, про то, что Марья Николаевна давно знала, что она совсем не хотела выходить замуж и что теперь часто говорит это Анатолию. На что Марья Николаевна заметила, что они все ужасно глупы и непоследовательны, и хотела рассказать о случае непоследовательности, но Варвара Николаевна привела свои более сильные примеры непоследовательности своего мужа.

— Да, это они все, — сказала Марья Николаевна, отыскивая рукой черепаховую шпильку. Варвара Николаевна подала ей ее и спросила, так ли всё носят волосы. Вследствие чего разговор перешел на прически.

«Ужасно *frivole*»⁴, — думала Варвара Николаевна, когда Марья Николаевна сняла кофту и стала надевать на туго стянутый корсет слишком, по мнению Варвары Николаевны, нарядное платье *vert bouteille*⁵ с бархатной отделкой. «Как она молодится! — думала Варвара Николаевна. — А она на три года старше меня». Марья Николаевна видела, что Варя замечает и не одобряет ее туалета, и сама о ней подумала, что она слишком опустилась. «Эта кофточка бумазейная и не свежая.

¹ мелочная экономия... (франц.)

² мотовка? (франц.)

³ это стоит чересчур дорого (франц.).

⁴ легкомысленно (франц.).

⁵ бутылочного цвета (франц.).

А муж ее молод». И эта филиация мыслей привела ее к тому, чтобы спросить ее о нем.

— Ну, а как Анатолий, не тяготится деревенской жизнью?

— Нет, но только этот год нынешний такая бездна дел, от этого голода. Я почти не вижу его. Это теперь особенное счастье, что вы застали его.

— Ну, а что же, правда, голод? За границей пишут ужасы, коллекты¹ делают. Мне кажется, что преувеличено.

— Спроси у Анатолия. Он говорит, что нет. Да, я вижу, иногда приходят люди. — И Варвара Николаевна вспомнила об оборванной женщине с сумой, в разбитых лаптях, которая нынче утром встретила ее у людской, и это воспоминание навело ее на обувь. — Я думаю, ты привезла кучу ботинок и туфель. Заграничные так хороши. Я позволяю себе эту роскошь.

— Да, я привезла много. Хочешь, я тебе уступлю? Тебе ведь впору мои?

— Не совсем — широки, — сказала Варвара Николаевна, никогда не пропускавшая без возражения попытки Марьи Николаевны утверждать, что у них ровные ноги. — Не впору, но носить могу. Что же, вещи приехали?

— Вероятно, я спрошу. Да ведь ты готова?

— Пойдем. Скоро обедать. Я думаю, ты голодна?

Так беседовали старшие. Между тем в комнате рядом с детской, отведенной для Веры, шли свои разговоры между свидетелями двоюродными. Вера, стройная, румяная, с блестящими глазами и зубами и такими же, как у тетки, вьющимися волосами, в модном, но простом платье, сидела на диване, окруженная всеми четверьмя старшими Лыжиными, и вела беседу с самой старшей девочкой, кузиной, пятнадцатилетней Сашей, которая сидела рядом с ней и не спускала с нее влюбленных глаз и не обнимала ее, очевидно, только потому, что Вере это могло не понравиться.

¹ сборы пожертвований (от франц. *collecte*),

В таком же точно положении находился и второй — одиннадцатилетний черноглазый, поэтического вида мальчик Миша, и в еще более ошалевшем от влюбленности состоянии находился третий — толстый белокурый широкорожий бутуз Вася, с блестящими узкими серыми глазенками, ни на минуту не спускавшимися с лица и рта говорившей кузины. Только пятилетний Анатолий Анатолиевич, сидевший у Веры на коленях, очевидно не был восхищен так же, как остальные. Он был совершенно равнодушен и не понимал, из чего они так волновались. Ну, кузина, ну, Вера, ну, держит на коленях, ну, колени такие же, как у няни. Платье на груди атласное и часы. Это хорошо. Но все-таки ничего особенного, и, главное, ничего этого есть нельзя, а уже пора.

Атмосфера обожания, в которой она себя чувствовала, возбуждала Веру. Она и была из тех, которые особенно чутки и легко возбуждаются восхищением людей, да и избалована она была этим и любила это, и теперь ей было очень хорошо. Она видела, что ей восхищаются. И от этого она всей душой любила теперь этих милых детей. А дети чувствовали, что она любила их, и от этого еще больше восхищались и т. д. Круг был замкнут, и любовного электричества набиралось все больше и больше.

Вера рассказывала им про то, как в Италии она один раз отняла собаку у мальчиков, которые мучали ее.

— Как же они перестали? — спросил неожиданно Вася, широкорожий белокурый бутуз.

Вера оглянулась на него, и все оглянулись на него, и бутуз начал краснеть, краснеть. Казалось, нельзя было больше покраснеть, но кровь еще и еще прилиwała, и сырость начинала выступать у него на лбу и в глазах. Он сидел не шевелясь, только вжимая шею в плечи, очевидно чувствуя, что при малейшем движении он погибнет.

— Да, разумеется, Вера сказала, чтобы они перестали, они и перестали, — с несомненным убеждением того, что приказания Веры никто в мире не мог ослушаться, сказала Саша.

Вера поспешила отвести глаза от погибающего от конфуза бутуза и продолжала разговор.

— Ну, барышня, они с вами и время забыли, — сказала няня, входя. — Пожалуйте, Анатолий Анатольич. Мамаша приказали гулять.

Вошла и швейцарка за детьми. Но все дети с досадой отворачивались от швейцарки, держась за Веру, и, чтобы ни на минуту не нарушать близость с нею, только с нею пошли в сад. Швейцарка с упреком и досадой посмотрела на Веру, не только отвлекшую от нее детей, но вызывавшую даже недоброжелательность к ней.

В это время в кухне шло сильное волнение и напряженная работа.

— А кто его знал, что они приедут. Мне только нынче сказали, — говорила Матрена Петровна, облокотившись на шкаф и куря папиросу.

— Какое же жаркое будет, коли сейчас убить, сейчас зажарить, — говорил повар в куртке и колпаке, — да и то нет.

— Как нет? Вот эту у бабы возьми, а своих двоих ловят.

— Ну, давай ее сюда, — сказал повар бабе, державшей курицу.

— Вы уж, Матрена Петровна, прибавьте пяточок.

— Ну давай сюда.

Повар взял курицу и нож и, отхватив ей голову, бросил ее на пол, где она начала прыгать, обливая кирпичи пола кровью.

— Что ж он своих не несет? Евдоким! — крикнул он и вышел из кухни.

Недалеко от кухни, у сиреневого куста, малый, мужик, подходил, расставив руки, к двум курицам, одной белой и другой черной, которые, подрагивая ожерельями, ходили у куста. Кухарка, держа передник, шла с одной стороны.

— Ну чего же вы? — сказал повар, и как только он сказал это, кухарка со всех ног бросилась прямо на черную курицу. Куры поняли, что дело касается их, и пустились бежать. Малый побежал наперерез и чуть было

не догнал, но, увидав его, куры прибавили шагу и, миновав его, быстро отделились от кухарки. Они пробежали сквозь сиреневый куст и подбежали к забору. Малый бежал за ними; но куры отделялись все дальше и дальше. Малый стал отставать, и тогда кухарка сменила его. Уменьшившие было ход куры, увидав кухарку, отчаянно закудахтали и опять побежали шибче, шибче, так что за ними, казалось, не поспевали крепкие серые вытянутые ноги. Кухарка гналась за ними. Они опять обежали сиреневый куст, и опять кухарка остановилась. Она не могла бежать дальше и, ухватившись за грудь, тяжело дышала. Малый тотчас же сменил ее.

— Не давай ей отдыхать, пуще всего не давай отдыхать! — кричала кухарка. Малый бежал, стуча сапогами.

— Петрович! Хоть бы вы подсобили! Петрович! — обратилась кухарка к повару, когда куры опять были подогнаны к забору.

Повар улыбнулся, но, в то время как куры загибали назад у забора, он вдруг кинулся на черную курицу, перехватил ее, загнал в угол забора и, несмотря на отчаянный крик ее и всплеск крыльев, ухватил ее и торжественно поднял.

— Вот как командуют, а вы что без толку гоняете.

Упрек повара подействовал. Кухарка и малый заложились за белой курицей и, сменяясь и не давая ей отдыхать, загнали ее опять в сиреневый куст, и там кухарка, расставив руки, поймала и ее. И эти также были зарезаны. А зарезанная прежде уже щипалась малым на столе.

— Да уж вы возьмите, Матрена Петровна, отпустите, что ль. Баранчик, право, хорош, — говорил длинный мужик в разорванном на плече и подпоясанном обрывком зипуне, который с раннего утра стоял на дворе у телеги, на которой лежал связанный баран.

Матрена Петровна бросила папироску.

— Некогда сказать ей. Все занята с гостями. Пойду еще скажу.

— Тц. Тц, — пощелкал языком мужик. — Известное дело. Кабы не нужда. Мне б что? А то корову проел! Вот последнюю проем, — говорил мужик, обращаясь к лакею, пришедшему с ведром к водяной бочке.

- А что ж, почем мука?
- Надысь была шесть гривен.
- Руб шесть гривен.
- Да уж рубль-то мы не говорим. Овцу на пуд сме-
няешь. А надолго ли? Семь душ.
- Да, беда. А ты откуда?
- Да мы ближние, из Телятинок.
- Так. — Лакею не хотелось идти в дом. — Это у
вас, значит, охота собирается?
- Должно, у нас. Вечор по нашей деревне шли, шли,
ровно полк. Этих собак, братец ты мой, как стадо. А сам
бравый, золото так и горит.
- Это княжеские-то? — спросил лакей.
- А то чьи ж? Яго.
- Сам-то он где?
- Сказывали, в Покровском стал.
- Тоже к нам ожидают, — сказал лакей.
- О-о-о! — сказал мужик полуудобрительно, полу-
удивленно.

Лакей хотел что-то поговорить, но его кликнули, и он
убежал.

Мужик дождался-таки. Барана взяли. Мужик сам
зарезал его в сарае, снял с него овчину и, шлепнув ее
в ящик телеги, стал дожидаться денег.

В шесть часов из кур были сделаны котлеты, бара-
нина зажарена, и обед готов.

За столом было две четы, Вера, четверо детей, швей-
царка и русский учитель, воспитанник духовной акаде-
мии, живший в доме. Разговор завязался общий — о
погоде, о музыке, о тете Насте, об экскурсиях в горы.
Все, кроме детей, гувернантки и учителя, участвовали в
нем. Центром разговора была Вера. Она очевидно кокет-
ничала и с детьми, и с теткой, и с дядей Анатолием Дми-
триевичем, у которого губы морщились в улыбку, когда
он, глядя на нее, говорил с ней, и даже с учителем,
молчание которого и постоянно устремленные на нее,
тоже восхищенные взгляды беспокоили ее. Ей нужно
было знать, что и он покорен. И она изредка взгляды-
вала на него, как бы поверяя, тут ли он и пойман ли
так же, как другие.

Недовольна ей была только Варвара Николаевна, которая, заметив впечатление, какое она производила на ее мужа, особенно ласково улыбалась ей, чтобы скрыть свое недоброжелательство, и особенно недовольна, до ненависти, была ею швейцарка, которая осудила в ней все — от серег до произношения.

И действительно, Вера была не совсем натуральна, она сама чувствовала это, но не могла изменить того тона, в который попала, и при том подъеме духа, в котором она находилась. Она рассказывала, например, про свои экскурсии с отцом и о том, как она с ним обходилась, как с ребенком, одевала, кормила его.

— А то папа все забудет, — и т. д. Это было не совсем натурально, а было что-то «милашное», как называли ее братья, сантиментальность, но не могла удержаться.

В середине обеда вбежал с испугом лакей, объявив, что князь приехал в коляске.

— Ну, хорошо. Что ж ты, как шальной, бежишь? Проси, — с досадой сказал Анатолий Дмитриевич и пошел навстречу князю. Так же как лакею не надо было бегать, так и хозяину не надо было замечать этого.

Вошел князь, молодой, красивый человек. Ему всех представили, дали чаю. Он беседовал с дамами о погоде и охоте и поглядывал на Веру. Нельзя было этого не делать, когда она была в комнате и улыбалась. А она не только улыбалась, но смеялась с детьми своим бодрым, густым и заразительным смехом.

Через два часа, уже после обеда князя, мужик дождался денег. Он не ел с утра и, покачивая головой и вздыхая, смотрел на приготовление господского обеда. Под конеец он не выдержал и попросил у кухарки хлеба.

— Кабы знать, с собой бы захватил.

— Иди похлебай, — сказала кухарка и налила ему в чашку квасу и отрезала ломоть хлеба. Поевши, он дождался терпеливо и дождался. Вечером ему вынесли рубль восемь гривен. Он поблагодарил и, заложив соломкой окровавленную овчину, подложив под себя и отодвинув мешок, сел в телегу и потащился на своей буренкой кобыленке прямо к лавке за мукой. Князь пробыл недолго, не более часа, и, согласившись завтра

свезжаться у Лисьих Переяр, распростился, особенно весело улыбаясь Вере, выражая надежду свидеться завтра и доставить ей удовольствие, и, провожаемый хозяином, вышел на крыльцо.

— Что за погода, как лето! И какая красота эти желтые листья — золото.

— Сухо только для охоты. Ну да что делать. Ждать нельзя.

Грузный кучер с задом, расширенным юбкой, проговорив: «Вперед!», тронул вожжами.

Сытая четверня вороных трехвершковых лошадей двинула, как перышко, коляску. Князь сел и уехал.

По дороге он нагнал мужика, продавшего барана. Мужик спал и не свернул лошадь. Кучер присадил, взяв на время вожжи в одну руку, и ловко попал кнутом по шее мужика. Мужик встрепенулся, но не успел глаз протереть, как коляска промчалась со своим ровным топотом четверки по крепкой дороге.

— Пьяный, ваше сиятельство, — сказал кучер.

«Вот все толкуют — голод», — подумал князь, оглядывая вершину направо от дороги, на лазу которой он станет завтра с этой хорошенькой девочкой.

На другой день состоялась охота. В семь часов Вера была уже готова и ждала Анатолия Дмитриевича, с которым она должна была ехать в тележке до места сбора охоты. Верховые лошади были уж высланы раньше. Погода была волшебная, именно волшебная. На желтых листьях, на зеленеющей траве блестел мороз. Косые лучи яркого солнца играли сквозь красно-желтые листья дубов. Воздух был свежий, бодрящий. Тележка, заложённая парой вороных кобыл, была уже подана, как Анатолий Дмитриевич на самом выезде был задержан мужиками, которые пришли по своим делам. Анатолию Дмитриевичу, очевидно, было скучно это, но он остался и долго говорил с ними. Вера слушала. Дело шло о кадшке. Баба и мужик горячо спорили. Вера в амазонке, с хлыстом, волнуясь, дожидалась.

— Да ты бы напилась чаю.

— Я пила.

Наконец мужик последний отвалился. Она вспомнила, как матери ставили пивки и как они отвалились.

Анатолий Дмитриевич сел, взял вожжи, и они поехали по глянцевиной, гладкой, с отпечатками шипов, дороге по деревне, из которой несло запахом дыма, выходящего белым столбом из каждой трубы.

Весело, весело было. Все было весело. И то, как бежали лошади, и как смотрели люди, и как взлетали грачи, повороты дороги, зеленыя. Все было весело.

— Скоро ли?

— Да ведь пять верст, мы и так хорошо едем.

Но вот проехали сквозной лес, весь светящийся на косых лучах. Вот послышался визг собаки и крик охотника.

Это они. Да, вот тут. Проехали лес, завернули, и вот блестящий круг. Лошади, собаки, красные шапки, га луны. Все блестит и играет и вспыхивает на солнце. Тут же и лошадь Веры и Анатолия Дмитриевича. Но не успели еще Анатолий Дмитриевич с Верой разглядеть всю эту толпу, как на пригорке показалась коляска. Это был князь.

— Вот как съехались.

— Какой день. Сухо немного.

— Вы не устанете? — И сейчас же началась игра кокетства между князем и Верой.

Очень, очень было весело. Волка не затравили, но зайцев поймали трех и скакали. И потом сидели и завтракали. И князь лежа разрезал курицу и, держа на вилке, предложил Вере.

— *Puis je vous offrir, mademoiselle, un morceau de viande?*¹ — сказал он. И это было ненатурально и глупо. И, несмотря на то, что ей было очень весело, Вера заметила это. Потом князь кормил курицею же и тоже с вилки любимую собаку. Это тоже заметила Вера, особенно потому, что у дороги стояла толпа баб и ребят, выбежавших из деревни смотреть. Бежали две бабы в коротких паневах, в лаптях и в кокошниках, махая локтями, и, добежав до дороги, вдруг стали, упершись глазами в охотников.

¹ Могу ли я вам предложить, мадемуазель, кусочек курицы? (франц.)

— Не правда ли, египетское что-то есть в них? — сказал князь, и Вера согласилась.

Было очень весело.

После завтрака охотились еще и вернулись к тому помещику, у которого стоял князь. Туда приехал и Владимир Иванович за дочерью. Он остался обедать и с неудовольствием заметил, что между князем и Верой шло ненужное, неприличное даже, *flirtation*¹. Уже темно, при лунном свете, поехали домой. Дорогой Владимир Иванович прямо сказал дочери, что ему не нравилось ее обращение с князем. Она тотчас же согласилась, покраснела ужасно, но согласилась.

— Я не могу, папа. Мне весело, и я не могу удержаться, но он мне вовсе не нравится.

Отец успокоился.

Когда они вернулись, к чаю приехал сосед Анатолия Дмитриевича, и зашел разговор о положении крестьян. Анатолий Дмитриевич рассказал то, что решено было в съезде уездном и губернском, и о том, как ему неизбежно теперь заняться подробным исследованием имущественного положения крестьян. Он сказал, что это дело требует большого внимания, потому что общество находится между Сциллой и Харибдой: не дать помощи жестоко; дать тем, которые не нуждаются в ней, значит поощрять тунеядство, праздность.

— Вот вы говорите, — обратился он к Владимиру Ивановичу, — что не надо служить. Кто же бы делал это и как бы делали это?

— Я не говорю, — отвечал Владимир Иванович. — Это дело святое, и, по-моему, мы все обязаны служить помощи народу в тяжелую годину. Я первый готов бы был посвятить себя этому делу.

— Да что надо делать? — спросила Вера, которой скучно было, что разговор шел без нее.

— Делать то, чтобы ходить по дворам, узнать условия жизни, все имущественное положение каждого двора, записать.

— Так что же, я могу. Пошлите меня.

— Да ведь вы уедете послезавтра,

¹ ухаживанье (франц.).

— А я останусь.

— Вот прелесть-то бы, — заговорили дети.

— Папа, оставь меня с тетей Варей. Тетя, возьми меня. Я буду послушна и буду работать.

Случайно сделанное предложение это сначала, как непривычное, показалось неисполнимым, но понемногу стало получать вид возможного. Через три недели проезжает тетя Настя. Она захватит тогда Веру с собой, а пока Вера будет жить здесь, будет секретарем у дяди Анатолия, будет исполнять все его поручения.

Все это представлялось Вере большой, продолжительной *partie de plaisir*¹.

— Завтра охота, погода чудная, а потом будем ходить с Сашей. Ведь можно Саше? Будем записывать, будем всё делать, будем вместе. Ну, просто прелесть. Ура! А вы с нами будете ходить? — обратилась она к учителю. — Не правда ли?

Учитель, разумеется, был очень рад.

Отец, либеральный Владимир Иванович, был за оставление дочери у тетки. Тетка и дядя Анатолий были за, как хозяйева, да и она очень мила была, так что тетя Варя пленилась ей. Против была только Марья Николаевна, мать.

«Что-то тут странное, неестественное. Что девушке делать по мужицким хатам? И неприлично, да и ничего не сделает она. Да и к чему, главное?»

Вечером между мужем и женой, родителями Веры, были продолжительные прения об этом предмете.

— Как же ты сама говорила, что Вера легкомысленна, роскошна, нет в ней серьезности. Что же может быть лучше для девушки ее лет, как узнать жизнь, увидеть, как живет народ, чтобы понять всю ту роскошь, которую она имеет. Вообще это не может произвести ничего, кроме самого доброго влияния.

Владимир Иванович пересилил, и так и решено было оставить Веру на три недели у дяди. Как решено было, Владимир Иванович с женой уехали рано утром во вторник, и в тот же день Вера с учителем и Сашей пошли в обход.

¹ увеселительной прогулкой (франц.).

Дело было в том, что за Верой была послана няня в условленный срок, три недели, но она не приехала, написала письмо очень решительное, что она не может и не хочет оставить дело, и няня вернулась одна, рассказала, что барышня совсем расстроены, с утра до вечера с бабами, похудели и стали чесаться, нашли вошь.

Это сразило Марью Николаевну. Все делали дело как люди, и княжна Д., и баронессы П. и Р., и *s'était bien vu*¹, а тут вдруг это какой-то азарт, желание отличиться, выделиться. И к чему? «Варенька, сестра, всегда была шальная, так и осталась. По всему видно, что она не удерживает и совсем распустила ее», — думала Марья Николаевна.

— Вот я и говорила, — сказала Марья Николаевна мужу, употребляя самую для него неприятную и потому чаще всего ею употребляемую форму выражения: «вог я и говорила», — что, кроме дурного, ничего не выйдет. Я всегда чувствую. Так и вышло. Я больна, но сама поеду. Я умру. Но этого я не могу. Всегда ты с своей бабьей бесхарактерной упрямством, — говорила она, не согласуя родов от волнения. — Если уж до того дошло, что она вся в мерзости. Я выговорить-то не могу. Со мной дуоно сделалось, когда я раз увидела его. Вся твоя грубая натура.

Владимир Иванович хотел вставить свое слово, полагая, что разговор уж достаточно отклонился, но еще было рано, — как в магазинном ружье, один заряд, вылетая, давал место другому.

— Да позволь, — только сказал он.

— Да я уж знаю, что когда ты говоришь, то все должны слушать и любоваться твоим красноречием. Но у меня не красноречие, а материнское сердце, которое ты измучал... измучал. Единственная дочь, которую я блюла от всякой грязи, от всего подлого, и вдруг ты ее бросаешь нарочно в самую грубую, низменную среду.

— Да ведь твоя же... — сестра, он хотел сказать.

— Нет, твоя фантазия была. Все это хорошо, но когда это искренно, а все это фальшь, которую ты напустил. Если ты так жалеешь, отдай им весь урожай. Что,

¹ к этому относились сочувственно (франц.).

небось не хочешь, — говорила она, совершенно забыв о том, как она пилила его за то, что он распорядился дать по пуду на бедные дворы своей деревни.

Он хотел сказать, что он готов бы и больше сделать.

— Неправда, все притворство, либеральничанье, — продолжала она колоть его в самые больные места, как пчела в глаза. — И то, что ты дал, всем хвастаясь, ты дал, потому что я настояла.

«Боже мой, как может врать эта женщина!» — думал про себя Владимир Иванович. Наконец все заряды магазинного ружья были выпущены и новые не вложены еще, и Владимир Иванович успел сказать то, что хотел.

Беспокоиться не о чем. Что няня рассказывала, что на ней нашли три паразита, то это еще не ужасное несчастье. А что она увлеклась и перешла в крайность, то это понятно. Но беды нет. Комитет хотел посылать для раздачи помощи, он может предложить себя, его пошлют, и он привезет ее. Вот и все.

Как предложил Владимир Иванович, так и было решено, и через три дня он с поручением от комитета поехал к дочери.

В Краснове у Лужиных среди молодого поколения шла страшная работа: не столько внешняя — хождения по крестьянским деревням и избам (хотя и этой было много), сколько внутренняя: перестановка всех оценок доброго и злого.

ПРИМЕЧАНИЯ

После завершения романа «Анна Каренина» в 1877 году Толстой в продолжение семи лет не в состоянии был с прежней страстью и самозабвением отдаваться художественному творчеству. По собственному признанию писателя, это были для него годы «внутренней перестройки», а также «перестройки... деятельности, которая называется художественной» (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 30, стр. 3)¹. «Перестройка» была вызвана тем, что в жизни писателя произошло значительное событие, охарактеризованное им, как «мгновенное озарение светом истины» (т. 23, стр. 306). В мировоззрении и в творчестве Толстого всегда отчетливо проступало преклонение перед патриархальными формами жизни, перед «житьем по-народному», критическое отношение к морали господ, к «тщеславию», порожденному «бездействием и роскошью». Но теперь, в начале 80-х годов, в годы второй революционной ситуации, эта всегда существовавшая в сознании писателя антитеза патриархальности и цивилизации, «верхов» и «низов» становится резкой и непримиримой. Он проникается глубочайшим убеждением, что мир, расколотый на две неравные части, из которых одна — меньшая — присвоила себе все блага природы и человеческого труда, живет в праздности и роскоши, а другая — большая — изнывает под бременем каторжного труда и нищеты, — этот мир ненормален, враждебен человеку, его естественной потребности в единении и братстве. «Океан человеческого горя» увидел Толстой, озаренный светом обретен-

¹ В дальнейшем все ссылки на это издание даются лишь с указанием тома и страницы.

ной истины. Бесстрашный в своих выводах, преисполненный гнева и протеста против «сытых дармоедов», отвращения к их тщеславию, корысти, ненасытной алчности, неоправданным притязаниям на власть, на законодательство в области морали, права, Толстой порывает с тем аристократическим сословием, с которым был связан рождением и своей более чем полувековой жизнью. Его «перестройка» завершилась тем, что в развернувшемся поединке между господствующими классами и трудовым народом писатель принимает безоговорочно сторону униженных и оскорбленных, сторону многомиллионного российского крестьянства.

Но «истина», овладевшая им, включала в себя не только решительное осуждение «людоедского строя», пороков современной буржуазной цивилизации, но и уверенность в том, что счастье человечества не в движении по пути прогресса, а в возвращении к патриархально-крестьянской демократии, к примитивным земельным отношениям, которые позволяют человеку обрести свою естественную сущность. Путь к ней лежал, с точки зрения Толстого, через «революцию сознания», преобразование внутреннего мира собственника, через «религию сердца», то есть «веру» в новое, свободное от церковного догматизма христианство, которое без крови и революций возведет на земле великое братство труженников-земледельцев.

Так в мировоззрении писателя, сформировавшемся на рубеже 80-х годов, переплелись стихийно-бунтарские тенденции с реакционно-утопическими, образовав тот сплав, ту толстовскую «истину», определившую весь второй этап литературной биографии Толстого, все неповторимое своеобразие его творчества последних десятилетий жизни.

Столь значительна была для Толстого открытая им «истина», столь велик накал обуревавших его чувств, столь обжигающим был его гнев и бунт против всех устоев собственнического общества, столь сильна вера в утверждаемый им путь решения главных общественных и этических проблем века, что всю свою энергию писатель направляет на непосредственное изложение своего нового миропонимания. Длительное время Толстой пишет преимущественно публицистические статьи, религиозно-философские трактаты и лишь втайне готовится к новым творческим свершениям; исподволь происходит в нем сложная и трудная «перестройка» его художнического мышления, того поэтического дела, которого он жаждет и страшится. Вот почему столько недоверия слышится в письме к жене от 3 марта 1882 года: «Может быть, это мечты и

загадыванья ослабевающего, но приходят все в голову мысли о поэтической работе» (т. 83, стр. 324). Поворот к собственно-художественному творчеству наметился лишь в 1884 году, за которым последовали десятилетия напряженной литературной деятельности. За это время Толстой создает такие свои шедевры, как «Смерть Ивана Ильича», «Крейцера соната», «Хозяин и работник», «Воскресение», а также целый ряд беллетризованных изложений своей «веры» в виде назидательных притч, легенд, сказаний, переработок произведений других авторов.

Проза Толстого, созданная им за последние два десятилетия XIX века, составила содержание настоящего тома (роман «Воскресение» выделен в отдельный — тринадцатый том).

«Свет» озарившей писателя «истины», его новое жизнепонимание внесли глубокие и существенные изменения в его искусство, вызвали его «перестройку». «Вера не только не убила в нем художественный гений, но, напротив, способствовала его обновлению», — заметил Ромен Роллан (Ромен Роллан, Собр. соч., Гослитиздат, 1954, т. 2, стр. 293). Перед художническим взором писателя словно маяк постоянно возвышался утверждаемый им идеал гармонического строя, в котором «не нарушена связь человека с природой... общение с землей, растениями, животными», не нарушен «любимый и свободный труд... свободное любовное общение со всеми разнообразными людьми мира... здоровье, безболезненная смерть» (т. 23, стр. 418—421). С высоты своего, хотя и утопического, идеала, отражавшего демократический протест народа, его страстную потребность в обновлении социального быта, писатель теперь острее видит свою эпоху в ее контрастах и противоречиях, трагических диссонансах, видит ее бесчеловечность и жестокость.

В поле зрения художника уже не поэзия жизни, не личности высокого интеллекта, напряженно ищущие вечных истин, смысла жизни и чьи духовные драмы все еще далеки от абсолютного отрицания той действительности, в которой протекает их земное бытие. Внимание Толстого направлено на изображение обыденной, прозаической действительности, на обнажение ее дисгармоничности, враждебности человеку, на ее отрицание. Проза Толстого в значительной мере утрачивает свой поэтический и эпический характер, она становится трезво-реалистической, напряженно-драматической, аналитической. «Перестройка» вызвала также и обновление образа главного героя. Средний человек — заурядный чиновник, буржуазный интеллигент, купец, нетитулованный помещик —

становится главным персонажем повестей и рассказов Толстого. Интерес писателя устремлен не столько на создание яркого и индивидуального характера, сколько на изображение положения и условий жизни героя. Поэтому рассказы об искалеченных судьбах заполнивших творения Толстого персонажей, о драмах их опустошенных и тусклых жизней под его пером превращались в художественные полотна, содержавшие обвинительный приговор общественному строю самодержавной России.

«Перестройка» коснулась также и жанра, в котором теперь работает писатель. Главное место в его творчестве 80—90-х годов занимает не большое эпическое полотно, не роман с многими сюжетными линиями, с большим числом действующих лиц, а повесть, рассказ об одной или двух судьбах, порой с вторжением элементов публицистики, с ясностью авторского отношения к изображаемому.

В лучших произведениях Толстого, написанных в последние десятилетия уходящего века, критически освещается современная действительность в разнообразнейших ее проявлениях, срываются маски, прикрывающие подлинную суть несправедливой «господской» жизни, обнажается ложь, безнравственность, варварство человеческих отношений, сложившихся в обществе, основанном на собственности и неравенстве, утверждается гуманность и нравственность мужицкого народа. Мощный голос писателя, как бы во всеуслышание объявившего: «Долой ваши порядки, ваш образ жизни, вашу собственность, вашу любовь, вашу семью, пустоту и никчемность вашего существования», — звучал сильнее и убедительнее, чем его проповедь смирения и всепрощения, философия добрых дел и аскетического самоотречения, с помощью которых якобы просветлеет человек и преобразится оскверненный мир.

Лаконичная и страстная, наполненная глубоким драматизмом и психологической напряженностью, огромным нравственно-общественным содержанием проза Толстого, особенно 80-х годов, созвучна сочинениям тех лет Чехова, Гаршина, Щедрина, Короленко, подобно ему нетерпимых ко всякой фальши, рабству, ко всякой реакции.

2

«Повитическая работа», которой длительное время избегал Толстой, по-настоящему овладела им лишь тогда, когда в его творческом сознании возник замысел «Записок сумасшедшего», позво-

ливший ему в художественной форме выразить свое новое восприятие действительности, высказать наиболее близкие и сокровенные мысли. Работа над этой повестью имела для Толстого принципиальное значение. Явственно обозначился тот круг проблем, те коллизии, которые отныне станут главными в его творчестве — это драма жизни человека, слепо принимавшего все порочные, лживые порядки, идеологические и этические представления, утвердившиеся в среде господствующих классов. Наметился также и тот новый герой, который с некоторыми вариациями станет главным действующим лицом всего повествовательного цикла 80-х годов. Это «обыкновенный», заурядный человек, чья жизнь до определенного момента — «обыкновенная история». Главное действующее лицо «Записок сумасшедшего», подобно Ивану Ильичу Головину, Позднышеву, Евгению Иртеневу, проходит через одни и те же этапы: обеспеченное, «изнеженное без физического труда» и «среди испорченных детей» детство, затем гимназия, юридический факультет университета, служба во имя карьеры, традиционный скучный брак и во всем господство «самого страшного соблазна собственности». Героем Толстого становится ничем не примечательный винтик буржуазно-дворянского общества, человек, чуждый интеллектуальных исканий и душевных взлетов.

В центре внимания писателя — не собственно буржуазно-предпринимательская деятельность этого героя (она лишь предыстория, материал беглого очеркового рассказа), а кризис, тот момент, когда начинается духовное прозрение, скорбное понимание, что все, чем он жил до сих пор, было «не то». Безумию, лжи прошлой жизни противопоставляется истинность нового миропонимания, когда высвобожденный из-под коры грязно-прозаического существования герой повести приходит к мысли, что «мужики так же хотят жить, как мы, что они люди-братья», отказывается от выгоды покупки имения, потому что эта «выгода будет основана на нищете и горе людей». Здесь наметилась также и та ситуация, которая обнажит перед главными персонажами повестей Толстого тщету их жизни, призрачность и мнимую ценность всех тех благ, которые им предоставлены законами общественного неравенства. Такое «воскресение», с точки зрения писателя, — и в этом видны несомненные следы влияния философии Шопенгауэра, — может произойти только при соприкосновении с вечными законами жизни, перед лицом такого акта родовой жизни, как смерть, поднимающей человека над землей и сугубо практическими делами и интересами.

В «Записках сумасшедшего» это еще только мистический ужас при мысли о неизбежном переходе в вечность, состояние «духовной тоски», «ужаса красного, белого, квадратного». Здесь Толстой находится лишь на подступах к той ситуации, которая станет основой такой величественной и совершенной повести, как «Смерть Ивана Ильича». «Записки сумасшедшего» остались незаконченными. Это была проба сил. Но писатель сделал для себя серьезные выводы. Несомненно, он испытывал большие затруднения из-за жанра «рассказа от себя», стеснявшего его потребность в объективном и широком изображении жизни. Недаром при писании и «Смерти Ивана Ильича», и «Крейцеровой сонаты», и даже «Холстомера» и незаконченной повести «Мать» он будет так жестоко бороться с тенденцией автобиографических записок, дневников, исповедей и т. п. Сковывала возможности писателя и иррациональность, и мистическая загадочность коллизии, при которой происходит перерождение героя, испытывавшего состояние, невозможное для нормального, здорового человека. И, наконец, здесь была сделана Толстым попытка продолжить рассказ о жизни «воскресшего» дворянина после того, как произошел «кризис». И он не смог ничего больше сказать, чем то, что его «сумасшедший» роздал на паперти 36 рублей нищим и «пошел домой пешком, разговаривая с народом». Иллюзорность и абстрактность положительной «веры» великого художника мстила за себя, неизбежно внося в реалистическое повествование фальшь и столь ему несвойственное насилие над правдой жизни. От этого писатель стремился освободиться в лучших произведениях. «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерово соната» и роман «Воскресение» остались без той второй части, которая должна была быть посвящена описанию нового, праведного жития героя.

«Записки сумасшедшего» не удовлетворили Толстого, и уже в период работы над ними в сознании писателя наметились контуры замысла другого, близкого к ним произведения. «Либо смерть судьбы», либо «Записки несумасшедшего», — записывает он в своем дневнике (т. 49, стр. 87). Оставшийся незавершенным этот этюд, в какой-то мере носивший характер эксперимента, открыл собой давно сдерживаемый шлюз творческой энергии, ибо содержал в себе в потенции замыслы ряда будущих толстовских шедевров. Вообще в писательской биографии Толстого периода 80-х годов наблюдается проявление своеобразного закона цепной реакции, когда из одного произведения как бы рождается другое, его дополняющее и развивающее, когда намеченное пунктиром в

одном становится главным содержанием другого, возникающего вслед за первым.

В такой своеобразной форме проявилось стремление писателя к эпической полноте охвата действительности, к широте и глубине ее познания.

Преемственная связь между «Записками сумасшедшего» и «Смертью судьбы», получившем впоследствии название «Смерти Ивана Ильича», очевидна. Биография Ивана Ильича Головина это, в сущности, более развернутая биография героя «Записок сумасшедшего». То же механическое прохождение сквозь все круги земного ада: гимназия, университет, а затем различные чиновничьи канцелярии. Покорный всем незыблемым параграфам традиционного кодекса барской жизни, он также свой жизненный путь совершает по негласному, но общепринятому уставу: учится, служит, женится, развлекается, и поглощен, главным образом, заботами о карьере, о своих материальных интересах. В первых вариантах этой повести даже сохранялась жанровая преемственность от «Записок сумасшедшего». Первоначально рассказ велся от имени чиновника Творогова (в позднейших редакциях именуемого Петром Ивановичем), в руки которого попадает дневник скончавшегося Ивана Ильича, куда он заносил записи о своих думах и переживаниях в дни предсмертной болезни. В процессе работы Толстой отказывается от мысли дать «описание простой смерти простого человека, описывая из него» (т. 63, стр. 282), отказывается от сковывающей его формы изложения в виде двух автобиографических записок. В окончательной редакции он приходит к объективному повествованию, в котором он смог не только реализовать свое стремление «рассказать историю жизни Ивана Ильича», но зажечь перед ним «свет истины» и этого, по выражению критика К. Леонтьева, «прозаического и дюжинного героя... довольного своей буржуазностью» (К. Леонтьев, О романах гр. Толстого, М. 1911, стр. 59), возвысить над своим окружением и тем самым совершить суд над буржуазно-эгоистическим индивидуализмом. Толстой создает потрясающее по силе и глубине критики бюрократической России и нравственного пафоса произведение, в центре которого судьба как бы маленького Каренина. Его жизнь, по словам писателя, была «самой простой и самой обыкновенной» и вместе с тем «ужасной» и «мертвой». Толстой внимательно исследует его биографию для того, чтобы обнаружить истоки этого «омертвения». И лишь в детстве, когда Иван Ильич еще не был отчужден от своей естественной сущности, близок к своей

природе, находит в нем Толстой проявление живых чувств, душевности. «И что дальше, — замечает писатель, — то мертвее». Окончательное омертвление наступает тогда, когда он подпадает во власть бюрократической служебной машины, превращается в предмет, ценность которого определяется не его чисто человеческими качествами, а занимаемым местом на служебной лестнице. В одной из редакций было прямо сказано: «И он ехал, везя себя на базар, кому понадобится, кто даст больше» (т. 26, стр. 513), а в окончательном тексте повести мы читаем о том, с какой энергией борется Головин «за место в пять тысяч». Омертвление человеческой личности, ее тщеславная озабоченность исключительно материальными интересами, ее глубочайшее равнодушие к другому живому существу, ее рабская покорность всему общепринятому, закосневшему, в трактовке Толстого, — мрачный итог извращенного общественного порядка. Подробно останавливаясь на служебной деятельности Головина, в которой исключалось все «сырое, жизненное», «человеческое» противопоставлялось «служебному», писатель обнажает всю холодную бездушность государственного аппарата самодержавия. Для Головина, как и для других больших и малых винтиков огромного механизма власти, поработившего народ, главное — усвоить «прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение». В одном из вариантов повести Толстой явственно обозначил политический смысл своей критики мнимой, мертвенно пустой службы Ивана Ильича как критики правительственного либерализма. Недаром он связывает служебные успехи прокурора Головина с «новыми судебными учреждениями» и с тем, что он «нес знамя порядочности и прогресса», европеизма и либеральности (т. 26, стр. 511).

В своей повести Толстой развертывает панораму всей жизни Ивана Ильича, чтобы убедиться в том, что мертвы все стороны его бытия, все проявления его личности, скованной ложной моралью, нормами и догмами, враждебными подлинной природе человека. Так же формально-бюрократически, без «личного воззрения», совершается такое глубоко личное событие его жизни, как женитьба. Он женится не потому, что им овладела любовь, душевное влечение именно к этой женщине, со всем неповторимым ее индивидуальным своеобразием. Иван Ильич женится потому, что «он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вме-

сте с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным». И семья, от которой, как от службы, он требовал только «приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением», не могла дать ни душевной привязанности, ни тепла, ни богатства чувств и переживаний, ни поэзии. Но для того, чтобы Иван Ильич постиг, что вся жизнь была «не то», что за «мастерством ведения дел», за буржуазной респектабельностью семейного быта, за мнимым товариществом, которое сводилось к игре в винт и незримому соперничеству, скрывалась ложь, обман, поругание человеческой личности, Толстому необходимо было оторвать его от земли. Так возникает специфическая для многих его повестей ситуация: катарсис, нравственное прозрение происходит в предвидении скорого перехода в небытие, тогда, когда в свете новой познанной истины можно лишь обозреть и осудить свое прошлое, но уже нет возможности делать какие-либо практические выводы на будущее. В этом проявились бесперспективность и абстрактность религиозно-философского учения Толстого, не дающего выхода в жизнь, не указывающего пути уничтожения всех тех неблагоприятных обстоятельств, из-за которых омертвела и оскудела жизнь Головина. Толстой убежден, что плоть, чувственные страсти и потребности находятся в непримиримой вражде с духовной субстанцией человека и поэтому, с его точки зрения, «воскресение» человека, его возвращение к своей истинной природе, к человечности произойдет только тогда, когда он будет свободен от своей материальной оболочки, от власти житейских интересов и влечений.

Так в тисках собственных противоречий билась мысль великого художника-гуманиста, ограниченного своим идеалистическим мировоззрением, своей иллюзорной верой в то, что идеальное жизнеустройство без жестокой взаимной вражды может осуществиться только при отказе от полного и многообразного удовлетворения всех материальных потребностей человека, от общественной борьбы.

В своеобразии философии Толстого, в его убеждении в том, что не в социальной активности народа, а в духовном воскресении личности источник обновления всей жизни, таится разгадка того, почему так пассивны, кротки и безмолвны его Герасимы и Степаниды, Сергей и Никиты. Когда в дни своей роковой болезни умирающий судья страдал от того формально-бюрократического отношения к себе, которое он признавал нормальным в здоровом состоянии, страдал от одиночества, холодного равнодушия

своих близких, то один только слуга Герасим внимал его преисполненной муки душе. Он «один не лгал... один понимал, в чем дело... и просто жалел исчадшего, слабого барина». Герасим так же, как слуга Сергей в «Записках сумасшедшего», не захвачен «безумием мира», чужд всей грязной игре, которая ведется наверху. Оба они сохранили человечность, нравственность, душевную целостность, но в то же время они лишены самосознания, представления о собственном униженном состоянии, умиротворены и не участвуют в развитии повествования, в движении сюжета, не создают конфликта.

«Смерть Ивана Ильича» по глубине обобщений, по многогранности освещения различных сторон действительности, по драматической силе конфликта личности и среды занимает центральное место в творчестве Толстого 80-х годов. История жизни и смерти одного «обыкновенного» чиновника, рассказанная художником, искренне убежденным в ценности каждой человеческой жизни, в ее высоком назначении, прозвучала не только как осуждение буржуазно-дворянского общества России, но и буржуазного общества вообще.

Творческим интересам Толстого в пору, последовавшую за происшедшим в нем идейным переворотом, чрезвычайно близкой оказалась лежавшая с 1863 года рукопись повести «Холстомер». Наивное, непосредственное, остраненное сознание Холстомера, олицетворяющего собой природу, позволило писателю на языке искусства раскрыть всю противоестественность существования собственности, ее враждебности всему живому. «Патриархальная толстовская идеология», с ее «полным самого глубокого чувства и самого пылкового возмущения» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., изд. 5, т. 20, стр. 21) обличением капитализма, для своего выражения требовала именно такого чистого, не опутанного условностью сознания. Вот почему, когда в руках писателя оказалась тетрадь со старой рукописью, он вдохновенно принялся за работу над ней. По словам М. А. Стаховича, он говорил, «что после тяжелого труда многолетних писаний философских статей начал писать литературную вещь, он легко и вольно чувствует себя и, точно купаясь в реке, размашисто плавает в свободном потоке своей фантазии» («Литературный вестник», 1903, № 7-8, стр. 256). Сохранив старую композицию, сюжетную линию и некоторые элементы своего прежнего стиля (эпическую обстоятельность, поэзию чувственных отношений, лирический пейзаж), Толстой при переработке углубляет критическую направленность произведения,

акцентирует тему трагической судьбы бесправного трудового народа и уродливости праздной жизни господ, усиливает тему ответственности, как главной причины дисгармоничности общества¹. При переработке в образе коняги усилены мужицкие, народные черты, и не случайно Толстой в наборной рукописи даже восстанавливает исконное имя реального мерина, прототипа «Холстомера» — «Мужик Первый», сын «Бабы», — заново пишет сцену смерти лошади и эпилог.

Когда фантазия писателя создавала перипетии судьбы Холстомера, перед его взором стоял образ попранного, униженного, порабощенного земледельца. Поэтому с такой силой в повествовании о жизни одной лошади подчеркивается противоестественность, неразумность, не вызванного, казалось бы, никакой объективной необходимостью существования собственности. Как и всякое живое существо, мерин был рожден для любви, радостного восприятия красоты мира, для выполнения естественных законов природы, но от мира живых и всем ему равных он был отделен столь несущественной деталью, как пежина. Пежина в рассказе Толстого превращается в некий символ, за которым — пылкое возмущение неравенством, убеждение в том, что не должно быть на земле «пегих». «Я был пегий, — говорит о себе Холстомер, — я был мерин, и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежал не богу и себе, как это свойственно всему живому». Из-за пежины он встретил «такое странное презрение в людях», из-за нее случилось с ним «странное неожиданное несчастье» и состоялось «какое-то особенное положение на заводе». Только потому, что он пегий, он становится вещью, которая переходит от конюшего к барышнику, от барышника к гусарскому офицеру, от последнего к старушке, от того, что он пегий, его калечат, уродуют и обрекают на «труд, унижение, труд...». Мужичким недоумением, наивностью патриархального сознания проникнуты размышления мерина о странных, считающихся очень важными «словах: мой, моя, мое, — которые говорят про различные вещи, существа, предметы, даже про землю, про людей и про лошадей». Вся повесть — это также и апофеоз коняги, чьи «божьи жизни» были возложены на алтарь тяжкого труда и покорного служения людям. Даже после смерти они продолжали свою службу добру, участвуя в вечном круговороте

¹ См. об этом статью Л. Д. Опульской «Творческая история повести «Холстомер» в «Литературном наследстве», т. 69, кн. 1, М. 1961.

мировой жизни. Но вместе с тем в завершающем, поэтическом и эпически величественном эпилоге проявилась философия непротравления злу, примирения с несправедностью, извращенностью социальных отношений, против которых вопиет вся судьба Холстомера.

И. А. Бунин полагал, что «Холстомер» с полным основанием можно было бы озаглавить «Две жизни и две смерти». Одна из них — жизнь пегого мерина, а другая — гусарского офицера Серпуховского, которые резко, контрастно противопоставлены друг другу. В трактовку образа Серпуховского писатель при переработке внес серьезные изменения. Серпуховской уже не бесшабашный, беззаботный, веселый и добрый малый, каким он изображался в первоначальном варианте, а никчемный, живущий праздной, пустой жизнью барин. В его характеристике Толстой прибегает к сатире, обличительной интонации, особенно усиленной тем, что в ряде эпизодов он показан «глазами» разумного, не испорченного цивилизацией существа — Холстомера. Серпуховской с его мертвой, бессмысленной жизнью, «грязной старостью» и никчемной смертью рассматривается писателем также как жертва собственности, своих противозаконных привилегий, давших ему право жить за счет чужого труда, нарушать вечные и обязательные для всех законы морали и справедливости и вследствие этого опуститься и утратить все человеческие черты и в жизни и в смерти быть только «телом».

Так написанная более двадцати лет назад, но переработанная и озаренная светом нового мирозерцания писателя повесть «Холстомер» органически вошла в его прозу 80-х годов.

3

Вскоре после окончания «Холстомера» Толстой набрасывает первую редакцию нового сочинения — «Крейцеровой сонаты». Началась длившаяся почти два года мучительная работа писателя над одним из самых сложных его произведений «про эту любовь ихнюю». Уже в описании мертвенно-рассудочного, делового брака Ивана Ильича, скучных и преисполненных прозаических забот и интересов буднях его семейного быта, затаенной вражды супругов предчувствовалась возможность появления в творчестве Толстого самостоятельного произведения на «семейную» тему. В «Смерти Ивана Ильича» «про эту любовь ихнюю»

говорилось лишь бегло, вскользь, не она послужила там той призмой, сквозь которую всматривается писатель, чтобы судить о степени человечности и нравственности современного российского буржуазно-дворянского общества. То, о чем лишь бегло, пунктирно намечалось в повести об одном судейском чиновнике, стало главным содержанием «Крейцеровой сонаты».

Проблема «семейного счастья», нравственности и честности в сфере интимных и личных отношений на протяжении всей жизни особенно привлекала Толстого. «Отношение мужчины к женщине, — писал К. Маркс, — есть *естественнейшее* отношение человека к человеку. Поэтому в нем обнаруживается, в какой мере *естественное* поведение человека стало *человеческим*, или в какой мере *человеческая* сущность стала для него *естественной* сущностью, в какой мере его *человеческая* природа стала для него *природой*» («К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», изд-во «Искусство», М. 1957, т. I, стр. 247).

Художник необычайно остро, пристального интереса к судьбам человечества, для которого главным критерием оценки цивилизации и прогресса является их соответствие «человеческой природе», его «естеству», Толстой не мог оставаться равнодушным к тому, в каком соотношении находятся прогресс, цивилизация и «естественнейшее отношение человека к человеку», то есть брак, семья, любовь.

Возможность таких отношений, какие складывались в семье Ростовых, старых и молодых, Щербацких, Левниных, возможность отношений, основанных на традициях, на гармонии внутрисемейных интересов, при которых, с точки зрения Толстого, человек не отчуждается от своей собственной природы, не посягает на права другого, а выполняет свое назначение продолжать род, и главное, не обособляется от мира, от народа, — эта возможность в известной степени и определяла симпатии писателя к патриархальному строю жизни.

Новый буржуазный порядок, жестокий и бесчеловечный, вызывал его ненависть и отвращение еще и потому, что именно при этом порядке неизбежны такие трагедии, как трагедия свободного, основанного исключительно на страсти, союза Анны и Вронского, — трагедии, превратившей отношения Анны с Вронским в «поединок роковой», в постоянную драматическую борьбу за «обладание» друг другом, извратившей ее материнство и завершившейся ее гибелью. Толстой зорко разглядел, что в новом, основанном на собственности строе человек утрачивает

присущую старому, патриархальному миру возможность в своем «индивидуальнейшем бытии» остаться «общественным существом» (там же, стр. 247).

Своеобразным продолжением исследования семейной проблемы, которая так многосторонне и в тесном переплетении с другими общественно-значительными, эпохиальными проблемами освещалась в романе «Анна Каренина», явились две повести Толстого: «Крейцера соната» и «Дьявол».

Приступив к работе над первой из них — «Крейцеровой сонатой», Толстой первоначально весьма суженно представлял себе свою творческую задачу. Несомненно под влиянием переписки с Чертковым, в которой живо обсуждались проблемы отношения к браку, к чувственной любви, он задумывает произведение на «тему половой любви». Даже когда Толстой после некоторого перерыва вернулся к своему старому замыслу, то он не изменяет своему намерению писать «о любви плотской, о половых отношениях в семье» (т. 86, стр. 224). Поэтому и источник драмы современной семьи, извращенности, аморальности отношений между мужчиной и женщиной Толстой вначале находил исключительно в плоти, во власти страшной стихии чувственных желаний, в коварных шутках «страшного дьявола, который, когда явился повод, сорвался с цепи и пошел чертить» (т. 27, стр. 577).

Вот эта ограниченность первоначального замысла ставила писателя в чрезвычайно затруднительное положение, осложняла его творческую работу, вынудила его пройти через восемь редакций, создать несколько вариантов сюжетной коллизии, менять характеристики действующих лиц. Большие трудности испытывал Толстой в работе над образом жены Позднышева. Толстой не сразу уяснил себе, какова ее роль в драматической коллизии семьи Позднышевых. Поэтому то она грешная, «плотская», «зверь как зверь, хороший зверок, ласковый, хитрый, красивый, умный» (т. 27, стр. 367, первая редакция), то, наоборот, она «добрый, великодушный, почти святой человек» (т. 27, стр. 415), то она явственно изменяет мужу с художником и Толстой погружается «в писание повести о том, как муж убил неверную жену» (См. В. В. Розанов, Литературные изгнанники, т. I, СПб. 1913, стр. 184). Не удовлетворенный таким «адольтерным» поворотом повествования, Толстой нащупывает иное, более объективнее и значимое объяснение происшедшего, — в нарушении женой Позднышева законов природы, рода: «Надо все теперь сначала поправить, — записывает он 2 июля 1889 г. в дневнике. — Запре-

щение рожать надо сделать центральным местом. Она без детей доведена до необходимости пасть» (т. 50, стр. 102). Постепенно в повесть входила острая социальная проблематика, тема «дьявола» переплеталась с обличением социального строя жизни господствующих классов. И в записи, предшествующей одному из последних вариантов, мы читаем: «*Вся драма повести, все время не выходящая у меня, теперь ясна в голове. Он воспитал ее чувственность. Доктора запретили рожать. Она напитана, наряжена и все соблазны искусства (подчеркнуто мной. — С. Р.). Как же ей не пасть? Он должен чувствовать, что он сам довел ее до этого, что он убил ее прежде, когда возненавидел...*» (т. 50, стр. 103).

Параллельно претерпевал некоторые изменения и образ Позднышева. В первой редакции он горожанин, человек интеллигентного труда, а начиная со второй он уже помещик. Правда, его человеческий и нравственный облик принципиально не менялся, так же как не менялась его нервно-взволнованная интонация, но значительно расширялся диапазон вопросов, затрагиваемых им в своей исповеди, углублялась мотивировка событий. Сохранялась и становилась более резкой ироническая критика либерализма, представленного в лице адвоката и передовой дамы, защищающих «европейский взгляд на брак», за которым писатель уже разглядел жизненную грязь, пустую словесную формулу, равнодушие к большим и насущным проблемам народной жизни.

Для Толстого трагедия Позднышева, дьявольское наваждение, под воздействием которого он убивает свою жену, мать пятерых детей, — печальный результат гибели патриархального уклада, разъединения людей, извращения «естественнейшего отношения мужчины к женщине». «Мы живем в безнравственном мире», «мы не нравственные люди», — произносит Позднышев. Безнравственность современного жизнеустройства в том, что произошло отчуждение человека от своей собственной природы, превращение его в вещь, в предмет потребления. Все продажно: продается любовь, женщина стала товаром, объектом купли и продажи, продается труд, даже сама природа стала собственностью. Нравственная проказа проникла в мир собственников, разрушила и уничтожила естественность всех человеческих отношений и отношений полов между собой. «Жизнь наших высших классов... ведь это один сплошной дом терпимости», — вкладывает писатель в уста Позднышева свою излюбленную мысль, которая конкретизируется в тексте повести. Подтверждается эта мысль тем, что, с одной

стороны, существуют господствующие классы, у которых «избыток пищи» и «праздная жизнь», разврат, паразитическое существование, а с другой стороны — «миллионы людей, поколения рабов гибнут в... каторжном труде». Подтверждается тем, что и брак превратился в сделку, прикрывающую грязную развращенность мужчины, привыкшего относиться к женщине только как к предмету наслаждения, как товару, и бесправие женщины, скрытое за мнимым господством в любви. Такова та исторически справедливая мотивировка драматической истории Позднышевса, придающая повести реалистическую достоверность и содержательность.

Но есть в повести и другая сторона, являющаяся проявлением слабостей мировоззрения Толстого. Писатель не только отвергает «ихнюю любовь», любовь-сделку «для удобства жизни», но в полемике с нею приходит к проповеди целомудрия, воздержания, отрицания любви вообще, как проявления греховности плоти.

«Человек, как животное, подчиняется закону борьбы и половому стремлению для усиления рода; как разумное, любящее, божественное существо, он подчиняется закону обратному», — записывает он в своем дневнике (т. 51, стр. 43). Эта мысль проходит через все повествование, и она, собственно, станет основной и в послесловии к «Крейцеровой сонате». Толстой пытается возложить на материальную субстанцию человека вину за пороки общества; в ней, в присущих ей «страстях» — алчности, суетности, жажде наживы, потребностям наслаждения, чувственных радостей, усматривает писатель причины появления «соперновательного» жизнеустройства, капиталистического строя. Его проповедь аскетизма, воздержания от всяких земных благ и радостей, представляла собой противоречивую критику буржуазного прогресса и цивилизации. Из всех страстей самой страшной и эгоистической, стоящей на пути к братскому единению людей, казалась Толстому «половая плотская любовь», страсть, которая посягает на права другого существа, требует безоговорочного обладания им и по своей природе является собственнической. В одной из редакций «Крейцеровой сонаты» писатель прямо говорит: «печерные супруги гораздо лучше живут... не испытывают отравляющего чувства общности... и не смотрят друг на друга как на собственность» (т. 27, стр. 400—401). А в другой мы читаем: «Брак — приобретение собственности», а «мучения ревности» — проявления «негодования на покушение прстив... законной собственности, купленной... дорогой ценой» (т. 27,

стр. 378—379). В повести постоянно подчеркивается, что владеющий супругами «дьявол», другими словами, «веления животного человека», ставит их в отношения постоянной взаимной борьбы, превращает в «двух ненавидящих друг друга колодников». В своем последовательно-отрицательном отношении к материально-чувственному началу Толстой отвергает также и искусство, «страшную власть музыки», которая наряду с другими причинами будто погубила жену Позднышева.

Так справедливая критика буржуазного эгоизма и индивидуализма, бесчеловечности и безнравственности буржуазно-дворянского общества, защита писателем подлинной человеческой любви приняла парадоксальную форму. Долой вообще всякие страсти, потому что в «безумном мире» они источник бедствий и страданий, долой материальные блага, так как народ лишен права ими пользоваться, долой цивилизацию, ибо она отчуждена от трудового народа, и долой вообще всякую любовь, брак, семью, ибо они приобрели форму, в которой «естественное поведение человека» перестало «быть человеческим». И только после преступления впервые увидел Позднышев в своей умирающей жене равноправную живую человеческую личность.

Так защищал Толстой свой идеал аскетического христианского брака, то, что он выразил эпитафией к своей повести, смысл которого сам раскрыл: «Глядишь на женщину как на предмет наслаждения, хотя бы то была, и даже тем более, если это твоя жена, то ты прелюбодействуешь и грешешь. При исполнении закона хлебного труда совокупление имеет цель вне личного наслаждения — помощники, продолжатели, но при избытке — один разврат» (запись в дневнике от 23 августа 1889 г., т 50, стр. 126).

Позднышев, переживший страшное нравственное потрясение, убежден, что он «увидел все в другом свете» и освободился от «пучины заблуждения», в которой жил до сего времени. Но писатель, извлекая своего героя из одной «пучины заблуждения», вверг его тут же в новую. И сам Толстой чувствовал, что логика его рассуждений не всегда последовательна (и вследствие этого рассказ ведется то от лица героя, то от лица самого автора), что в повести борются два плана: один — непосредственно художественный, новеллистический, и второй — аналитически-публицистический. Вот почему он после завершения труда испытывает такую глубокую неудовлетворенность. «В художественном отношении я знаю, что это писание ниже всякой критики, — писал он Н. Н. Страху 17 ноября 1889 г., — оно произошло двумя при-

емами, и оба приема несогласные между собой, и от этого то безобразие, которое вы слышали» (т. 64, стр. 334). И хотя «Крейцера соната» одно из самых тенденциозных и публицистических художественных произведений Толстого, все же оно потребовало от писателя еще и специального послесловия, в котором он последовал совету В. Г. Черткова «в заключение прибавить в какой-нибудь форме... более всестороннее освещение вопроса» (т. 86, стр. 273).

Так возникло это «Послесловие» — догматическое сочинение, аскетическая проповедь отказа от всех порывов живой плоти, которые привносят в бытие высокую радость, могучую творческую энергию, богатство ощущений и переживаний.

Этим послесловием писатель как бы стремился зачеркнуть «Крейцерову сонату», пафос которой составляла великая мечта художника о цельном, гармоническом общественном строе, о неомраченной, истинной любви людей, идущих навстречу сближению по зову своей природы, чуждых всяких расчетов. Вот это-то и придало произведению Толстого такую страстность, взволнованность и полемическую запальчивость.

С «Крейцеровой сонатой», с проблемой нравственности «естественнейших» отношений человека к человеку, всем своим содержанием, направлением мысли связана повесть «Дьявол»; недаром она была написана с лихорадочной быстротой в самом разгаре работы над «Крейцеровой сонатой».

Еще когда Толстой в «Анне Карениной» описывал женитьбу Левина, то уже тогда перед ним мелькала мысль о безнравственности мужчины, воспитанного в среде, где узаконен разврат, мысль о том, что вся добрачная жизнь молодого мужа не может быть безразлична по отношению к новой, создаваемой им семье. Но там он ограничился лишь небольшим эпизодом, в котором речь шла о дневнике молодости, показанном Левиным Кити накануне свадьбы, и рассказом о ее страданиях. Тогда писатель еще не увидел в этом источник драматического конфликта. Эта возможность прорывалась уже в работе над «Крейцеровой сонатой». Во всех ее редакциях варьируется тема «прошлого» Позднышева, с которым он знакомит свою жену, показывая ей дневник. На последних стадиях писания появляется даже намек на «какую-то последнюю связь», о которой он «чувствовал необходимость ей сказать». Но этот сюжет не получил своего развития, и, наоборот, подчеркивается, что в прошлом у него не было исключительных связей и отношений. «Я избегал тех женщин, — говорит о себе

Позднышев, — которые рождением ребенка или привязанностью ко мне могли бы связать меня. Впрочем, может быть, и были дети и были привязанности, но я делал, как будто их не было. И это-то я считал не только нравственным, но я гордился этим». Хотя таившаяся в словах Позднышева реальная и драматическая коллизия здесь еще писателем не реализуется, но необходимые выводы уже делаются. «А ведь в этом-то и главная мерзость, — говорит Позднышев. — Разврат ведь не в чем-нибудь физическом, ведь никакое безобразие физическое не разврат; а разврат, истинный разврат именно в освобождении себя от нравственных отношений к женщине, с которой входишь в физическое общение».

В «Крейцеровой сонате» внимание писателя было устремлено на раскрытие трагизма самого брака в среде «образованных классов», в котором греховность прошлого Позднышева проявлялась косвенно, в извращенности его сознания, психологии, в неуважении к женщине, к ее духовной личности. За пределами повествования осталось то, что безмерно волновало и тревожило Толстого, то, что с такой могучей силой прорвалось и вылилось в новом произведении — «Дьяволе». В отличие от Позднышева, Иртеньев оказался не в состоянии после женитьбы «делать вид, как будто не было привязанностей». Его свободное от нравственных обязательств сближение с крестьянкой Степанидой жестоко отомстило за себя, превратило его жизнь в ад и привело к гибели. Драма Иртеньева, по Толстому, в том, что он нарушил закон человеческих отношений, не увидел в другом такого же человека, каков он сам. Степанида для него не личность, не индивидуальность, а лишь вещь, предмет удовлетворения его физиологических потребностей, служанка сладострастия. Сблизившись с ней, он вначале даже «хорошенько ее не рассмотрел», он и не называет эти «сношения» связью, ему и «в голову не приходило, чтобы эти отношения... имели какое-нибудь для него значение». Он их игнорирует и строит свою жизнь так, как будто не существует Степаниды и не было никогда встреч в шалаше. Но свобода Иртеньева мнимая; отношения, которым он не придавал никакого значения, именно в силу того, что они были «естественнейшей формой связи между мужчиной и женщиной», не могли быть полностью вычеркнуты из его жизни, они-то разверзли такую стихию чувств, разбудили в нем такого «дьявола», с которым он оказался не в силах справиться. Они стали «дьяволом» именно потому, что с самого начала было совершено насилие над природой, женщина превращена в предмет чисто чувственной потребности, и поэтому ее

власть над ее потребителем приняла такой откровенно чувственный характер.

В «Дьяволе» нет драмы двух жизней, двух любящих существ, нет в нем конфликта, подобного конфликту между Нехлюдовым и Катюшей. Внешне его содержание — исключительно драма одного Иртеньева. Степанида в изображении Толстого не возвышается над своей средой. Жизнь свою она воспринимает как должное, как нормальное. Она не предъявляет никаких прав на барина, хотя Толстой тонко, одним штрихом дает почувствовать, что и для нее эти лесные встречи не прошли бесследно. Толстой рисует сцену, когда опоздавший на свидание Иртеньев не застаёт Степаниды, но находит на том месте, где она его ждала, поломанные ветви, обрывки цветов — следы явного волнения, трепетного нетерпения, с каким она его ждала. Но тем не менее на протяжении всего повествования Степанида — это сама природа, естественная, спокойная, как будто даже равнодушная, не возвышающаяся над собственным сознанием, не подымающаяся для того, чтобы выразить протест, возмущение собственным бесправием и униженностью. За нее это делает автор повести. Не случайно в те дни, когда он торопливо и взволнованно писал «Дьявола», в его дневнике появилась запись: «Все ходит и тревожит мысль о том, что рабство, стоящее за нами, губит нашу жизнь, извращает наше сознание жизни» (т. 50, стр. 178).

Под пером Толстого драматическая история Иртеньева приобретает гуманистическую и социально-обличительную трактовку. «Дьявол», погубивший Иртеньева, — это не похотливость и грубость самой природы человека, не только подчеркиваемая Толстым «животность», а трагическое следствие извращенности, уродливости, «безумия» собственнического общества, с его социальным неравенством, рабством, овеществлением живого существа; он — мистифицированное выражение насилия, совершенного над собой и другим человеком.

Демократическая направленность повести проявляется еще и в том, как обрисована в ней барская жизнь семьи Иртеньевых, с какой сатирической насмешливостью Толстой описывает устои дворянского мира, с его пустопорожними заботами, праздностью, фальшью и эгоистической самовлюбленностью. Брак Иртеньева на узколицой и бледной Лизе, совершившийся по всем канонам и уставным положениям, принятым в дворянском мире, и внешне вполне благополучный, оказался непрочным потому, что над ним нависла мрачная тень извращенного рабством порядка и сознания,

Оба варианта конца повести — и тот, где Иртеньев убивает себя, и тот, где он губит Степаниду, свидетельство непримиро-враждебного отношения Толстого ко всем видам угнетения и бесчеловечности, но также и безысходности его идейных исканий.

Повестью «Дьявол» Толстой завершил целый цикл повестей, единых по своей идейной направленности, по кругу затрагиваемых проблем, по жанру, а главное, по своему высокому нравственному потенциалу.

4

Логикой собственного творчества Толстой был подведен к необходимости акцентировать свои положительные идеалы, своим искусством утверждать истинность и действенность неревolutionного способа преобразования общества. «Политического изменения социального строя не может быть. Изменение только одно нравственное» (т. 50, стр. 41—42), — формулирует он в дневниковой записи 26 февраля 1889 года свою главную мысль. И, встревоженный катастрофическим ухудшением положения народа, предчувствуя неизбежность социальных кровавых потрясений, Толстой в 90-е годы стремится реализовать те замыслы, которые роились в его сознании еще ранее, но теперь стали настоящей потребностью. Когда он писал «Крейцерову сонату», то записал в дневник: «К роману или драме. *«Духовное рождение»*. Ему открылась ложь его жизни и истина истинной, и он избирает первый попавшийся путь: отдавать нищим, ходить за больными, учредить общину, проповедовать и ошибаться...» (т. 50, стр. 166). Но только после того, как он завершил свою художественную работу над исследованием нравственного состояния общества, он приступил к созданию образов людей, переживших «духовное рождение» и ищущих реальных путей служения людям, добру.

Параллельно Горькому, замышлявшему примерно в то же время «Фому Гордеева», в центре которого судьба «выломавшегося», отторгнутого из своей социальной среды героя, Толстой также по-своему пленен идеей художественного произведения о человеке, порывающем со своим привилегированным социальным положением, принятыми в его кругу моральными нормами и представлениями ради познанной им правды. «Юродивым» называет сам Толстой правдоискателя и подвижника, которого он стремится сделать центральной фигурой своих новых творческих начинаний.

В осуществлении подобного замысла писатель встретился с большими трудностями, натолкнулся на сопротивление жизненного материала. Остался незаконченным набросок повести «Мать», которая, по признанию самого Толстого, должна была быть «повесть вроде Ивана Ильича» (т. 51, стр. 33). Ее героиня, немолодая женщина, мать восьмерых детей, на склоне лет «прозревает» и начинает понимать, что ее материнское самопожертвование было бесплодным, ненужным. Дети выросли и стали чиновниками-карьеристами, развратниками, светскими кутилами, погрязшими в тенетах мелочных житейски-прозаических интересов. Чувствуя невозможность «направить свои чувства» на этих взрослых и чужих ей детей, она порывает со всей привычной ей обстановкой, людьми и обрекает себя на затворническую, монастырскую жизнь. Но ни образ утомленной жизнью, утонченной женщины-аристократки, ни монастырский вариант «ухода от всех» не позволял писателю реализовать замысел произведения о человеке, активно служащем добру. Поэтому Толстой вплетает в повесть историю учителя-разночинца Петра Никифоровича, именуемого им «древним мудрецом», с «кротостью и смирением бессознательного христианства», чья «нравственность жизни сводится к тому, чтобы как можно меньше брать от людей и как можно больше давать себя, свою душу». Он придерживается «первой платоновской добродетели — воздержания: спать на досках, носить один плащ, зимой и летом, есть хлеб с водой», и посвящает себя «деятельной любви, служению жизни, улучшению ее». Но и этот вариант добродетельной жизни, так же как тема матери, отрешившейся от семьи и детей, не был сюжетом, подходящим для интересовавшей Толстого проблемы.

Вслед за этим возникает замысел рассказа «Кто прав?», о котором Толстой сообщал Н. Н. Ге 8 сентября 1893 года: «У меня начат рассказ, очень меня занимающий, о детях богатых помещиков, принявших участие в помощи голодающим и увидавших всю ложь и лицемерие старших и возмущившихся против них» (т. 66, стр. 395).

Сохранившиеся фрагменты повестей «Мать» и «Кто прав?» свидетельствуют, что в них для писателя главными были процессы, совершавшиеся в дворянско-помещичьей среде, а точные по деталям, яркие, правдивые сцены с изображением беспросветной, страшной жизни мужика служили лишь фоном для аргументации психологических сдвигов в сознании «господ». Их жизнь писатель изображает с присущим ему реалистическим видением тончайших подробностей быта, отличным знанием психо-

логии, поведения, нравов, изображает так, что намечающееся прозрение богатой, красивой, избалованной Веры Спесивцевой обретает почву и доказательность. Ее разрыв с семьей, участие в помощи голодающим не кажется надуманной случайностью. Но тем не менее повествование было доведено лишь до того момента, когда наметился «кризис». «В Краснове, — читаем мы в последнем абзаце повести, — у Лужиных среди молодого поколения шла страшная работа: не только внешняя — хождения по крестьянским деревням и избам (хотя и этой было много), сколько внутренняя: перестановка всех оценок доброго и злого». Но то, что случилось после «перестановки», Толстым не было рассказано, и повесть осталась незавершенной.

И лишь спустя несколько лет, во время работы над «воскресением» Нехлюдова, писатель понял причину неудач своих замыслов сочинений о тех «господах», в ком пробудившаяся человечность властно потребовала ломки себя, своей жизни, ухода в народ. «Сейчас ходил гулять и ясно понял, отчего у меня не идет «Воскресение». Ложно начато. Я понял это, обдумывая рассказ «О детях» — «Кто прав?»; я понял, что надо начинать с жизни крестьян, что они предмет, они — положительное, а то тень, то отрицательное» (т. 53, стр. 69), — таков был вывод, сделанный писателем после нескольких своих неудач. Как известно, именно это важнейшее и принципиальное художественное открытие решило судьбу последнего романа писателя. Но до тех пор, пока оно не было еще сделано, «Мать» и «Кто прав?», вопреки намерениям автора, в какой-то мере приобретали характер семейной хроники, эпического рассказа о внутрисемейных конфликтах, психологических коллизиях, а сама народная жизнь оставалась на втором плане, безучастной к тому драматическому сюжету, который должен был бы определить все развитие содержания.

Обреченной на неудачу в силу тех же обстоятельств оказалась попытка Толстого рассказать о «воскресшем» самодержце, о «молодом царе», жаждущем «добра всем людям» и рвущемся к «простой человеческой жизни». Попытка тем более бесплодная, что весь рассказ о высвободившемся из-под царской мантии Человеке сопровождается «снами», преисполненными страшной правды о действительных страданиях, нужде народа, ограбленного царскими министрами, чиновниками, закабаленного стоящим над ним огромным и бездушным аппаратом государственной власти. Драма «молодого царя» померкла перед этой действительной драмой, и Толстой это почувствовал. Он не только не

смог кончить свой «ложно начатый» рассказ, но вслед за ним пишет резкую и гневную статью, в которой назвал «бессмысленными мечтаниями» всякие надежды и упования на милость «молодого царя», взошедшего на престол, — Николая II.

Повестью «Отец Сергей», над которой писатель работал с перерывами около восьми лет, завершаются опыты Толстого над созданием художественных произведений о «юродивых», христианских правдоискателях, отвергнувших проторенный «путь жизни». По признанию самого писателя, его новая повесть должна состоять из «истории жития и музыкальной учительницы» (т. 51, стр. 16), противопоставления истинного пути служения людям — «учительницы музыки» и ложного «жития» отца Сергия. Задуманная жизненная история должна была подтвердить мысль, что «нет успокоения ни тому, который живет для мирских целей среди людей, ни тому, который живет для духовной цели один. Успокоение только тогда, когда человек живет для служения богу среди людей» (т. 53, стр. 204). Уже эта конспективная запись в дневнике свидетельствует о противоречивости и иллюзорности той конечной цели, к которой должен будет прийти его герой, после того как он минует все стадии своих духовных исканий. Наиболее сильно, ярко и достоверно раскрыта Толстым невозможность сохранить «душевное спокойствие», живя для «мирских целей». С суровой обличительной силой показано, что везде Касатский сталкивается с моральной нечистоплотностью, жестокостью и обманом. Его любовь рухнула потому, что на его пути встал растленный российский монарх, столь обожаемый юным кадетом «любимый» царь, падкий до хорошеньких институток. Не дает удовлетворения и монастырское уединение, где хозяйничают «святые, воспитанные рабством» (т. 51, стр. 23), где все продажно, лживо, господствуют самые низменные страсти, непрекращающаяся боюба взаимных интересов, где парадностью и мнимой святостью маскируется пустота и равнодушие к страждущему народу. Отвратительный лик официальной церкви обнажен писателем с убедительной силой и правдой. Скитское уединение Касатского также изображено трезво-реалистически: трудное и мучительное затворничество оказалось ненужным подвигом, ибо оно послужило только «средством привлечения посетителей и жертвователей к монастырю» и ничего не дало людям.

В повести «Отец Сергей» особенно явственно проявилась противоречивость мировоззрения писателя. Повесть, в сущности, как бы разорвана надвое. С одной стороны — резко и сурово изображенная реальная действительность самодержавной России,

а с другой стороны — не соотношенная с ней духовная драма Касатского, развивающаяся в известной степени самостийно. Толстой создает образ незаурядного человека, правдоискателя, требовательного к себе, но движение его личности происходит по суженному кругу, подчинено законам «житийного» жанра. Все его силы направлены не на борьбу со внешним злом, не на бунт против увиденной им жизненной грязи, а на преодоление соблазнов и искушений, на борьбу с греховностью собственной природы. «Как только человек немного освободился от грехов похоти, так тотчас же он отступает и попадает в худшую яму славы людской» (т. 52, стр. 82) — таковы, с точки зрения Толстого, главнейшие опасности на пути к нравственному совершенству, подстерегающие человека, и с ними он сталкивает Касатского. Убежденный, что именно материальная сторона живого существа, присущие ему чувственные страсти, самый трудный преодолимый барьер на пути к «божьей жизни», Толстой в повести большое место отводит эпизодам, связанным с бунтом плоти, сценам искушения отца Сергия купчихой Маковиной и больной купеческой дочерью Марьей. И, по-видимому, сам автор испытывал известную неудовлетворенность тем характером, который принимало его произведение. Перерабатывая его в 1897 году, он усиливает его социально-обличительное содержание. Но тем не менее сохранялась та ее настроенность, о которой речь идет в одной из дневниковых записей, относящихся к «Отцу Сергию»: «Приступы половой похоти порождают путаницу мыслей, скорее отсутствие мыслей. Весь мир потемнеет; теряется отношение к миру. Случайность, мрак, бессилие» (т. 52, стр. 53). Таких страниц в повести, где «путаница мыслей», отсутствует «отношение к миру», есть иррациональный вихрь эротических желаний, много. Но если бы в повести властвовало только сознание героя, с его «мраком» и «бессилием», то она бы приблизилась к некоторым явлениям упадочной литературы начала XX века. Но «Отец Сергий» создан художником огромного нравственного пафоса, и весь жизненный путь Касатского просматривается им для того, чтобы возвеличить служение добру, страждущему человечеству, и вследствие этого его творение содержит и острую критику духовного угнетения, лжи и преступности церковного и мирского высшего света. Но отсюда и «кричащие противоречия» этого произведения, сочетание мятежного духа и проповеди юродства, смирения, апология «жития» Пашеньки, которая «живет для бога, воображая, что она живет для людей», возвеличение странничества, своеобразного религиозного «хождения в народ».

Толстой не считал свою работу над повестью законченной. «Хочется отделять», — признавался он в письме к В. Г. Черткову и находил, что сочинение только доведено до такой стадии, когда «связно и последовательно» (т. 88, стр. 274).

Из всех задуманных Толстым в 90-е годы повестей завершена была, в сущности, только одна — «Хозяин и работник». Писателю удалось найти такую ситуацию, в которой нравственное воскресение «хозяина» происходило не для себя, а для живого реального человека — «работника» и тем самым приобретало высокий смысл, разумную целесообразность. Найденная ситуация привлекла его еще и потому, что она дала ему возможность раскрыть свою иллюзорную веру в несущественность социальных барьеров между «хозяевами» и «работниками», возможность братства между ними. Но она же потребовала от художника изобличения всей остроты общественных противоречий, убедительных доказательств реальности того конфликта, который должен быть преодолен через духовное просветление. И последнюю задачу писатель выполнил с присущим ему реалистическим мастерством. Великолепное знание современной деревенской действительности, процессов, совершавшихся в ее недрах, всех порядков, обычаев, нравов позволили Толстому правдиво воспроизвести атмосферу жизни русской деревни конца века. Его купец Брехунов, циничный и расчетливый торгаш, охваченный предпринимательским ажиотажем — это, в сущности, новый «хозяин» деревни, тот же Разуваев и Колупаев, которых обессмертил Щедрин. Его отношение к батраку Никите изображено Толстым без всякой идилличности, это подлинная проза мира эксплуатации и наживы. Но в трактовке самого образа Никиты патриархальность мировоззрения писателя проступает весьма отчетливо. Никита чужд стяжательства, алчности и других пороков капиталистического мира, наложивших свою грязную мету на Брехунова, он «добрый», с «приятным характером», ловок и расторопен, но он неприхотлив, нетребователен и рабски покорен. Как положительное качество отмечает в нем Толстой то, что «он, как и все люди, живущие с природой и знающие нужду, был терпелив». Никита для него идеал крестьянского миропонимания, ибо «он чувствовал себя всегда в этой жизни в зависимости от главного хозяина, того, который послал его в эту жизнь». Юродивая проповедь непротивления злу насилием вынуждает писателя направить реальный, жизненный социально-острый конфликт не по своему собственному органическому развитию, а искусственно его смягчить,

нейтрализовать. Ледяное дыхание смерти в заснеженном поле «снимает» с Брехунова оковы его брэнной материальной плоти, освобождает от всех грязно-житейских низменных расчетов и корыстных интересов, составлявших содержание всей его жизни. «Просветленный», понявший, что в прошлом все было «не то», он становится человеком, почувствовавшим, что «он — Никита, а Никита — он». Торжественный мистический финал повествования, в котором «хозяин» испытывает братские чувства к своему работнику и ценой собственной жизни спасает его, носит ложный, догматический характер и противоречит всему «трезвому реализму» первой части.

В набросках «Записок сумасшедшего», которыми Толстой озаменовал новый этап своей творческой жизни, герой приходит к мысли, что «главное, истина того, что мужики... как мы, что они люди — братья». Эта мысль неотрывно преследовала Толстого и скрыто присутствовала во всем, что он создавал на протяжении первых десятилетий после «озарения», и наиболее явно она выражена во всей ткани повести «Хозяин и работник», ставшей последним звеном большого цикла взаимно связанных между собой творений Толстого.

«Стал думать, как бы хорошо писать роман de longue haleine ¹, освещая его теперешним взглядом на вещи. И подумал, что я бы мог соединить в нем все свои замыслы», — записал Толстой в своем дневнике 25 января 1891 года (т. 52, стр. 5—6). Такой роман был написан. Роман «Воскресение» не мог бы быть написан, если бы ему не предшествовал целый цикл завершенных и незавершенных повестей и рассказов, этюдов и набросков, в которых изображались коллизии и драмы, порожденные несправедливым общественным устройством, драмы, завершающиеся нравственным воскресением человека.

5

Новые художественные произведения Толстого, появившиеся после длительного перерыва, стали выдающимся событием литературно-общественной жизни России, объектом острой идейной борьбы и различных, порой резко противоположных истолкова-

¹ большого дыхания (франц.).

ний. Его наполненные живым и актуальным содержанием повести и рассказы жадно читались в самых различных общественных кругах, живо обсуждались в художественно-артистической среде.

С особым восторгом и интересом была встречена повесть «Смерть Ивана Ильича», которая произвела на многих читателей потрясающее впечатление. «Ни у одного народа, нигде на свете нет такого гениального создания, — писал друг Толстого критик В. В. Стасов сразу после прочтения повести. — Все мало, все мелко, все слабо и бледно в сравнении с этими 70-ю страницами. И я себе сказал: «Вот, наконец, *настоящее* искусство, правда и жизнь настоящая» (Л. Н. Толстой, и В. В. Стасов, Переписка, изд. «Прибой», Л. 1929, стр. 74). Художественную силу этого творения Толстого особенно остро почувствовали люди искусства. Композитор П. И. Чайковский записал в своем дневнике: «Прочел «Смерть Ивана Ильича». Более, чем когда-либо, я убежден, что величайший из всех когда-либо и где-либо бывших писателей-художников есть Л. Н. Толстой» («Дневники П. И. Чайковского. 1873—1891», ГИЗ, 1923, стр. 211). Художник И. Н. Крамской взволнованно писал П. М. Ковалевскому: «Это нечто такое, что перестает уже быть искусством, а является просто творчеством. Рассказ этот прямо библейский, и я чувствую глубокое волнение при мысли, что такое произведение снова появилось в русской литературе... Удивительно в этом рассказе отсутствие полное украшений, без чего, кажется, нет ни одного произведения человеческого» (И. Н. Крамской, Письма в двух томах, т. II, М. 1937, стр. 429).

Многочисленные дискуссии, разгоревшиеся на страницах русских журналов, были вызваны преимущественно различием отношения к идейному содержанию произведения, к той «истине», которую проповедовал Толстой в последние годы. Поэтому демократическая критика хотя и признавала, что Толстой создал «выдающийся литературный тип», который «в своих различных проявлениях охватывает самые разнообразные круги нашего «общества» (Дм. Струнин, «Выдающийся литературный тип», — «Русское богатство», 1890, № 4, стр. 118), и что «самое перерождение является результатом широкой критики современной жизни» («Русское богатство», 1888, № 1, стр. 195, рецензия А. Лисовского), но тем не менее стремилась парализовать вредные последствия религиозной проповеди писателя. Это сделал критик-народник Н. К. Михайловский, выступивший в 1886 году со статьями против социально-нравственной философии Толстого. В одной из

них он пытался несколько смягчить общий восторг, вызванный появлением повести. Он писал, что «Смерть Ивана Ильича», без сомнения, прекрасный рассказ, но «не есть первый номер ни по художественной красоте, ни по силе и ясности мысли, ни, наконец, по бесстрашному реализму письма» (цит. по т. VI Собр. соч. Н. К. Михайловского, СПб. 1897, стр. 378). При всем нашем несогласии с мнением Н. К. Михайловского, следует признать правомерность его выступления. Реакционная критика подняла большой шум вокруг повести Толстого для того, чтобы использовать его имя и его произведение для своих целей. Так, Ю. Елагин на том основании, что «трагедия Ивана Ильича» — в принадлежности к «мертвенному слою, оторвавшемуся от стихии народной» («Русский вестник», 1891, № 5, стр. 328), утверждал славянофильскую концепцию преклонения перед стихией народной жизни.

Крайне восторженный отзыв реакционного критика В. П. Буренина, находившего, что «это самый поучительный из всех рассказов, когда-либо написанных, и самый потрясающий», что «Толстой дал образчик такого глубокого реализма и такой глубокой неприкрашенной правды, какие едва ли отыщутся у величайших художников слова» (В. П. Буренин, Критические очерки. — «Журнальный поход против гр. Л. Н. Толстого», СПб. 1888, стр. 223), был вызван соображениями идейной борьбы. Его защита Толстого от критиков крайне правого лагеря, полностью отрицавших новое направление творчества писателя, а также от левой демократической, объясняется намерением «теоретические искания правды» истолковать как доказательство бесплодности «стремления к насильственным реформам», использовать имя Толстого в борьбе против революции. Недаром сам Толстой говорил о нем, что «он дерется мною» («Литературное наследство», № 37—38, стр. 239).

«Смерть Ивана Ильича» получила признательность и зарубежного читателя, приобрела мировую известность. По любопытному свидетельству Ромена Роллана, это «одно из тех произведений русской литературы, которые всего больше взволновали французских читателей» (Ромен Роллан, Собр. соч., Гослитиздат, 1954, т. 2, стр. 312). Там же он вспоминает: «Я сам был свидетелем того, с каким огромным волнением говорили о «Смерти Ивана Ильича» мои земляки — буржуа из Ниверне, которые до тех пор вовсе не интересовались искусством и почти ничего не читали» (там же, стр. 220).

Значительно более сложной была реакция на следующее произведение Толстого — на «Крейцерову сонату». Она вызвала целую бурю. Н. Страхов сообщал автору повести, что «Крейцера соната» «всех задела», «что целую зиму только об ней и говорили и что вместо «как ваше здоровье?» обыкновенно спрашивали: «читали ли вы «Крейцерову сонату?»» (Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Переписка, изд. о-ва Толст. музея, СПб. 1914, стр. 400—401). Отголоски споров и волнений, вызванных новым сочинением Толстого, слышатся также в письме В. В. Стасова к В. Г. Черткову от 26 декабря 1889 г.: «Ну и конечно, общий восторг! Только на первые 18 глав многие в претензии, зачем это трактат, а не сцены, подобные тем великим сценам, которые еще новый раз делают нашего Льва единственным в мире ровней и товарищем Шекспира. На мои глаза, эти последние главы (начиная с 18-ой) ни на единый волосок не уступят одному из величайших творений Шекспира — «Отелло» («Исторический архив», 1955, № 2, стр. 151). Но не все даже близкие Толстому писатели были столь восхищены повестью и не были так уверены в его превосходстве над Шекспиром. Так, поэт А. Фет писал Н. Страхову 26 января 1890 года: «Уже Тургенев упрекал Толстого в возне с самораскапыванием. Не новость, что его Левин, Оленин и т. д. он сам. Так и здесь человек копает собственную ревность. Неплохо копает ревность — Шекспир, но не у себя, а у Отелло» (Рукописный отдел ГЛБ). В другом своем письме, адресованном К. Р., он писал: «Это произведение, подобно другим его последним... тенденциозно, то есть старается иллюстрировать известную головную мысль...» («Русские писатели о литературе», Сов. писатель, Л. 1939, т. 1, стр. 434). Более сочувственно отнесся к повести А. П. Чехов, находивший, что «едва ли можно найти что-нибудь равносильное по важности замысла и исполнения». Он писал А. Н. Плещееву 15 февраля 1890 года: «Не говоря уж о художественных достоинствах, которые местами поразительны, спасибо повести за одно то, что она до крайности возбуждает мысль». Правда, при этом его возмущала «смелость, с какою Толстой трактует о том, чего он не знает» (А. П. Чехов, Полн. собр. соч., М. 1949, т. 15, стр. 15—16). Чехов имел в виду рассуждения писателя о воспитательных домах, различных медицинских проблемах. Но когда Чехов прочел «Послесловие», то он с возмущением воскликнул: «...К черту философию великих мира сего! Она вся, со всеми юродивыми послесловиями... не стоит одной кобылки из «Холстомера» (там же, стр. 241).

Следует заметить, что появление «Крейцеровой сонаты» вызвало ряд беллетристических полемических сочинений: например, переведенная с немецкого повесть «Ее «Крейцера соната», СПб. 1891, в которой вся описанная Толстым история рассказывалась от имени жены, Позднышевой; или повесть сына Толстого, Льва «Прелюдии Шопена» («Новое время», июнь 1898 г.), опровергавшая идеи отца.

Полемическое художественное произведение было написано также Н. С. Лесковым, познакомившимся с одним из рукописных вариантов повести. Его «Рассказы кстати (По поводу «Крейцеровой сонаты»)» («Нива», 1899, № 30), напечатанные посмертно, проникнуты стремлением раскрыть сложность положения женщины в семье, трагизм семейных коллизий.

Несмотря на шумную и бурную реакцию критики, тем не менее справедливы наблюдения М. де Вогюэ, писавшего: «На большую публику «Крейцера соната» имела мало влияния. Ее упрекают в преувеличении и неясности тезиса, в отсутствии заключений, жалеют, что она не дает тех артистических наслаждений, к которым приучили нас прежние произведения» («Русское обозрение», 1890, № 12, стр. 515). Действительно, в большинстве статей делался упрек в том, что это не художественное произведение, а «памфлет», причем страшный и безысходный. Критик «Русской мысли» М. А. Протопопов в статье «Психологический вопрос» писал: «это тяжелое, мрачное, страшное произведение, преисполненное злобы и человеконенавистничества... Позднышев не человек, не личность, не тип, а просто авторская марионетка». Протопопов обвиняет Толстого в том, что он «не ищет объяснения в общественных условиях жизни», «утратил всякое чутье действительной жизни», «видит только уголок жизни» («Русская мысль», 1891, № 8, стр. 124—125, 144). Н. К. Михайловский в своей статье «О Крейцеровой сонате» отказался от отождествления Позднышева и Толстого, призывал «смотреть на «Крейцерову сонату» не как на замаскированную публицистику», а «исключительно как на художественное произведение» (Н. К. Михайловский. Собр. соч., СПб. 1897, т. VI, стр. 764). Подчеркивая социальное и нравственное содержание повести, Михайловский в то же время высказывал свое несогласие с выводами Толстого, с его отрицанием брака.

Серьезную тревогу вызвала «Крейцера соната» в церковных кругах, усмотревших в ней посягательство на церковь, освященную ею семью, подрыв ее авторитета. Церковники проявили боль-

шую активность. Ими было выпущено множество брошюр, книг, отдельных статей, некоторые из них носили черносотенный и откровенно доносительский характер. Среди них выделяется брошюра профессора Казанской духовной академии А. Ф. Гусева «О браке и безбрачии» (Казань, 1891), автор которой предъявил Толстому обвинение в извращении христианства и в проповеди «своеобразной радикально-социалистической доктрины» (стр. 21).

Из художественных произведений, изданных Толстым за десятилетие (1885—1895), наибольший успех пришелся на повесть «Хозяин и работник». Газета «Неделя» сообщала: «Ни одно литературное произведение в России не распространялось с такой быстротой, как новый рассказ Л. Н. Толстого «Хозяин и работник» («Неделя», 1895, № 12).

Это же подтверждается письмом В. В. Стасова, который писал дочери Толстого Т. А. Сухотиной: «Мы тут все, вся Россия, а пожалуй, и вся Европа, обедаем теперь до обжорства, до положения риз новой книгой Вашего отца: «Хозяин и работник»... Какая скульптура!» (Сборник Гос. Толст. музея, Гослитиздат, М. 1937, стр. 274—275).

Споры вокруг повести, появившейся в середине 90-х годов, в период усилившейся социальной борьбы, приняли отчетливый политический характер. Спор шел о «дорогах», которые могли привести к разрешению социальных проблем. М. Протопопов, выступивший в «Русском богатстве» со статьей «Удобная мораль», прямо дал понять, что мораль Толстого «удобна» для хозяев, но «не усвоить ее тому, кто сознает в себе не только пассивную силу долготерпения, но и жаждет проявить свою личность в активных, ответственных действиях» («Русское богатство», 1895, № 4, стр. 177). В своем очередном обзоре «Литература и жизнь» Н. К. Михайловский заметил по поводу рассказа Толстого, что из повести можно сделать вывод, «что работником, батраком лучше быть, чем хозяином», но тут же иронически добавил: «Я боюсь, что ни хозяева, ни работники не поверят гр. Толстому» («Русское богатство», 1895, № 3, стр. 143).

Если демократическая критика направляла свои усилия на то, чтобы раскрыть иллюзорность и опасность философии Толстого, могущей ослабить силу народного сопротивления, то реакционная критика сделала из его произведения знамя борьбы с революцией. В этом смысле характерна статья крайне реакционного критика М. О. Меньшикова «Сбились с дороги», который, демагогически играя на слабостях взглядов Толстого, утверждал, что образ Ни-

киты — это доказательство враждебности народа революции. «Народ всегда и всюду подчиняется безропотно», — заключал критик («Книжки «Недели», май, 1895, стр. 194).

Своеобразную поддержку Меншиков получил со стороны критика В. В. Розанова, обратившегося к Толстому с призывом прекратить свою обличительную литературную деятельность («По поводу одной тревоги графа Л. Н. Толстого». — «Русский вестник», 1895, № 8). В защиту Толстого выступил Н. К. Михайловский, давший В. В. Розанову суровую отповедь; он заявил, что это выступление «пустосветское увещание» и никому не дано права «говорить с гр. Толстым тоном знаменитого архимандрита Фотия» («Русское богатство», 1895, № 10, стр. 33).

Так демократическая критика при всех своих колебаниях поддерживала «трезвый реализм» великого художника.

«Холстомер». Мысль о написании повести, в которой главным действующим лицом была бы лошадь, возникла у Толстого в 1856 году: «Хочется писать историю лошади», — записывает он в своем дневнике (т. 47, стр. 78). Примерно к этому времени относятся воспоминания И. С. Тургенева, записанные С. Н. Кривенко, о том, как во время прогулки по выгону Толстой остановился перед старым меринком и стал рассказывать о нем. «Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа, — вспоминает Тургенев. — Я не выдержал и сказал: «Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда-нибудь были лошадью. Да вот извольте-ка изобразить внутреннее состояние лошади» («Исторический вестник», 1890, № 2, стр. 276). Толстой начал писать повесть в 1861 году и работал над ней до 1863 года, когда он по неизвестным причинам прекратил ее писание. В 1885 году, по предложению С. А. Толстой, подготавливавшей «Полное собрание сочинений Л. Н. Толстого», повесть была вновь просмотрена автором, переработана и завершена. Первоначальное название «Хлыстомер» было заменено на «Холстомер».

Впервые повесть была опубликована в «Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого» (часть 3, 1885 г.).

«Записки сумасшедшего». Замысел повести возник в 1884 году: в дневнике Толстого в записи от 30 марта отмечено: «Пришли в голову записки несумасшедшего. Как живо я их пережил» (т. 49, стр. 75—76). Сохранившийся отрывок, названный

писателем «Записки сумасшедшего», относится к апрелю 1884 года. Повесть осталась незаконченной, но Толстой несколько раз (в 1887, 1888, 1896, 1903 гг.) возвращался к мысли о ее завершении.

Повесть носит автобиографический характер. В сентябре 1869 года Толстой ездил в Пензенскую губернию для покупки имения. В Арзамасе, где была сделана остановка для ночлега, он пережил состояние, аналогичное тому, что переживает главное действующее лицо «Записок сумасшедшего». Об этом «арзамасском ужасе» Толстой сообщал жене 4 сентября 1869 года: «Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал» (т. 83, стр. 167).

Впервые опубликовано в книге «Посмертные художественные произведения Л. Н. Толстого», под ред. В. Г. Черткова, М. 1912, т. III.

«Смерть Ивана Ильича». Точная дата начала работы над повестью неизвестна. По предположению Н. Н. Гусева, о ней идет речь в письме С. А. Толстой от 20 декабря 1882 года к Т. А. Кузминской, которой она сообщала: «Левочка... кажется, начал писать в прежнем духе» (Н. Н. Гусев, *Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого*, Гослитиздат, М. 1958, т. I, стр. 554). Активная творческая работа началась в апреле 1884 года и продолжалась до февраля — марта 1886 года.

По свидетельству самого Толстого и мемуаристов, прообразом главного действующего лица повести Ивана Ильича Головина послужил член Тульского окружного суда Иван Ильич Мечников, умерший от рака 2 июля 1881 года. Припоминая однажды подробности своей беседы с известным ученым И. И. Мечниковым, Толстой заметил: «В разговоре мы вспомнили, что я знал его брата Ивана Ильича, — даже моя повесть «Смерть Ивана Ильича» имеет некоторое отношение к покойному...» (С. П. Спиро, *Беседы с Л. Н. Толстым* (1909 и 1910 гг.), М. 1911, стр. 35). Т. А. Кузминская рассказывает в своих воспоминаниях: «Иван Ильич Мечников... послужил прототипом главного героя в повести «Смерть Ивана Ильича». Жена рассказывала мне впоследствии его предсмертные мысли, разговоры о бесплодности проведенной им жизни, которые я и передала Льву Николаевичу» (Т. А. Кузминская, *Моя жизнь дома и в Ясной Поляне*, изд. 3-е, Тула, 1958, стр. 445—446).

Повесть впервые опубликована в «Сочинениях гр. Л. Н. Толстого», Часть XII. «Произведения последних годов», М. 1886 г.

«Окончание малороссийской легенды «Сорок лет», изданной Костомаровым в 1881 г.». Легенда «Сорок лет» принадлежит известному историку Н. И. Костомарову (1817—1885). В этой легенде, написанной на украинском языке, рассказывается история Трофима Семеновича Яшника, построившего все свое благополучие на преступлении — убийстве купца и его батрака. Из бедного работника Трофим превратился в миллионера, сблизившегося с петербургскими аристократическими кругами. Вскоре после совершения преступления он услышал у могилы своих жертв голос, возвестивший, что через сорок лет его постигнет кара. Тем не менее в рассказе Костомарова жизнь Трофима протекала вполне благополучно, в непрестанном обогащении и до самой смерти он не испытывал больших страданий и горестей. Легенда заканчивалась следующим объяснением, почему возмездие не пришло к Трофиму: «Не знал он, — писал Костомаров, — и не уразумел, что началом обещанной кары было его многолетнее земное благополучие, а ее завершением — потеря бога», после чего автор легенды добавлял: «грубая проповедь современного нам атеизма перевернула вверх дном... все нравственное существо старого разжившегося мужика» (изд. 1881 г., стр. 90). Но эти завершающие строки не ослабляли получаемого от повести впечатления, что все дозволено, что преступление может остаться без наказания; это лишало легенду того нравственного пафоса, который Костомаров намеревался в нее вложить.

В 1881 году Н. И. Костомаров сам перевел легенду «Сорок лет» на русский язык и тогда же ее издал. Повесть привлекла внимание Толстого, находившего ее «превосходным сочинением». В январе — апреле 1886 года он и его единомышленники (В. Г. Чертков, Н. Л. Озмидов), подготавливая легенду Костомарова для издания в «Посреднике», внесли ряд исправлений в ее текст. Примерно в апреле того же года Толстой написал свой вариант конца повести, в котором в духе своей религиозно-нравственной философии раскрыл драму человека, совершившего кровавое преступление, нарушившего закон человечности и утратившего веру в бога.

«Окончание малороссийской легенды «Сорок лет», изданной Костомаровым в 1881 г.» впервые было напечатано в 1899 году в сборнике «Памяти В. Г. Белинского. Литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов», изд. Пензенской общественной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова;

«Три сына». Точная дата написания притчи неизвестна. По-видимому, была написана в июне 1887 года, так как Толстой в письме от 4 июля 1887 года к Черткову сообщал, что посылает исправленный текст притчи.

Впервые опубликовано в 1889 году в сборнике «Цветник», изд. 2, М.

«Суратская кофейная». Рассказ представляет собой переложение сочинения французского писателя Жака-Анри Бернардена де Сен Пьера «Le café du Surate», сделанное Толстым в январе 1887 года. Тогда же было запрещено цензурой в издании в «Посреднике».

Рассказ «Суратская кофейная» впервые опубликован в журнале «Северный вестник», 1893, № 1.

«Крейцера соната». По свидетельству С. А. Толстой, сюжет повести был в какой-то мере подсказан Толстому актером В. Н. Андреевым-Бурлаком, посетившим писателя 20 июня 1887 года. «Мысль написать настоящий рассказ была ему внушена Андреевым-Бурлаком, — записала в дневнике С. А. Толстая. — Он же рассказал ему, что раз, на железной дороге, один господин сообщил ему свое несчастье от измены жены, и этим-то сюжетом и воспользовался Левичка» («Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», изд. Сабашниковых, 1928, стр. 160). Начатая в 1887 году повесть была закончена лишь осенью 1889 года.

Широкое распространение повести в литографических списках затруднило ее появление в печати. Толстой предполагал напечатать ее в сборнике, посвященном памяти редактора журнала «Русская мысль» С. А. Юрьева, скончавшегося в декабре 1889 года. Цензура, знакомая с текстом повести по рукописным спискам и литографическим изданиям, не разрешила ее печатание в сборнике. Толстой был вынужден снять «Крейцерову сонату» и заменить ее пьесой «Плоды просвещения». Попытки С. А. Толстой включить повесть в состав 13 части собрания сочинений также встретили упорное сопротивление цензурного ведомства. Начальник Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов в ответ на просьбу С. А. Толстой писал ей: «Господин министр внутренних дел... поручил мне известить Вас, что при всем желании оказать Вам услугу, его высокопревосходительство не в состоянии разрешить к печати повесть «Крейцера соната», ибо поводом к ее запрещению послужили не одни только, как Вы изволите предпо-

лагать, встречающиеся в ней неудобные выражения» (т. 27, стр. 595). Набранный без цензурного разрешения на «Крейцерову сонату», 13 том был арестован, и С. А. Толстая была вынуждена предпринять поездку в Петербург. При личном свидании с Александром III 13 апреля 1891 года она получила от него разрешение на печатание «Крейцеровой сонаты», но только в собраниях сочинений. Лишь в 1900 году особым правительственным циркуляром было отменено запрещение издавать повесть отдельными изданиями.

Впервые опубликовано в 1890 году в «Сочинениях Л. Н. Толстого», часть 13.

Стр. 147. *Ригольбош* — прозвище, данное себе парижской каскадной танцовщицей и певицей Маргаритой Бодель, выступавшей в 1850—1860 годах (от слов: *rigolo* — смешной и *bauche* — грубый). Прозвище стало нарицательным для определенного типа танцовщиц.

Стр. 159. *...шекеры* — американская религиозная секта, исповедовавшая общность имущества всех членов секты, обязательный для всех труд и безбрачие.

«Послесловие к «Крейцеровой сонате». Над «Послесловием» Толстой начал работать в октябре 1889 года, еще до того, как была закончена «Крейцера соната». В ответ на совет В. Г. Черткова: «Следовало бы в заключение прибавить в какой-нибудь форме... более всестороннее освещение вопроса...» (т. 86, стр. 273), Толстой писал 1 ноября 1889 года: «Я даже начал писать послесловие, ответ на вопрос: что думает сам автор о предмете рассказа» (там же, стр. 271). Закончено «Послесловие» было лишь в апреле 1890 года. До напечатания оно распространялось в списках и по одному из них было напечатано в Берлине в изд. *Stuhr'sche Buch-und Kunsthandlung*.

В окончательной редакции впервые опубликовано в «Сочинениях Л. Н. Толстого», часть 13, 1890 г.

«Дьявол». Повесть была написана в ноябре 1889 года. Толстой в своем дневнике именует ее «историей Фредерикса», так как основу произведения составили реальные события из жизни судебного следователя Н. Н. Фридерихса, любившего крестьянку Степаниду. После женитьбы на женщине своего круга он через три месяца во время молотбы убил Степаниду выстрелом из револьвера. Несомненно также, что в повести нашли отражение

и события из жизни самого Толстого — его связь с крестьянкой Аксиной Базыкиной в годы, предшествовавшие его женитьбе.

20 февраля 1890 года В. Г. Чертков писал Толстому: «Посылаю вам переписанную новую повесть вашу», которую «хотелось бы поскорее видеть... в печати» (т. 87, стр. 11). Речь шла о повести «Дьявол». Получив от Черткова копию рукописи своей повести, Толстой тогда же, в феврале 1890 года, ее просмотрел, поправил и написал новый вариант ее окончания, тот, в котором Иртеньев убивает Степаниду (обоснование датировки второго варианта окончания «Дьявола» см. диссертацию Л. Д. Опульской «Особенности реализма Л. Н. Толстого в поздний период творчества»).

Толстой скрывал от близких факт написания повести, решив ее не опубликовывать. Автограф произведения хранился в Петербурге у матери В. Г. Черткова — В. И. Чертковой.

Впервые напечатано в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого», под ред. В. Г. Черткова, М. 1911, т. I.

«Ф р а н с у а з а». Рассказ представляет собой свободное переложение рассказа Г. Мопассана «Le port» («Порт»), который Толстой находил «глубоко нравственно действующим» (т. 87, стр. 51). Писатель работал над ним в октябре 1890 года и тогда же написал свое окончание.

Известную сложность представило название рассказа. В рукописи Толстой дал ему заглавие «Все наши сестры», стремясь таким образом подчеркнуть главную и дорогую ему мысль, что в каждом человеке следует видеть близкое существо, сестру, брата. Затем в связи с затруднениями при печатании рассказа он предложил Черткову дать другое название: «Обычное удовольствие молодых людей», которое было заменено потом на — «У девок». А. С. Суворин, редактор газеты «Новое время», где должен был быть напечатан рассказ, возражал и против этого заглавия. По совету Н. С. Лескова рассказ получил название «Франсуаза».

Под таким заглавием он впервые был опубликован в газете «Новое время», № 5366 от 5 февраля 1891 года. Позже циркуляром от 15 мая 1895 года запрещалось издавать «Франсуазу» как в виде отдельных изданий, так и в сборниках.

«Д о р о г о с т о и т». Рассказ представляет собой свободное переложение отрывка из очерка Г. Мопассана «Sur l'eau» («На воде»), которое было сделано Толстым в октябре 1890 года. При переработке оригинала Толстой внес некоторые изменения и до-

полнения, усилившие социальное-обличительное значение рассказа, критику насилий, совершаемых правительством.

В России печатание рассказа вначале было запрещено цензурой. Впервые опубликован в 1890 году в Англии в сборнике запрещенных царской цензурой произведений Л. Н. Толстого, выпущенном издательством «Свободное слово», основанном В. Г. Чертковым. В России впервые напечатано в 1901 году в издании М. Клюкина.

«Карма». Сказка представляет собой свободное переложение одноименной сказки американского писателя и философа-идеалиста Пола Каруса (1852—1919), напечатанной в издававшемся им журнале «The Open Court» («Открытая трибуна») в 1894 году. Тогда же и было сделано Толстым переложение сказки.

Впервые опубликовано в журнале «Северный вестник», 1894, № 12. В мае 1895 года постановлением Московского губернского цензурного комитета сказка была запрещена к изданию отдельной брошюрой.

«Сон молодого царя». Предположительно работа над рассказом относится к декабрю 1894 года. Тема рассказа была подсказана событиями того времени: смертью Александра III и вступлением на престол нового «молодого царя» — Николая II. Рассказ остался незаконченным.

Впервые опубликовано в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого», т. II, изд. «Свободное слово», Берлин, 1912.

«Три притчи». В ноябре — декабре 1893 года Толстым было написано две притчи. Через два года, при печатании в сборнике «Почин», уже в корректуре писатель оставил только первую притчу, сделав ее последней, и заново написал две новые притчи: «о сорной траве» и «о хозяйке, обличавшей купцов».

Впервые опубликовано в сборнике «Почин». Сборник Общества любителей российской словесности на 1895 год», М. 1895. В том же 1895 году Московским губернским цензурным комитетом «Три притчи» были запрещены к изданию отдельной брошюрой.

«Хозяин и работник». Мысль о написании рассказа возникла у Толстого еще зимой 1892—1893 года. Сам писатель впервые упоминает об этом замысле в дневниковой записи от

6 сентября 1894 года: «...продумал очень живой художественный рассказ о хозяине и работнике» (т. 52, стр. 137). Работа над рассказом продолжалась до января 1895 года, когда он был направлен Н. Н. Страхову для передачи в журнал «Северный вестник».

Впервые опубликовано в журнале «Северный вестник», 1895, № 3. Одновременно рассказ был напечатан в изд-ве «Посредник» и 14 части «Сочинений гр. Л. Н. Толстого».

Стр. 336. ...книгу Паульсона. — Имеется в виду популярная «Книга для чтения», составленная в 60-х годах известным педагогом И. И. Паульсоном (1825—1898).

«Отец Сергей». Замысел повести возник у Толстого в конце декабря 1889 года — начале января 1890 года. В промежутке между мартом и маем 1890 года была написана первая редакция повести. Работа над ней продолжалась до лета 1891 года. Только в 1898 году в связи с необходимостью собрать средства для оказания помощи преследуемым царским правительством духоборам, переселявшимся в Канаду, Толстой вновь возвращается к работе над повестью. Считая ее незаконченной, писатель отказался от намерения ее опубликовать.

Однако мысль о завершении повести не покидала Толстого. В 1900 году он при встрече с Горьким изложил ему содержание «Отца Сергея». Повесть произвела на гостя сильное впечатление. «Я слушал рассказ, ошеломленный и красотой изложения, и простотой, и идеей», — писал Горький («М. Горький. Материалы и исследования», т. 2, изд-во АН СССР, М.-Л. 1936, стр. 216).

Впервые опубликовано в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого», под ред. В. Г. Черткова, М. 1911, том II.

«Две различные версии истории улья с лубочной крышкой». Задумана «басня об улье» в 1888 году (см. т. 50, стр. 199), но была написана лишь в 1900 году.

Впервые опубликовано в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого», под ред. В. Г. Черткова, т. II, изд. «Свободного слова», Берлин, 1912.

«Разрушение ада и восстановление его». Начало работы над легендой отмечено Толстым в письме к В. Г. Черткову от 8 ноября 1902 года: «...теперь пишу легенду о дьяволе, которая должна служить иллюстрацией к «К духовенству» (т. 88, стр. 280). Писатель впервые услышал эту легенду еще в

1879 году от известного сказителя былин — олонецкого крестьянина В. П. Щеголенка, и теперь решил использовать ее для написания «иллюстрации» к обличавшей церковь статье «Обращение к духовенству». 17 ноября работа над легендой была закончена.

Впервые было опубликовано в Англии в 1903 году в издании: «Разрушение ада и восстановление его» Льва Николаевича Толстого», изд. «Свободного слова», под ред. В. Г. Черткова. В России появилось впервые в 1901 году в анонимном издании Л. Л. Толстого под заглавием «Восстановление ада».

«М а т ь». Возникновение замысла повести отмечено Толстым в дневниковой записи от 8 апреля 1890 года: «Воспитанье детей, т. е. губленье их, эгоизм родителей и лицемерие. Повесть вроде Ивана Ильича» (т. 51, стр. 33). В марте 1891 года Толстой вернулся к этому замыслу. Он записал в дневнике: «Ходил гулять и очень, как редко, живо представил воспитание — художественное. Лопухину. Мать. Вопрос матери. Записки матери» (т. 52, стр. 24). Работа над повестью продолжалась до мая 1891 года. Начав писать в форме автобиографических записок, Толстой отказывается от нее, так как «слишком бедно», и решает, что «надо писать от себя» (т. 52, стр. 27). При переработке повесть получила название «Мать», но оставалась незаконченной. Дважды, в 1897 и 1903 годах, писатель намеревался вернуться к осуществлению этого замысла.

Впервые опубликовано в «Посмертных художественных произведениях Л. Н. Толстого», т. III, М. 1912.

«Кто прав?». Работа над рассказом началась в ноябре 1891 года, когда Толстой находился в Бегичевке, где занимался оказанием помощи голодающим. Рассказ остался незаконченным. В 1895 году Толстой назвал рассказ «Кто прав?» в числе тех произведений, которые «хорошо бы... докончить» (т. 53, стр. 11).

Впервые опубликовано в 1911 году изд-вом «Посредник» и в «Сочинениях гр. Л. Н. Толстого», изд. 12-е, часть 12.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Л. Н. Толстой. *Фотография*. 1892.
2. «Холстомер». *Рисунок К. Савицкого*. 1947.
3. «Холстомер». *Рисунок К. Савицкого*. 1948.
4. «Смерть Ивана Ильича». *Рисунок И. Репина*. 1893.
5. «Хозяин и работник». *Рисунок А. Комарова*. 1930.
6. «Отец Сергей». *Рисунок Кл. Лебедева*. 1912.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Холстомер	7
Записки сумасшедшего	45
Смерть Ивана Ильича	57
Окончание малороссийской легенды «Сорок лет», изданной Костомаровым в 1881 г.	116
Три сына	121
Суратская кофейная	124
Крейцера соната	132
Послесловие к «Крейцеровой сонате»	212
Дьявол	227
Франсуаза	274
Дорого стоит	282
Карма	286
Сон молодого царя	297
Три притчи	308
Хозяин и работник	318
Отец Сергей	367
Две различные версии истории улья с лубочной крышкой	412
Разрушение ада и восстановление его	417

НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ

Мать	437
Кто прав?	449
Примечания	469
Список иллюстраций	510

*Лев Николаевич
Толстой*
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 12

Редактор С. Чулков
Художественный редактор И. Жихарев
Технический редактор Ж. Примак
Корректоры Р. Пунга и А. Юрьева

★

Сдано в набор 4/1 1963 г.
Подписано в печать 18/XI 1963 г.
Бум. 84×108¹/₃₂. 16 печ. л. = 26,2 усл.
печ. л. 25,3 уч.-изд. л. + 6 вкл. = 25,6 л.
Тираж 296 000. Зак. 104.
Цена 1 р. 10 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

★

Ленинградский Совет народного хозяйства.
Управление целлюлозно-бумажной и поли-
графической промышленности. Типография
№ 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.

Поправка к тому 11

В списке иллюстраций следует читать вместо
С. И. Калинин — А. Н. Грибов, вместо В. В. Грибов —
В. В. Грибков.
Редактором тома ошибочно указан С. Чулков вместо
С. Розанова.

